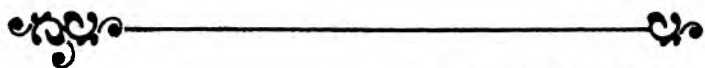


Александр
Дюма

Полина

Амори

Тысяча и один
призрак



АЛЕКСАНДР
ДЮМА



XIX
ВЕК
В РОМАНАХ
ДЮМА

Александр Дюма

Шолина

Амори

Тысяча и один
призрак

романы

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРЕССА»
1993

8Л4 Фр
Д 96

Переводы с французского

Составление и общая редакция
Ю. П. Уварова

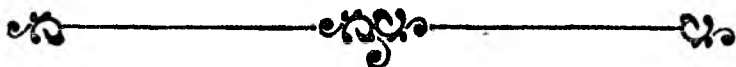
Д $\frac{4703010100 - 2941}{080(02) - 93}$ 2941 - 93
ISBN 5-253-00760-1

© Уваров Ю. П. Составление.
1993.
© Бажанов Ю. К. Оформление.
1993.



ПОЛИНА

РОМАН



I

Заканчивался 1834 год. Субботним вечером в маленьком зале рядом с фехтовальной Гризье мы курили сигары, даже не отложив в сторону рапиры, и слушали ученые теории нашего профессора, время от времени прерывая его анекдотами. Вдруг дверь отворилась и вошел Альфред де Нерваль.

Друзья мои! Те из вас, кто читал мои записки о путешествии в Швейцарию, возможно, вспомнят одного из моих героев: того самого молодого человека, который повсюду сопровождал таинственную даму под вуалью. Впервые я увидел эту женщину во Флелене, когда вместе с Франциско торопился к шлюпке, отплывающей к камню Вильгельма Теля. В лодке был уже Альфред де Нерваль, мой старинный приятель, и любезные мои читатели, очевидно, вспомнят, как я был удивлен, когда в трехстах шагах от берега увидел, как мой друг отдал распоряжение гребцам отчаливать, делая при этом прощальный и дружеский жест в мою сторону, который я понял как извинение: «Виноват, любезный друг! Очень

хотел бы увидаться с тобой, но я не один...» Я ответил ему жестом, что вполне понимаю его. Но вежливо поклонившись ему в знак прощения и повинования, я все-таки считал, что поступок его слишком суров, поскольку на берегу больше не было ни шлюпки, ни гребцов, и я вынужден был задержаться еще на целые сутки. Мне пришлось вернуться в гостиницу, где я постарался навести справки об этой женщине, но узнал только, что ее зовут Полиной и она, очевидно, очень больна.

Вскоре я забыл эту встречу, но несколькими днями позже, посетив купальни на источниках горячих вод Пферера, я снова увидел, как вы помните, Альфреда де Нерваль, который длинной подземной галереей вел под руку ту самую даму, пожелавшую остаться неизвестной во Флелене.

Очевидно, она по-прежнему хотела сохранить свое инкогнито, потому что, увидев меня, явно попыталась повернуть назад. К ее сожалению, дорожка была настолько узкой, что не позволила им отклониться ни вправо, ни влево. Это был своего рода навесной мостик, мокрый и скользкий, шириною всего в две доски; он тянулся вдоль всей стены подземелья над глубокой пропастью, на дне которой по черно-мраморному ложу текла речка Тамина.

Таинственная спутница моего друга, увидев, что всякое бегство бесполезно, опустила вуаль и пошла мне навстречу. Я уже рассказал о том впечатлении, которое произвела на меня эта женщина, как белая и легкая тень, идущая по краю бездны и не показывающая ни малейшего беспокойства, словно она уже принадлежала другому миру. Видя ее приближение, я прижался к стене, чтобы занять как можно меньше места. Альфред хотел, чтобы она прошла одна, но она не решилась оставить его руку, и мы все трое очутились на одно мгновение на пространстве не более двух футов в ширину. Эта странная женщина, подобная одной из фей, склоняющихся к потоку и полощущих свой шарф в пене каскадов, чудом прошла над самой бездной, однако не настолько быстро, чтобы я не мог не увидеть ее тихого и спокойного, хотя и очень бледного, изнуренного страданием лица. Мне показалось, что я уже видел его; оно пробудило во мне смутное воспоминание о другом времени, воспоминание о гостинях, балах, праздниках; казалось, что я знал когда-то эту женщину с изнуренным и печальным лицом,— знал веселой, румяной, увенчан-

ной цветами в мире благоуханий и музыки, охваченной радостью упоительного вальса или шумного галопа. Где же это? Не знаю... В какое время? Не могу сказать!.. Это было видение, мечта, эхо моей памяти, которое не имело ничего определенного и существенного, ускользающее от меня, как будто я хотел схватить призрак. Я вернулся назад, надеясь опять ее увидеть, и готов был показаться нескромным, но достигнуть своей цели; однако, возвратясь не более чем через полчаса, не нашел уже в купальнях Пферера ни ее, ни Альфреда.

Прошло два месяца после этой встречи; я был в Бавено около озера Маджоре. Был прекрасный осенний вечер; солнце скрылось за цепью Альп, которые отбросили тень на восточную часть небосклона, где уже начали появляться звезды. Мое окно было на уровне террасы, благоухающей цветами; я вышел из комнаты и оказался среди цветущих лавровых, миртовых и апельсиновых деревьев. На любого человека — будь то мужчина, женщина или ребенок — цветы производят необыкновенное впечатление, и где бы мы ни были — в поле или в лесу — по какому-то естественному побуждению мы срываем их для букета, чтобы унести с собой их благоухание и прелесть.

И я не мог противиться искушению; и я сорвал несколько благоуханных веток и пошел к перилам из розового мрамора, которые возвышались над озером, отделенным от сада большой дорогой, идущей из Женевы в Милан. Едва я дошел туда, как луна показалась из-за Сесто и лучи ее скользнули по ребрам гор, закрывавшим горизонт, и по воде, спавшей у моих ног, — блестящей и неподвижной, как огромное зеркало. Все было тихо: никакого шума не было слышно ни на земле, ни на озере, ни на небе, и в этом-то величественном и меланхолическом безмолвии наступала ночь. Вскоре среди деревьев, которые возвышались по левую сторону от меня и корни которых омывались водой, раздалась песнь соловья, гармоничная и нежная: то был единственный звук, нарушавший тишину ночи; он продолжался с минуту, блестящий и звонкий, потом вдруг умолк. Тогда как будто этот шум пробудил другой, хотя совсем иного свойства, я услышал со стороны дома д'Оссола стук едущего экипажа; в это время соловей опять начал петь, и несколько минут я наслаждался его песней. Когда он замолчал, я вновь услышал стук быстро приближающегося экипажа.

Мой звонкоголосый певец успел за это время продолжить свою ночную молитву. Но на этот раз, едва он пропел последнюю ноту, из-за поворота дороги, выходящей из леса и проходящей мимо гостиницы, показалась мчащаяся во весь опор коляска. В двухстах шагах от нее почтальон хлопнул бичом, предупреждая другого кучера, чтобы готовили лошадей. Почти в тот же миг тяжелые ворота гостиницы закрипели на ржавых петлях, вывели свежих лошадей; и в ту же минуту коляска остановилась под террасой, на перила которой я опирался.

Ночь, как я сказал, была так светла и так прекрасна, что путешественники, желая насладиться чистым воздухом, отстегнули фартук коляски; их было двое: молодой мужчина и молодая женщина, закутанная в большую шаль или мантию и задумчиво склонившая голову к плечу молодого человека, который ее поддерживал. В эту минуту почтальон вышел с огнем, чтобы зажечь фонари в коляске; луч света скользнул по лицам путешественников, и я узнал Альфреда де Нерваль и Полину.

Все он и все она!.. Я подумал: «Это кто-то более могущественный, чем случай, устраивал наши встречи». Она, Полина, так изменилась со времени нашей встречи в Пферере; она казалась такой бледной, такой изнуренной,— это была уже только ее тень. Однако эти поблекшие черты напомнили мне еще раз тот неясный образ женщины, который хранился в глубине моей памяти, при каждой из встреч возникая из прошлого как туманное видение Оссияна. Я готов был произнести имя Альфреда, но вспомнил, что спутница его не хотела быть узнаваемой. Несмотря на это, неизъяснимое чувство жалости так влекло меня к ней, что мне хотелось, по крайней мере, дать ей знать, что один человек молится о ее душе, слабой и готовой отлететь, страстно желая, чтобы она не оставляла преждевременно прелестного тела!.. Я вынул из кармана визитную карточку, написал на ее обороте карандашом: «Бог хранит странников, утешает скорбящих и исцеляет страждущих!» Вложив записку в середину букета померанцевых и миртовых цветов, я бросил его в коляску. В ту же самую минуту почтальон тронул лошадей; но я еще успел увидеть, как Альфред высунулся из коляски и поднес мою карточку к фонарю. Тогда он обернулся, сделал мне рукой знак, и коляска исчезла за поворотом дороги.

Шум экипажа удалялся: но на этот раз его не прерывала песня соловья. Повернувшись к кустарнику, я

пробыл еще час на террасе в напрасном ожидании. Глубокая печаль овладела мной. Я вообразил себе, что эта замолкнувшая птичка — душа молодой женщины, пропевавшая гимн жизни при прощании с землей и сразу же отлетевшая на небо.

Восхитительная природа у подножия Альп на границе с Италией, где была расположена гостиница, и эта тихая, одухотворенная картина озера Маджоре с тремя островами: на одном из них был сад, на другом — деревня, на третьем — дворец; и этот первый зимний снег, покрывший горы, и это последнее осеннее тепло, пришедшее со стороны Средиземного моря, — все это удержало меня в Бавено на восемь дней, потом я направился в Арону, а затем в Сесто-Календе.

Здесь меня ожидало последнее воспоминание о Полине: звезда, чье движение по небу я наблюдал, — померкла; эта ножка, такая легкая на краю бездны, — сошла в гробницу!.. И исчезнувшая юность, и поблекшая красота, и разбитое сердце — все поглощено камнем, покровом смерти, который, так же таинственно скрыв это холодное тело, как при жизни вуаль покрывала ее лицо, не оставил для любопытного света ничего, кроме имени Полины.

Я ходил взглянуть на эту могилу. В противоположность итальянским гробницам, которые всегда стоят в церквях, она возвышалась в прекрасном саду, на лесистом холме. Это было вечером; каменное надгробие светилось в лунном сиянии. Я сел подле него, пытаюсь собрать все воспоминания, рассеянные и неясные об этой молодой женщине; но и на этот раз память мне изменила: я мог представить себе только какой-то неопределенный призрак, а не живую женщину; в конце концов я отказался проникнуть в эту тайну, пока не увижу Альфреда де Нерваль.

Теперь вы поймете, насколько его неожиданное появление в ту самую минуту, когда я менее всего думал о нем, поразило меня, наполнив мое сердце новыми чувствами, а мое воображение новыми мыслями. В одно мгновение я вспомнил все: и шлюпку, которая убежала от меня, и этот подземный мост, подобный преддверию ада, где путешественники кажутся тенями, и эту маленькую гостиницу в Бавено, мимо которой проехала похоронная карета; наконец, этот белеющий камень, на котором в свете луны, падающем сквозь ветви апельсиновых и лавровых деревьев, можно было про-

честь вместо эпитафии имя этой женщины, умершей в расцвете лет и, вероятно, очень несчастной.

Я бросился к Альфреду; так человек, заключенный долгое время в подземелье, бросается к свету, который льется в отворенную ему дверь; он улыбнулся печально и протянул мне руку, как бы говоря, что понимает меня. Тогда мне стало стыдно, что Альфред, с которым меня связывала пятнадцатилетняя дружба, мог принять за простое любопытство то чувство, с которым я бросился к нему.

Он вошел. Это был один из лучших учеников Гризье. Однако около трех лет его не видели в фехтовальном зале. Он появился здесь в предыдущий раз накануне его последней дуэли, не зная еще, каким оружием будет драться; он приезжал тогда, чтобы на всякий случай набить руку с учителем. С тех пор Гризье с ним не виделся; он слышал только, что Альфред оставил Францию и уехал в Лондон.

Гризье, который заботился о репутации своих учеников так же, как и о своей собственной, обменявшись с ним обычными приветствиями, подал ему рапиру и выбрал противника по его силам. Это был, насколько я помню, бедный Лабаттю, который потом уехал в Италию, где в Пизе нашел смерть и одинокую, неизвестную могилу.

При третьем ударе рапира Лабаттю встретила рукоятку оружия его противника, конец клинка отломился, а оставшаяся часть его прошла сквозь эфес рапиры Альфреда и разорвала рукав его рубашки, на которой в тот же миг проступила кровь. Лабаттю бросил свою рапиру; он, как и мы, подумал, что Альфред серьезно ранен.

К счастью, это была только царапина, но, подняв рукав рубашки, Альфред открыл нам другой рубец, который оказался гораздо серьезнее: на плече был след пулевого ранения.

— Ба!.. — сказал Гризье с удивлением, — я не знал, что у вас была эта рана!

Гризье знал всех нас, как кормилица свое дитя: не было ни малейшей царапинки на теле его учеников, о которой бы он не знал. Я уверен, что он написал бы любовную историю, самую занимательную и самую соблазнительную, если бы захотел рассказывать причины дуэлей, о которых он знал предварительно; но это наделало бы много шума в альковах и повредило бы его заве-

дению. Он напишет о них записки, которые будут изданы после его смерти.

— Эту рану,— сказал Альфред,— получил я на другой день после свидания с вами, в тот самый день, когда уехал в Англию.

— Я вам говорил, чтобы вы не дрались на пистолетах. Общее правило: шпага — оружие храброго и благородного; шпага — это драгоценнейшая реликвия, которую история сохраняет как память о великих людях, прославивших отечество. Говорят: шпага Карломана, шпага Баярда, шпага Наполеона; а слышали ли вы, чтобы кто-нибудь говорил об их пистолетах? Пистолет — оружие разбойника; с пистолетом к горлу он заставляет подписывать фальшивые векселя; с пистолетом в руке он останавливает дилижанс в чаще леса; пистолетом, наконец, обанкротившийся вскрывает себе череп. Пистолет!.. Фи!.. Шпага — это другое дело! Это товарищ, поверенный, друг джентльмена, она бережет его честь или мстит за оскорбление.

— Но с этим убеждением,— отвечал, улыбаясь, Альфред,— как вы решились стреляться два года тому назад на пистолетах?

— Я — другое дело. Я не мог драться на том, на чем хотел: я — учитель фехтования! — и притом бывают обстоятельства, когда нельзя отказаться от условий, которые вам предлагают...

— Я и находился в подобных обстоятельствах, мой милый Гризье, и вы видите, что я недурно исполнил свое дело.

— Да! Оказавшись с пулей в плече!

— Все лучше, чем с пулей в сердце.

— Можно ли узнать причину этой дуэли?

— Извините меня, мой любезный Гризье: вся эта история должна оставаться в тайне, но в свое время вы ее узнаете.

— Полина? — спросил я его тихо.

— Да! — ответил он.

— На самом ли деле мы ее узнаем? — сказал Гризье.

— Непременно,— ответил Альфред,— и в доказательство я увожу с собой ужинать Александра, которому расскажу все сегодня вечером. Когда не будет препятствий к выходу ее в свет, вы прочтете ее в каком-нибудь томе Черных или Голубых повестей. Потерпите до этого времени.

Гризье должен был покориться. Альфред увел меня к себе ужинать, как обещал, и рассказал мне историю Полины.

Теперь единственное препятствие к ее изданию исчезло. Мать Полины умерла, и с ней угасли фамилия и имя этой несчастной женщины, приключения которой, кажется, не могли произойти ни в этом веке, ни в этом обществе, в которых мы живем.

II

«Ты знаешь,— сказал мне Альфред,— что я учился живописи, когда мой добрый дядя умер и оставил мне и сестре моей каждому по тридцать тысяч ливров годового дохода.

Я склонил голову в знак подтверждения того, что сказал Альфред, и почтения к тени человека, сделавшего такое доброе дело при прощании со здешним светом.

— С тех пор,— продолжал рассказчик,— я занимался живописью только для души. Я решил путешествовать, повидать Шотландию, Альпы, Италию; взял у нотариуса свои деньги и отправился в Гавр, чтобы начать свою поездку с Англии.

В Гавре я узнал, что Дозат и Жаден были на другом берегу Сены, в маленькой деревне, называемой Трувиль. Я не хотел покидать Францию, не пожав руки своим товарищам по живописи; взял пакет-бот и через два часа был в Онфлере, а поутру в Трувиле. К несчастью, они уехали накануне.

— Ты знаешь эту маленькую пристань, населенную рыбаками; это одно из самых живописных мест Нормандии. Я остался здесь на несколько дней, в течение которых осматривал окрестности; потом вечером, сидя у камина моей почтенной хозяйки, госпожи Озере, слушал довольно странные рассказы о том, что происходило в течение трех месяцев в департаментах Кальвадос, Луаре и де Ла Манш. Рассказывали о грабежах, производимых с необыкновенной дерзостью. Нашли почтальона, который с завязанными глазами был привязан к дереву, его почтовая телега стояла на большой дороге, а лошади спокойно паслись на соседнем лугу. Однажды вечером, когда генеральный сборщик Кана давал ужин молодому парижанину Горацию Безевалю и двум его друзьям, приехавшим провести с ним охотничий сезон в замке Бюрс, отстоящем от Трувиля на пятнадцать лье,

был вскрыт сундук с собранными налогами и похищено семьдесят тысяч франков. Наконец, сборщик Пон-л'Евека, который вез в Лизье для взноса в казну двенадцать тысяч франков, был убит, и тело его брошено в Тук; вынесенное этой маленькой рекой на берег, оно одно стало свидетелем убийства, а те, кто его совершил, остались неизвестными и безнаказанными, несмотря на деятельность парижской полиции, которая, будучи обеспокоенной этими разбоями, послала на место происшествия своих самых опытных полицейских.

Эти происшествия, усугублявшиеся время от времени пожарами, причин которых не знали и которые оппозиционные журналы приписывали правительству, распространяли по всей Нормандии ужас, неизвестный до тех пор в этой доброй стране, знаменитой своими адвокатами и тяжбами, но небогатой разбойниками и убийцами. Что касается меня, я мало верил всем этим историям, которые, казалось мне, могли произойти скорее в пустынных ущельях Сиерры или в диких скалах Калабры, нежели в богатейших долинах Фалеза и плодородных равнинах Понь-Одемера, усеянных деревнями, замками и мызами. Я всегда воображал себе разбойников среди леса или в глубине пещеры. А во всех трех департаментах не было ни одной норы, которая заслуживала бы названия пещеры, и ни одной роши, которая могла бы показаться лесом.

Однако вскоре я вынужден был поверить всем этим рассказам: богатый англичанин, ехавший с женой из Гавра в Алансон, был остановлен в половине лье от Дива, где хотел переменить лошадей; почтальон, связанный, с платком во рту, был брошен в карету на места своих бывших пассажиров; и лошади, зная дорогу, пришли в Ранивиль и остановились у почтового двора, где простояли до утра, ожидая, чтобы их распрягли. На другой день конюх, отворив ворота, нашел карету, запряженную лошадьми, и вместо господина — бедного связанного почтальона. Приведенный к мэру, этот человек объявил, что они были остановлены на большой дороге четырьмя мужчинами в масках, которые, судя по одежде, принадлежали к низшему сословию общества. Они принудили его остановиться и заставили путешественников выйти; тогда англичанин, пытаясь защищаться, выстрелил из пистолета; почти тотчас услышал почтальон стоны и крик, но, не смея обернуться, ничего не увидел; впрсчем, через минуту после этого ему завязали рот и

бросили в карету, которая привезла его к почтовому двору так же исправно, как если бы он сам сидел на козлах. Жандармы тотчас бросились к указанному месту и в самом деле нашли во рву тело англичанина, пронзенное двумя ударами кинжала. Что касается его жены, то она пропала бесследно. Это случилось не далее как в десяти или двенадцати лье от Трувиля. Тело жертвы было перенесено в Кан. Тогда уже у меня не осталось никаких причин сомневаться.

Через три или четыре дня после этого происшествия, накануне своего отъезда, я решил в последний раз осмотреть оставляемые мной места. Я приказал оснастить лодку, наняв ее на месяц, как нанимают в Париже карету; потом, видя чистое небо, предвещавшее погожий день, велел перенести в шлюпку обед и свои карандаши. Я сам поднял парус, поскольку один составлял весь экипаж моей лодки.

— В самом деле,— прервал я,— я знаю твою страсть к мореходству и припоминаю твое путешествие между Тюильрийским мостом и мостом Согласия на шлюпке под американским флагом.

— Да! — продолжал Альфред улыбаясь,— но на тот раз приключения имели для меня роковые последствия. Сначала все шло хорошо; у меня была маленькая рыбацья лодка с одним парусом, управлять которой можно было с помощью руля. Ветер дул от Гавра, и я с удивительной быстротой скользил по морю, которое едва волновалось. Я проплыл таким образом около восьми или десяти лье в течение трех часов: потом ветер вдруг утих и вода стала неподвижной, как зеркало. Я находился тогда напротив устья Орна. По правую сторону от меня были подводные камни Лангрюна и скалы Лиона, по левую — развалины какого-то аббатства, соседствующим с замком Бюрсии: это был прекрасный пейзаж, который мне оставалось только скопировать, чтобы сделать картину. Я опустил парус и принялся за работу.

Я так увлекся своим рисунком, что не заметил, сколько прошло времени, когда почувствовал на своем лице дуновение одного из тех теплых ветерков, которые предвещают приближение бури. Я поднял голову. Молнии прорезывали небо, покрытое облаками столь черными и густыми, что они казались цепью гор; я увидел, что нельзя терять ни одной минуты: ветер, как я надеялся утром, сменил направление вместе с солнцем; я поднял

свой маленький парус и направил лодку к Трувиллю, держась берега, чтобы в случае опасности сесть на мель. Сделав не более четверти лье, я увидел, что парус прижался к мачте; тогда я снял его и мачту, не доверяя наступившему затишью. И в самом деле через минуту несколько течений встретились, море начало шуметь, раздался удар грома. Этим предвестникам нельзя было не доверять, потому что буря стала приближаться с быстротой скаковой лошади. Я снял свой сюртук, взял в обе руки по веслу и начал грести к берегу.

Мне нужно было сделать около двух лье, чтобы его достигнуть; к счастью, это было время прилива и, несмотря на то, что ветер был встречный — или скорее не было никакого ветра, а только шквалы, которые буравили море, — волны гнали меня к земле. Я греб изо всех сил, однако буря приближалась быстрее и настигла меня. В довершение неприятности приближалась ночь, но я надеялся достигнуть берега, прежде чем наступит полная темнота.

Я провел ужасный час. Лодка моя, легкая, как ореховая скорлупа, металась по воле волн, поднимаясь и опускаясь с ними. Я продолжал грести, но увидев наконец, что напрасно трачу свои силы, которые могут мне пригодиться, когда придется спасать себя вплавь, я снял весла с крюков, бросил их на дно лодки подле мачты и паруса и скинул с себя все, что могло препятствовать движениям, оставшись только в панталонах и рубашке. Два или три раза я готов был броситься в море, но легкость лодки меня спасала: она плыла, как пробка, и не впускала в себя ни капли воды; я ждал только, что с минуты на минуту она опрокинется. Однажды мне показалось, что она задела за дно, но ощущение было быстрым и мимолетным, и я не посмел даже на это надеяться. Сверх того темнота была так сильна, что я не мог ничего различить в двадцати шагах и не знал, на каком расстоянии нахожусь от берега. Вдруг я почувствовал сильный толчок, и на этот раз уже не сомневался, что лодка на что-то натолкнулась: но был это подводный камень или песок? Между тем новая волна подхватила меня и несколько минут несла с огромной скоростью; наконец, лодка была брошена с такой силой, что, когда отхлынула волна, киль очутился на мели. Я не потерял ни одной минуты, взял свой сюртук и выпрыгнул из лодки, оставив в ней все вещи. Вода была по колени, и прежде чем новая волна настигла меня, я был уже на берегу.

Не теряя времени, я накинул на плечи свой сюртук и быстро пошел вперед. Вскоре я почувствовал, что иду по тем круглым камням, которые называются голышом и обозначают границы прилива. Я продолжал идти еще некоторое время; почва стала другой, и я уже шел по высокой траве, растущей на песчаных дюнах. Это значило, что море мне больше не угрожает, и я остановился.

Буря на море, освещаемом молниями, представляет собой великолепное зрелище. Это стихия — первообраз хаоса и разрушения — единственная, которой Создатель позволяет восставать против Его власти и перекрещивает свои молнии с ее волнами. Океан был похож на огромную гряду движущихся гор: вершины этих гор смешивались с облаками, а долины были глубоки, как бездны.

С каждым ударом грома белый зигзаг молнии пробегал по всем этим вершинам и долинам, а разверзшаяся пучина мгновенно поглощала этот божественный свет, смыкая над ним края бездны. Я смотрел с ужасом, смешанным с любопытством, на это страшное зрелище, вспоминая, как Верне приказал привязать себя к мачте корабля, чтобы запомнить подобное зрелище и перенести на холст, но — увы! — никогда кисть в руках человека не сможет создать картину столь могущественно-страшную и столь величественно-ужасную. Я мог бы, наблюдая бурю, целую ночь простоять здесь, на берегу, если бы не почувствовал вдруг, как крупные капли дождя ударили мне в лицо. Ночи были холодными, хотя стояла только первая половина сентября. Я начал перебирать в уме вид морского побережья, пытаюсь вспомнить место, где можно укрыться от дождя; на память пришли какие-то развалины, которые я видел днем с моря, кажется, недалеко отсюда. Я пошел вперед, затем почувствовал, что ступаю по твердой площадке, потом смутно различил впереди непонятную черную постройку, где можно было искать убежища. Блеснула молния, и я узнал полуразрушенную паперть церкви, поднялся и очутился в монастыре. Я поискал место, менее пострадавшее от разрушения, и устроился в углу за столбом, решившись здесь дожидаться утра. Не зная берега, я не мог в такое время пуститься на поиски жилища. Впрочем, во время охоты в Бандее и на Альпах я провел двадцать ночей более неприятных, чем та, которая меня ожидала; одно меня только беспокоило:

ворчание желудка, напоминавшего, что я ничего не ел с десяти часов утра. Вдруг я вспомнил, что просил господа Озере положить что-нибудь в карманы моего сюртука; я сунул в них руки: добрая моя хозяйка исполнила мою просьбу, и я нашел в одном небольшой кусок хлеба, а в другом — целую бутылку рома. Это был ужин, совершенно соответствующий обстоятельствам. Едва я поужинал, как почувствовал приятную теплоту, распространившуюся по всему телу, уже начинавшему цепенеть. Мысли мои, принявшие мрачный оттенок под воздействием ощущения голода, сразу просветлели, как только я выпил благодатную влагу. Я почувствовал дремоту — следствие усталости, — завернулся в свой сюртук, прислонился к столбу и скоро заснул под шум моря, разбивавшегося о берег, и под свист ветра, разгуливавшего по развалинам.

Прошло, возможно, около двух часов, когда я был разбужен шумом закрывавшейся двери: я ясно слышал, как она проскрипела на ржавых петлях и громко хлопнулась. Я вскочил, как человек, внезапно разбуженный от тяжелого сна, и, принимая необходимые меры предосторожности, спрятался за столб... Я во все глаза смотрел вокруг, но ничего не видел: однако древога не покидала меня, потому что я был убежден, что мне не приснился этот шум, разбудивший меня, что я действительно слышал его.

III

Буря утихла, и хотя небо было еще покрыто черными тучами, иногда между ними уже проглядывала луна. В один из таких мгновенных просветов, тотчас же сменяющихся густой темнотой, я взглянул в ту сторону, откуда слышал подозрительный шум, а потом осмотрел все вокруг себя. Я находился, насколько успел заметить, в развалинах старинного аббатства и, судя по уцелевшим стенам, попал в бывшую часовню. По обе стороны от меня тянулся монастырский коридор с низкими полукруглыми сводами, а прямо напротив в высокой траве беспорядочно валялись разбитые каменные плиты, судя по всему — бывшие надгробия монастырского кладбища, где в давние времена монахи находили вечный покой у подножия креста, все еще стоящего здесь, хотя и без распятия и полуразрушенного.

Вся эта картина сильно подействовала на мое воображение, и, наверное, любой мужественный человек может признаться, что бывают такие минуты и обстоятельства, когда окружающие предметы оказывают огромное впечатление на состояние души. Представь себе мое положение: накануне я попал в страшную бурю, едва спасая от гибели, полузамерзший забрел в незнакомые развалины, крепко заснул, а потом был разбужен странным шумом; к тому же я вдруг вспомнил, что нахожусь в тех самых местах, где последние два месяца свирепствовали неуловимые разбойники, приводящие в ужас всю Нормандию; я был совершенно одинок, безоружен, и, повторяю, в таком тяжелом душевном состоянии, когда вся моя воля и энергия были подавлены предшествующими событиями. И когда рассказы хозяйки, которые она поведала мне у своего камина, пришли мне на память, я не решился снова лечь спать, а притаился за столбом, прислушиваясь к малейшему шуму. Впрочем, мое убеждение, что я был разбужен звуком, произведенным человеком, было столь велико, что мои глаза, осматривая темные коридоры и более освещенное кладбище, постоянно возвращались к двери в нише стены, которая, как мне казалось, и была причиной услышанного мной шума. Раз двадцать я хотел подойти к этой двери, чтобы прислушаться и что-нибудь выяснить. Но нужно было пробежать по освещенному пространству. К тому же я опасался, что еще кто-нибудь мог спрятаться от бури в этом монастыре. Четверть часа прошло, но кругом стояла абсолютная тишина, и я решил воспользоваться первой же минутой, когда луна скроется за облаками, чтобы перейти пятнадцать — двадцать шагов, отделяющих меня от ниши с дверью. Вскоре луна скрылась, и темнота стала такой густой, что я надеялся без особого риска исполнить свое намерение. Итак, покинув свой столб, у которого я стоял неподвижно, как готическая статуя, я стал медленно и осторожно переходить от столба к столбу, удерживая дыхание, на каждом шагу замирая и вслушиваясь; так я достиг стены коридора, прокрался вдоль нее, наконец, добрался до ступеней, которые вели под свод, сделал три шага и коснулся двери.

Минут десять я прислушивался, но ничего не услышал; тогда мое убеждение поколебалось, уступив место сомнению. Я начал думать, что все-таки это было лишь сновидением и что кроме меня в развалинах монасты-

ря ничего не было. Я уже хотел возвращаться, но в этот момент снова показалась луна, осветив пространство, по которому мне предстояло пройти. Несмотря на это, я решил рискнуть, но вдруг камень упал откуда-то сверху. Раздался довольно громкий стук, который заставил меня вздрогнуть от неожиданности и остаться еще на минуту в тени свода, который был над моей головой. Вдруг сзади, за закрытой дверью, послышался далекий и гулкий звук; мне показалось, что где-то в глубине подземелья закрыли дверь. Вскоре там же раздались приглушенные шаги, приближающиеся в мою сторону, к лестнице, где я стоял. В эту минуту луна опять скрылась. Одним прыжком я очутился в коридоре и стал пятиться по нему, вытянув руки за спиной и глядя прямо перед собой на дверь в нише. Так я добрал до своего защитника-столба и занял прежнее место. Через минуту услышал я тот же звук, который разбудил меня; дверь открылась и опять затворилась, потом показался человек. Выйдя наполовину из тени, он остановился, чтобы прислушаться и осмотреться вокруг, и, видя, что все спокойно, поднялся в коридор, но повернул в сторону, противоположную той, где я находился. Он не сделал еще и десяти шагов, как я потерял его из виду, — такой густой была темнота. Через минуту луна показалась, и на краю небольшого кладбища я увидел таинственного незнакомца с заступом в руках; он копнул им два или три раза землю, бросил какой-то предмет, которого я не мог рассмотреть, в выкопанную ямку и, чтобы не оставить никакого следа, привалил сверху могильный камень, поднятый им прежде. Приняв эти меры предосторожности, он снова осмотрелся вокруг, но не видя и не слыша ничего подозрительного, поставил заступ к соседнему столбу и скрылся под сводом.

Эта минута была коротка, и сцена, описанная мною, происходила довольно далеко от меня: однако, несмотря на быстроту, с которой он это проделал, и на отдаленность исполнителя, я мог заметить, что это человек в возрасте двадцати восьми — тридцати лет, с белокурыми волосами, среднего роста. Он был одет в простые панталоны из голубого полотна, подобные тем, которые обычно носят крестьяне в праздничные дни. Единственная вещь могла указать, что он не принадлежал к тому классу, одежду которого использовал: это был охотничий нож, висевший у него на поясе и блестящий в лунном свете. Что касается лица, то я не смог бы точно

описать его: однако я видел его достаточно, чтобы узнать при встрече.

После всей этой странной сцены пропала всякая надежда на сон — и даже мысль о сне — на весь остаток ночи. Итак, я стоял, по-прежнему не ощущая усталости, погруженный в мысли, противоречащие одни другим, и твердо решившись проникнуть в эту тайну; но сразу же сделать это было невозможно; у меня не было ни оружия, ни ключа от этой двери, ни инструмента, которым я бы мог ее отпереть. Тогда я подумал: не лучше ли рассказать обо всем, что я видел, нежели решиться самому на приключение, в конце которого вполне мог, как Дон-Кихот, встретить какую-нибудь ветряную мельницу? Поэтому, как только небо начало белеть, я направился к паперти, по которой вошел, и через минуту очутился на склоне горы. Непроглядный туман окутал море; я вышел на берег и сел, ожидая, когда он рассеется. Через полчаса взошло солнце, и его первые лучи разогнали туман, покрывавший океан, еще дрожащий и свирепый после вчерашней бури.

Я надеялся найти свою лодку, которую морской прилив должен был выбросить на берег; действительно, я заметил ее, лежавшую между камнями. Но я не смог стащить лодку в море, и, кроме того, один ее борт был разбит о выступ скалы. Итак, мне не оставалось никакой надежды возвратиться морем в Трувиль. К счастью, на всем побережье жили рыбаки; и получаса не прошло, как я увидел рыбацкое судно. Вскоре оно подошло на расстояние, с которого меня могли услышать: я махал руками и кричал. Меня увидели, и судно причалило к берегу; я перенес на него мачту, парус и весла своей шлюпки, которую новый прилив мог унести, а лодку оставил до приезда хозяина, чтобы он решил, годится ли она еще на что-нибудь, и тогда расплатиться с ним, вернув стоимость всей лодки или только ее ремонта. Рыбаки, принявшие меня, как нового Робинзона Крузо, были также из Трувиля. Они узнали меня и очень обрадовались, что я жив. Накануне они видели, как я отправился, и, зная, что я еще не возвратился, уже считали меня утонувшим. Я, рассказав им о своем кораблекрушении, объяснил, что ночь провел за скалой, и потом спросил, как называются развалины, возвышавшиеся на вершине горы? Они отвечали мне, что это развалины аббатства Гран-Пре, лежащего подле парка замка Бюрси, в котором живет граф Гораций Безеваль.

Во второй раз это имя было произнесено при мне и заставило мое сердце содрогнуться от давнего воспоминания. Граф Гораций Безеваль был мужем Полины Мельен.

— Полины Мельен?..— воскликнул я, прерывая Альфреда.— Полины Мельен?..— И все вспомнил:— Так вот кто эта женщина, которую встречал я с тобой в Швейцарии и в Италии! Мы были с ней вместе у княгини Б., герцога Ф., госпожи М. Как же я не узнал ее, бледную и изнуренную? О, эта женщина прелестная, милая, образованная и умная!.. С восхитительными черными волосами, с глазами прекрасными и гордыми! Бедное дитя!.. Бедное дитя!.. О, я помню ее и узнаю теперь!

— Да! — сказал Альфред тихим и дрожащим голосом.— Да! Это она... Она также тебя узнала и поэтому избегала так упорно. Это был ангел красоты, очарования и кротости: ты это знаешь, ты встречал нас вместе, как ты сам сказал, и не один раз; но ты не знаешь, что я любил ее раньше всей душой и мог бы решиться просить ее руки, если бы имел такое состояние, какое имею сейчас, но в те печальные дни я молчал, ибо был намного беднее ее. Тогда я подумал, что, продолжая встречаться с ней в свете, я ставлю на карту всю свою будущую жизнь, рискуя заслужить ее презрительный взгляд или унижительный отказ. Я уехал в Испанию и, находясь в Мадриде, узнал, что Полина Мельен вышла замуж за графа Горация Безевалья.

Новые мысли, нахлынувшие на меня при имени, произнесенном рыбаками, начали вытеснять впечатления, которые произвели на меня странные ночные приключения. Кроме того, днем, при солнечном свете, все эти происшествия, такие удивительные и непохожие на нашу обыкновенную жизнь, начали казаться мне каким-то сном. Мысль о том, чтобы сообщить в полицию обо всем, что со мной произошло, уже не приходила мне в голову, и только желание самому разобраться во всех этих странных событиях оставалось в глубине сердца. Кроме того, я упрекал себя за тот минутный ужас, который овладел мной, и мне хотелось выяснить все, чтобы оправдаться в своих собственных глазах.

Я приехал в Трувилль к одиннадцати часам утра. Все мне были рады. Меня считали утонувшим или убитым и радовались, видя, что я отделался одной только слабостью. В самом деле, я падал от усталости и тотчас

лег в постель, приказав разбудить меня в пять часов вечера и приготовить лошадей, чтобы ехать в Пон-л'Евек, где собирался заночевать. Приказания мои были в точности исполнены, и в восемь часов я прибыл в назначенное место. На другой день в шесть часов утра, взяв почтовую лошадь и проводника, я приехал в Див. Остановившись в этом городе, я хотел отправиться якобы на прогулку, на морской берег, где были развалины аббатства Гран-Пре, потом днем пройтись по этой местности, словно любясь пейзажами, поскольку мне нужно было все осмотреть, чтобы не заблудиться ночью. Непредвиденный случай помешал мне, но привел к цели, хотя и другой дорогой.

Приехав к содержателю почтовых лошадей в Диве, который был в то же время и мэром, я увидел у его ворот полицейских. Весь город был в волнении. Было совершено новое убийство, но на этот раз с беспримерной дерзостью. Графиня Безеваль, приехавшая за несколько дней до этого из Парижа, убита в парке своего замка, в котором жил граф и двое или трое его друзей. Понимаешь ли ты?.. Полина... женщина, которую я любил, воспоминание о которой, пробужденное в моем сердце, наполняло его... Полина убита... убита в парке своего замка, в ночь, когда я был в развалинах соседнего аббатства, в пятистах шагах от нее!.. Это было невероятно... Но вдруг это видение, эта дверь, этот человек пришли мне на память; я хотел уже обо всем рассказать, но почему-то странное предчувствие меня удержало; я ни в чем не был еще уверен и решил ничего не говорить до тех пор, пока сам не проведу свои расследования.

Жандармы, уведомленные в четыре часа утра, приехали искать мэра, мирового судью и двух медиков, чтобы составить протокол. Мэр и судья были готовы, но один из медиков находился в отлучке по делам и не мог приехать по приглашению. Занимаясь живописью, я немного изучал анатомию, и поэтому решил назвать себя учеником хирурга. Меня взяли за неимением лучшего, и мы отправились в замок Бюрси. Все это я делал инстинктивно. Я хотел видеть Полину, прежде чем гробовая крышка закроется над нею, или, скорее, повиновался таинственному голосу, управлявшему мною с небес.

Мы приехали в замок. Граф с утра уехал в Кан: ему нужно было получить разрешение префекта на перевоз-

ку тела в Париж, где были родовые гробницы его семьи, и он воспользовался для этого теми минутами, когда официальные представители власти должны были выполнить необходимые формальности.

Один из его друзей принял нас и проводил в комнату графини. Я едва мог стоять: ноги мои подгибались, сердце сильно билось; мое лицо было таким же бледным, как лицо убитой. Мы вошли в комнату, еще наполненную запахом жизни. Бросив испуганный взгляд, я увидел на постели что-то подобное человеческому телу, закрытому простыней; тогда я почувствовал, что твердость меня покидает, и прислонился к двери. Медик подошел к постели с тем снокойствием и непостижимым бесчувствием, которое дает привычка. Он приподнял конец простыни, покрывавшей труп, открыв голову жертвы. Тогда мне показалось, что я брежу или околдован: эта женщина, расprostертая на постели, не была графиней Безеваль; убитая женщина, в смерти которой мы приехали удостовериться, — не была Полиной!.

IV

Это была белокурая дама ослепительной белизны, с открытыми голубыми глазами, с предестными и аристократическими ручками; это была молодая и прекрасная женщина, но не Полина!

Рана оказалась в правом боку; пуля прошла между двумя ребрами и прострелила сердце, так что смерть последовала в то же мгновение. Все это было такой странной тайной, что я начал теряться, не зная, что подумывать и кого подозревать. Единственное, в чем я был абсолютно уверен, — это то, что убитая женщина — не Полина, что граф почему-то объявил свою жену мертвой, но под именем графини собирается похоронить другую.

Не знаю, был ли я полезен во время всей этой хирургической операции, не знаю даже, что подписал под протоколом; к счастью, доктор Дива, желая, без сомнения, показать свое преимущество перед учеником и превосходство провинции над Парижем, взял на себя весь труд, и от меня потребовалась только подпись. Операция продолжалась около двух часов; потом мы прошли в столовую, в которой была приготовлена закуска. Спутники мои сели за стол, а я прислонился головой к окну, выходящему на двор. Я простоял так около

четверти часа, когда человек, покрытый пылью, быстро въехал верхом во двор, бросил лошадь, не беспокоясь, будет ли кто оберегать ее, и взбежал на крыльцо. Я изумлялся все более и более! Я узнал его несмотря на то, что моя встреча с ним произошла в темноте и была короткой: но это был тот человек, которого я видел ночью выходящим из подземелья; это был человек в голубых панталонах, с заступом и охотничьим ножом. Я подозвал к себе слугу и спросил имя приехавшего. «Это господин наш,— отвечал он,— граф Безеваль, возвратившийся из Кана, куда он ездил за позволением перевезти тело». Я спросил еще, когда он должен отправляться в Париж? «Сегодня вечером,— сказал слуга,— потому что фургон, который повезет тело графини, уже готов, и почтовые лошади потребованы к пяти часам». Выходя из столовой, мы услышали стук молотка: это столяр уже заколачивал гроб. Все делалось правильно, но, как ты видишь, слишком поспешно.

Я возвратился в Див, в три часа был в Пон-л'Евеке, а в четыре в Трувиле.

Я решил исполнить свое намерение в ту же ночь и, если мои старания окажутся напрасными, объявить обо всем на следующий день, передав дело полиции.

Приехав, я сразу занялся наймом новой лодки; но на этот раз два человека должны были провожать меня; потом я вошел в свою комнату, взял пару превосходных двуствольных пистолетов и заткнул их за дорожный пояс, на котором висел к тому же охотничий нож; я застегнулся, чтобы скрыть от хозяйки эти страшные приготовления, велел перенести в лодку заступ и лом и сел в нее с ружьем, объявив, что еду поохотиться.

На этот раз ветер был попутный; менее чем через три часа мы очутились в устье Орна. Приехав туда, я приказал своим матросам подождать до тех пор, пока наступит ночь; потом, когда стало темно, направился к берегу и причалил.

Затем отдал своим людям последние наставления, состоявшие в том, чтобы ожидать меня в ущелье скалы, спать поочередно и быть готовыми отправиться по первому моему сигналу. Если бы я не возвратился к утру, они должны были ехать в Трувиль и вручить мэру запечатанный конверт. Это было письмо с изложением подробностей предпринятой мной поездки и сведения, при помощи которых можно было найти меня живого или мертвого. Затем я повесил через плечо ружье, взял

лом и заступ, огниво, чтобы высечь огонь в случае необходимости, и попытался отыскать ту же самую дорогу, по которой шел во время первого приключения. Найдя ее, перешел гору, и в свете первых лучей всходящей луны я увидел развалины старинного аббатства; миновав паперть, я, как и прежде, очутился в часовне.

И на этот раз мое сердце сильно билось, но от ожидания, а не от ужаса. У меня было достаточно времени, чтобы утвердиться в своем намерении; но это не был мгновенный порыв инстинктивной храбрости, нет, напротив, я был полон благоразумной, но твердой решимости, к которой пришел путем глубокого нравственного размышления.

Придя к столбу, у которого я тогда спал, я остановился, чтобы оглядеться. Все было тихо, не слышалось никакого шума, кроме вечного гула, который кажется шумным дыханием океана; я решил действовать последовательно и сначала поискать в том месте, где граф Безеваль — я был убежден, что это он, — закопал предмет, который я не мог разглядеть. Итак, я оставил лом и факел у столба, вооружился ружьем, чтобы быть готовым защищаться в случае нападения, прошел коридор с мрачными сводами и у одной из колонн нашел заступ. Потом после минуты неподвижности и молчания, убедившей меня, что я один, направился к тайнику, поднял камень, как это сделал граф, и заметил недавно вскопанную землю. Я положил ружье, копнул заступом и, увидев, как в рыхлой земле блеснул ключ, взял его; потом зарыл ямку, положил на нее камень, поднял свое ружье, поставил лопату там, где нашел ее, и остановился на минуту в самом темном месте, чтобы привести в порядок свои мысли.

По всему было видно, что этим ключом отпиралась дверь, из которой, как я видел, вышел граф, и потому, не нуждаясь в ломе, я спрятал его за столбом и взял только факел. Подойдя к двери, находящейся под сводами, и спустившись к ней по трем ступеням, я примерил ключ к замку — он подошел; при втором повороте замок отперся, и я хотел закрыть за собой дверь, как вдруг подумал, что какой-нибудь случай может помешать мне снова открыть ее ключом, когда я буду возвращаться. Я сходил за ломом, спрятал его в самом далеком уголке между четвертой и пятой ступенями, потом запер за собой дверь; тогда, очутившись в темноте, зажег факел, и подземелье осветилось.

Я увидел коридор, имевший не более пяти или шести футов в ширину: стены и свод были каменными; лестница в двадцать ступеней вилась передо мной, — спустившись по ней, я продолжал идти по наклонному коридору, все более углублявшемуся в землю, и, наконец, увидел в нескольких шагах впереди еще одну дверь, подойдя к которой я приложил ухо к дубовым доскам и послушал, но за ней было тихо. Тогда я попробовал открыть ключом: ключ подошел, и дверь открылась, как и первая. Я вошел, не запирая ее за собой, и очутился в подземелье, где прежде погребали настоятелей аббатства: простых монахов хоронили на кладбище.

Там я постоял минуту. Видно по всему, что я приближался к цели своего путешествия. Я твердо решил исполнить свое намерение; однако, — продолжал Альфред, — ты легко поймешь, что подземелье произвело на меня огромное впечатление. Я положил руку на лоб, покрытый потом, и остановился, чтобы прийти в себя. Что найду я? Несомненно, какой-нибудь надгробный камень, положенный не более трех дней назад... Вдруг я вздрогнул. Мне послышался стон.

Этот звук пробудил всю мою храбрость, и я быстро пошел вперед. Но откуда донесся этот стон? Осматриваясь вокруг, я снова его услышал и бросился в ту сторону, откуда шел звук, рассматривая каждую нишу, но ничего не видя, кроме надгробных камней с именами почивших под ними. Наконец, придя к самому отдаленному, я заметил в углу за решеткой женщину, сидевшую со сложенными руками, закрытыми глазами и спутанными волосами, падающими на лицо. Подле нее на камне лежало письмо, погасшая лампа и пустой стакан.

Может быть, я опоздал, и она умерла? Я бросился к решетке — она была заперта, примерил ключ — он не подошел.

Услышав шум, женщина открыла свои дикие глаза, судорожно откинула волосы, закрывшие ее лицо, и вдруг поднялась, как тень. Я вскрикнул и произнес имя: «Полина». Тогда женщина бросилась к решетке и упала на колена.

— О! — воскликнула она с ужасной мукой в голосе, — возьмите меня отсюда... Я ничего не видела... ничего не скажу! Клянусь смертью!..

— Полина! Полина! — повторил я, беря ее руки через решетку, — я пришел к вам на помощь, пришел спасти вас.

— О! — сказала она вставая, — спаси меня... спаси меня!.. Отворите эту дверь... отворите ее сейчас; до тех пор, пока она не будет открыта, я не поверю тому, что вы сказали!.. Именем неба умоляю вас, отворите эту дверь! — И она трясла решетку с такой силой, которую невозможно было предположить в женщине.

— Остановитесь, остановитесь, — сказал я, — у меня нет ключа от этой двери, но есть средства отворить ее; я пойду поищу...

— Не оставляйте меня! — воскликнула она, с невероятной силой схватив меня за руку через решетку, — не оставляйте меня; я не увижу вас более.

— Полина! — сказал я, поднося факел к своему лицу. — Вы не узнаете меня? Взгляните на меня и скажите: могу ли я оставить вас?

Полина устремила на меня свои черные глаза, с минуту искала в своих воспоминаниях, потом вдруг прошептала: «Альфред де Нерваль!..».

— Благодарю, благодарю, — отвечал я, — ни вы, ни я не забыли друг друга. Да, это я, который любил вас так сильно, который любит по-прежнему. Вы видите, можно ли во мне сомневаться?

Внезапная краска покрыла ее бледное лицо: ей стало стыдно за свои подозрения! Потом она отпустила мои руки.

— Долго ли вы будете отсутствовать? — спросила она.

— Пять минут.

— Идите же, но оставьте мне факел, умоляю вас, темнота убьет меня.

Я отдал ей факел; она взяла его и прильнула к решетке, следуя за мной взглядом. Я поспешил возвратиться прежней дорогой. Проходя первую дверь, я обернулся и увидел Полину в том же самом положении, неподвижную, как статуя, держащую факел своей белой, как мрамор, рукой.

Пройдя двадцать шагов, я нашел лестницу, а на четвертой ступеньке спрятанный мной лом, и тотчас возвратился. Полина была в той же позе. Увидев меня, она радостно закричала — я бросился к решетке.

Замок был так крепок, что я обратился к петлям и начал выбивать камни. Полина светила мне. Через десять минут петли одной половинки дверей подались, я потянул их и вынул. Полина упала на колени. Только в эту минуту она почувствовала себя свободной. Я во-

шел к ней; она обернулась, схватила с камня раскрытое письмо и спрятала его на груди. Это движение напомнило мне о пустом стакане. Я взял его с беспокойством и увидел на дне белый осадок.

— Что было в этом стакане? — спросил я, испугавшись.

— Яд! — ответила она.

— И вы его выпили?

— Знала ли я, что вы придете! — сказала она, опираясь на решетку. Только сейчас она вспомнила, что осушила этот стакан за час или за два до моего прихода.

— Вы страдаете? — спросил я.

— Нет еще.

— Давно ли был растворен яд в этом стакане?

— Около двух суток, впрочем, я не могла определить время.

Я посмотрел в стакан; остатки, покрывавшие дно, меня немного успокоили: в течение двух суток яд мог разложиться. Полина выпила только воду, правда отравленную, но, может быть, не до такой степени, чтобы это могло стать причиной смерти.

— Нам нельзя терять ни одной минуты, — сказал я, схватив ее за руку, — надо бежать и искать помощи.

— Я могу идти сама, — сказала она, отняв руку.

В ту же минуту мы пошли к первой двери; я запер ее за собой; потом достигли второй, которая отворилась без труда, и вышли в монастырь. Луна сияла в небе Полина подняла руки и снова бросилась на колени.

— Пойдем, пойдем! — сказал я. — Каждая минута может стоить жизни.

— Мне стало дурно, — сказала она, вставая.

Холодный пот выступил у меня на лбу; я взял ее на руки, как ребенка, прошел развалины, вышел из монастыря и, сбегав с горы, увидел издали огонь, который разожгли мои люди.

— В море, в море! — закричал я тем повелительным голосом, который показывал, что нельзя терять ни минуты.

Они устремились к лодке, причалили как можно ближе к берегу; я вошел в воду по колени, передал Полину и сам перелез через борт.

— Вам хуже? — спросил я.

— Да! — ответила она.

Тогда я испытал что-то подобное отчаянию: нет ни помощи, ни противоядия. Вдруг мне пришла мысль о морской воде; я зачерпнул ее раковиной, которую нашел в лодке, и подал Полине.

— Выпейте,— сказал я.

Она машинально повиновалась.

— Что вы делаете! — крикнул один из рыбаков.— Ее стошнит!

Этого-то я и желал: только рвота могла спасти ее. Минут через пять она почувствовала судороги в желудке, которые причинили ей тем более сильную боль, что она целые три дня ничего не брала в рот, кроме яда. Когда прошел припадок, ей стало легче; тогда я дал ей стакан чистой и свежей воды, которую она с жадностью выпила. Вскоре боль уменьшилась, за нею последовало полное изнеможение. Мы сняли с себя верхнее платье и сделали постель. Полина легла, послушная как дитя, и тотчас закрыла глаза; я слушал с минуту ее дыхание: оно было частым, но ровным; опасность миновала.

— Теперь в Трувилль,— сказал я весело своим матросам,— и как можно скорее: я дам вам по двадцать пять луидоров.

Тотчас мои честные рыбаки, думая, что паруса недостаточно, бросились к веслам, и судно полетело по воде, как птица, спешащая к гнезду.

V

Полина открыла глаза у самой пристани; первым чувством ее был ужас; она думала, что видит сон, и протянула руки, пытаясь увериться, что больше нет стен подземелья; потом с беспокойством огляделась.

— Куда вы везете меня? — спросила она.

— Успокойтесь,— отвечал я,— эти хижины, которые вы видите,— всего лишь бедная деревушка; обитатели ее слишком заняты, чтобы быть любопытными, и вы останетесь здесь не узнанной никем столько, сколько захотите. Впрочем, если вы хотите скрыться, скажите мне только куда, и я сегодня, сию же минуту поеду с вами, чтобы защищать вас.

— А если бы я уехала из Франции?

— Везде!..

— Благодарю! — сказала она.— Дайте мне только подумать: я хочу собраться с мыслями. Сейчас у меня

болят голова и сердце, силы истощены, и я чувствую себя близкой к помешательству.

— Я исполню вашу волю. Когда захотите меня видеть, велите позвать.

Она поблагодарила меня знаком. В эту минуту мы подъехали к гостинице.

Я велел приготовить комнату в другой части дома, подальше от мосей, чтобы Полина не имела повода беспокоиться и сомневаться во мне; потом я приказал хозяйке готовить для мадам только бульон, потому что любая другая пища могла быть опасной для ее больного желудка. Отдав эти приказания, я возвратился в свою комнату.

Там я наконец смог отдаться чувству радости, переполнявшему мое сердце: при Полине я не смел показывать его... Я спас ту, которую любил, воспоминание о которой, несмотря на двухлетнюю разлуку, жило в моем сердце; я спас ее, она обязана мне жизнью. Я удивлялся, какими таинственными путями случай или Провидение вели меня к этой цели. И вдруг я почувствовал смертельный холод, подумав, что если бы не случилось одного из этих маленьких событий или происшествий, цепь которых образовала путеводную нить, ведущую меня в этом лабиринте, то в этот самый час Полина, запертая в подземелье, ломала бы руки в конвульсиях от яда или голода, между тем как я, в своем неведении занятый вздорами, может быть, развлечениями, отдал бы ее в жертву страданиям,— и ни один вздох, ни одно предчувствие, ни один голос не сказал бы мне: она умирает, спаси ее... Сама мысль об этом была ужасна, а думать об этом было невыносимо. Правда, в этих размышлениях в конце концов можно найти утешение: исчерпав круг сомнений, они приводят нас к вере, к вере в то, что не слепой случай повелевает миром, но Провидение Божье.

— Я пробыл примерно час в таком состоянии, и, клянусь тебе,— продолжал Альфред,— ни одна нечистая мысль не возникла в моем уме или сердце. Я был счастлив, гордился ее спасением. Этот поступок и был моей наградой, и я не хотел другой, став счастливым его исполнителем. Через час она велела позвать меня. Я в то же мгновение встал и бросился к ее комнате: но у двери силы меня оставили, и я вынужден был прислониться на минуту к стене. Горничная вышла, приглашая к Полине, и тогда я превозмог свое волнение.

Она лежала на постели, но была одета. Я подошел к ней, стараясь казаться как можно более спокойным; она протянула мне руку.

— Я не благодарила еще вас,— сказала она,— извините за невозможность найти слова, которые выразили бы мою благодарность. Примите во внимание также ужас женщины в той ситуации, в которой вы нашли меня, и простите.

— Выслушайте меня,— сказал я, стараясь умерить свое волнение,— и поверьте тому, что скажу вам. Бывают происшествия настолько неожиданные, настолько странные, что они исключают общепринятые правила поведения и соблюдение формальных приличий. Бог привел меня к вам, благодарю его; но надеюсь, что я еще не исполнил до конца его волю — и, может быть, вы будете во мне нуждаться. Итак, выслушайте меня и взвесьте каждое мое слово.

Я свободен... богат... я ничем не привязан к одному месту, так же как и к другому. Я хотел путешествовать, отправиться в Англию без всякой цели, но я могу изменить свой маршрут и ехать туда, куда направит меня случай. Может быть, вам надо покинуть Францию. Я не прошу, чтобы вы открыли мне ваши тайны, но ожидаю, что вы позволите мне высказать предположение. Останетесь ли вы во Франции или покинете ее, располагайте мной как другом или братом. Прикажете ли, чтобы я сопровождал вас или следовал за вами издали, делаете ли меня открыто вашим защитником или требуете, чтобы я сделал вид, будто не знаком с вами,— я повинуюсь в ту же минуту, и это, поверьте мне, без скрытой мысли, без себялюбивой надежды и без дурного намерения. Теперь позабудьте ваши годы, мои или предположите, что я брат ваш.

— Благодарю! — сказала графиня голосом глубокой признательности.— Принимаю предложение с доверием, равным вашей откровенности; полагаюсь совершенно на вашу честь, потому что отныне вы — единственный близкий мне человек на всем свете, вы один знаете, что я существую. Да, предположение ваше справедливо: я должна покинуть Францию. Вы поедете в Англию и проводите меня туда; но я не могу появиться там одна, без семьи. Вы предлагаете мне имя вашей сестры; хорошо, отныне для всего света я буду девицей де Нерваль!

— О, как я счастлив! — воскликнул я... Графиня жестом попросила меня выслушать ее.

— Я потребую от вас большего, чем вы предполагаете; я была богата, но мертвые ничем не владеют.

— Но я богат — все состояние мое...

— Вы не понимаете меня и, не дослушав, заставляете краснеть.

— Простите!

— Я буду девицей де Нерваль, дочью вашего отца, сиротой, а вы — моим опекуном. Вы должны иметь рекомендательные письма и представить меня как учительницу в какой-нибудь пансион. Я говорю на английском и итальянском языках, как на своем родном; хорошо знаю музыку — по крайней мере мне говорили это прежде — и буду давать уроки музыки и языков.

— Но это невозможно! — сказал я.

— Вот мои условия, — ответила графиня, — отвергаете вы их или принимаете?

— Все, что вы хотите, все, все!..

— Итак, нам нельзя терять времени: завтра мы должны отправиться. Можно ли?

— Обязательно.

— Но паспорт?

— У меня есть.

— На имя господина де Нерваль?

— Я припишу имя своей сестры.

— Но это будет обман?

— Очень невинный. Неужели вы хотите, чтобы я написал в Париж с просьбой о другом паспорте?..

— Нет, нет. Это повлечет за собой большую потерю времени. Откуда мы отправимся?

— Из Гавра.

— Как?

— На пакет-боте, если вам угодно.

— Когда же?

— Это в вашей воле.

— Можем ли мы ехать сию же минуту?

— Меня смущает только ваше самочувствие.

— Вы ошибаетесь, я здорова. Как только будете готовы отправиться, приглашайте меня, я не задержу вас ни на секунду.

— Через два часа.

— Хорошо. Прощайте, брат.

— Прощайте, сударыня!

— А! — возразила графиня, улыбаясь. — Вот вы уж и изменяете нашим условиям.

— Позвольте мне со временем привыкнуть к этой приятной возможности звать вас сестрой.

— Разве для меня ваше имя не так же приятно?

— О! Вы...— воскликнул я, но понял, что хотел сказать слишком много.— В два часа,— повторил я,— все будет готово по вашему желанию.

Я поклонился и вышел.

Не более четверти часа прошло, как я до конца осознал свою роль брата и почувствовал всю ее трудность. Быть названным братом молодой и прекрасной женщины — уже трудно; но когда вы любите эту женщину, когда, потеряв ее, опять находите — одинокую и покинутую, не имеющую, кроме вас, другой опоры; когда счастье, которому не смели верить, потому что смотрели на него, как на недосыгаемую мечту,— подле вас во всей определенности, и, протягивая руку, вы можете до него дотронуться, тогда, несмотря на принятую решимость, несмотря на данное слово, душа не может скрывать то, что постоянно выдают й ваши глаза, и ваш голос.

Найдя моих гребцов за ужином и за чарою вина, я сказал, что хочу сейчас отправиться в Гавр, чтобы приехать туда ночью и поспеть ко времени отъезда пакетбота; но они отказались пуститься в море на том же самом судне, а для подготовки другой, более надежной шлюпки, им потребуется, как они сказали, только один час. Поэтому мы сразу договорились об оплате, вернее, они просто положились на мое великодушие. Я прибавил к двадцати пяти луидорам, полученным ими, еще пять, а за эту сумму они взяли бы доставить меня в Америку.

Потом я пошел делать осмотр шкафов мсей хозяйки, потому что у графини было только одно платье. Я боялся за нее еще слабую и больную, боялся ветра и ночного тумана. Заметив на одной полке большой шерстяной платок, я взял его и попросил госпожу Озере внести его в мой счет. Я надеялся, что благодаря этой шали и моему плащу моей спутнице будет тепло во время путешествия. Полина не заставила себя ждать и, когда узнала, что все готово, в ту же минуту вышла. Я воспользовался оставшимся временем, чтобы рассчитаться в гостинице. Итак, нам осталось только дойти до пристани и отправиться.

Как я и предвидел, ночь была холодна, однако тиха и прекрасна. Я укутал графиню шалью и хотел проводить под тент, раскинутый в лодке нашими рыбаками;

но чистота неба и неподвижность моря удержали ее на палубе; мы сели на скамейку друг подле друга.

Сердца наши были так полны, что мы сидели, не произнося ни слова. Я склонил голову на грудь и погрузился в раздумья о тех странных и удивительных приключениях, с которыми я так неожиданно столкнулся и которые, очевидно, еще только начинаются для меня, но определяют мое будущее. Я горел желанием узнать, по каким причинам графиня Безеваль, молодая, красивая, и, как говорили, горячо любимая мужем, была заключена в подземелье разрушенного аббатства и обречена на верную гибель, от которой я ее избавил. Зачем понадобилось ее мужу объявлять о ее смерти и зачем он положил на смертное ложе тело другой женщины? Уж не из ревности ли?... Эта мысль с самого начала приходила мне в голову: она была мучительна... Полина любит кого-нибудь?.. Если это так, то все мои мечты рушились, потому что не для меня она вернулась к жизни, а для того человека, которого она любит, ибо он найдет ее, где бы она ни скрылась. Я спас ее для другого: она поблагодарит меня как брата — и только, а этот человек пожмет мне руку, повторяя, что он обязан мне более нежели жизнью. Потом они будут счастливы, тем более что их никто не будет знать... А я! Я вернусь во Францию, чтобы страдать, как уже страдал, и в тысячу раз более, потому что блаженство, которое было всегда так далеко, приблизилось ко мне, чтобы еще безжалостнее ускользнуть; тогда наступит минута, когда я прокляну тот час, в который спас эту женщину, или пожалею, что умершая для всего света, она жива для меня — вдали и для другого — вблизи... Впрочем, если она виновата, мщение графа справедливо... На его месте... я не оставил бы ее умирать... но, наверное... убил бы... ее и человека, которого она любит! Полина любит другого! Полина виновна!.. О! Эта мысль терзала мое сердце... Я медленно поднял глаза; Полина, запрокинув голову, смотрела на небо, и две слезинки катились по ее щекам.

— Что с вами? Боже мой! — испугался я.

— Неужели вы думаете, — сказала она, сохраняя ту же позу, — что можно покидать навсегда отечество, семью, мать, и при этом сердце может не разрываться на части? Что можно перейти если не от счастья, то по крайней мере от спокойствия к отчаянию без того, чтобы сердце не облилось кровью? Неужели вы думаете, что в моем возрасте можно переплывать море, отправляясь навсег-

да в чужую страну, и не смешивать свои слезы с волнами, которые далеко уносят вас от всего, что вы любили?..

— Но разве это навсегда?

— Навсегда,— сказала она, качая головой.

— И тех, кого вы любили, вы не увидите больше?

— Никого.

— И все без исключения, навсегда, не имеют права знать, что та, которую считают умершей, живет и плачет?

— Все... навсегда... без исключения...

— О! — изумился я.— Но тогда я счастлив, и огромная тяжесть свалилась с моего сердца!..

— Я не понимаю вас,— сказала Полина.

— Вы не знаете, сколько сомнений и страхов пробудилось во мне?.. Но неужели вы не хотите узнать, какие обстоятельства привели меня к вам? Конечно, своему спасению вы обязаны Небу, но, возможно, вы хотите услышать, какими средствами воспользовался Бог для вашего спасения?..

— Да, вы правы: брат не должен иметь тайн от сестры... Вы расскажете мне все, и я ничего не скрою от вас...

— Ничего... О, поклянитесь мне... Вы позволите мне читать в вашем сердце, как в открытой книге?

— Да... и вы увидите, что мое сердце знало только несчастье, покорность судьбе и молитву... Но теперь не время. Я нахожусь под впечатлением этих страшных событий, и у меня нет сил рассказывать о них...

— О, когда хотите — я буду ждать.

Она встала:

— Я хочу успокоиться, вы, кажется, говорили, что мне можно спать в этой палатке?

Я проводил ее, разостлал свой плащ на полу и вышел на палубу. Я сел на том самом месте, которое занимала Полина, и пробыл в таком положении до самого приезда в Гавр.

На другой день вечером мы сели на корабль «Бригтон» и через шесть часов были в Лондоне.

VI

В первую очередь мне нужно было отыскать помещение для себя и сестры. В тот же день я отправился к банкиру, у которого был аккредитован; он показал мне

небольшой меблированный домик, очень удобный для двоих. Я поручил ему снять особняк, и на другой день мне сообщили, что дом в моем распоряжении.

Графиня еще спала, когда я отправился в магазин; там мне выбрали полный комплект белья, довольно простого, но сделанного с большим вкусом; через два часа оно было помечено именем Полины де Нерваль и перенесено в спальню той, для которой предназначено. Потом я зашел к модистке, которая, несмотря на то что была француженка, так же быстро снабдила меня всем необходимым; что касается платьев, то я выбрал самые лучшие ткани, какие только мог найти, и попросил модистку, чтобы она прислала портниху сегодня вечером.

Возвратясь домой в двенадцать часов, я узнал, что сестра моя проснулась и ждет меня к чаю. Она была одета в очень простое платье, которое успели сделать ей за те двенадцать часов, что мы провели в Гавре. Она была прелестна в этом платье!

— Не правда ли,— сказала она, увидев меня,— мой костюм соответствует моему новому положению, и теперь будет очень естественно представить меня в качестве гувернантки.

— Я сделаю все, что вы прикажете,— сказал я.

— Но вам не так надо говорить, и если я исполняю свою роль, то вы забываете свою. Братья не должны так слепо повиноваться желаниям своих сестер, особенно если это старшие братья. Вы выдаете себя: берегитесь.

— Меня поражает ваше присутствие духа,— сказал я, печально глядя на нее,— в вашем сердце печаль из-за глубоких душевных страданий, ваше лицо бледное и усталое из-за физических болей и истощения; вы покинули навсегда все то, что было вам дорого, что вы любили, не так ли,— и у вас есть силы улыбаться? Нет, плачьте, мне это больше по душе.

— Да, вы правы,— сказала она,— я самая дурная комедиантка. Не правда ли, слезы видны сквозь мою улыбку? Но я плакала все время, когда вас не было, и мне стало легче, так что на взгляд менее пронизательный, чем ваш, брат, менее внимательный,— я все уже забыла.

— О, будьте спокойны, сударыня! — сказал я с горечью, потому что все подозрения мои вернулись.— Будьте спокойны, я не доверю этому никогда.

— Можно ли не печалиться о своей матери, когда знаешь, что она считает тебя мертвой и оплакивает твою

смерть?.. О, моя матушка, моя бедная матушка! — воскликнула графиня рыдая и падая на диван.

— О, Боже, какой я эгоист, — сказал я, приближаясь к ней, — я предпочитаю ваши слезы вашей улыбке: слезы доверчивы, улыбка скрытна. Улыбка — это покрывало, которым закрывается сердце, чтобы лгать... А когда вы плачете, мне кажется, я вам нужен, чтобы осушить ваши слезы... Когда вы плачете, я надеюсь, что когда-нибудь заботами, вниманием, почтением утешу вас. А если вы утешились, то какая надежда мне остается?

— Альфред! — сказала графиня с глубоким чувством признательности, называя меня в первый раз по имени. — Перестанем меняться пустыми словами: мы попали в такие странные обстоятельства, что не стоит хитрить друг с другом. Будьте откровенны, спросите меня, что вам хочется знать, и я отвечу вам.

— О, вы ангел! — ответил я. — А я, я — сумасшедший: я не имею права ничего знать, ни о чем спрашивать. Разве я не был счастлив настолько, насколько может быть счастлив человек, когда нашел вас в подземелье; когда, сходя с горы, нес вас на руках; когда вы опирались на мое плечо в лодке? Не знаю почему, но мне бы хотелось, чтобы вечная опасность угрожала вам, чтобы сердце ваше дрожало подле моего. Хотя существование, полное таких ощущений, не может быть долгим. Не прошло бы и года — и сердце разорвалось бы на части. Но самую долгую жизнь можно променять на подобный год! Тогда вы были бы отданы вашему страху, и я один был бы вашей надеждой. Тогда воспоминания о Париже не стали бы мучить вас. Вы не прибегнули бы к улыбке, чтобы скрыть от меня ваши слезы; я бы был счастлив!.. Я не ревновал бы!

— Альфред! — сказала графиня очень серьезно. — Вы сделали для меня столько, что я должна сделать что-нибудь для вас. Очевидно, вы сильно страдаете, если позволили себе говорить со мной таким тоном; вы доказываете, что забыли о моем положении, о моей полной зависимости от вас; вы заставляете меня краснеть за себя и страдать за вас.

— Простите, простите! — воскликнул я, падая на колени. — Но вы знаете, что я любил вас, когда вы были совсем юной, хотя никогда не говорил вам этого; знаете, что только моя бедность помешала мне просить вашей руки; знаете еще, что с того времени, как я нашел вас, эта любовь, уснувшая, может быть, но не погасшая,

вспыхнула сильнее и ярче, чем когда-то. Вы это знаете, потому что нет необходимости говорить о таких чувствах. И что же? Я страдаю, когда вижу вашу улыбку, как и ваши слезы. Когда вы смеетесь, вы что-то скрываете от меня; когда плачете — сознаетесь мне во всем. Ах! Вы любите, вы сожалеете о ком-нибудь?

— Вы ошибаетесь,— отвечала графиня,— если я любила — не люблю больше; если сожалею — то только о матери.

— Ах, Полина! Полина! — воскликнул я.— Правду ли вы говорите? Не обманываете ли меня? Боже мой! Боже мой!

— Неужели вы думаете, что я способна купить ваше покровительство ложью?

— О! Боже меня сохрани!.. Но откуда же взялась ревность вашего мужа, потому что только ревность может довести до подобного злодейства.

— Послушайте, Альфред, когда-нибудь я должна открыть вам эту страшную тайну: вы имеете право знать ее. Сегодня вечером вы ее узнаете; сегодня вечером вы прочтете в душе моей; сегодня вечером вы будете располагать более нежели моей жизнью — будете располагать моей честью и честью моей фамилии; но с условием...

— Каким? Говорите: я принимаю его заранее.

— Вы никогда не будете говорить мне о любви; а я обещаю вам не забывать, что вы меня любите.— Она протянула мне руку, я поцеловал ее с почтением.

— Садитесь,— сказала она,— не будем говорить об этом до вечера... Но что вы сегодня делали?

— Я искал небольшой домик, простой и уединенный, в котором вы были бы свободны, были бы полной хозяйкой, потому что вам нельзя оставаться в гостинице.

— И вы нашли его?

— Да! В Пиккадили. Если хотите, мы поедем посмотреть его после завтрака.

— Берите же вашу чашку.

Мы напились чаю, сели в карету и поехали осмотреть наш дом.

Он был невелик, с зелеными жалюзи, с садиком, наполненным цветами, настоящий английский домик в два этажа. В нижнем этаже были общие покои. Первый этаж предназначался для Полины, а второй для меня.

Мы вошли в ее покои; они состояли из передней, гостиной, спальни, будуара и кабинета, в котором было все,

что нужно для музыки и рисования. Я открыл шкафы: в них уже лежало белье.

— Что это? — спросила Полина.

— Когда вы поступите в пансион, — отвечал я, — вам понадобится это белье. Оно помечено вашими инициалами «П» и «Н»: Полина де Нерваль.

— Благодарю, брат, — сказала она, пожимая мне руку. В первый раз она назвала меня этим именем после нашего объяснения; но на этот раз это не показалось мне неприятным.

Мы вошли в спальню; на постели лежали две шляпки, сделанные по последней парижской моде, и простая кашемировая шаль.

— Альфред! — сказала мне графиня, замечая их. — Я должна была одна войти сюда, чтобы найти все эти вещи. Мне стыдно, что я заставила вас столько хлопотать о себе... Я не знаю, прилично ли это, если я приму ваши подарки...

— Вы отдадите мне деньги за все это, когда получите плату за свои уроки, — прервал я. — Брат может ссужать сестру.

— Он может даже дарить ей что-нибудь, если он богаче ее; и в этом случае тот, кто дарит, — счастлив.

— О! Вы правы! — обрадовался я. — И ни один порыв нежности моего сердца от вас не ускользнет... Благодарю... благодарю...

Потом мы прошли в кабинет. На фортепьяно лежали новейшие романы Дюшанж, Лаббара и Плантада; самые модные отрывки из опер Беллини, Мейербера и Россини. Полина раскрыла одну тетрадь и глубоко задумалась.

— Что с вами? — спросил я, увидев, что глаза ее остановились на одной странице и она словно забыла о моем присутствии.

— Странная вещь, — бормотала она, отвечая и на свою мысль и на мой вопрос, — не более недели прошло, как я пела этот самый романс у графини М..., тогда у меня была семья, имя, жизнь. Прошло восемь дней... и ничего этого уже нет... — Она побледнела и скорее упала, чем села в кресло. Можно было подумать, что она умирает. Я подошел к ней, она закрыла глаза; я понял, что она вся погружена в свои воспоминания. Я сел подле нее и, положив ее голову на свое плечо, сказал:

— Бедная сестра!..

Тогда она начала плакать; но на этот раз без конвульсий, без рыданий; это были слезы грустные и молчали-

вые; слезы, которые приносят облегчение, которым следует дать полную волю. Через минуту она открыла глаза и улыбнулась.

— Благодарю вас,— сказала она,— что вы дали мне поплакать.

— Я не ревную больше,— ответил я.

Встав, она спросила меня, есть ли здесь второй этаж.

— Да, и расположен так же, как и этот.

— Будет ли он занят?

— Это вы решите.

— Надо принять со всей ответственностью положение, в которое поставила нас судьба. В глазах света вы — мой брат и, естественно, должны жить в одном доме со мной; ведь все решили бы, что это странно, если бы вы стали жить в другом месте. Эти покои будут ваши. Пойдемте в сад.

Это был зеленый ковер с клумбами цветов. Мы обошли его два-три раза по песчаной аллее, потом Полина подошла к кустам роз и набрала букет.

— Посмотрите на эти бедные розы,— сказала она, возвратившись,— как они бледны и почти без запаха. Не правда ли, они имеют вид изгнанников, которые томятся по своей родине? Мне кажется, они тоже имеют понятие о том, что называется отечеством, и страдают.

— Вы ошибаетесь,— сказал я,— эти цветы здесь родились; здешний воздух им привычен; это дети туманов, а не росы, и более яркое солнце сожгло бы их. Впрочем, они созданы для украшения белокурых волос и будут в гармонии с матовым цветом лица дочерей севера. Для вас, для ваших черных волос нужны те пламенные розы, которые цветут в Испании. Мы поедем туда искать их, когда захотите.

Полина печально улыбнулась.

— Да,— сказала она,— в Испанию... в Швейцарию... в Италию... куда угодно... исключая Францию... — Потом она продолжала идти, не говоря более ни слова, машинально обрывая лепестки роз и бросая их на дорожку.

— Но неужели вы навсегда потеряли надежду туда возвратиться? — спросил я.

— Разве я не умерла?

— Но переменяв имя...

— Надо переменить и лицо.

— Итак, это ужасная тайна?

— Это медаль с двумя сторонами, у которой с одной стороны — яд, а с другой — эшафот. Я должна открыть

вам все, и чем скорее, тем лучше. Но расскажите мне прежде, каким чудом Провидение послало вас ко мне?

Мы сели на скамью под величественным платаном, который своей вершиной закрывал часть сада. Начал я свою повесть с самого приезда в Трувиль. Рассказал ей, как был застигнут бурей и выброшен на берег; как, отыскивая убежище, набрел на развалины аббатства; как, разбуженный шумом двери, увидел человека, выходящего из подземелья, как этот человек зарыл что-то под камнем и как я оказался с тех пор связанным тайной, которую решил разгадать. Потом рассказал ей о путешествии в Див, о полученной там роковой новости, об отчаянном намерении увидеть Полину еще раз; об удивлении своем и радости, когда узнал под смертным саваном другую женщину; наконец, о ночном путешествии, о ключе под камнем, о входе в подземелье, о счастье и радости, которые я испытал, когда нашел ее. Я рассказал ей все это с тем выражением, которое говорило о моей любви больше, чем могли бы сказать самые пылкие признания. Я был счастлив и вознагражден тем, как она слушала меня. Я видел, что этот страстный рассказ передал ей мои чувства и что мои слова и интонации голоса, полные страсти, тронули ее сердце. Когда я закончил, она взяла мою руку, пожала ее, не говоря ни слова, и некоторое время смотрела на меня с чувством ангельской признательности. Потом прервала молчание:

— Дайте мне клятву.

— Какую? Говорите.

— Поклянитесь мне всем для вас священнейшим, что вы не откроете никому на свете моей тайны, по крайней мере все годы, пока я, моя матушка или граф будем живы.

— Клянусь честью! — ответил я.

— Теперь слушайте.

VII

— «Нет необходимости рассказывать вам о моей семье, вы ее знаете: моя матушка да несколько дальних родственников — вот и все.

Я была богата, у меня было приличное состояние.

— Увы! — прервал я. — Почему вы не были бедны?

— Отец мой, — продолжала Полина, не показывая, что она заметила, с каким чувством это было сказано, — оставил после смерти сорок тысяч ливров ежегодного до-

хода. Кроме меня, не было других детей, и я вступила в свет богатой наследницей.

— Вы забываете,— сказал я,— о своей красоте, соединенной с блестящим воспитанием.

— Вы постоянно перебиваете меня и не даете продолжать,— отвечала мне, улыбаясь, Полина.

— О! Вы не можете рассказывать, как я, о том впечатлении, которое вы произвели в свете; эта часть истории известна мне лучше, чем вам. Вы были, не подозревая сами, царицей всех балов, царицей с короной, которую не замечали только вы. Тогда-то я увидел вас. В первый раз это было у княгини Бел... Все, кто был знаменитым и известным, собирались у этой прекрасной изгнанницы Милана. Там пели, и виртуозы наших гостиных подходили поочередно к фортепьяно. Все самые прекрасные музыканты и певцы были здесь, чтобы восхитить эту толпу любителей и знатоков искусства, всегда удивляющуюся, встречая в свете то совершенство в исполнении, которого мы требуем и так редко находим в театре. Потом кто-то начал говорить о вас и произнес ваше имя. Отчего сердце мое забилося при этом имени, произнесенном в первый раз при мне? Княгиня встала, взяла вас за руку и повела, почти как жертву, к этому алтарю музыки. Скажите мне еще, отчего, увидев ваше смущение, я ощутил чувство страха, как будто вы были моей сестрой, хотя я знал вас не более четверти часа? О! Я дрожал, может быть, больше, чем вы, и, наверно, вы даже не подозревали, что в этой толпе есть сердце, родное вашему, которое разделяло ваши страхи и восхищалось вашим торжеством. Уста ваши открылись, и мы услышали первые звуки голоса, еще дрожащего и неверного. Но вскоре ноты сделались чистыми и звучными, глаза ваши поднялись от земли и устремились к небу. Толпа, окружавшая вас, сомкнулась, и я не знаю, достигли ли вашего слуха ее рукоплескания: душа ваша, казалось, парила над всеми. Это была ария Беллини, мелодичная и простая, однако полная слез,— такую мелодию мог создать только он. Я не рукоплескал вам — я плакал. Вы возвращались на свое место в шуме похвал; я один не смел подойти к вам; я сел так, чтобы видеть вас постоянно. Вечер продолжался. Музыка потрясла восхищенных слушателей своей гармонией. Но я ничего не слышал с тех пор, как вы отошли от фортепьяно; все чувства мои сосредоточились на одном. Я смотрел на вас. Помните ли этот вечер?

— Да, я припоминаю его,— сказала Полина.

— Потом,— продолжал я, не думая, что прерываю ее рассказ,— потом я услышал не эту же арию, а народную песенку, с которой она была похожа по мелодии. Это было в Сицилии, вечером, какие бывают только в Италии и Греции. Солнце едва скрылось за Джирджентами, древним Агригентом. Я сидел возле дороги. По левую сторону от меня начинал теряться в вечернем сумраке морской берег, усеянный развалинами, среди которых возвышались три храма; дальше простиралось море, неподвижное и блестящее, как серебряное зеркало. По правую сторону резкой чертой отделялся от золотого фона город, как на одной из картин ранней флорентийской школы, которые приписывают Гадди и которые помечены именами Чимабуе или Джотто. Напротив меня молодая девушка шла от источника, неся на голове древнюю амфору и запева песенку, о которой я говорил вам. О! Если бы вы знали, какое впечатление произвела на меня эта песенка. Я закрыл глаза и опустил голову на грудь: море, берег, храмы,— все исчезло, даже эта девушка, которая, как волшебница, вернула меня на три года назад и перенесла в салон княгини Бел... Тогда я опять увидел вас, опять услышал ваш голос и смотрел на вас с восторгом. Но вдруг глубокая печаль овладела мной, потому что в то время вы уже не были молодой девушкой, которую я так любил и которую звали Полиной Мельен; вы стали графиней Безеваль... Увы!.. Увы!..

— Да, увы! — прошептала Полина.

Прошло несколько минут в молчании. Полина первая его нарушила.

— Да, это было прекрасное, счастливое время моей жизни,— сказала она.— Ах! Молодые девушки не понимают своего счастья; они не знают, что несчастье не смеет коснуться целомудренного покрова, который защищает их и который муж когда-нибудь сорвет с них. Да, я была счастлива в течение трех лет. Три года ни разу не было омрачено блестящее солнце моих дней; едва ли затемнялось оно, как облаком, каким-нибудь невинным волнением, которое молодые девушки принимают за любовь. Лето мы проводили в своем замке Мельен; на зиму возвращались в Париж. Лето проходило в деревенских праздниках, а зимы едва хватало для городских удовольствий. Я не думала, что жизнь, такая тихая и спокойная, может когда-нибудь омрачиться. Я была весела и доверчива. Так мы прожили до осени 1830 года.

По соседству с нами находилась дача госпожи Люсьен, муж которой был большим другом моего отца. Однажды вечером она пригласила нас, меня и мою матушку, провести весь следующий день у нее в замке. Ее муж, сын и несколько молодых людей, приехавших из Парижа, собрались там для кабаньей охоты, и большой обед должен был прославить победу нового Мелеагра. Мы дали слово.

Приехав в замок, мы не застали охотников, но так как парк не был огражден, то мы легко могли присоединиться к ним. Время от времени до нас доносились звуки рога, и, слыша их, мы могли бы, если бы захотели, прибыть на место охоты. Господин Люсьен остался в замке с женой, дочерью, моей матерью и со мной; Поль, его сын, распоряжался охотой.

В полдень звуки рога начали приближаться; мы услышали сигнал, повторившийся несколько раз. Господин Люсьен сказал нам, что пришло время посмотреть; кабан утомился и, если мы хотим посмотреть охоту, нужно садиться на лошадей; в ту же минуту прискакал к нам один из охотников с приглашением от Поля. Господин Люсьен взял карабин, повесил его через плечо; мы тоже сели на лошадей и отправились вслед за ним. Наши матушки пошли пешком в павильон, вокруг которого происходила охота.

Через несколько минут мы были на месте, и, несмотря на мое отвращение к такого рода удовольствиям, вскоре звук рога, быстрота езды, лай собак, крики охотников произвели на нас свое действие, и мы — Люция и я — поскакали, полусмеясь, полудрожа, наравне с самыми искусными наездниками. Два или три раза мы видели кабана, перебегавшего аллеи, и каждый раз собаки были к нему все ближе и ближе. Наконец он прислонился к одному большому дубу, обернулся и выставил свою голову навстречу своре собак. Это было на краю лесной прогалины, на которую выходили окна павильона, так что госпожа Люсьен и моя мать могли видеть все происходящее.

Охотники стояли в сорока или пятидесяти шагах от того места, где происходило сражение. Собаки, разгоряченные погоней, бросились на кабана, который почти исчез под их движущейся и пестрой массой. Время от времени одна из нападавших летела вверх на высоту восьми или десяти футов от земли и с визгом падала, вся окровавленная; потом бросалась обратно и, несмотря на

раны, вновь нападала на своего неприятеля. Сражение продолжалось уже около четверти часа, и уже более десяти или двенадцати собак было смертельно ранено. Это зрелище, кровавое и ужасное, показалось мне мучением и, кажется, то же действие произвело на других зрителей, потому что я услышала голос госпожи Люсьен, которая кричала: «Довольно, довольно! Прошу тебя, Поль, довольно!» Тогда Поль соскочил с лошади с карабином в руке, прицелился в середину собак и выстрелил.

В то же мгновение — все это происходило с быстротой молнии — стая собак отхлынула, раненый кабан бросился за ними, и, прежде чем госпожа Люсьен успела вскрикнуть, он сбил с ног Поля; Поль, опрокинутый, упал, и свирепое животное, вместо того чтобы бежать, остановилось в остервенении над своим новым врагом.

Тогда последовала минута страшного молчания; госпожа Люсьен, бледная как смерть, протянув руки в сторону сына, шептала едва слышно: «Спасите его!.. Спасите его!» Господин Люсьен, который был вооружен, взял свой карабин и хотел прицелиться в кабана, но там был Поль; стоило дрогнуть его руке — и отец убил бы сына. Судорожная дрожь овладела им; он понял свое бессилие, бросил карабин и устремился к Полю, крича: «На помощь! На помощь!» Прочие охотники последовали за ним. В то же мгновение один молодой человек соскочил с лошади, поднял ружье и закричал тем могучим и твердым голосом, который повелевает: «Место, господа!» Охотники расступились, чтобы дать дорогу пуле, посланнице смерти. То, что я рассказываю вам, произошло менее чем за минуту.

Взоры всех остановились на охотнике и на его страшной цели. Он был тверд и спокоен, как будто перед глазами его была простая дощатая мишень. Дуло карабина медленно поднялось, потом, когда оно достигло нужной высоты, охотник и ружье стали такими неподвижными, словно были высечены из камня. Выстрел раздался, и кабан, раненный насмерть, повалился в двух или трех шагах от Поля, который, оказавшись свободным, стал на одно колено и схватил охотничий нож. Но напрасно: пуля направлена была такой верной рукой, что была смертельной. Госпожа Люсьен вскрикнула и упала в обморок. Люция начала клониться с лошади и упала бы, если бы один из охотников не поддержал ее; я соскочила со своей лошади и побежала на помощь к госпоже Люсьен.

Охотники, исключая спасителя, который, выстрелив, спокойно ставил свой карабин к стволу дерева, окружили Поля и мертвого кабана.

Госпожа Люсьен пришла в чувство на руках сына и мужа. У Поля была только слегка ранена нога: так быстро случилось все рассказанное мною. Когда прошло первое волнение, госпожа Люсьен огляделась: она хотела выразить материнскую благодарность и искала охотника, спасшего ей сына. Господин Люсьен понял ее намерение и подвел к ней спасителя. Госпожа Люсьен схватила его руку, хотела благодарить, залилась слезами и могла только сказать: «О! Господин Безеваль!..»

— Так это был он? — изумился я.

— Да, это был он. Я увидела его в первый раз, окруженного признательностью целого семейства, и была ослеплена волнением, которое испытала при происшествии; а он был героем всего случившегося. Это был молодой человек среднего роста, с черными глазами и светлыми волосами. На первый взгляд ему было не более двадцати лет; но, рассмотрев его внимательнее, можно было заметить легкие морщины, бегущие от глаз к вискам, тогда как неприметная складка проходила по лбу, показывая на постоянное присутствие мрачной мысли. Бледные и тонкие губы, прекрасные зубы и женские руки довершали облик этого человека, который сначала внушил мне скорее чувство отвращения, чем симпатии: таким холодным было среди всеобщего восторга лицо этого человека, которого мать благодарила за спасение сына.

Охота кончилась, и мы возвратились в замок. Войдя в гостиную, граф Безеваль извинился, что не может остаться: он дал слово обедать в Париже. Ему заметили, что ему придется сделать пятнадцать лье за четыре часа, чтобы не опоздать. Граф отвечал, улыбаясь, что лошадь его привыкла к такой езде, и приказал своему слуге привести ее.

Слугой был малаец, которого граф привез из путешествия в Индию, где получил значительное наследство. Малаец носил костюм своей страны, хотя жил во Франции уже около трех лет, и говорил только на родном языке; граф знал на нем только несколько слов и с их помощью объяснялся со слугой. Малаец исполнил приказание с удивительным проворством, и скоро мы увидели в окнах гостиной двух лошадей, рывших от нетерпения землю, — их породу так превозносили все мужчины! Это были в самом деле, насколько я могла судить, две превосходные ло-

шади, которые принц Конде хотел купить, но граф удвоил цену, предложенную его королевским высочеством, и они были у него похищены.

Все провожали графа до подъезда. Госпожа Люсьен, казалось, не сумела за это время выразить ему всю свою признательность и жала его руки, умоляя возвратиться. Он обещал, бросив быстрый взгляд, заставивший меня опустить глаза, как при блеске молнии; мне показалось почему-то, что этот взгляд был адресован мне. Когда я подняла голову, граф был уже на лошади, поклонился в последний раз госпоже Люсьен, сделал нам общее приветствие, а Полю дружеский знак рукой, прищпорил свою лошадь и скрылся за поворотом дороги.

Каждый остался на том же месте, молча смотря в ту сторону, где исчез граф. В этом человеке было что-то необыкновенное, приковывавшее невольное внимание. В нем был тот могучий дух, который природа, как бы по капризу, любит иногда заключать в тела, по-видимому, слишком слабые, чтобы выдержать такую силу. Столько противоположностей было в этом человеке! Для тех, кто не знал его, он казался слабым и болезненным; для друзей же это был железный человек, не знающий усталости, преодолевающий всякое волнение, укрощающий всякую страсть. Поль видел, как он проводил целые ночи за картами или в буйных оргиях, а на другой день, когда товарищи его спали, отправлялся, не отдохнув ни часу, на охоту или на прогулку с другими, которых утомлял так же, как и первых, не проявляя сам никаких признаков усталости, кроме сильной бледности и своего обычного сухого кашля, который тогда усиливался.

Не знаю отчего, я слушала эти подробности с чрезвычайным интересом; без сомнения, сцена, происшедшая при мне, хладнокровие графа, проявленное им на охоте, недавнее волнение, испытанное мной,— были причиной того внимания, с которым я слушала все, что рассказывали о нем. Впрочем, самый искусный расчет не помог бы изобрести ничего лучше этого внезапного отъезда, который превратил некоторым образом замок в пустыню. Так велико было впечатление, произведенное уехавшим на его обитателей.

Доложили, что обед готов. Разговор, прерванный на некоторое время, возобновился за десертом; как и утром, героем его был граф. Тогда, потому ли, что это постоянное внимание к одному показалось оскорбительным для других, или в самом деле многие качества, которые при-

писывали ему, были спорными, началась дискуссия о его странном образе жизни, о его богатстве, источника которого не знали, о его храбрости, которую кто-то из собеседников больше приписывал искусству обходиться со шпагой и пистолетом. Тогда Поль, естественно, принял на себя роль защитника того, кто спас ему жизнь. Образ жизни графа был почти таким же, как у всех молодых людей; богатство он получил в наследство, после смерти дяди по матери, жившего пятнадцать лет в Индии. Что касается его храбрости, то этот предмет не был спорным, потому что он доказал свое мужество не только на многих дуэлях, выходя из них почти всегда невредимым, но также и в других случаях. Поль рассказал тогда о многих из них, но один особенно сильно поразил меня.

Граф Безеваль, приехав в Гоа, нашел дядю своего мертвым; завещание было сделано в его пользу, и никто его не оспаривал, хотя двое молодых англичан, родственников покойного (мать графа была англичанкой), были в такой же степени наследниками, как и он. Несмотря на это, граф стал единственным обладателем всего имения, оставшегося после дяди. Впрочем, оба англичанина были богаты и находились на службе, имея высокие чины в части Британской армии, составлявшей гарнизон Бомбея. Итак, они приняли своего двоюродного брата если не с радушием, то, по крайней мере, с учтивостью, и перед его отъездом во Францию они со своими товарищами, офицерами того полка, в котором служили, дали ему прощальный обед.

В то время граф был моложе четырьмя годами и с виду казался не старше восемнадцати лет, хотя ему было уже двадцать пять. Тонкая талия, бледный лоб, белизна рук делали его похожим на женщину, переодетую в мужчину. Поэтому при первом взгляде английские офицеры судили о храбрости своего собеседника по его наружности. Граф так же, с той быстротой суждения, которая отличает его, сразу понял произведенное им впечатление и, уверенный в намерении хозяев посмеяться над ним, принял меры защиты и решил не оставлять Бомбей без какого-нибудь воспоминания о себе. Садясь за стол, молодые офицеры спросили своего родственника, говорит ли он по-английски. Граф, зная этот язык так же хорошо, как свой собственный, отвечал скромно, что он не понимает на нем ни одного слова, и просил их, если они желают, чтобы он принимал участие в их разговоре, говорить по-французски.

Это объявление дало большую свободу собеседникам, и с первого блюда граф заметил, что он стал предметом беспрестанных насмешек. Однако он принимал все услышанное им весело, с улыбкой, только щеки его стали бледнее и два раза зубы его ударились о край стакана, который он подносил ко рту. За десертом с французским вином шум удвоился и разговор коснулся охоты. Тогда спросили графа, за какой дичью и каким образом он охотился во Франции. Граф, решив продолжать свою роль до конца, отвечал, что он охотился с легавыми на куропаток и зайцев в долинах, иногда с гончими на лисиц и оленей в лесах.

— О! — сказал смеясь один из собеседников. — Вы охотитесь на зайцев, лисиц и оленей? А мы здесь охотимся на тигров.

— Каким же образом? — спросил граф добродушно.

— Каким образом? — отвечал другой. — Мы садимся на слонов и берем невольников, одни из них, вооруженные пиками и секирами, закрывают нас от зверя, а другие навьючены ружьями, из которых мы стреляем.

— Это, очевидно, прекрасное удовольствие, — отвечал граф.

— Очень жаль, — сказал один из молодых людей, — что вы уезжаете, мой милый братец... Мы могли бы доставить вам это удовольствие.

— В самом деле? — удивился граф. — Мне очень жаль упустить подобный случай; впрочем, если не нужно долго ждать, я остаюсь.

— Это чудесно! — ответил первый. — В трех лье отсюда, в болоте, идущем вдоль гор и простирающемся от Сюрата, живет тигрица с тигрятами. Индийцы, у которых она похитила овцу, только вчера уведомили нас об этом; мы хотели подождать, пока тигрята подрастут, чтобы охотиться по всем правилам, но теперь, имея прекрасный случай угодить вам, мы сократим назначенный срок на пятнадцать дней.

— Очень признателен вам, — сказал, кланяясь граф, — но действительно ли есть тигрица, или только так думают?

— Нет никакого сомнения.

— И знают точно в какой стороне ее логово?

— Это легко увидеть, взойдя на гору, с которой открывается озеро; следы ее можно проследить по изломанному тростнику: они все идут от одной точки, как лучи от звезды.

— Хорошо! — сказал граф, наполнив свой стакан и встав, как будто предлагая тост.— За здоровье того, кто пойдет убить тигрицу с тигрятами в ее логове один, пешком и без другого оружия, кроме этого кинжала! — При этих словах он выхватил из-за пояса невольника малайский кинжал и положил его на стол.

— Вы сумасшедший! — сказал один из офицеров.

— Нет, господа, я не сумасшедший,— сказал граф с горечью, смешанной с презрением,— и в доказательство повторю свой тост. Слушайте же хорошенько, чтобы тот, кто захочет принять его условия, знал, к чему обяжется, осушив свой стакан: «За того,— говорю,— кто пойдет убить тигрицу с двумя тигрятами в ее логове один, пешком и без всякого оружия, кроме этого кинжала».

Наступила минута молчания, в течение которой граф попеременно смотрел в лицо своим собеседникам, ожидая ответа; но глаза всех были опущены.

— Никто не отвечает? — сказал он с улыбкой.— Никто не смеет принять моего тоста... У вас не хватает духа отвечать мне?.. Так пойду я, и, если не пойду,— скажите, что я трус, так как теперь я говорю вам, что вы подлецы!

При этих словах граф осушил стакан, спокойно поставил его на стол и пошел к двери.

— До завтра, господа,— сказал он и вышел.

На другой день в шесть часов утра, когда он был готов к этой ужасной охоте, вчерашние товарищи вошли к нему в комнату. Они пришли умолять его отказаться от предприятия, следствием которого была бы верная смерть. Но граф не хотел ничего слышать. Они признались сначала, что были вчера виноваты перед ним и что вели себя как молодые безумцы. Граф поблагодарил за извинения, но отказался принять их. Тогда они предложили ему драться с одним из них, если он считает себя настолько обиженным, чтобы требовать удовлетворения. Граф отвечал с насмешкой, что его религиозные правила запрещают ему проливать кровь своего ближнего и что он возвращает назад обидные слова, ему сказанные; но что касается охоты, то ничего на свете не заставит его от нее отказаться. Сказав это, он предложил офицерам сесть на лошадей и проводить его, предупреждая, что если они не захотят оказать ему этой чести, то он пойдет один. Это решение было произнесено голосом таким твердым и, казалось, таким непоколебимым, что они не решились более его уговаривать и, сев на лошадей, поехали к восточным воротам города, где была назначена встреча.

Кавалькада ехала в молчании. Каждый из офицеров имел двуствольное ружье или карабин. Один граф был без оружия; изящный костюм его походил на тот, в котором молодые светские люди делают утренние прогулки в Булонском лесу. Офицеры смотрели друг на друга с удивлением и не могли поверить, что он сохранит это хладнокровие до конца.

Подъехав к болоту, офицеры решились еще раз отсоветовать графу идти дальше. В это время, как бы помогая им убеждать его, в нескольких шагах от них раздалось рычание зверя; испуганные лошади фыркали и жались одна к другой.

— Вы видите, господа,— сказал граф,— теперь уже поздно: мы замечены; животное знает, что мы здесь, и, покидая Индию, которую я, очевидно, никогда больше не увижу, я не хочу оставить ложное мнение о себе даже у тигра. Вперед, господа! — И граф прищипорил свою лошадь, чтобы подняться на гору, с высоты которой виднелся тростник, где было логово зверя.

Подъехав к подошве горы, они снова услышали рычание, но на этот раз оно было так сильно и близко, что одна из лошадей бросилась в сторону и едва не выбила седока из седла; другие с пеной у рта, с раздувшимися ноздрями и испуганными глазами тряслись и дрожали, как будто их окатили холодной водой. Тогда офицеры сошли с лошадей, отдали их слугам, а граф начал подниматься на холм, с которого хотел осмотреть местность.

В самом деле, с высоты холма по изломанному тростнику он заметил следы страшного зверя, с которым шел сражаться: дорожки шириной в два фута были протоптаны в высокой траве, и каждая из них, как говорили ему офицеры, шла к одному месту, где растения были вытоптаны и образовалась прогалина. Рычание, раздавшееся оттуда, рассеяло все сомнения, и граф узнал, где должен искать своего врага.

Тогда старшие из офицеров опять подошли к нему; но граф, поняв их намерения, холодно сделал знак рукой, что все бесполезно. Потом застегнул свой сюртук, попросил у одного из родственников шелковый шарф, которым тот был опоясан, и обернул им левую руку; сделал знак малайцу подать ему кинжал, привязал его к руке мокрым фуляровым платком; потом, положив шляпу на землю и грациозно поправив свои волосы, пошел кратчайшим путем к тростнику и через минуту скрылся в нем,

оставив офицеров, испуганных и все еще не верящих в подобную отвагу.

Он шел медленно и осторожно по выбранной дорожке, протоптанной так прямо, что ему не было необходимости сворачивать ни вправо, ни влево. Пройдя около пятидесяти шагов, он услышал глухое ворчание, по которому узнал, что зверь стоит на страже и если не видит, то уже учуял его; он остановился на одну секунду и, как только шум прекратился, вновь пошел. Пройдя около пятидесяти шагов, опять остановился; ему показалось, что если он еще и не пришел, то должен быть очень близко к логову, потому что достиг уже прогалины, усеянной костями; на некоторых из них еще было окровавленное мясо. Он осмотрелся вокруг себя и в норе четырех или пяти футов глубиной увидел тигрицу, полулежашую, с разинутой пастью, с глазами, устремленными на него; тигрята играли у ее брюха, как котята.

Он один мог сказать, что происходило в его душе при этом зрелище, но его душа — это бездна, которая поглощала все чувства бесследно.

Некоторое время тигрица и человек неподвижно смотрели друг на друга. Наконец граф, видя, что она, вероятно, боясь оставить своих детей, не идет к нему, сам пошел к ней.

Он подошел к тигрице на расстояние четырех шагов и, увидев, что она сделала движение, чтобы встать, бросился на нее.

Офицеры, услышав вдруг рев и крик, заметили движение в тростнике; через несколько секунд наступила тишина: все кончилось.

Они подождали еще с минуту — не вернется ли граф. Но граф не возвращался. Тогда им стало стыдно, что они оставили его одного, и они решили спасти хотя бы его тело, если не спасли его жизнь. Они ободрились и пошли в болото, время от времени останавливаясь и прислушиваясь, но все было тихо.

Наконец придя к прогалине, нашли зверя и человека, лежащими один на другом: тигрица была мертва, а граф — без чувств. Тигрята же, слишком слабые, чтобы есть мясо, лизали кровь.

Тигрица получила семнадцать ударов кинжалом, а граф только две раны: хищница разорвала ему зубами левую руку, а когтями ободрала ему грудь.

Офицеры взяли труп тигрицы и подняли графа; человек и животное были внесены в Бомбей лежащими друг

возле друга на одних носилках. Что же касается тигрят, то малайский невольник связал их своим тюрбаном, и они висели по обеим сторонам его седла.

Встав через пятнадцать дней, граф увидел около своей постели шкуру тигрицы с жемчужными зубами, рубиновыми глазами и золотыми когтями. Это был подарок офицеров того полка, в котором служили его двоюродные братья.

VIII

Этот рассказ произвел на меня глубокое впечатление. Храбрость в мужчине — самое великое обольщение для женщины. Причиной тому — и слабость нашего пола, и то, что мы вечно нуждаемся в опоре. Таким образом, несмотря на все, что говорили не в пользу графа Безеваля, в уме моем осталось только воспоминание об этих двух охотах; одну из них я наблюдала сама. Однако я не могла без ужаса подумать о том страшном хладнокровии, которому Поль обязан был жизнью. Сколько ужасной борьбы произошло в этом сердце, прежде чем воля обузда до такой степени его ощущения; какой продолжительный пожар должен был пожирать эту душу, прежде чем пламя ее не превратилось в прах и лава ее не сделалась льдом!

Большое несчастье нашего времени — стремление к романтическому и презрение к обыкновенному. Чем больше в обществе деятельных людей, тем сильнее их воображение требует чего-то чрезвычайного, которого все меньше в нашей жизни и все больше в театре или в романах. Итак, вы не удивитесь, что образ графа Безеваля, представившись таким ослепительным воображению молодой девушки, оставил глубокий след в ее душе, ведь в ее жизни до сих пор не происходило еще никаких особенных событий. Поэтому, когда через несколько дней мы увидели на большой аллее двух кавалеров верхом и когда доложили о Поле Люсьене и графе Горацио Безевале, первый раз в жизни сердце мое забилося, в глазах потемнело, и я встала с намерением бежать. Матушка меня удержала. В это время они вошли.

Не помню, о чем мы сначала говорили, но, вероятно, я должна была показаться очень робкой и неловкой, потому что, подняв глаза, увидела, что граф Безеваль смотрит на меня со странным выражением, которого я никогда не забуду; однако постепенно я освободилась от

своей скованности и пришла в себя; тогда я могла слушать и смотреть на него, как слушала и смотрела на Поля.

Я увидела то же бесстрастное лицо, тот же неподвижный и глубокий взгляд; приятный голос, который, как его руки и ноги, был скорее женским, нежели мужским; впрочем, когда он одушевлялся, голос этот приобретал силу, о которой никто не подозревал, слыша его впервые. Поль, как признательный друг, перевел разговор на предмет, наиболее выигрышный для графа: он говорил о его путешествиях. Граф с минуту не решался принять эту тему, лестную для его самолюбия. Говорили, что он боялся увлекаться разговором, чтобы не выдать своего характера; но вскоре воспоминания об увиденных им местах и живописной жизни диких стран вытеснили из сердца однообразную суету цивилизованных городов; граф опять очутился в роскошной Индии и чудесном Мальдиве. Он рассказал нам о своих поездках по Бенгальскому заливу, о сражениях с малайскими пиратами; увлекся блестящей картиной этой одухотворенной жизни, в которой каждый час приносит пищу уму и сердцу; он представил нашему мысленному взору во всей полноте эту первобытную жизнь, когда человек, свободный и сильный, будучи по своей воле рабом или царем, не имел других уз, кроме своей прихоти, других границ, кроме горизонта; когда, задохнувшись на земле, распускал паруса своих кораблей, как орел крылья, и наслаждался пустынностью и безграничностью океана. Потом граф вдруг перескочил в среду нашего прозябающего общества, в котором все так бедно — и преступление, и добродетель, в котором все поддельно — и лицо, и душа; в котором мы — рабы, заключенные в оковы закона, пленники, скованные приличиями, — имеем для каждого часа дня маленькие обязанности, которые должны исполнять, для каждой утренней церемонии — форму платья и цвет перчаток, а нарушителей этих правил ждет осмеяние, что страшнее смерти, потому что смешное во Франции пятнает имя хуже грязи или крови.

Не стану говорить вам, сколько красноречия, горького, насмешливого и едкого, по поводу нашего общества излил в этот вечер граф. Это был один из персонажей поэтов, — Манфред или Карл Моор, — одна из мятежных душ, бунтующих против глупых и пустых требований нашего общества; это был гений в борьбе с миром, который, будучи скован его законами, приличиями и привыч-

ками, тащил их на себе, как лев уносит жалкие сети, расставленные для лисицы или волка.

Слушая эту страшную философию, я, казалось мне, читаю Байрона или Гете: та же сила мысли, выраженная во всей красоте поэзии. Тогда это лицо, такое бесстрастное, сбросило свою ледяную маску, оно одушевилось пламенем, и глаза его метали молнии. Тогда этот голос, такой приятный, поражал то ослепительными, то мрачными красками. Потом вдруг энтузиазм и горечь, надежда и презрение, поэзия и проза — все это растопилось в одной улыбке, какой я никогда не видела, — эта улыбка выражала больше отчаяния и презрения, чем самые горестные рыдания.

Это посещение продолжалось не более часа. Когда граф и Поль вышли, мы смотрели, моя матушка и я, друг на друга, не произнося ни слова. Я почувствовала в своем сердце огромное облегчение: присутствие этого человека тяготило меня, как Маргариту присутствие Мефистофеля. Впечатление, которое он произвел на меня, было так очевидно, что мать принялась защищать его, тогда как я и не думала на него нападать. Давно уже ей говорили о графе, и, как о всех ярких личностях, в свете о нем ходили самые противоположные суждения. Впрочем, мать смотрела на него с совершенно другой точки зрения, чем я: все софизмы графа казались ей ничем иным, как игрой ума, родом злословия против целого общества, как всякий день злословят о каждом из нас. Матушка не ставила их ни слишком высоко, ни слишком низко. С этим мнением о графе я не хотела спорить, и, следовательно, он меня не интересовал больше. Через десять минут я сказала, что у меня болит голова, и пошла в сад. Но и там ничто не могло рассеять моего предубеждения: я не сделала еще и ста шагов, как должна была сознаться самой себе, что не хотела ничего слышать о графе, чтобы иметь возможность думать о нем. Это убеждение напугало меня; я не любила графа, потому что сердце мое, когда возвестили о его приезде, забилося скорее от страха, чем от радости; впрочем, я не боялась его, или, думая здраво, не должна была бояться, потому что он не мог иметь влияния на мою судьбу. Я видела его один раз случайно, в другой раз он сделал визит вежливости, и, может быть, я больше не увижу этого любителя приключений и путешествий: он может покинуть Францию в любую минуту, и тогда появление его в моей жизни станет лишь видением, мечтой — и ничем более; пятна-

дцать дней, месяц, год пройдут, и — я его позабуду. Услышав колокольчик, возвестивший обед, я удивилась, когда этот звук застал меня за такими мыслями: часы прошли, как минуты.

Когда я вошла в зал, мать передала мне приглашение графини М..., которая осталась на лето в Париже и давала по случаю рождения своей дочери большой вечер, полумузыкальный и полутанцевальный. Мать, всегда такая добрая ко мне, хотела, прежде чем ответить, посоветоваться со мной. Я тотчас согласилась: это было прекрасное средство отвлечься от мысли, овладевшей мною. В самом деле нам оставалось только три дня, и этого времени едва достаточно было для приготовлений к балу, потому-то я и надеялась, что воспоминание о графе исчезнет или по крайней мере отдалится во время хлопот, связанных с подготовкой туалета. Со своей стороны, я сделала все, чтобы добиться этого результата; говорила в этот вечер с жаром, какого матушка никогда не видела во мне; просила возвратиться в тот же вечер в Париж под предлогом, что осталось мало времени, чтобы заказать платья и цветы, но на самом деле оттого, что перемена места могла — по крайней мере я так думала — помочь мне в борьбе с моими воспоминаниями. Мать согласилась на все мои фантазии с обычной добротой, и после обеда мы отправились.

Я не ошиблась. Приготовления к вечеру, веселая беззаботность, которая никогда не покидала меня, ожидание бала в такое время, когда их бывает так мало, заслонили невольный ужас, овладевший мной, и затмили призрак, преследовавший меня. Наконец желанный день наступил: я провела его в какой-то лихорадке, чем очень удивляла матушку; но она была счастлива, видя мою радость. Бедная мать!

Когда ударило десять часов, я была уже готова, и не знаю, как это случилось, я, всегда такая медлительная, в тот вечер ожидала свою мать. Наконец мы отправились. Почти все наше зимнее общество возвратилось, подобно нам, в Париж ради этого праздника. Я встретила там своих подруг по пансиону, своих всегдашних кавалеров и чувствовала то веселое, живое удовольствие, которое испытывает на балу совсем молодая девушка и которое через год-два начинает меркнуть.

В танцевальном зале была ужасная теснота. По окончании кадрили графиня М... взяла меня за руку и повела меня из духоты бальной залы в комнату, где играли

в карты. Это было любопытное зрелище: все аристократические, литературные и политические знаменитости нашего времени были там. Я знала уже многих из них, но некоторые были мне неизвестны. Госпожа М... называла мне их, сопровождая каждое имя замечаниями, которым часто завидовали остроумные журналисты. Войдя в один зал, я вдруг содрогнулась, сказав невольно: «Граф Безеваль!»

— Да, это он,— отвечала госпожа М..., улыбаясь.— Вы его знаете?

— Мы встретили его у госпожи Люсьен в деревне.

— Да,— сказала графиня,— я слышала об охоте, о происшествии, случившемся с молодым Люсьеном.

В эту минуту граф поднял глаза и заметил нас. Что-то вроде улыбки мелькнуло на его губах.

— Господа! — сказал он своим партнерам.— Позволите ли покинуть вас? Я постараюсь найти вам вместо себя четвертого партнера.

— Вот прекрасно! — сказал Поль.— Ты выиграл у нас четыре тысячи франков и теперь пришлешь вместо себя такого, который не проиграет и десяти лундоров... Нет! Нет!

Граф, готовый уже встать, опять сел. После сдачи он поставил ставку; один из игроков удержал ее и открыл свою игру. Тогда граф бросил свои карты, не показывая их, сказал: «Я проиграл»,— отодвинул золото и банковские билеты, лежавшие перед ним в виде выигрыша, и опять встал.

— Могу ли я теперь оставить вас? — спросил он.

— Нет еще,— возразил Поль, подняв карты графа и смотря на его игру,— у тебя пять бубен, а у твоего противника только четыре пики.

— Сударыня,— сказал граф, глядя в нашу сторону и обращаясь к хозяйке,— я знаю, что мадемуазель Евгения будет просить сегодня на бедных. Позвольте ли мне первому предложить свою дань?

При этих словах он взял рабочий ящик, стоявший на геридоне подле игорного стола, положил в него восемь тысяч франков, лежавшие перед ним, и подал его графине.

— Но я не знаю, должна ли я принять,— отвечала госпожа М...— такую значительную сумму?

— Я предлагаю ее,— возразил, улыбаясь, граф,— не от себя одного; большая часть ее принадлежит этим господам, и их-то должна благодарить мадемуазель Евгения от имени тех, кому она покровительствует.

Сказав это, он пошел в танцевальный зал, а ящик, наполненный золотом и банковскими билетами, остался в руках графини.

— Вот один из оригиналов,— сказала мне госпожа М...— Он увидел женщину, с которой ему хочется танцевать, и вот цена, которую он платит за это удовольствие. Однако надо спрятать этот ящик. Позвольте мне проводить вас в танцевальный зал.

Едва я присела в бальном зале, как граф подошел ко мне и пригласил танцевать.

Мне тотчас вспомнились слова графини. Я покраснела, подавая ему свой список, в который уже были внесены имена кавалеров. Он перевернул его и, как будто не желая видеть свое имя рядом с другими, написал его наверху страницы: «На седьмую кадрили». Потом возвратил мне, сказав несколько слов, но из-за смущения я не запомнила их; граф, подойдя к дверям, прислонился к ним. Я была почти готова просить матушку уехать; я дрожала так сильно, что, казалось, не могла удержаться на ногах. К счастью, в это время раздался легучий и блестящий аккорд. Танцы отменялись. Сам Лист сел за фортепьяно.

Он играл *Invitation a la valse de Weber*.

Никогда искусный артист не достигал такого совершенства в исполнении или, может быть, никогда я не находилась в таком состоянии, когда душа так расположена к этой музыке, страстной и грустной; мне казалось, я слышу в первый раз, как умоляет, стонет и негодует эта страдающая душа, которую автор «Фрейшица» сотворил во вздохах своей мелодии. Все, что может выразить музыка, этот язык ангелов: надежду, горечь, грусть — все это было выражено в вариациях, импровизированных вдохновением артиста, которые следовали за мотивом, словно объясняя основную тему. Я сама часто играла эту блестящую фантазию и удивлялась теперь, слыша ее вновь созданную мастером и находя в ней такие вещи, о которых и не подозревала. Был ли причиной этого удивительный талант музыканта, исполняющего их, или новое состояние моей души? Руки ли виртуоза, скользившие по клавишам, сумели отыскать в мелодии те незаметные другим драгоценные россыпи чувств, или это мое бедное впечатлительное сердце получило такое сильное потрясение, что дремавшие чувства пробудились в нем? Во всяком случае, действие было волшебное; звуки волновались в воздухе, как пары, и наполняли

меня мелодией. В эту минуту я подняла глаза; взгляд графа был устремлен на меня; я быстро опустила голову, но было поздно: я перестала видеть его, но чувствовала взгляд, смущавший меня; кровь бросилась в лицо, и невольная дрожь охватила меня. Вскоре Лист встал; я услышала гул людей, теснившихся вокруг него с восторженными приветствиями; я думала, что в этой суете граф покинул свое место, и в самом деле, осмелев поднять голову, не увидела уже его у двери; я перевела дыхание, но не смела искать его глазами; я боялась опять встретить его взгляд и предпочитала не знать, где он был.

Через минуту тишина восстановилась. Новый исполнитель сел за фортепьяно; я услышала предостерегающее «Тише!» в соседних залах и решила, что любопытство присутствующих сильно возбуждено, однако не смела поднять глаза. Колкая гамма пробежала по клавишам, за нею последовала полная и печальная прелюдия, потом звучный и сильный голос запел такие слова под мелодию Шуберта: «Я все изучил: философию, право и медицину; изучил сердце человека; посетил недра земли; придавал уму своему крылья орла, чтобы ~~взлетать~~ ^{взлетать} под облаками. И к чему привело меня это долгое изучение? К сомнению и унынию. Правда, я не имею уже ни мечты, ни недоумения; не боюсь ни Бога, ни Сатаны; но я купил эти выгоды ценой всех радостей жизни».

При первом слове я узнала голос графа Безеваля. Вы легко поймете, какое впечатление должны были произвести на меня эти слова Фауста в устах того, который пел их. Впрочем, он подействовал одинаково на всех. Минутное глубокое молчание воцарилось за последней нотой, кото~~рой~~ ^{рой} улетела, жалобная, как скорбящая душа; потом бешеные рукоплескания раздались со всех сторон. Я осмелилась тогда взглянуть на графа. Для всех, может быть, лицо его было спокойно и бесстрастно; но для меня легкий изгиб его губ ясно указывал на то лихорадочное волнение, которое однажды овладело им во время посещения нашего замка. Госпожа М... пошла к нему, чтобы сказать приветствие, тогда он принял улыбающийся и беззаботный вид человека, повелевающего узами, самыми строгими к приличиям света. Граф Безеваль предложил ей руку и сделался таким же, как и все; по манере, с которой он смотрел на нее, я заключила, что он делает ей комплименты относительно ее туалета. Продолжая говорить с ней, он бросил на меня быстрый

взгляд, который повстречался с моим; я едва не вскрикнула: так была им испугана. Без сомнения, он увидел мое состояние и сжалился, потому что увлек госпожу М... в соседний зал и остался с ней. В ту же минуту музыканты дали знак к танцам; первый из моих кавалеров бросился ко мне; я взяла машинально его руку, и он повел меня, куда ему было угодно; я танцевала. Вот все, что могу вспомнить. Потом следовали две или три кадрили, в течение которых я немного успокоилась; наконец танцы остановились, чтобы опять дать место музыке.

Госпожа М... подошла ко мне; она просила меня принять участие в дуэте из первого акта «Дон Жуана». Я сначала отказалась, чувствуя себя неспособной в эту минуту пропеть хотя бы одну ноту. Матушка заметила наши разногласия и подошла, чтобы присоединиться к графине, обещавшей аккомпанировать. Я боялась, что, продолжая противиться, заставлю матушку догадаться о моем состоянии; я так часто пела этот дуэт, что не нашла основательного предлога отказаться и наконец должна была уступить. Графиня М... взяла меня за руку, подвела к фортепьяно и сама села за него; я стала за ее стулом, опустив глаза и не смея взглянуть вокруг себя, чтобы не встретить опять взора, следовавшего за мной повсюду. Молодой человек подошел и стал по другую сторону от княгини; я осмелилась поднять глаза на своего партнера — дрожь пробежала по моему телу: это был граф Безеваль, который должен был петь партию Дон Жуана.

Вы поймете, как велико было мое волнение, но отказываться было поздно: все глаза были устремлены на нас. Госпожа М... играла прелюдию. Граф начал; мне казалось, что другой голос, другой человек пел, и когда он произнес: «*l'a ci darem la mano*», я была поражена, что могучий голос, заставлявший нас дрожать от медолий Шуберта, мог смягчиться до звуков веселости, такой тонкой и приятной. С первой фразы шум рукоплесканий пробежал по всему залу. Правда, когда в свою очередь я запела дрожа: «*vogrei e non vogrei mi trema un poco il cor*», в голосе моем было такое выражение страха, что продолжительные рукоплескания заглушили звуки музыки. Я не могу выразить, сколько было любви в голосе графа, когда он начал: «*vieni mi bel delecto*», и сколько обошрения и обещаний в этой фразе: «*io sangiero tua sorte*»; все это было так близко мне; этот дуэт, казалось, так хорошо выражал состояние моего сердца, что я почти готова

была лишиться чувств, произнося: «*presto non son pi e forte*». Здесь музыка переменялась, и вместо жалобы кокетки Церлины я слышала крик самой глубокой скорби. В эту минуту граф приблизился ко мне, рука его дотронулась до моей руки; в глазах моих потемнело; я схватилась за стул графини М... и сильно сжала пальцы; благодаря этой опоре я могла еще держаться на ногах; но когда мы начали вместе: «*andiamo, andiam mio bene*», я почувствовала дыхание его в волосах и на плечах своих, дрожь пробежала по моим жилам; я произнесла слово *atto*, в котором все силы мои истощились, и упала без чувств.

Матушка бросилась ко мне, но она опоздала бы, если бы графиня М... не поддержала меня. Обморок мой был приписан духоте; меня перенесли в соседнюю комнату; соли, которые давали мне нюхать, отворенное окно, несколько капель воды, брызнутых в лицо, привели меня в чувство. Госпожа М... настаивала, чтобы я вернулась на бал; но я ничего не хотела слушать. Мать, обеспокоенная моим обмороком, была на этот раз согласна со мной: велели подать карету, и мы вернулись домой.

Я тотчас удалилась в свою комнату. Снимая перчатку, я уронила бумажку, очевидно, вложенную в нее во время моего обморока; я подняла ее и прочла слова, написанные карандашом:

«Вы меня любите!.. Благодарю, благодарю!»

IX

Я провела ужасную ночь, ночь рыданий и слез. Вы, мужчины, не понимаете и никогда не поймете мучений молодой девушки, воспитанной на глазах у матери; девушки, сердце которой вдруг, как бедная беззащитная птичка, оказывается во власти более могущественной, чем ее сопротивление, которая чувствует такую сильную, увлекающую ее руку, что не может ей противостоять, слышит голос, говорящий ей: «Вы меня любите», прежде, чем сама она говорит: «Люблю вас».

О! Клянусь вам, не постигаю, как не лишилась я ума в продолжение этой ночи; я считала свою жизнь разбитой. Повторяла шепотом и беспрестанно: «Я люблю его!.. люблю его!» — и это с ужасом столь глубоким, что теперь еще, мне кажется, нахожусь во власти чувства, противоречившего тому, которое, как я думала, овладело мной. Однако все волнения, испытываемые мною, были доказательствами любви, поэтому граф, от которого ни одно

из них не ускользнуло, толковал их таким образом. Что касается меня, то подобные ощущения в первый раз волновали мое сердце. Мне говорили, что не нужно бояться или ненавидеть тех, которые не сделали нам зла, я не могла тогда ни ненавидеть, ни бояться графа, и если чувство, которое я питала к нему, не было ни ненавистью, ни страхом, — то оно должно было быть любовью.

На другой день утром, в ту самую минуту, когда мы сядились завтракать, нам принесли две визитные карточки от графа Безеваля. Он прислал узнать о моем здоровье и спросить, не имел ли вчерашний случай каких-нибудь последствий. Это столь раннее посещение показалось моей матери простым доказательством учтивости. Граф пел со мною в то время, когда случился обморок, и это обстоятельство извиняло его поспешность. Моя матушка тогда только заметила, что я выглядела утомленной и больной; она встревожилась сначала, но я успокоила ее, сказав, что чувствую себя неплохо и деревенский воздух излечит меня окончательно, если ей угодно туда возвратиться. Моя мать всегда соглашалась со мной, она приказала заложить коляску, и к двум часам мы отправились.

Я бежала из Парижа с такой же поспешностью, с какой четыре дня назад бежала из деревни, потому что моей первой мыслью, когда я увидела визитные карточки графа, было то, что он сам вскоре явится. Я хотела бежать, чтобы не видеть его больше. Мне казалось, что после его записки я умру от стыда, увидясь с ним. Все эти мысли, пронесившиеся в голове моей, так разгорячили меня, что моя мать подумала, что в закрытом экипаже слишком душно. Она велела остановиться и откинуть верх коляски. Тогда были последние дни сентября, приятнейшие дни года. Листья на некоторых деревьях начинали краснеть. Есть что-то весеннее в осени, и последние цветы года похожи иногда на самые первые. Воздух, природа, беспрестанный, меланхолический и неопределенный шум леса — все это рассеяло меня, как вдруг на повороте дороги я заметила мужчину, ехавшего верхом. Он был еще далеко от нас, однако я схватила мать за руку с намерением просить ее возвратиться в Париж, потому что узнала графа, но вдруг одумалась. Как могла я объяснить эту перемену, которая показалась бы беспричинным капризом? Итак, я собралась с духом.

Всадник ехал шагом, и скоро мы поравнялись с ним. Это был, как я сказала, граф Безеваль.

Он подъехал к нам, как только нас заметил, извинился, что так рано прислал узнать о моем здоровье, но объяснил, что уезжает в тот же день в деревню к госпоже Люсьен и не хочет уехать из Парижа, беспокоясь обо мне; если можно было бы приехать к нам в такое время, он бы сам приехал. Я пробормотала несколько слов; моя матушка его поблагодарила.

— Мы также возвращаемся в деревню,— сказала она,— на весь оставшийся сезон.

— Следовательно, вы позволите мне проводить вас до замка,— ответил граф.

Моя мать поклонилась, улыбаясь. Все это было так просто: дом наш находился в трех лье от дома госпожи Люсьен, и одна дорога вела к обоим домам.

Итак, граф скакал подле нас все пять лье до нашего дома. Мы ехали довольно быстро и за всю дорогу обменялись только несколькими словами. Приехав в замок, граф соскочил с лошади, подал руку моей матери, чтобы помочь ей выйти из экипажа; потом предложил мне помощь. Я не могла отказаться и, дрожа, протянула руку. Он взял ее без живости, без трепета, как всякую другую, но я почувствовала, что он оставил в ней записку, и прежде чем смогла сказать какое-нибудь слово или сделать движение, граф обернулся к моей матери и поклонился, потом сел на лошадь, несмотря на приглашение отдохнуть. Повернувшись к дому госпожи Люсьен, он сказал, что его там ждут, и скрылся из виду через несколько секунд.

Я стояла неподвижно на том же месте, сжатые пальцы держали записку, которую я не смела уронить, но решила не читать. Мать позвала меня, я пошла. Что делать с запиской? У меня не было свечи, чтобы сжечь ее; а если разорвать, то могли найти кусочки, и я спрятала ее за корсаж платья.

Я не испытывала никогда еще мучения, равного тому, какое испытала, пока не вошла в свою комнату: записка жгла мою грудь. Казалось, сверхъестественное могущество сделало каждую строчку ее видимой для моего сердца, которое почти дотрагивалось до нее; эта бумажка имела магическую силу. Наверное, в минуту получения я разорвала бы или сожгла эту записочку без размышления, но в своей комнате не могла собраться с духом. Я отослала горничную, сказав ей, что разденусь сама, потом села на постель и долго пробыла в таком положе-

нии, неподвижная, с глазами, устремленными на руку, сжимавшую записку.

Наконец я развернула ее и прочла:

«Вы любите меня, Полина, поэтому избегаете. Вчера Вы покинули бал, на котором я был, сегодня уезжаете из города, где я нахожусь, но все бесполезно. Бывают судьбы, которые не должны никогда встречаться, но случайно встретившись, уже не могут более различиться.

Я не похож на других людей. В возрасте, когда другие наслаждаются и радуются, я много страдал, много думал, много вздыхал. Мне 28 лет. Вы первая женщина, которую я полюбил, я люблю Вас, Полина.

Благодаря Вам, и если Бог не разрушит этой последней надежды, я забуду прошедшее и стану надеяться на будущее. Только над прошлым Бог не властен, и прошедшая любовь безутешна. Будущее принадлежит Богу, настоящее нам, а прошлое ничтожеству. Если бы Бог, который может все, мог бы дать забвение прошедшему, на свете не было бы ни богохульцев, ни материалистов, ни атеистов.

Теперь я все сказал, Полина; и что могу я сказать Вам, чего бы Вы уже не знали, что скажу, о чем бы Вы не догадывались? Мы молоды оба, богаты, свободны, я могу быть вашим, вы моею. Одно Ваше слово, и я обьяснюсь с Вашей матерью — и мы соединены. Если мое поведение, как и душа, кажутся странными в свете, простите мне мои странности и примите таким, каков я есть. Вы сделаете меня лучше.

Если же, вопреки моей надежде, Полина, какая-нибудь причина, которой я не могу предвидеть, но которая может существовать, заставит Вас избегать меня, как Вы это делали, знайте, что все будет бесполезно: везде я буду преследовать Вас; меня ничто не привязывает ни к одному месту, меня влечет только туда, где Вы. Быть подле Вас или следовать за Вами — отныне моя единственная цель. Я потерял много лет и сто раз подвергал опасности свою жизнь и душу, ради таких целей, которые не обещали мне счастье. Прощайте, Полина! Я не угрожаю Вам, я Вас умоляю, я люблю Вас, Вы любите меня. Пожалейте же меня и себя».

Невозможно рассказать вам, что происходило в душе моей при чтении этого странного письма. Мне казалось, что я вижу одно из тех страшных сновидений, когда при угрожающей опасности хочешь бежать, но ноги прирастают к земле, дыхание замирает в груди; хочешь кри-

чать, но голос пропадает. Смертельный страх разрушает сон, вы пробуждаетесь, и сердце готово выскочить из груди; а лицо в холодном поту.

Но тут меня не могло спасти пробуждение, это было не сновидение, а страшная действительность, которая схватила меня могущественной рукою и влекла с собой. Однако что нового случилось в моей жизни? Человек появился в ней, я едва обменялась с ним взглядом и несколькими словами. Какое же он имеет право связывать свою судьбу с моею и говорить со мной, как человек, от которого я завишу, тогда как я не давала ему даже... права на дружбу. Я могу завтра же перестать смотреть на него, перестать говорить с ним, не узнавать его. Но нет, я не могу ничего... я слаба... я женщина... я люблю его.

Впрочем, понимала ли я что-нибудь в этом? Чувство, которое испытывала я, было ли любовью? Может ли любовь вызвать человек, к которому вначале испытываешь ужас? Зачем я не сожгла это роковое письмо? Не дала ли я права графу думать, что люблю его, принимая его письмо? Но что могла я сделать? Шум при слугах, при домашних... Нет. Отдать письмо матери, рассказать ей все, признаться во всем... В чем же? В детском страхе? И что подумала бы моя мать при чтении подобного письма? Она, верно, решила бы, что каким-нибудь словом, движением, взглядом я обнадежила графа. Нет, я никогда не осмелюсь что-нибудь сказать моей матери.

Но это письмо? Надобно прежде всего сжечь его. Я поднесла письмо к свече, оно загорелось, и, таким образом, все, что существовало и что не существует более, превратилось в кучку пепла. Потом я проворно разделась, поспешила лечь в постель, и задула в ту же минуту огонь, чтобы спрятаться от себя и скрыться во мраке ночи. Но сколько я ни закрывала глаза, сколько ни прикладывала руки к своему лбу, несмотря на этот двойной покров, я снова все увидела; это роковое письмо было написано на стенах моей комнаты. Я прочла его не более одного раза, но оно так глубоко врезалось в мою память, что каждая строчка, начертанная невидимой рукой, появлялась после исчезновения предшествующей. Я читала и перечитывала таким образом это письмо десять, двадцать раз — всю ночь. О! Уверю вас, что между этим состоянием и помешательством почти нет разницы.

Наконец, к рассвету я заснула, утомленная бессонницей. Когда проснулась, было уже поздно. Горничная моя сказала мне, что госпожа Люсьен и ее дочь приехали

к нам. Тогда внезапная мысль озарила меня: я расскажу все госпоже Люсьен, она была всегда так добра со мною, у нее я увидела графа Горация. Граф Гораций друг ее сына, это самая подходящая поверенная для такой тайны, как моя. Само небо мне ее посылает. В эту минуту дверь комнаты отворилась и показалась госпожа Люсьен. Я вскочила с постели и протянула к ней руки, рыдая; она села подле меня.

— Посмотрим, дитя,— сказала она через минуту, отнимая руки мои, которыми я закрыла лицо,— посмотрим, что с вами?

— О! Я очень несчастлива,— воскликнула я.

— Несчастья в твоём возрасте — то же, что весенние бури, они проходят скоро, и небо делается чище.

— О! Если бы вы знали!

— Я все знаю,— сказала мне госпожа Люсьен.

— Кто вам сказал?

— Он.

— Он сказал вам, что я люблю его?

— Он мне сказал, что надеется на это; не ошибается ли он?

— Я не знаю сама: я знала любовь только по книгам; как же вы хотите, чтобы я видела ясно в своём смущённом сердце, чтобы поняла чувства, которые он вызывает?

— О, так я вижу, что Гораций прочел в вашем сердце лучше вас самих!

Я принялась плакать.

— Перестаньте! — продолжала госпожа Люсьен. — Во всем этом нет, как мне кажется, причины для слез. Посмотрим, поговорим рассудительно. Граф Гораций молод, красив, богат. Этого больше чем достаточно, чтобы извинить чувство, которое он вам внушает. Граф свободен, вам восемнадцать лет, это будет прекрасная партия во всех отношениях.

— О, сударыня!

— Хорошо, не станем говорить об этом; я узнала все, что мне хотелось. Теперь пойду к мадам Мельен и пришлю к вам Люцию.

— Но ни слова, умоляю вас.

— Будьте спокойны; я знаю, что мне делать. До свидания, милое дитя. Перестаньте, утрите ваши прекрасные глаза и обнимите меня.

Я бросилась снова к ней на шею. Через пять минут Люция явилась: я оделась и вышла.

Я увидела, что моя матушка задумчива, но необыкновенно нежна. Несколько раз во время завтрака она смотрела на меня с чувством беспокойной печали, и каждый раз краска стыда появлялась на моем лице. В четыре часа госпожа Люсьен и ее дочь уехали. Мать была со мной такой же, как и всегда, но ни слова не произнесла о посещении госпожи Люсьен и о причинах, которые заставили ее приехать. Вечером я, по обыкновению, подошла к матери, чтобы обнять ее, и, приближая губы свои к ее лбу, заметила ее слезы. Тогда я бросилась на колени перед нею, спрятала свою голову у нее на груди. Увидя это движение, она все поняла и, опуская свои руки на мои плечи, прижала к себе:

— Будь счастлива, дочь моя! — сказала она. — Вот все, чего я прошу у Бога.

На третий день госпожа Люсьен сделала официальное предложение от имени графа.

А через шесть недель я была уже женою графа Безеваля.

Х

Свадьба была в Люсьене в первых числах ноября, потом мы возвратились в Париж в начале зимы.

Мы жили все вместе. Моя матушка дала мне в приданое двадцать пять тысяч ливров годового дохода; пятнадцать тысяч осталось ей. Граф передал почти столько же. Итак, дом наш был, если не в числе богатых, то по крайней мере в числе изящных домов Сен-Жерменского предместья.

Гораций представил мне двух своих друзей и просил принять их, как братьев. Уже шесть лет они были соединены чувствами столь искренними, что в свете привыкли называть их неразлучными. Четвертый, о котором они говорили каждый день и сожалели беспрестанно, был убит в октябре прошедшего года во время охоты в Пиренеях, где у него был замок. Я не могу открыть вам имен этих двух человек, и в конце моего рассказа вы поймете, отчего. Но так как я иногда должна буду различать их, назову одного Генрихом, другого Максом.

Не могу сказать, что я была счастлива. Чувство, которое я питала к Горацию, было и всегда будет для меня необъяснимым. Можно сказать, что это было почтение, смешанное со страхом. Впрочем, такое впечатление он производил на всех. Даже оба друга его, свободные в обращении с ним, редко противоречили ему и всегда усту-

пали, если не как начальнику, то по крайней мере как старшему брату. Хотя оба они были ловки и сильны физически, но не имели его силы. Граф переделал бильярдную залу в фехтовальную, одна из аллей сада была предназначена для стрельбы; и каждый день эти господа упражнялись на шпагах и пистолетах. Иногда я присутствовала при этих поединках. Тогда Гораций бывал скорее их учителем, чем противником. Во всех этих упражнениях он сохранял то страшное спокойствие, которое я видела сама у госпожи Люсьен, и многие дуэли, всегда оканчивающиеся в его пользу, доказывали, что это хладнокровие, столь редкое у людей, попадающих в критические ситуации, никогда его не оставляло. Итак, странная вещь! Гораций оставался для меня, несмотря на искреннюю дружбу, существом высшим и непохожим на других людей.

Сам он казался счастливым, по крайней мере любил повторять это, хотя беспокойство никогда не покидало его лица. Иногда страшные сновидения тревожили его, и тогда этот человек, спокойный и храбрый днем, пробуждаясь, дрожал от ужаса, как ребенок. Он приписывал это приключению, случившемуся с его матерью во время беременности: остановленная в Сьерре разбойниками, она, привязанная к дереву, видела, как зарезали путешественника, ехавшего по одной с ней дороге. Из этого рассказа следовало заключить, что он видел обычно во сне сцены грабежа и разбоя. Чтобы предотвратить повторение этих сновидений, а не из страха, ложась спать, он клал всегда у изголовья своей постели пару пистолетов. Это сначала меня очень пугало, я боялась, что он в припадке сомнамбулизма начнет стрелять, но постепенно я успокоилась и привыкла смотреть на это как на предосторожность. Но другую его странность я и сейчас не могу объяснить себе: днем и ночью постоянно держали оседланную лошадь, готовую к отъезду.

Зима прошла в вечерах и балах. Граф был очень щедр; его приемы соединились с моими, и наш круг знакомств удвоился. Он везде провожал меня с чрезвычайной учтивостью, и, что более всего удивило свет, перестал играть. На весну мы уехали в деревню.

Там вновь нахлынули воспоминания: возобновились знакомства, и мы проводили время то у себя, то у своих соседей. Госпожу Люсьен и ее детей мы продолжали считать вторым нашим семейством. Итак, положение мое почти совсем не изменилось, и жизнь моя текла по-преж-

нему. Одно только иногда тревожило: беспричинная грусть, которая все сильнее и сильнее овладевала Горацием, и сновидения, становившиеся более и более ужасными. Часто я подходила к нему во время этих дневных беспокойств или будила его ночью, но, как только он замечал меня, лицо его принимало выражение спокойное и холодное, всегда поражавшее меня. Однако оно не могло обмануть: я видела, как велико расстояние между его показным спокойствием и настоящим счастьем.

В начале июня Генрих и Макс, молодые люди, о которых я уже говорила, приехали к нам. Я знала об их дружбе с Горацием, и мы, я и моя матушка, приняли их, как братьев и сыновей. Их разместили в комнатах, смежных с нашими. Граф велел провести колокольчик особого устройства из своей комнаты к ним и от них к себе; приказал, чтобы держали постоянно готовыми вместо одной — три лошади. Горничная моя сказала мне потом, а она узнала это от слуг, что и эти господа имели такую же привычку, как и мой муж, и спали не иначе, как с парой пистолетов у изголовья.

С приездом своих друзей Гораций посвящал им почти все свое время. Впрочем, развлечения их были те же, что и в Париже: поездки верхом и поединки на шпагах или пистолетах. Так прошел июль; в половине августа граф сказал мне, что он вынужден через несколько дней расстаться со мной на два или три месяца. Это была первая разлука со времени нашего супружества, и потому я испугалась при этих словах графа. Он старался успокоить меня, говоря, что эта поездка была в одну из провинций, самых близких к Парижу, в Нормандию; он отправлялся со своими друзьями в замок Бюрсн. Каждый из них имел свой деревенский домик, один в Вандее, другой между Тулоном и Ниццей, а тот, который был убит, — в Пиренеях, так что каждый год они по очереди гостили друг у друга, когда наступало время охоты, и проводили вместе три месяца. В этот год была очередь Горация принимать своих друзей. Я тотчас попросилась ехать с ним, чтобы следить там за его хозяйством, но граф отвечал мне, что замок был только сборным местом для охоты: плохо содержащийся, плохо обставленный, удобный только для охотников, которым везде хорошо. Для женщины, привыкшей ко всем удобствам и роскоши, он не годится. Впрочем, он отдаст распоряжения, чтобы там все было переделано, и, когда вновь наступит его очередь принимать друзей, я смогу его сопровождать и сделать

честь его дому, приняв на себя обязанности благородного капеллана.

Этот случай, показавшийся моей матери таким простым и натуральным, обеспокоил меня чрезвычайно. Я никогда не говорила ей ни о печали, ни об ужасе Горация, которые казались такими странными, что я предполагала, что есть причина, о которой он не хотел или не мог рассказать. Однако с моей стороны так смешно было мучиться из-за трехмесячного отсутствия и так странно настаивать на поездке, что я решила скрыть свое беспокойство и не говорить более об этом путешествии.

День разлуки наступил, это было 27 августа. Граф и его друзья хотели приехать в Бюрсю к началу охоты, то есть к 1 сентября. Они отправились на почтовых и приказали послать за собой лошадей, которых слуга-малец должен был сопровождать до самого замка.

В минуту отъезда я залилась слезами, увлекла Горация в комнату и в последний раз просила взять меня с собой. Я сказала ему о своем непонятном страхе, припомнила ему печаль и необъяснимый ужас, которые вдруг овладевали им. При этих словах он покраснел и в первый раз при мне выразил нетерпение. Впрочем, в ту же минуту он опомнился и, говоря со мною чрезвычайно ласково, обещал, что если замок удобен для моего проживания, в чем он сомневается, написать, чтобы я приехала. Положась на это обещание и получив надежду, я проводила его гораздо спокойнее, чем сама ожидала.

Однако первые дни после его отъезда были ужасны, но, повторяю, не от страданий разлуки; это было неопределенное, но постоянное чувство страха, предчувствие большого несчастья. На третий день после отъезда Горация я получила от него письмо из Кана. Он останавливался обедать в этом городе и поспешил написать мне, помня, в каком беспокойстве я была, когда он меня покинул. Это письмо меня немного успокоило, но последнее слово письма разбудило все мои опасения, тем более сильные, что они для меня одной были существенными, а всякому другому могли бы показаться смешными: вместо того, чтобы сказать мне *«до свидания»*, граф написал *«прощайте!»*. Пораженный ум обращает внимание на мелочи, мне стало почти дурно, когда я прочла это последнее слово.

Я получила второе письмо от графа из Бюрсю. Он нашел замок, который не видел уже три года, в ужасном беспорядке. Едва отыскалась в нем одна комната, в ко-

торую не проникали дождь и ветер: бесполезно было даже и думать о возможности приехать к нему в нынешнем году. Не знаю отчего, но я этого ожидала, и письмо произвело на меня меньшее впечатление, чем первое.

Через несколько дней после этого мы прочли в нашей газете первые известия об убийствах и грабежах, приведших в ужас Нормандию. В третьем письме Гораций также написал о них несколько слов. Казалось, он не приписывал этим слухам такой важности, как газеты. Я отвечала ему, упрасивая возвратиться как можно скорее. Эти слухи казались мне началом осуществления моих предчувствий.

Вскоре вести начали становиться более и более ужасными. Теперь у меня появилась страшная тоска, я стала видеть ужасные сны. Я не смела более писать Горацию, последнее письмо мое осталось без ответа. Я поехала к госпоже Люсьен, которая с того времени, как я призналась ей во всем, стала моей утешительницей. Я рассказала ей о моих ужасных предчувствиях. Она сказала мне то же, что моя мать говорила уже много раз: невозможность хорошо устроить меня в замке была единственной причиной, из-за которой Гораций не взял меня с собой. Она лучше всякого знает, как он меня любит, потому что он все доверял ей, и так часто благодарил за счастье, которым, по его словам, ей обязан. Эта уверенность в том, что Гораций любит меня, заставила меня решиться, что если я не получу скорого известия о его возвращении, то отправлюсь к нему сама.

Я получила письмо. Гораций, вместо того, чтобы говорить о своем возвращении, писал, что он вынужден еще побыть около шести недель, или двух месяцев, вдали от меня. Письмо его было наполнено словами любви. Только это старинное обещание, которое он дал своим друзьям, мешает ему возвратиться, а уверенность, что мне будет так неуютно в развалинах его древнего замка, не дает ему права просить меня к нему приехать. Если я еще колебалась, то письмо это заставило меня решиться. Я пошла к моей матери и сказала, что Гораций позволяет мне приехать к нему и что я отправлюсь завтра вечером. Она тоже хотела ехать со мной, и я испытала все возможные мучения, доказывая ей, что если граф боится за меня, то за нее будет бояться в десять раз более.

Я отправилась на почтовых, взяв с собой горничную, которая была родом из Нормандии. Приехав в Сен-Лоран-дю-Мон, она попросила у меня позволения провести

три или четыре дня у своих родных, которые жили в Кревкере. Я позволила ей, не подумав в ту минуту, что, приехав в замок, обитателями которого были одни мужчины, я буду особенно нуждаться в ее услугах. Но я хотела доказать Горацию, что он был несправедлив, сомневаясь в моей твердости.

Я приехала в Кан в семь часов вечера. Содержатель станции, узнав, что женщина, едущая одна, требует лошадей до замка Бюрсси, подошел сам к дверцам моей кареты и так упрашивал меня провести ночь в городе и не ехать до утра, что я уступила. Впрочем, я подумала, что приеду в замок в такое время, когда там будут уже спать, а ворота будут заперты из-за происходящих страшных событий, и мне не отворят. Эта причина больше, чем страх, заставила меня остаться в городе.

Вечера стали уже холодными, я вошла в залу содержателя станции, между тем мне приготовили мою комнату. Хозяйка, чтобы я не сожалела о принятом мною решении, рассказала мне все, что случилось у них в продолжение трех недель. Ужас объял всех до такой степени, что не смели выезжать за четверть лье из города после захода солнца.

Я провела ужасную ночь. Приближаясь к замку, я теряла свою уверенность: граф имел, может быть, другие причины удалиться от меня, а не те, о которых мне сказал; как же он воспримет в этом случае мой приезд? Это могло быть неповиновением его приказаниям, нарушением его власти. Та досада и нетерпение, которые он не смог скрыть, прощаясь со мной,— это было первым случаем, когда он позволил себе такую несдержанность, очевидно, он был настроен решительно. Я хотела написать ему, что я в Кане, и подождать, пока он придет за мной, но все страхи, внушенные мне лихорадочной бессонницей, рассеялись после того, как я на несколько часов уснула, а проснувшись, увидела дневной свет в своей комнате. Вся храбрость моя возвратилась, я потребовала лошадей и через десять минут уехала.

В девять часов утра в двух лье от Буйсона возница остановил лошадей и показал мне замок Бюрсси. Был виден его парк в двухстах метрах от большой дороги. Извилистая дорожка вела к решетке замка. Возница спросил меня, действительно ли я еду туда; я отвечала утвердительно, и мы двинулись.

Подъехав, мы увидели, что ворота закрыты; мы долго звонили, но никто не отворял. Я начала раскаиваться,

что не предупредила о своем приезде. Граф и его друзья могли уехать куда-нибудь на охоту, что тогда мне делать в этом пустынном замке, где мне некому даже приказать, чтобы мне отворили ворота? И неужели я должна буду дожидаться их возвращения в какой-нибудь дрянной деревенской гостинице? Это невозможно! Наконец, потеряв терпение, я вышла из экипажа — стала звонить изо всей силы. Тогда живое существо появилось между деревьями. На повороте аллеи я увидела слугу-малайца, сделала ему знак поспешить, он подошел отпереть мне. Я не села в карету, а побежала по той аллее, по которой шел малаец. Вскоре я увидела замок. При первом взгляде мне показалось, что он в довольно хорошем состоянии. Я поднялась по лестнице. Войдя в переднюю, услышала голоса, толкнула дверь и очутилась в столовой, где Гораций завтракал с Генрихом; на столе с правой стороны у каждого из них лежало по паре пистолетов.

Граф, заметив меня, встал и побледнел так, как будто ему стало дурно. Я же так дрожала, что едва могла протянуть к нему свои руки и упала бы, если бы он не подбежал и не поддержал меня.

— Гораций! — сказала я. — Простите меня, я не могла жить вдали от вас... я была очень несчастна, очень беспokoилась... и решила вам не повиноваться.

— И вы сделали очень плохо, — сказал граф глухим голосом.

— О, если хотите, — воскликнула я, уstraшенная его тоном, — вернусь сию же минуту... Я видела вас, вот все, что мне нужно.

— Нет! — сказал граф. — Так как вы уже здесь, то оставайтесь и будьте дорогой гостьей.

При этих словах он обнял меня и потом, сделав усилие над собой, принял то наружное спокойствие, которое иногда пугало меня больше, чем его раздраженное лицо со следами ужасного гнева.

XI

Постепенно ледяная холодность графа рассеялась, он проводил меня в комнату, отведенную мне и отделанную во вкусе времен Людовика XV.

— Да, я знаю ее, — прервал я, — это та самая, в которую я входил. О! Боже мой! Боже мой! Я начинаю все понимать.

— Там, — возразила Полина, — он просил у меня прощения за то, как он принял меня, но удивление, что я приехала, страх лишений, которые должна буду перенести

сильнее в продолжение двух месяцев в этих старых развалинах, были сильнее него.

Впрочем, так как я всем пренебрегла, он заявил, что очень рад и постарается сделать пребывание мое в замке как можно более приятным. К несчастью, ему нужно сегодня же или завтра отправиться на охоту, и, может быть, он вынужден будет оставить меня на день или на два, но он не станет давать более новых обязательств в этом роде. Я отвечала ему, что он совершенно свободен и что я приехала не для того, чтобы мешать его удовольствиям, но чтобы успокоить свое сердце, уstraшенное слухами об этих ужасных убийствах. Граф улыбнулся.

Я устала с дороги, легла и заснула. В два часа граф вошел в мою комнату и спросил, не хочу ли я прогуляться по морю... День был прекрасный, и я согласилась.

Мы вышли в парк. Маленькая речушка Орн его прорезывала. На берегу мы нашли красивую лодку странной продолговатой формы. Гораций сказал мне, что она сделана по образцу гавайских лодок и что такая конструкция во много раз увеличивает скорость. Мы сели в лодку: Гораций, Генрих и я. Малаец греб веслами, и мы быстро продвигались вперед по течению. Выйдя в море, Гораций и Генрих распустили длинный треугольный парус, который был привязан к мачте, и без помощи весел мы поплыли с огромной скоростью.

Тут я увидела первый раз в жизни океан. Это величественное зрелище потрясло меня так, что я и не заметила, как мы подплыли к небольшому челноку, с которого нам подавались сигналы. Я очнулась от задумчивости, когда Гораций закричал кому-то из людей, находившихся в челноке:

— Гей! Гей! Господин моряк, что нового в Гавре?

— Ей-богу, немного, — отвечал знакомый мне голос. — А в Бюрси?

— Ты видишь — неожиданный товарищ, приехавший к нам, старинная твоя знакомая госпожа Безеваль, моя жена.

— Как! Госпожа Безеваль? — закричал Макс, которого я тогда не узнала.

— Она самая, и если ты сомневаешься в этом, любезный друг, то подъезжай поздороваться с нею.

Челнок подплыл, на нем был Макс с двумя матросами. Он был одет в щегольской костюм моряка, и на плече у него была сеть, которую он собирался закинуть в море. Сблизившись, мы обменялись несколькими учти-

выми фразами. Потом Макс бросил свою сеть, — решил в нашу лодку, поговорил о чем-то с Генрихом, поклонился мне и пересел в свой челнок.

— Счастливой ловли! — крикнул ему Гораций.

— Счастливого пути! — ответил Макс. Лодка и челнок разъехались.

Час обеда наступил, мы возвратились к устью Орна, который из-за начавшегося морского отлива так обмелел, что мы не могли уже доплыть по нему до парка и вынуждены были выйти на берег и взобраться на песчаные дюны.

Потом я прошла той самой дорогой, по которой шли вы спустя три или четыре ночи: сначала очутилась на гольцах, потом в большой траве, наконец, перешла гору, вошла в аббатство, осмотрела монастырь и его небольшое кладбище, прошла коридор и с другой стороны рощи вошла в парк замка.

Вечер прошел без какого-либо значительного события. Гораций был очень весел; он говорил об украшениях, которые намерен сделать будущей зимой в своем доме в Париже, и о путешествии весной: он хотел увезти нас с матерью в Италию, а может быть, купить в Венеции один из древних мраморных дворцов, чтобы проводить там время карнавала. Генрих был менее беспечен и казался озабоченным, его беспокоил малейший шум. Все эти подробности, на которые я едва обращала внимание, представились мне позже со всеми их причинами, которые тогда были для меня скрыты и следствие которых вы поймете после.

Мы удалились, оставив Генриха в зале. Он собирался целую ночь писать. Ему подали перья и чернила, и он расположился возле огня.

На другой день утром, когда мы завтракали, позвонили особенным образом у ворот парка. «Макс!» — воскликнули Гораций и Генрих. В самом деле тот, которого они называли, почти тотчас въехал во двор.

— А вот и ты, — сказал Гораций. — Очень рад тебя видеть, но в другой раз, пожалуй, позаботься немного о моих лошадях. Посмотри, что ты сделал с бедным Плутоном.

— Я боялся, что опоздаю, — отвечал Макс, потом вдруг обратился ко мне. — Сударыня, извините, что я явился к вам в таком наряде, но Гораций забыл, я уверен, что нам предстоит сегодня охота с англичанами, — продолжал он, делая ударение на этом слове. — Они

приехали вчера вечером на пароходе, теперь нам нельзя опаздывать, чтобы не изменить своему слову.

— Очень хорошо,— сказал Гораций,— мы будем там.

— Однако,— возразил Макс, обращаясь ко мне,— я не знаю, сможем ли мы сдержать свое обещание: охота слишком утомительна, чтобы мадам Безеваль могла ехать с нами.

— О, успокойтесь, господа,— отвечала я с поспешностью,— я приехала сюда не для того, чтобы мешать вашим удовольствиям. Поезжайте, а я в ваше отсутствие буду охранять крепость.

— Ты видишь,— сказал Гораций,— Полина настоящий капеллан. Ей не хватает только пажей и прислужниц, у нее нет даже горничной, которая осталась в дороге и будет здесь не раньше, чем через восемь дней.

— Впрочем,— сказал Генрих,— если ты, Гораций, хочешь остаться в замке, мы извинимся за тебя перед нашими островитянами; ничего нет легче!

— Нет! — возразил граф.— Вы забываете, что я главный участник пари: мне следует присутствовать там. Повторяю вам: Полина извинит нас.

— Совершенно! — воскликнула я.— И, чтобы дать вам полную свободу, я уйду в свою комнату.

— Я приду к вам через минуту,— сказал Гораций и, подойдя ко мне с очаровательной вежливостью, проводил до двери и поцеловал мою руку.

Я вошла в свою комнату, куда через несколько минут явился и Гораций; он был уже в охотничьем костюме и пришел проститься со мной. Я вышла с ним на крыльцо, где уже ждали Генрих и Макс. Они стали снова настаивать, чтобы Гораций остался со мной. Но я требовала, чтобы он ехал с ними. Наконец, они отправились, обещая возвратиться на следующий день утром.

Я осталась в замке одна с малайцем. Это странное общество могло бы испугать любую женщину, кроме меня. Я знала, что этот человек был совершенно предан Горацию с того самого дня, когда граф, вооруженный кинжалом, сражался с тигрицей. Покоренный этим потрясающим зрелищем — а дети природы всегда преклоняются перед храбростью,— малаец последовал за графом из Бомбея во Францию и не оставлял его ни на минуту. Итак, я была бы совершенно спокойна, если бы меня не тревожили его дикий вид и странный костюм. К тому же я находилась в тех местах, которые с некоторого времени стали театром невероятных происшествий. Я не слы-

шала еще, чтобы о них говорили Генрих и Гораций, которые, как мужчины, презирали или показывали, что презирают подобную опасность, но эти истории, ужасные и кровавые, пришли мне на память, как только я осталась одна. Однако мне нечего было бояться днем, и я вышла в парк, собираясь обойти утром окрестности замка, в котором решила провести два месяца.

Я, естественно, направилась в ту сторону, которую уже знала: опять посетила развалины аббатства, но на этот раз осмотрела все подробно. Вы знакомы с ними, и я не буду их описывать. Я вышла через разрушенную паперть и поднялась на холм, с которого открывалось море.

Во второй раз это зрелище произвело то же впечатление, что и в первый. Я провела два часа неподвижно, неотрывно глядя на эту величественную картину. Потом с сожалением покинула побережье, чтобы осмотреть другие части парка. Я опять спустилась к реке и шла некоторое время по ее берегу, пока не увидела привязанную к берегу лодку, на которой мы совершили вчера морскую прогулку. Почему-то мне на память пришла мысль о лошади, всегда оседланной. Это воспоминание пробудило другие: о вечной недоверчивости Горация, разделяемой его друзьями, о пистолетах, никогда не оставлявших изголовья его постели, пистолетах, увиденных на столе в час моего приезда. Что же они, показывая, что презирают опасность, принимают против нее все меры предосторожности? Но тогда, если оба эти мужчины боялись даже обедать без оружия, как они оставили меня одну без всякой защиты? Все это было необъяснимо. Поэтому, несмотря на все усилия не думать о плохом, беспокойные мысли не покидали меня, возвращаясь ко мне беспрестанно. Думая об этом, я шла не разбирая дороги, и вскоре очутилась в самом тенистом уголке рощи. Там, посреди настоящего дубового леса, возвышался павильон, уединенный и закрытый со всех сторон. Я обошла вокруг него, но двери и ставни были так плотно притворены, что я не могла заглянуть внутрь. Я решила, что в первый же раз, как выйду с Горацием, пойду в эту сторону. Я хотела, если Гораций согласится, сделать из павильона рабочий кабинет; его положение соответствовало этому назначению.

Я возвратилась в замок. После наружного обхода последовал внутренний осмотр. Комната, которую я занимала, выходила одной стороной в залу, а другой в биб-

лиотеку. Коридор проходил от одного конца здания до другого и разделял его на две половины. Предназначенная для меня комната была больше других. Остальная часть замка делилась на двенадцать небольших отдельных помещений, очень удобных для жилья, вопреки тому, что мне говорил и писал граф.

Так как в библиотеке можно было найти лучшее противоядие против уединения и скуки, ожидавших меня, я решила тотчас же познакомиться с книгами, которые могла там найти. Это были большей частью романы XVIII столетия, показывавшие, что предшественники графа имели большой вкус к литературе Вольтера, Кребильона-сына и Мариво. Несколько новых томов, по-видимому, купленных сегодняшним владельцем, выглядели серым пятном среди этого собрания. Это были сочинения по химии, истории и записки о путешествиях, среди которых я заметила прекрасное английское сочинение Даниэля об Индии. Я решила сделать его своим ночным товарищем, потому что не надеялась быстро уснуть; взяла его с полки и унесла в свою комнату.

Через пять минут малаец пришел и объяснил мне знаками, что обед готов. Стол был накрыт в огромной столовой. Не могу описать вам, какое чувство страха и печали овладело мной, когда я увидела себя вынужденной обедать одной, при двух свечах, свет которых не достигал даже глубины комнаты, оставляя в тени различные предметы, принимавшие самые странные формы. Тягостное чувство усиливалось из-за присутствия черного слуги, которому я могла сообщить свою волю не иначе, как при помощи нескольких знаков. Впрочем, он повиновался с поспешностью и понятливостью, которые придавали еще более фантастический вид этому странному обеду. Несколько раз я хотела говорить с ним, хотя знала, что он не понимает меня. Но, как ребенок, который не смеет кричать в темноте, я боялась услышать звуки своего собственного голоса. Когда он подал десерт, я знаками приказала ему разложить большой огонь в моей комнате: пламя камина — товарищ тех, у которых нет других собеседников. Впрочем, я хотела лечь как можно позднее, потому что чувствовала страх, о котором не думала в продолжение дня и который появился вместе с темнотой.

Ужас мой увеличился, когда я осталась одна в этой огромной столовой. Мне казалось, что белые занавеси, висевшие над окнами, как саваны, сдвигались со своих

мест. Однако я боялась не мертвецов: монахи и аббаты, прах которых я попирала, проходя кладбище, почивали благословенным сном,— одни в монастыре, другие в подземелье. Но все, что я узнала в деревне, все, что слышала в Кане, пришло мне на память, и я дрожала при малейшем шуме. Я слышала шелест листьев, отдаленный ропот моря и тот однообразный и меланхолический шум ветра, который разбивается об углы больших зданий и свистит в камине, как ночная птица в полете. Я пребыла неподвижно в таком положении около десяти минут, не смея взглянуть ни в ту, ни в другую сторону, вдруг услышала легкий шум позади себя, обернулась и увидела малайца. Он сложил на груди руки и поклонился, это была его манера извещать, что приказание, полученные им, исполнены. Комната моя была уже приготовлена для ночи простой служанкой, которая поставила свечи на стол и вышла.

Желание мое было в точности исполнено: огромный огонь горел в большом камине из белого мрамора с позолоченными амурами. Свет его разлился по комнате и придавал ей веселый вид; я почувствовала, что ужас понемногу покидает меня. Комната была обтянута красной материей с цветами и украшена на потолке и дверях множеством арабесков и причудливых изображений, представлявших танцы фавнов и сатиров, странные лица которых, казалось, улыбались в свете огня, освещавшего их. Однако я не могла до такой степени успокоиться, чтобы лечь в постель, впрочем, не было еще и восьми часов вечера. Я переоделась в спальный капот и, заметив, что погода прекрасная, хотела открыть окно, чтобы успокоить себя тихим и приятным видом уснувшей природы. Но из предосторожности, которую я приписала слухам об убийствах, происходивших в окрестностях, ставни снаружи были заперты. Я отошла от окна и села к столу у камина, решив начать чтение о путешествии в Индию, когда, бросив взгляд на книгу, заметила, что принесла второй том вместо первого. Я встала, чтобы пойти и взять другой, но на пороге библиотеки страх опять овладел мною. Подумав с минуту, я устыдилась самой себя, смело отворила дверь и подошла к полке, на которой были остальные тома издания.

Приблизив свечу к другим томам, чтобы рассмотреть их номера, я взглянула на пустое место, оставленное взятой мной книгой, и на стене увидела блестящую медную кнопку, подобную тем, которые бывают на замках.

Она была скрыта книгами, стоящими на полке. Я часто видела потаенные двери в библиотеках за фальшивыми переплетами, и ничего не было удивительного в том, что и здесь была такая же дверь. Однако стена, где она была помещена, была совсем не подходящей для двери: окна библиотеки были последними в здании, кнопочка была вделана позади второго окна, дверь в этой стороне могла открываться только на наружную стену.

Я отодвинулась немного, чтобы при помощи свечи рассмотреть, нет ли какого-либо признака двери, и, хотя смотрела во все глаза, ничего не увидела. Тогда я положила руку на кнопочку и попыталась повернуть ее, она не уступала, я подавила ее и почувствовала движение, подавила еще сильнее — и дверь отворилась с тихим шумом. Эта дверь выходила на маленькую винтовую лестницу, проделанную в толще стены.

Вы поймете, что подобное открытие несколько не могло успокоить меня. Я подняла свечу над лестницей и увидела, что она углубляется отвесно. С минуту я хотела осмотреть ее, но на большее у меня не хватило духу. Я вернулась в библиотеку, пятясь, закрыла дверь, которая затворилась так плотно, что даже я, уверенная в ее существовании, не могла увидеть щелочек, отделявших ее от стены. Я поставила книгу на прежнее место, желая, чтобы никто не мог заметить, что я до нее дотрагивалась. Ведь я не знала, кто еще владеет этим секретом. Взяв неудачу другое сочинение, я возвратилась в свою комнату, закрыла на засов дверь, выходившую в библиотеку, и села опять к огню.

Неожиданные происшествия приобретают или теряют свою важность в зависимости от настроения, печального или веселого, или от обстоятельств, более или менее критических, в которых мы находимся. Конечно, ничего нет особенного в потаенной двери в библиотеке и круглой лестнице в толще стены, но когда вы открываете эту дверь на эту лестницу ночью, в уединенном замке, где живете в одиночестве и без защиты, когда этот замок находится в местности, по которой каждый день расползаются слухи о новом грабеже или убийстве, когда с некоторого времени вы окружены какой-то тайной, когда недобрые предчувствия каждый миг приводят в смертельный трепет ваше сердце, — тогда все кажется если и не реальной угрозой, то по крайней мере призраками и привидениями, а кто не знает, что неизвестная опасность в тысячу раз страшнее и ужаснее видимой?

Тогда-то я стала сожалеть, что отпустила свою горничную. Ужас — чувство столь безрассудное, что оно возбуждается или уменьшается без всяких веских оснований. Существо самое слабое,— собачка, которая ласкается к нам, дитя, которое нам улыбается,— оба они, хотя не могут защитить нас, в этом случае служат хотя бы опорой для сердца, когда нет оружия для рук. Если бы со мною была эта девушка, не оставившая меня в продолжение пяти лет, в преданности которой я была уверена, то, без сомнения, весь страх мой исчез бы. Между тем мне в одиночестве казалось, что я обречена на погибель и уже ничто не спасет меня.

В таком положении я провела часа два,— неподвижная и бледная от ужаса. Часы пробили десять, потом одиннадцать, и при этих звуках, столь обычных, я прижималась каждый раз к ручкам кресел. В половине двенадцатого мне послышался отдаленный шум выстрела из пистолета, я привстала, прислонясь к камину, потом, когда все стихло, упала в кресло, закинув голову на спинку. Я провела таким образом еще некоторое время, не смея отвести глаза от того места, на которое они были устремлены, чтобы не увидеть что-нибудь очень страшное. Вдруг мне послышалось среди этой абсолютной тишины, что ворота, расположенные напротив крыльца и отделявшие сад от парка, зашкрипели на своих петлях. Мысль, что приехал Гораций, изгнала в минуту весь мой ужас, и я бросилась к окну, забыв, что ставни заперты, хотела отворить дверь, но по неловкости или предосторожности малаец запер ее, уходя. Я была пленницей. Тогда, вспомнив, что окна библиотеки, подобно моим, выходили на двор, я отодвинула засов и по одному из тех странных побуждений, которые рождают величайшую храбрость после сильной робости, вошла туда без свечи, потому что вошедшие во двор могли быть и не Горацием с его друзьями, а свет в комнате показал бы, что в ней живут. Ставни были только притворены, я открыла одну из них и при свете луны ясно различила человека, отворявшего одну половинку ворот и державшего их полурастворенными, между тем как двое других, неся предмет, которого я не могла рассмотреть, прошли ворота, которые их товарищ тотчас затворил. Эти три человека, вместо того, чтобы идти к крыльцу, обошли замок, но так как путь, по которому они следовали, приближал их ко мне, я начала различать форму предмета, который они несли: это было тело, завернутое

в плащ. Без сомнения, вид дома, где могли быть люди, подал какую-то надежду тому или той, кого похитили, перед моим окном завязалась борьба, показалась одна рука и рукав женского платья. Не было никакого сомнения, что жертвой была женщина... Все это произошло в одно мгновение. Рука, сильно схваченная одним из трех человек, скрылась под плащом, предмет принял вид бесформенного мешка. Потом все скрылись за углом здания в тени тополиной аллеи, ведущей к небольшому закрытому павильону, который я обнаружила в дубовом лесу.

Я не могла узнать этих людей, заметила только, что они одеты как крестьяне. Но если это были чужие, то каким образом они вошли в замок? Как достали ключ от ворот?... Я ничего не знала. Могло быть и то, и другое. Впрочем, все это было так необъяснимо и так странно, что несколько раз я спрашивала себя, не нахожусь ли я во власти сновидения? Не слышно было никакого шума, ночь продолжала свое тихое и спокойное течение, и я стояла у окна, неподвижная от ужаса, не смея покинуть своего места, чтобы шум моих шагов не навлек опасности, если она мне угрожала. Вдруг я вспомнила о потаенной двери, об этой таинственной лестнице. Мне показалось, что я слышу глухой шум в той стороне. Я бросилась в свою комнату и заперла на засов дверь, потом почти упала в кресло, не заметив, что в мое отсутствие одна свеча погасла.

На этот раз меня мучил уже не пустой страх, но какое-то преступление, которое произошло рядом со мной, и исполнителей которого я видела своими глазами. Мне казалось каждую минуту, что отворяют потаенную дверь или отодвигают какую-нибудь незаметную перегородку; все тихие звуки, слышимые ночью — треск раскохшейся мебели или паркета, — заставляли меня дрожать от ужаса. Среди безмолвия я слышала, как билось маятником мое сердце. В эту минуту пламя свечи достигло бумаги, окружавшей ее; мгновенный свет разлился по всей комнате, потом стал уменьшаться; шипение продолжалось несколько минут, наконец, фитиль, упав вовнутрь подсвечника, погас и оставил меня при свете одного камина. Я искала глазами дрова, чтобы подбросить их в камин, и не находила. Тогда я придвинула одни головни к другим, и на минуту огонь вспыхнул с новой силой. Но дрожащее пламя его не могло меня успокоить: каждый предмет двигался, как и свет, освещав-

ший их, двери прыгали, занавеси волновались; длинные движущиеся тени проходили по потолку и коврам. Мне становилось почти дурно, и я не упала в обморок только из-за страха. В эту минуту раздался небольшой шум, предшествующий звону часов, и пробило полночь.

Однако я не могла провести всю ночь в кресле. Чувствуя, что начинаю постепенно замерзать, я решила лечь совсем одетая. Подошла к постели, не глядя ни в ту, ни в другую сторону, бросилась под одеяло и закрылась с головой. Я пробыла в таком положении почти час, не думая о возможности заснуть. Я буду помнить этот час всю мою жизнь; паук ткал паутину в углу алькова, и я слушала непрерывный шелест ночного работника. Вдруг паук перестал трудиться, прерванный другим шумом. Мне показалось, что я услышала слабый скрип, подобный тому, который произвела дверь библиотеки, когда я надавила кнопчку. Я высунула поспешно голову из-под одеяла и с окаменевшей шеей, едва удерживая дыхание, держа руку на сердце, чтобы ослабить его биение, вбирала в себя безмолвие, сомневаясь в том, что я услышала. Вскоре мне не в чем уже было сомневаться.

Я не ошиблась: паркет трещал под тяжестью шагов, кто-то приближался, опрокинул стул. Но, без сомнения, приближающийся человек боялся быть услышанным, потому что шум тотчас прекратился, наступила полная тишина. Паук начал опять плести свою паутину... О, вы видите, все эти подробности так живы в моей памяти, как будто я там еще лежу в постели, едва дыша от ужаса.

Я услышала вновь движение в библиотеке, снова кто-то шел, приближаясь к тому месту, где стояла моя кровать, чья-то рука дотронулась до перегородки... Итак, я была отделена от вошедшего толщиной одной только доски. Мне показалось, что отодвигают перегородку... Я замерла и притворилась спящей: сон был единственным моим оружием. Если это вор, то он, думая, что я не могу ни видеть, ни слышать его, может быть, пощадит меня, считая смерть мою бесполезной. Лицо мое, обращенное к полу, было в тени, и я могла не закрывать глаза. Я увидела движение в своих занавесах, чья-то рука раздвигала их медленно, потом между складками красной драпировки появилось бледное лицо. Последний свет камина, дрожавший в глубине алькова, осветил это видение, я узнала Горация и закрыла глаза...

Когда я открыла их, видение уже исчезло, но занавеси еще колыхались. Я услышала шум задвигаемой пере-

городки, потом удаляющиеся шаги, потом скрип двери. Наконец наступила тишина. Не знаю, сколько времени я пролежала без дыхания и без движения, но к рассвету, измученная этой ужасной ночью, впала в оцепенение, похожее на сон.

ХИ

Я была разбужена малайцем, стучавшим в дверь, запертую мною изнутри. Я была одета и тотчас встала, чтобы отодвинуть засов. Слуга открыл ставни, и я, увидев в своей комнате свет и солнце, бросилась к окну. Это был один из прекрасных дней осени, когда солнце, прежде чем покроется облачной вуалью, бросает последнюю улыбку на землю. Все было так тихо и так спокойно в парке, что я начала сомневаться в самой себе. Но происшествия ночи были так живы в моем сердце, к тому же вид из окна напоминал мне малейшие подробности. Опять я увидела ворота, отворявшиеся, чтобы дать пройти трем мужчинам с их ношей, аллею, по которой они шли, следы, которые остались на песке, более заметные в том месте, где жертва сопротивлялась, потому что те, которые несли ее, ступали тверже, чтобы умерить ее движения. Эти следы вели по описанному уже мною направлению и терялись в тополиной аллее. Тогда я захотела увидеть еще что-нибудь, еще более убеждающее меня. Я пошла в библиотеку: ставня была полуотворена, как я оставила ее, опрокинутый стул валялся посреди комнаты,— это его падение я слышала. Я подошла к перегородке и, рассмотрев ее очень тщательно, увидела неприемлемую выемку, по которой она двигалась. Я попробовала отодвинуть ее и почувствовала, что она поддается. В эту минуту дверь моей комнаты отворилась. Я успела только отскочить от перегородки и схватить книгу в библиотеке.

Это был малаец, он пришел сказать, что завтрак готов, и я пошла за ним.

Войдя в залу, я вздрогнула от удивления: я была уверена, что увижу там Горация, но его не было, а стол был накрыт на одну персону.

— Граф не возвращался? — спросила я.

Малаец отвечал мне знаками отрицательно.

— Нет? — бормотала я, изумленная.

— Нет! — повторил он жестом.

Я упала в кресло; граф не возвращался!.. Однако я видела его, он подходил к моей кровати, поднимал занавески,

веси через час после того, как эти три человека... Но эти трое — не были ли это граф и его друзья Генрих и Макс, похитившие женщину?.. Они одни в самом деле могли иметь ключ от парка и войти так свободно, никем не видимые и никого не беспокоя. Нет сомнения, это так. Вот почему граф не хотел, чтобы я приехала в замок, вот почему принял меня так холодно и удалился под предлогом охоты. Похищение женщины было задумано до моего приезда, теперь оно исполнено. Граф не любит меня, он любит другую, и эта женщина в замке, в павильоне, без сомнения!

Граф, чтобы увериться, что я ничего не видела, ничего не слышала, что, наконец, не подозреваю его, вошел по лестнице библиотеки, отодвинул перегородку, поднял мои занавеси и, уверясь, что я сплю, возвратился к своей любви. Все было для меня так ясно и точно, как будто я сама видела. В минуту ревность моя осветила темноту, проникла сквозь стены, мне нечего было узнавать еще. Я вышла — мне стало душно.

Уже загладили следы шагов, и метла разровняла песок. Я направилась к тополиной аллее, дошла до дубового леса, увидела павильон и обошла его. Он был заперт и казался необитаемым, как и накануне. Возвратясь в замок, я вошла в свою комнату, бросилась в кресло, на котором в прошедшую ночь провела столько ужасных часов, и удивилась своему страху!.. Это была тень, тьма или, скорее, отсутствие бурной страсти, которая таким образом ослабила мое сердце.

Я провела часть дня, прохаживаясь по своей комнате, отворяя и затворяя окно и ожидая вечера с таким же нетерпением, с каким страхом накануне ждала его приближения. Пришли доложить мне, что обед готов. Я вошла и увидела опять один прибор, и подле него письмо. Узнав руку Горация, я поспешно разломала печать.

Он извинялся, что оставлял меня одну в продолжение двух дней, но он не мог возвратиться: с него взяли слово еще до моего приезда, и он должен был сдержать его, как бы дорого оно ему ни стало. Я смяла письмо в руках, не дочитав его, и бросила в камин, потом заставила себя есть, чтобы не вызвать подозрения малайца. Окончив обед, я вернулась в свою комнату.

Вчерашнее приказание мое не было забыто: в камине горел большой огонь, но в этот вечер не он занимал меня. Я хотела составить себе план и села, чтобы поразмыслить. Вчерашний страх был совершенно забыт.

Граф Гораций и его друзья — потому что это были они — вошли в ворота и пронесли эту женщину к павильону, потом граф вошел потаенной лестницей, чтобы увериться, хорошо ли я спала и не слышала ли или не видела ли чего-нибудь. Итак, мне остается только спуститься по лестнице, пройти той же дорогой туда, откуда он приходил: я решила следовать этому плану.

Часы показывали только четверть девятого. Я подошла к ставням, они не были заперты. Без сомнения, этой ночью ничего не увидишь, потому и не принято вчерашних мер предосторожности; я отворила окно.

Ночь была бурная, я слышала отдаленные раскаты грома. Шум волн, разбивавшихся о берег, доносился до замка. В моем сердце была буря ужаснее, чем за окном, и мысли мои толпились в голове мрачнее и теснее, чем волны океана. Два часа прошло, я не сделала ни одного движения и смотрела на небольшую статую, скрытую деревьями. Правда, я не видела ее.

Наконец, мне показалось, что время уже наступило: я не слышала никакого шума в замке. Тот самый дождь, который в вечер с 27 на 28 сентября вынудил вас искать убежище в развалинах, начал низвергаться потоками; я подставила на минуту голову под небесный душ, потом закрыла окно и притворила ставни.

Я вышла из своей комнаты и сделала несколько шагов по коридору. В замке было тихо. Малаец, без сомнения, спал или прислуживал господину в обитаемой части. Я вернулась и заперла дверь на засов. В это время пробило десять часов с половиною. На дворе слышны были только вопли урагана, и шум его помогал мне скрывать тот, который сама я могла сделать. Я взяла свечу и подошла к двери, ведущей в библиотеку: она была заперта на ключ.

Меня видели там утром, боялись, чтобы я вновь не вошла в библиотеку. К счастью, граф прошлой ночью показал мне другой вход.

Я прошла за своей постелью, отодвинула перегородку и очутилась в библиотеке.

Я шла твердыми шагами, без размышлений, к потаенной двери, вынула том, скрывавший кнопочку, надавила ее, и дверь отворилась.

Лестница представляла собой тесный проход для одного человека; я спустилась по ней на три этажа, прислушиваясь на каждом, но все было тихо.

В конце третьего этажа я нашла вторую дверь, она не была заперта на замок, при первой попытке отворить ее она открылась.

Я очутилась под сводом, углублявшимся по прямой линии. Пройдя его в пять минут, нашла третью дверь и отворила ее также без труда; она выходила на другую лестницу, подобную первой, но только в два этажа. На последнем я увидела железную дверь, приоткрыла ее и услышала голоса. Тогда я погасила свечу, поставила ее на последней ступени и проскользнула в отверстие, сделанное в камине и закрытое плитой. Отодвинув ее немного, я очутилась в химической лаборатории, очень слабо освещенной: свет соседней комнаты проникал в этот кабинет только сквозь круглое отверстие над дверью, закрытое занавесками. Окна были так плотно закрыты, что даже днем ни один луч света не мог туда проникнуть.

Я не ошиблась, сказав, что мне послышались голоса. Кто-то говорил в соседней комнате. Я узнала голос графа и его друзей. Пододвинув кресло к двери, я встала на него и увидела другую комнату.

Граф Гораций, Макс и Генрих сидели за столом, однако оргия подходила к концу. Малаец прислуживал им, стоя позади графа. Каждый из пирующих был одет в голубую блузу с охотничьим ножом за поясом и имел при себе по паре пистолетов. Гораций встал, как будто желая уйти.

— Уже? — сказал ему Макс.

— Что же мне здесь делать? — спросил граф.

— Пей! — предложил Генрих, наливая ему стакан.

— Прекрасное удовольствие пить с вами. При третьей бутылке вы уже пьяны, как сапожники.

— Будем играть!

— Я не мошенник, чтобы обыгрывать вас, когда вы не в состоянии защищать свои деньги, — сказал граф, пожимая плечами и отворачиваясь.

— Так поухаживай за нашей прекрасной англичанкой; твой слуга принял меры, чтобы она не была жестока. Клянусь честью, вот славный малый. Возьми, мой милый.

Макс дал малайцу горсть золота.

— Великодушен, как вор! — сказал граф.

— Хорошо, но это не ответ, — возразил Макс в свою очередь. — Хочешь ли ты эту женщину или нет?

— Не хочу!

— Ну, так я беру ее.

— Постой! — закричал Генрих, протягивая руку. — Мне кажется, что и я здесь что-нибудь значу и что имею такие же права, как и другой... Кто убил мужа?

— В самом деле, он прав, — сказал, смеясь, граф.

При этих словах раздались стоны. Я посмотрела в ту сторону, откуда они раздались. Женщина лежала на постели у колонн, связанная по рукам и ногам. Внимание мое было так поглощено мужчинами, что я не заметила ее сначала.

— Да! — продолжал Макс. — Но кто ожидал их в Гавре? Кто прискакал сюда, чтобы известить вас?

— Черт возьми! — сказал граф. — Это становится затруднительным, и надо быть самим царем Соломоном, чтобы решить, кто имеет более прав — шпион или убийца.

— Следует, однако, это решить, — сказал Макс, — вы заставили меня думать об этой женщине, и вот я уже влюблен в нее.

— И я также, — сказал Генрих. — Но так как ты сам не думаешь о ней, то отдай ее тому, кому хочешь.

— Чтобы другой донес на меня после какой-нибудь пирушки или, как сегодня, не знал сам, что делает. О нет, господа. Вы оба красивы оба молоды, оба богаты, вам нужно только десять минут, чтобы позабавиться. Начинайте, мои Дон Жуаны.

— В самом деле, ты внушил мне прекрасную мысль, — сказал Генрих. — Пусть сама она выберет того, кто ей больше нравится.

— Согласен! — отвечал Макс. — Но пусть поспешит. Объясни ей это ты, поскольку говоришь на всех языках.

— Охотно, — сказал Гораций.

Потом, обратясь к несчастной женщине, сказал на чистом английском языке:

— Миледи, вот два разбойника, мои друзья, оба из знатных семей, что можно доказать из записей на пергаменте, если хотите. Они после раздела имений сначала промотали свое состояние, потом, находя, что все дурно устроено в обществе, возымели желание засесть на больших дорогах, по которым это общество проезжает, чтобы исправить его несправедливости и пороки. Пять лет уже, к величайшей славе философии и полиции, они свято занимаются исполнением этой обязанности, которая дает им средства блистать в салонах Парижа и которая приведет их, как это и случилось со мной, к какому-нибудь выгодному супружеству. Тогда они перестанут иг-

рать роль Карлов Мооров и Жанов Сбогаров. В ожидании женитьбы, так как в замке нет женщин, кроме моей жены, которую я не хочу отдать им, они покорнейше умоляют вас избрать того, кто вам больше нравится, в противном случае они возьмут вас оба. Хорошо ли я выразился по-английски, миледи, и поняли ли вы меня?

— О, если у вас есть жалость в сердце,— воскликнула бедная женщина,— убейте меня! Убейте меня!

— Что она говорит? — бормотал Макс.

— Она отвечает только, что это бесчестно,— сказал Гораций,— и, признаюсь, я вполне согласен с нею.

— В таком случае...— сказали вдруг Генрих и Макс, вставая.

— В таком случае делайте, что хотите,— отвечал граф.

Он сел, налил себе стакан шампанского и выпил.

— О, убейте меня! Убейте меня! — закричала опять женщина, увидев двух молодых людей, готовых подойти к ней.

В эту минуту то, что легко было предвидеть, случилось: Макс и Генрих, разгоряченные вином, смотрели один на другого и, раздражаемые одним желанием, все более ожесточались.

— Итак, ты не хочешь уступить ее мне? — спросил Макс.

— Нет! — отвечал Генрих.

— Ну, так я возьму ее!

— Посмотрим!

— Генрих, Генрих! — сказал Макс, скрежеща зубами.— Клянусь честью, что эта женщина будет принадлежать мне.

— А я клянусь жизнью, что она будет моя, и я дорожу своей жизнью больше, чем ты честью.

Тогда они отступили назад, выхватили охотничьи ножи и стали нападать один на другого.

— Из жалости, из сострадания, во имя неба — убейте меня! — закричала в третий раз связанная женщина.

— Что вы сказали? — воскликнул Гораций, сидя по-прежнему, обращаясь к двум молодым людям тоном начальника.

— Я сказал,— отвечал Макс, нанося удар Генриху,— что я буду иметь эту женщину.

— А я,— возразил Генрих, нападая на противника,— я сказал, что она будет моя, и сдержу свое слово.

— Нет! — возразил Гораций.— Вы оба солгали, вы не будете иметь ее.

Он взял со стола пистолет, медленно поднял его и выстрелил; пуля пролетела между сражающимися и поразила женщину в сердце.

При этом зрелище я испустила ужасный крик и упала без чувств, такая же мертвая на вид, как и та, которую убили.

XIII

Придя в чувство, я поняла, что нахожусь в подземелье. Граф, привлеченный моим криком и шумом падения, без сомнения, нашел меня в лаборатории и, пользуясь моим обмороком, продолжавшимся несколько часов, перенес в подземелье. Подле меня на камне стояла лампа, стакан и лежало письмо. Стакан содержал яд, что касается письма, то я вам перескажу его.

— Неужели вы не решаетесь показать его и доверяете мне только наполовину?

— Я сожгла его,— отвечала мне Полина,— но будьте спокойны: я не забыла ни одного слова.

«Полина, вы все видели, все слышали, мне нечего более открывать вам, вы знаете, кто я, или лучше, что я.

Если бы тайна, похищенная вами, принадлежала мне одному, если бы одна только моя жизнь зависела от нее, я охотно подвергнул бы ее опасности, чем позволил бы упасть одному волосу с вашей головы. Клянусь вам, Полина!

Но невольная неосторожность, знак ужаса, исторгнутый у вас воспоминанием, слово, произнесенное во сне, могут привести к эшафоту не только меня, но еще двух других людей. Ваша смерть обеспечивает три жизни. Итак, надобно, чтобы вы умерли.

С минуту я хотел убить вас во время вашего обморока, но у меня не хватило для этого сил, потому что вы — единственная женщина, которую я любил, Полина. Если бы вы последовали моему совету, повиновались моему приказанию, вы были бы теперь подле своей матери. Вы приехали против моей воли; итак, припишите все это судьбе вашей.

Вы придете в себя в подземелье, куда никто не входил вот уже двадцать лет и куда, может быть, никто не войдет еще столько же времени. Не надейтесь на помощь, потому что все бесполезно. Вы найдете яд подле этого письма. Вот все, что я могу сделать для вас: предложить

вам скорую и спокойную смерть вместо мучения медленного и ужасного. Во всяком случае, что бы вы ни предприняли, с этого часа вы умерли.

Никто не видел вас, никто вас не знает. Женщина, убитая мною, чтобы восстановить согласие между Генрихом и Максом, будет погребена в Париже в гробнице вашей семьи, и ваша мать будет плакать над нею, думая, что она плачет над своей дочерью.

Прощайте, Полина! Я не прошу у вас ни забвения, ни милосердия. Давно уже я проклят, и ваше прощение не спасет меня».

— Это ужасно! — воскликнул я. — О, Боже мой! Боже мой! Сколько вы страдали!

— Да! Теперь все, о чем остается рассказать вам, — это одно только мучение. Итак...

— Неважно, — закричал я, прерывая ее, — неважно, рассказывайте!

— Я прочла это письмо два или три раза — и не могла убедить себя в его реальности. Есть вещи, против которых разум возмущается, имеешь их перед собою, под рукой, перед глазами, смотришь на них, дотрагиваешься — и не веришь. Я подошла в молчании к решетке, она была заперта; я обошла вокруг своей темницы, ударяя в ее влажные стены кулак; потом села в углу своей тюрьмы. Я была крепко заперта, при свете лампы я хорошо видела яд и письмо, однако еще сомневалась. Я говорила, как говорят иногда во сне: я сплю, я хочу пробудиться.

Я оставалась неподвижно сидящей до той самой минуты, когда лампа начала шипеть. Тогда страшная мысль, не приходившая до тех пор мне в голову, вдруг поразила меня: лампа скоро погаснет. Я вскрикнула от ужаса и бросилась к ней: масло почти все выгорело. Темнота принесла мне первую весть о смерти.

О, чего бы я не дала за масло для этой лампы! Если бы могла разжечь ее своей кровью, я зубами вскрыла бы себе вену. Она все шипела, свет все слабел, и круг темноты, которую она удалила, блистая во всей своей силе, приближался постепенно ко мне. Я была подле нее на коленях, сложивши руки, я не думала молиться Богу, я молилась ей. Наконец она начала бороться с темнотой, как и сама я боролась со смертью. Может быть, я одушевила ее собственными чувствами, но мне казалось, что она сильно привязалась к жизни и страшилась по-

терять огонь, который составлял ее душу. Вскоре наступили для нее последние минуты жизни со всеми их изменениями: она заблестала под конец, — так к умирающему иногда возвращаются силы. Она освещала большее пространство, чем раньше, как иногда воспаленный разум видит далее пределов, назначенных для зрения человеческого. Потом наступило совершенное изнеможение; пламя дрожало, подобно последней улыбке на устах умирающего, наконец, погасло, унося с собой свет, — половину жизни.

Я упала в угол своей темницы. С этой минуты я не сомневалась более, потому что — странная вещь — с тех пор, как перестала видеть письмо и яд, я уверилась, что они были.

Когда было светло, я не обращала никакого внимания на безмолвие, но с тех пор, как погасла лампа, оно наделгло на мое сердце всей тяжестью тьмы. Впрочем, в нем было что-то, такое могильное и глубокое, что... я бы закричала, если бы надеялась быть услышанною. О! Это было одно из тех безмолвий, которое таится на камнях гробниц в ожидании вечности.

Странно, что приближение смерти заставило меня почти забыть того, кто был ее причиной. Я думала о моем положении, я была поглощена ужасом, но могу сказать, и знает Бог, что если не думала простить его, то также не хотела и проклинать. Вскоре я начала страдать от голода.

Я потеряла счет времени. Вероятно, день прошел и ночь наступила, а потом и утро, потому что, когда солнце появилось, один луч, проникший сквозь какую-то незаметную трещину в почве, осветил основание одного столба. Я радостно закричала, как будто этот луч принес мне надежду.

Глаза мои были прикованы к этому лучику, и я стала ясно различать все предметы в пространстве, им освещаемом: несколько камней, кусок дерева и кустик мха. Возвращаясь к одному и тому же месту, луч вызвал в подземелье ростки этой бедной и скудной жизни. О, чего бы я не дала, чтобы быть на месте этого камня, этого куска дерева и этого мха, чтобы увидеть еще раз небо сквозь трещину земли.

Я начала ощущать жгучую жажду и чувствовать, что мысли мои мешаются. Время от времени в глазах у меня темнело и зубы мои сжимались, как в нервном припадке, однако я продолжала смотреть на луч. Без сомнения,

он проникал в очень узенькую щелку, потому что, когда солнце перестало светить на землю прямо, луч померк и сделался едва видимым. Это открытие лишило меня последней твердости, я ломала себе руки от отчаяния и билась в конвульсиях.

Голод мой обратился в острую боль желудка. Рот горел, я почувствовала желание грызть, взяла клоч своих волос в зубы и начала жевать. Вскоре у меня появилась глухая лихорадка, хотя пульс едва бился. Я начала думать о яде. Тогда встала на колени и сложила руки, чтобы молиться, но забыла все молитвы. Я могла припомнить только несколько слов без связи и без конца. Мысли, самые противоположные, сталкивались вдруг в голове моей. Мотив «La Giazza» шумел в ушах; я сама чувствовала, что начинаю сходить с ума, бросилась лицом на землю и вытянулась во всю длину.

Оцепенение от волнения и усталости, которые я испытала, овладело мною, я заснула. Однако мысль о моем положении не переставала во мне бодрствовать. Тогда начались сновидения, одно другого несвязнее. Этот болезненный сон, вместо того, чтобы дать мне какое-нибудь успокоение, совершенно расстроил меня. Я проснулась, меня терзали голод и жажда. Тогда я подумала о яде, который был подле меня и мог дать мне тихую и спокойную смерть. Несмотря на мою слабость, несмотря на лихорадку, разлитую в моих жилах, я чувствовала, что смерть еще далека, что мне надо ожидать ее еще много часов и что самые ужасные минуты для меня еще не пришли. Тогда я решила в последний раз увидеть тот луч, который накануне посетил меня, как утешитель, проскользающий в темницу заключенного. Я устремила глаза в ту сторону, откуда он должен был показаться. Это ожидание смягчило немного жестокие мучения, испытываемые мною.

Желанный луч показался наконец, он был тускл и бледен. Без сомнения, в этот день солнце было в облаках. Тогда все, что освещало оно на земле, представилось вдруг моим глазам: деревья, луга, вода — такие прекрасные; Париж, который я не увижу более, моя матушка, может быть, получившая уже известие о моей смерти и оплакивающая свою живую дочь. При этом зрелище, при этих воспоминаниях, сердце мое разорвалось, я рыдала и утопала в слезах, это было в первый раз с тех пор, как я попала в подземелье. Постепенно я успокоилась, рыдания прекратились, и только слезы текли в мол-

чании Я не отменила прежнего намерения отравить себя, однако страдала меньше.

Глаза мои, как и накануне, были устремлены на этот луч все время, пока он светился. Потом он побледнел и исчез.. Я простилась с ним рукой... и сказала ему «прости», потому что решила не видеть его больше.

Тогда я углубилась в самое себя и сосредоточилась некоторым образом на своих последних и выспренных мыслях. За всю жизнь мою я не совершила ни одного дурного поступка; я умирала без всякого чувства ненависти и без желания мщения. Бог должен принять меня как свою дочь, я оставляю землю ради неба. Это была единственная утешительная мысль, которая мне оставалась; я привязалась к ней.

Вскоре мне показалось, что эта мысль разлилась не только во мне, но даже и вокруг меня; я начала ощущать тот святой энтузиазм, который составляет твердость мучеников. Я встала и подняла глаза к небу. Тогда показалось мне, что взоры мои проникли через свод, пронзили землю и достигли престола Божьего. В эту минуту даже страдания мои были укрощены религиозным восторгом. Я подошла к камню, на котором стоял яд, как будто видела его сквозь темноту, взяла стакан, прислушалась, не услышу ли какого-нибудь шума, огляделась, не увижу ли какого-нибудь света. Прочла в уме своем письмо, которое говорило мне, что двадцать лет никто не входил в это подземелье и, может быть, еще столько же времени никто не войдет. Убедилась в душе своей в невозможности избежать мучений, которые оставалось мне перенести, взяла стакан с ядом, поднесла к губам — и выпила, смешивая в последнем ропоте сожаления и надежды, имя матери, оставляемой мною, и имя Бога, к которому я спешила.

Потом я упала в угол своей темницы. Небесное видение померкло, покров смерти опустился между ним и мною. Страдания от голода и жажды возобновились, к ним присоединились еще страдания от яда. Я знала, что должен проступить ледяной пот, который должен был возвестить мою последнюю минуту... Вдруг я услышала свое имя, открыла глаза и увидела свет: вы были там у решетки моей темницы!.. Вы, то есть свет, жизнь, свобода... Я испустила радостный крик и бросилась к вам... Остальное вы знаете

Теперь,— продолжала Полина,— я прошу вас повторить вашу клятву, что вы никому не откроете этой страш-

ной драмы до тех пор, пока будет жив кто-нибудь из трех лиц, игравших в ней главные роли».

Я повторил свою клятву.

XIV

Доверенность, оказанная мне Полиной, сделала для меня положение ее еще более священным. Я почувствовал с тех пор, как далеко должна простираться та преданность, которая составляла мою любовь к ней и мое счастье, но в то же время понял, как неделикатно будет с моей стороны выражать ей эту любовь иначе, чем попечениями, самыми нежными, и почтительностью, самой внимательной. Условленный план был принят между нами. Она выдавала себя за мою сестру и называла меня братом. Опасаясь, чтобы ее не узнали знакомые из салонов Парижа, я убедил ее отказаться от мысли давать уроки музыки и языков. Что же касается меня, то я написал моей матери и сестре, что хочу остаться на год или на два в Англии. Полина не решалась противоречить мне.

Полина долго думала, открыть ли свою тайну матери и быть мертвой для целого света, но живой хотя бы для той, кому обязана жизнью. Я старался убедить ее осуществить это намерение, правда, слабо, потому что оно похищало у меня то положение единственного покровителя, которое делало меня счастливым, за недостатком другого имени. Полина, подумав, отвергла, к величайшему удивлению моему, это утешение и, несмотря на все мои настояния, не хотела объяснять причины своего отказа, сказав только, что это опечалит меня.

Таким образом текли дни наши — для нее в меланхолии, которая иногда бывала прелестной; для меня — в надежде на счастье, потому что я видел, как сближалась она со мною день ото дня добрыми порывами сердца и, сама того не замечая, давала мне доказательства, что медленные, но видимые перемены совершаются в ней. Если мы трудились оба, — она за каким-нибудь вязанием, я за акварелью или рисунком, — случалось часто, что, подняв глаза на нее, я встречал ее взгляд, устремленный на меня. На прогулках она сначала опиралась на мою руку, как на руку постороннего, но через некоторое время ее рука начала теснее прижиматься к моей руке. Возвращаясь на улицу Сен-Жаме, я почти всегда видел ее издали у окна, она смотрела в ту сторону, откуда я должен был возвратиться. Все эти знаки, которые

могли быть простыми знаками привычки при продолжительном знакомстве, казались мне надеждой на будущее счастье. Я умел быть признательным и благодарил ее про себя, не смея высказать этого на словах. Я боялся, что она заметит, как наши сердца начинает связывать чувство, более нежное, чем братская дружба.

Благодаря моим рекомендательным письмам у нас появилось несколько знакомств. Среди наших знакомых был молодой медик, имевший в Лондоне уже три или четыре года хорошую репутацию своими глубокими познаниями некоторых болезней. Каждый раз, посещая нас, он смотрел на Полину с серьезным вниманием, всегда вызывавшим у меня некоторое беспокойство. В самом деле, свежие и прекрасные цветы юности, которыми прежде так блистало ее лицо и отсутствие которых я приписывал сначала горести и утомлению, — не появлялись с той самой ночи, когда я нашел ее умирающей в подземелье. Когда же мгновенная краска покрывала ее щеки, она придавала ей лихорадочный вид, беспокоивший более, чем бледность. Иногда она начинала чувствовать внезапные спазмы желудка, доводившие ее до бесчувствия, и после этих припадков она погружалась в глубокую меланхолию. Наконец, приступы стали возобновляться так часто и с такой возрастающей силой, что однажды, когда доктор Сорсей посетил нас, я, взяв его за руку, повел в сад.

Мы обошли несколько раз маленькую лужайку, не произнося ни слова, потом сели на скамью, на которой Полина рассказала мне эту страшную повесть. Там с минуту мы были погружены в размышления. Я хотел прервать молчание, но доктор предупредил меня.

— Вы беспокоитесь о здоровье вашей сестры? — сказал он.

— Признаюсь, — отвечал я, — и вы сами заметили опасность, умножившую мои страхи.

— Да, — продолжал доктор, — ей угрожает хроническая болезнь желудка, не случилось ли с ней какого-нибудь несчастья, когда она могла повредить желудок?

— Она была отравлена.

Доктор размышлял с минуту.

— Да, — сказал он, — я не ошибся. Я предпишу диету, которой она должна следовать с величайшей точностью. Что касается нравственного лечения, то это зависит от вас. Может быть, она тоскует по родине и путешествию во Францию принесло бы ей пользу.

— Она не хочет туда возвращаться

— Поезжайте в Шотландию, в Ирландию, в Италию, куда ей захочется, но я считаю это необходимым.

Я пожал руку доктору, и мы вернулись в дом. Что касается наставлений, то он обязался присылать их прямо ко мне. Чтобы не беспокоить Полину, я решил, не говоря ни слова, заменить диетой наше обыкновенное меню. Но эта предосторожность была напрасна; едва доктор покинул нас, Полина взяла меня за руку.

— Он все сказал вам, не правда ли? — спросила она.

Я сделал вид, будто не понимаю ее, она улыбнулась печально.

— Вот отчего,— продолжала она,— я не хотела писать матери. К чему возвращать ей дочь, когда через год или два смерть опять ее похитит? Довольно один раз заставить плакать того, кого любишь.

— Но,— возразил я,— вы ошибаетесь насчет своего самочувствия, вы не в духе сегодня, и только.

— О! Это гораздо серьезнее! — отвечала Полина с той же приятной и печальной улыбкой.— Я чувствую, что яд оставил следы и здоровье мое сильно расстроено, но выслушайте меня, я не отказываюсь от надежды. Для меня ничего нет лучше жизни, спасите меня во второй раз, Альфред. Скажите, что я должна делать?

— Следовать предписаниям доктора. Они легки: простая, но постоянная диета, рассеяние, путешествие...

— Куда вы хотите ехать? Я готова.

— Выберите сами страну, которая вам нравится.

— В Шотландию, если хотите, потому что половина дороги уже сделана.

— Хорошо, в Шотландию.

Я тотчас начал приготовления к отъезду, и через три дня мы покинули Лондон. Мы остановились на минуту на берегах Твида, чтобы приветствовать эту прекрасную реку словами, которые Шиллер влагает в уста Марии Стюарт:

«Природа бросила англичан и шотландцев на гряды, простертую среди океана, она разделила ее на две неравные части и обрекла жителей на вечную войну за ее обладание. Узкое ложе Твида разделяет раздраженные умы, и очень часто кровь двух народов смешивается с ее водами; с рукой, готовой вырвать из ножен меч, тысячу лет уже они смотрят друг на друга и угрожают один другому, стоя каждый на своем берегу. Никогда неприятель не вторгнулся в Англию без того, чтобы и

шотландцы не шли с ним; никогда междоусобная война не воспламеняла городов шотландских без того, чтобы и англичане не подносили факелы к их стенам. И это продолжится, и ненависть будет неумолима и вечна до того самого дня, когда один парламент соединит двух неприятелей, как две сестры, и когда один скипетр будет простирается над всем островом».

Мы въехали в Шотландию.

Мы посетили с книгами Вальтера Скотта всю эту поэтическую землю, которую он, подобно магу, вызывающему привидения, населил древними ее обитателями, смешав с ними оригинальные и прелестные создания своей фантазии. Мы отыскиали крутые дорожки, по которым спускался на своем добром коне Густаве благоразумный Дальгетти. Мы были на том озере, по которому скользила ночью, как призрак, белая Дама Авенеля; мы сидели на развалинах замка Лохлевена в тот самый час, когда убежала из него шотландская королева; искали на берегах Тая огороженное поле, где Торкьюиль-Дуб видел падавшими от меча оружейника Смита семь сыновей своих, не признаю ни одной жалобы, кроме слов, повторенных им семь раз: «Еще один за Еашара!..»

Эта поездка навсегда останется для меня пределом счастья, к которому никогда не приблизится действительность. Полина была впечатлительной, артистической натурой. Путешествие могло быть только простой переменой места, ускорением в обыкновенном движении жизни, средством рассеять ум. Но ни одно историческое воспоминание не ускользнуло от нее; ни одна поэтическая картина природы, являлась ли она нам в утреннем тумане или вечернем сумраке, не была для нее потеряна. Что касается меня, я был очарован прелестью Полины. Ни одно слово о прошлом не было произнесено между нами с того самого часа, как она все рассказала мне. Для меня ее прошлое исчезло, словно его и не было. Одно настоящее, соединявшее нас, существовало для меня. Здесь, на чужбине, у меня была одна только Полина, у нее — один только я; узы, соединявшие нас, каждый день делались теснее от уединения, каждый день я чувствовал, что делаю шаг к ее сердцу; пожатие руки, улыбка, рука ее, опирающаяся на мою руку, голова ее на плече моем были новым правом, которое она дарила мне. Я таил в себе каждое простодушное излияние ее души, боясь говорить ей о любви, чтобы она не заметила, что давно уже мы перешли пределы дружбы.

Что касается здоровья Полины, то предсказания доктора отчасти оправдались. Перемена мест и впечатления, вызываемые ими, отвлекли Полину от печальных воспоминаний, угнетавших ее. Она сама начинала почти забывать прошлое по мере того, как его бездны терялись в сумраке, а вершины будущего освещались новым светом. Жизнь ее, которую она считала огражденной пределами гробницы, начинала раздвигать свой горизонт, не столь мрачный, и воздух, все более чистый, стал примешиваться к душной атмосфере, в которой она себя ощущала.

Мы провели целое лето в Шотландии; потом вернулись в Лондон. И ощутили прелесть своего маленького домика в Пикадилли в первые минуты возвращения. Не знаю, что происходило в сердце Полины, но знаю, что сам я никогда не был так счастлив.

Что касается чувства, соединяющего нас, то оно было чистым, как чувство брата к сестре: в продолжение года я ни разу не повторил Полине, что люблю ее; в продолжение года она не сделала мне ни малейшего признания; однако мы читали в сердцах друг друга, как в открытой книге, и нам нечего было узнавать более. Желал ли я того, что не получил... не знаю, в положении моем было столько прелести, что я боялся, может быть, что большее счастье может привести меня к какой-нибудь гибельной и неизвестной развязке. Если я не был любовником, то был более, чем другом, чем братом. Я был деревом, под которым она, бедный плющ, укрылась от дурной погоды; я был рекой, уносившей ее ладью своим течением; я был солнцем, обогревающим ее. Все, что существовало для нее, было дорого мне, и, вероятно, не был далек тот день, когда все, что существовало для меня, стало бы дорого ей.

Мы начали свою новую жизнь, когда однажды я получил письмо от своей матери. Она уведомляла меня, что для сестры моей представилась партия, не только приличная, но и выгодная: граф Горацій Безеваль, присоединивший к своему состоянию двадцать пять тысяч ливров ежегодного дохода после смерти первой жены своей Полины Мельен, просил руки Gabrielli!..

К счастью, я был один, когда распечатал это письмо, потому что изумление мое было безгранично: новость, которую оно содержало, была в самом деле странна; казалось, что само Провидение ставит графа Горация лицом к лицу с единственным человеком, действительно

его знающим. Но сколько я ни старался притвориться, Полина, войдя, тотчас заметила, что в ее отсутствие случилось со мною что-то необыкновенное. Впрочем, мне трудно было все объяснить, и как только она узнала, что семейные дела заставляют меня совершить путешествие во Францию, приписала мое уныние горести от нашей разлуки. Она тоже побледнела и вынуждена была сесть. В первый раз мы разлучались после того, как почти год назад я ее спас. К тому же между сердцами, любящими друг друга, в минуту разлуки, по-видимому, короткой и безопасной, рождаются какие-то тайные предчувствия, делающие ее беспокойной и печальной, несмотря на все, что говорит разум для нашего успокоения.

Мне нельзя было терять ни одной минуты, я решил отправиться на следующий же день. Я пошел в свою комнату, чтобы сделать все необходимые приготовления. Полина вышла в сад, где я присоединился к ней, собрав свои вещи.

Я нашел ее сидящей на той самой скамье, на которой она рассказала мне свою жизнь. С того дня она словно была в объятиях смерти; ни один звук из Франции не долетел, чтобы пробудить ее. Но, может быть, это спокойствие уже приближалось к концу, и будущее для нее начинало печально соединяться с прошедшим, несмотря на все мои усилия заставить ее забыть его. Она была грустной и задумчивой, и я сел подле нее. Первые слова, которые она произнесла, открыли мне причину ее печали.

— Итак, вы едете? — сказала она.

— Так надо, Полина! — отвечал я голосом, которому старался придать спокойствие. — Вы знаете лучше всякого, что бывают происшествия, которые требуют немедленного отъезда, хотя мы не хотели бы уехать даже на час. Так ветер поступает с бедным листком. Счастье моей матери, сестры, даже мое, о котором я не сказал бы вам, если бы только оно подвергалось опасности, зависят от того, успею ли я приехать к ним.

— Поезжайте, — ответила печально Полина, — поезжайте, если надо; но не забудьте, что у вас в Англии есть также сестра, у которой нет матери, и единственное счастье которой зависит от вас и которая хотела бы сделать что-нибудь для вашего счастья!..

— О, Полина! — воскликнул я, сжимая ее в своих объятиях. — Скажите мне, сомневались ли вы когда-ни-

будь в моей любви? Верите ли вы, что я уезжаю и сердце мое разрывается в предчувствии разлуки? Что та минута, когда я вернусь в этот маленький домик, будет счастливейшей в моей жизни. Жить с вами как брат с сестрой, но надеясь на дни, еще более счастливые,— верите ли вы, что это составляет для меня счастье более глубокое, чем то, о котором я смел когда-нибудь мечтать? О скажите мне, верите ли вы этому?

— Да, я этому верю,— отвечала мне Полина,— потому что было бы жестоко сомневаться в вас. Ваша любовь ко мне была так нежна и так возвышенна, что я могу говорить о ней, не краснея, как об одной из ваших добродетелей... Что касается большего счастья, на которое вы надеетесь, Альфред, я не понимаю его... Наше счастье, я уверена в этом, зависит от непорочности наших отношений. Мое положение настолько странное и ни на что не похожее, я так нелепо освобождена от обязанностей своих в отношении к обществу, что только я сама должна контролировать исполнение их...

— О да, да,— сказал я,— я понимаю вас, и Бог наказал бы меня, если бы я осмелился когда-нибудь вырвать хоть один цветок из вашего мученического венца! Но, наконец, могут произойти события, которые сделают вас свободной... Сама жизнь графа,— извините, если я обращаюсь к этому предмету,— подвергает его опасностям более, нежели всякого другого...

— О да... да, я это знаю... Поверите ли, что я никогда не раскрываю газету без содрогания... Мысль, что я могу увидеть имя, которое носила, замешанным в каком-нибудь кровавом процессе, человека, которого называла мужем, обреченного бесчестной смерти... А вы говорите о счастье в этом случае, предполагая, что я переживу его позор?

— О, прежде всего, Полина, вы будете не менее чисты, как самая обожаемая женщина... Не скрыл ли он сам вас в убежище так, что ни одно пятно от его грязи или крови не может испачкать вас? Но я не хотел говорить об этом, Полина! При ночном нападении или на дуэли граф может быть убит!.. О, это ужасно, я понимаю, надеяться на смерть человека, чтобы достичь своего счастья, но что делать, если счастье возможно лишь после того, как он истечет кровью, как испустит последний вздох!.. Но для вас такая развязка разве не стала бы волей Провидения Божьего, не дала бы покой?

— Допустим, но что же дальше? — спросила Полина.

— Тогда, Полина, человек, который без всяких условностей стал вашим покровителем, вашим братом, не будет ли он иметь право на другую роль?

— Но этот человек подумал ли об обязанности, которую возьмет на себя, принимая эту роль?

— Без сомнения, и он видит в нем столько обещаний на счастье, не открывая причины ужаса...

— Подумал ли он, что я бежала из Франции, что смерть графа не прервет мое изгнание и что обязанности, которые он возьмет на себя по отношению к моей жизни, будут обязывать и его память?

— Полина,— сказал я,— я подумал обо всем. Год, который мы провели вместе, был счастливейшим в моей жизни. Я говорил уже вам, что ничто не привязывает меня ни к одному месту. Страна, в которой вы будете жить, будет моею отчизною.

— Хорошо,— отвечала мне Полина тем нежным голосом, который больше, чем обещание, укрепил все мои надежды,— возвращайтесь с этими чувствами. Положимся на будущее и вверим себя Богу.

Я упал к ее ногам и поцеловал ее колени.

В ту же ночь я покинул Лондон, к полудню прибыл в Гавр. Почти тотчас взял почтовых лошадей и в час ночи был уже у своей матери.

Она была на вечере с Габриелью. Я узнал где: у лорда Г..., английского посланника. Я спросил, одни ли они отправились. Мне отвечали, что граф Гораций приезжал за ними. Я наскоро оделся, бросился в кабриолет и приказал везти себя к посланнику.

Приехав, я узнал, что многие уже разъехались. Комнаты пустели, однако в них было еще много гостей, и я смог пройти незамеченным. Вскоре я увидел свою мать. Сестра танцевала. Одна держалась со свойственным ей спокойствием, другая — как веселое дитя. Я остановился у двери, чтобы не шуметь. Впрочем, я искал еще третье лицо, предполагая, что оно должно быть рядом. В самом деле поиски мои были короткими: граф Гораций стоял, прислонясь к противоположной двери, прямо напротив меня.

Я узнал его сразу. Это был тот самый человек, которого описала мне Полина, тот самый незнакомец, которого я видел при свете луны в аббатстве Гран-Пре. Я увидел все, что ожидал увидеть в нем: его бледное и спокойное лицо, его белокурые волосы, придававшие ему вид первой молодости, его черные глаза, запечатлевшие

его странный характер, наконец, морщину на лбу, которую заботы должны были врезать глубже, поскольку угрызения совести были ему неизвестны.

Габриель, окончив кадрили, села подле матери. Я попросил тотчас слугу сказать госпоже Нерваль и ее дочери, что кто-то ожидает их в передней. Моя мать и сестра вскрикнули от радости, заметив меня. Мы были одни, и я мог обнять их. Мать не смела поверить своим глазам. Я приехал так быстро, что она сомневалась, что я мог успеть получить ее письмо. В самом деле вчера в это время я был еще в Лондоне.

Ни мать, ни сестра не думали возвратиться в балльный зал. Они взяли свои манти, надели их и приказали лакею подавать карету. Габриель сказала несколько слов на ухо моей матери.

— Это правда,— воскликнула последняя,— а граф Гораций?..

— Завтра я нанесу ему визит и извинюсь перед ним,— отвечал я.

— Но вот и он! — сказала Габриель.

В самом деле граф, заметив, что обе дамы покинули салон и не возвращаются, отправился их отыскивать и увидел, что они готовы уехать.

Признаюсь, по всему моему телу пробежала дрожь, когда я увидел этого человека, подходившего к нам. Моя мать почувствовала дрожь в моей руке, увидела мой взгляд, встретившийся со взглядом графа, и инстинктом матери предугадала опасность прежде, чем один из нас открыл рот.

— Извините,— сказала она графу,— это мой сын, которого мы не видели целый год и который приехал из Англии.

Граф поклонился.

— Буду ли я,— сказал он приятным голосом,— жалеть об этом возвращении, так как лишился счастья проводить вас?

— Вероятно,— отвечал я, едва сдерживая себя,— потому что в моем присутствии моя мать и сестра не имеют нужды в другом кавалере.

— Но это граф Гораций! — сказала матушка, обращаясь ко мне.

— Я знаю этого господина,— отвечал я голосом, которому постарался придать полное презрение.

Я почувствовал, что мать и сестра тоже задрожали. Граф Гораций ужасно побледнел, однако ничего боль-

ше, кроме этой бледности, не выдало его волнение. Он заметил страх моей матери и с учтивостью и приличием, демонстрируя этим, как сам я, может быть, должен был поступить, поклонился и вышел. Моя мать проследила за ним с беспокойством. Потом, когда он скрылся:

— Пойдем! Пойдем! — сказала она, увлекая меня к крыльцу.

Мы сошли с лестницы, сели в карету и всю дорогу молчали.

XV

Легко понять, что мы думали о разных вещах. Матушка, едва приехав, отослала Габриель в свою комнату. Сестра подошла ко мне, бедное дитя, и подставила свой лоб, как делала это прежде, но едва почувствовала прикосновение моих губ и рук, прижавших ее к моей груди, как залилась слезами. Тогда я сжалился над нею.

— Бедная сестра, — сказал я, — не надо требовать от меня вещей, которые сильнее, чем сам я. Бог создает обстоятельства, и обстоятельства повелевают людьми. С тех пор, как отец наш умер, я отвечаю за тебя перед тобой самой; я должен заботиться о твоей жизни и сделать ее счастливой.

— О да, да! Ты старший в семействе, — сказала мне Габриель, — все, что ты прикажешь, я сделаю, будь спокоен. Но я не могу перестать бояться, не зная, чего боюсь, и плакать, не зная, о чем плачу.

— Успокойся, — сказал я, — величайшая из опасностей миновала тебя; благодарение небу, которое бодрствует, охраняя тебя. Иди в свою комнату, молись, как юная душа должна молиться, — молитва рассеивает страхи и осушает слезы... Иди!

Габриель обняла меня и вышла. Матушка проводила ее беспокойным взглядом, потом, когда дверь затворилась, спросила:

— Что все это значит?

— Это значит, матушка, — отвечал я почтительным, но твердым голосом, — что супружество, о котором вы писали мне, невозможно и что Габриель не будет женой графа.

— Но я уже почти дала слово, — сказала она.

— Я возьму его назад.

— Но, наконец, скажешь ли ты мне, почему... без всякой причины?..

— Неужели вы считаете меня таким безумцем,— прервал я,— который способен нарушать такие обещания, не имея на то веской причины?

— Но ты скажешь их мне?

— Невозможно! Невозможно, матушка: я связан клятвой.

— Я знаю, что многие не любят Горация, но ничего не могут объяснить. Неужели ты веришь клевете?

— Я верю глазам своим, матушка, я видел.

— О!..

— Послушайте. Вы знаете, люблю ли я вас и сестру, вы знаете, если дело идет о счастье вас обеих, я готов принять неизменяемое решение; вы знаете, наконец, что в таких обстоятельствах я не имею права пугать вас ложью. Да, матушка, говорю, клянусь вам, что если бы супружество совершилось, если бы я опоздал, если бы отец мой в мое отсутствие не вышел из гроба, чтобы стать между дочерью своей и этим человеком, если бы Габриель называлась в этот час графиней Безеваль, тогда бы мне не оставалось другого выхода,—и я сделал бы, поверьте мне,—как похитить вас и сестру, бежать из Франции с вами, чтобы никогда не возвращаться, и просить у какой-нибудь чуждой земли забвения и неизвестности, вместо бесславия, которое постигло бы нас в нашем отечестве.

— Но не можешь ли ты сказать мне?..

— Ничего... я дал клятву. Если бы я мог говорить, мне достаточно было бы произнести одно слово, и сестра моя была бы спасена.

— Итак, ей угрожает какая-нибудь опасность?

— Нет! По крайней мере пока я жив.

— Боже мой! Боже мой! — воскликнула матушка.— Ты приводишь меня в трепет.

Я увидел, что позволил себе слишком увлечься.

— Послушайте,— продолжал я,— может быть, все это не столь важно, как я думаю. Еще ничего не было окончательно решено между вами и графом, ничего не знают еще об этом в свете, какой-нибудь неопределенный слух, некоторые предположения и только, не правда ли?

— Сегодня только во второй раз граф провожал нас.

— Прекрасно! Найдите любой предлог, чтобы не принимать его. Затворите дверь для всего света, и для графа так же, как для всех. Я беру на себя труд объяснить ему, что посещения его будут бесполезны.

— Альфред! — сказала испуганная матушка. — Благоразумие и осторожность! Граф не из числа людей, которые позволят выпроводить себя таким образом, не объяснив причины.

— Будьте спокойны, матушка, я постараюсь соблюдать при этом все необходимые приличия. Что же касается причины, то я скажу ему одному.

— Действуй, как хочешь: ты глава семейства, Альфред, и я ничего не сделаю против твоей воли. Но, умоляю тебя именем неба, взвесь каждое слово, которое скажешь графу, и если откажешь, смягчи отказ, как только можешь.

Матушка увидела, что я беру свечу, собираясь идти.

— Ах, Боже мой! — продолжала она. — Я и не подумала о твоей усталости. Ступай в свою комнату. Завтра будет время подумать обо всем.

Я подошел к ней и обнял ее, она удержала меня за руку:

— Ты обещаешь мне, не правда ли, успокоить гордость графа?

— Обещаю, матушка. — Я обнял ее еще раз и вышел.

Матушка сказала правду: я падал от усталости. Я тотчас лег в постель и проспал до десяти часов утра.

Проснувшись, я нашел у себя письмо графа. Я ожидал его, но не мог поверить, чтобы он сохранил в тоне письма столько спокойствия и умеренности, — это был образец вежливости и приличия. Вот оно:

«Милостивый государь!

Несмотря на все желание мое доставить вам возможно быстрее это письмо, я не мог послать его ни со слугой, ни с другом. Это обыкновение, принятое в подобных обстоятельствах, могло бы возбудить беспокойство особ, которые для вас столь дороги и которых, я надеюсь, вы позволите мне считать еще, несмотря на то, что произошло вчера у лорда Г..., не посторонними для меня.

Однако вы легко поймете, что несколько слов, которыми мы обменялись, требуют объяснения. Будете ли вы столь добры, чтобы назначить час и место, где можете мне дать объяснение? Свойство дела требует, я думаю, чтобы это было тайной и чтобы не было при этом других свидетелей, кроме тех, кого это касается; но если вы хотите, я привезу двух своих друзей.

Вчера я доказал вам, мне кажется, что я смотрел на вас, как на брата. Поверьте, что мне не легко отказать-

ся от этого имени и что мне нужно будет идти вопреки всем моим надеждам, всем моим чувствам, чтобы считать вас своим противником и неприятелем.

Граф Гораций»

Я отвечал тотчас.

«Вы не ошиблись, граф. Я ожидал вашего письма и со всей искренностью благодарю за предосторожность, принятую вами, чтобы доставить его мне... Но так как эта предосторожность будет бесполезной по отношению к вам и так как нужно, чтобы вы возможно скорей получили этот ответ, позвольте мне послать его со слугой.

Вы думаете справедливо: объяснение между нами необходимо. Оно будет иметь место, если вам угодно, уже сегодня. Я поеду верхом и буду прогуливаться между первым и вторым часом пополудни в Булонском лесу, в Немой аллее. Я не имею желания говорить, что мне приятно будет там встретить вас. Что же касается свидетелей, мнение мое совершенно совпадает с вашим: они не нужны при этом первом свидании.

Мне нечего больше ответить на ваше письмо, кроме того, что стоит сказать о чувствах моих к вам. Я бы искренне желал, чтобы такие же чувства, какие вы питаете ко мне, могли быть внушены моему сердцу; к несчастью, мои чувства внушены мне только моей совестью.

Альфред де Нерваль»

Написав и отправив письмо, я пошел к матери. Она действительно спрашивала, не приходил ли кто от Горация, и после отрицательного ответа стала гораздо спокойнее. Что касается Габриели, она просила позволения остаться в своей комнате. К концу завтрака мне сказали, что лошадь приготовлена. Все было исполнено, как я просил: к седлу были прикреплены чехлы, в которые я поместил пару прекрасных дуэльных пистолетов, уже заряженных. Я не забыл, что граф Гораций не выезжал никогда без оружия.

Я был на месте свидания еще в одиннадцать часов с четвертью, так велико было мое нетерпение. Проехав всю аллею и поворотив лошадь, я заметил всадника на другом конце — это был граф Гораций. Узнав друг друга, каждый из нас пустил свою лошадь галопом, и мы встретились на середине аллеи. Я заметил, что он, подобно мне, велел прикрепить к седлу пистолеты.

— Вы видите,— сказал мне Гораций, кланяясь с вежливой улыбкой,— что желание мое встретить вас равнялось вашему, потому что мы оба опередили назначенный час.

— Я сделал сто лье в одни сутки, чтобы иметь эту честь, граф,— отвечал я, кланяясь ему,— вы видите, что я не задерживаю вас.

— Я предполагаю, что причина, заставившая вас так быстро приехать — не такая тайна, которую я не мог бы услышать, и, хотя желание мое узнать вас и пожать вам руку побудило бы меня совершить подобную поездку еще быстрее, если можно, но я не думаю, что подобная причина заставила вас покинуть Англию.

— И вы думаете справедливо, граф. Повод гораздо более важный: благополучие семьи, честь которой едва не скомпрометирована, было причиной моего отъезда из Лондона и прибытия в Париж.

— Выражения, употребляемые вами,— заявил граф, кланяясь опять с улыбкой, которая становилась более и более язвительной,— заставляют меня надеяться, что причиной этого возвращения не было письмо госпожи Нерваль, в котором она уведомляла вас о предполагаемом союзе между вашей сестрицей и мной.

— Вы ошибаетесь,— возразил я, кланяясь в свою очередь,— я приехал единственно для того, чтобы воспротивиться этому супружеству, которое не может состояться.

Граф побледнел, и губы его сжались, но почти тотчас лицо его приняло обычное спокойное выражение.

— Надеюсь,— сказал он,— что вы оцените чувство, повелевающее мне слушать с хладнокровием странные ответы, даваемые вами. Это хладнокровие есть доказательство моего желания сблизиться с вами, и это желание так велико, что я имею нескромность продолжить разговор до конца. Окажете ли вы мне честь, милостивый государь, сказать, какие причины возбудили в вас слепую антипатию против меня, выражаемую вами так открыто? Поедем рядом, если хотите, и продолжим разговор.

Мы поехали шагом, словно друзья, которые прогуливаются.

— Я слушаю вас,— продолжал граф.

— Сначала, граф, позвольте мне,— отвечал я,— изложить суждение ваше о том, что я думаю о вас,— это не слепая антипатия, а взвешенное презрение.

Граф привстал на стременах, как человек, совершенно выведенный из терпения, потом, приложив руку ко лбу, сказал голосом, в котором трудно было заметить волнение:

— Подобные чувства довольно опасны для того, кто питает их, тем более объявлять о них, не зная совершенно человека, внушившего такие чувства.

— А кто сказал вам, что я не знаю вас? — отвечал я, глядя ему в лицо.

— Однако, если память не обманывает меня, только вчера я встретился с вами в первый раз.

— И, однако, случай, или скорее Провидение, нас уже сближал. Правда, это было ночью, когда вы не видели меня.

— Помогите мне вспомнить, — сказал граф, — я очень туп при разгадывании таких загадок.

— Я был в развалинах аббатства Гран-Пре ночью с 27 на 28 сентября.

Граф побледнел и положил на чехол с пистолетами руку, я сделал то же движение, он заметил его.

— Что же далее? — спросил он, тотчас опомнившись.

— Я видел, как вы вышли из подземелья, как закопали ключ.

— И что же вы решили, сделав все эти открытия?

— Не допустить убийства Габриели де Нерваль, так как вы уже пытались убить Полину Мельен.

— Полина не умерла? — воскликнул граф, останавливая лошадь и потеряв, наконец, свое адское хладнокровие, не оставлявшее его ни на минуту.

— Нет, Полина не умерла, — отвечал я, останавливаясь, — Полина живет, несмотря на письмо, которое вы написали ей, несмотря на яд, оставленный вами, несмотря на три двери, которые вы заперли за ней и которые я отпер ключом, закопанным вами... Теперь понимаете ли?

— Совершенно! — воскликнул граф, протягивая руку к одному из пистолетов. — Но вот чего я не понимаю, как вы, владея такими тайнами и доказательствами, не донесли на меня?

— Это оттого, что я дал священную клятву и обязан был убить вас на дуэли, чтобы вас считали честным человеком. Итак, оставьте в покое ваши пистолеты, потому что, убивая меня, вы можете испортить дело.

— Вы правы, — отвечал граф, застегивая чехол для пистолетов и пуская лошадь шагом. — Когда же мы деремся?

— Завтра утром, если хотите,— ответил я, также опуская поводья своей лошади.

— Где же?

— В Версале, если место вам нравится.

— Очень хорошо. В девять часов я буду ожидать вас у Швейцарских вод с моими секундантами.

— С Генрихом и Максом, не правда ли?

— Разве вы имеете что-нибудь против них?

— Да, то, что я хочу драться с убийцей, но не хочу, чтобы он брал в секунданты своих соучастников. Это должно происходить иначе, если позволите.

— Объявите свои условия,— сказал граф, кусая губы до крови.

— Так как нужно, чтобы свидание наше осталось тайной для всего света, какое бы следствие оно ни имело, мы выберем себе секундантов из офицеров Версальского гарнизона, для которых мы останемся неизвестными. Они не будут знать причины дуэли и будут присутствовать только для того, чтобы предупредить обвинение в убийстве. Согласны ли вы?

— Совершенно... Итак, ваше оружие?

— Так как мы можем нанести шпагой какую-нибудь жалкую царапину, которая помешает нам продолжать дуэль, пистолеты мне кажутся предпочтительнее. Привезите свой ящик, я привезу свой.

— Но,— возразил граф,— мы оба с оружием, условия наши высказаны, для чего же откладывать до завтра дело, которое можем окончить сегодня?

— Я должен сделать некоторые распоряжения, и мне эта отсрочка необходима. Мне кажется, что в отношении к вам я вел себя таким образом, что могу получить это позволение. Что касается страха, испытываемого вами, то будьте совершенно спокойны, повторяю: я дал клятву.

— Этого достаточно,— отвечал граф, кланяясь,— завтра в девять часов.

— Завтра в девять часов.

Мы поклонились друг другу в последний раз и поспешили в противоположные стороны.

В самом деле отсрочка, которую я просил у графа, едва была достаточна для приведения дел моих в порядок. Возвратясь домой, я тотчас заперся в своей комнате.

Я не скрывал от себя, что удача на дуэли зависела от случая, я знал хладнокровие и храбрость графа. Итак, я мог быть убитым. В этом случае мне нужно было обеспечить состояние Полины.

— Хотя во всем рассказанном мною я ни разу не упомянул ее имени,— продолжал Альфред,— мне нет надобности говорить тебе, что воспоминание о ней ни на минуту не оставляло меня. Чувства, пробужденные во мне при виде матери и сестры, естественно уживались с воспоминаниями о ней. Я почувствовал, как любил ее, думая о том, что, возможно, в последний раз пишу ей. Окончив письмо и приложив к нему контракт на десять тысяч франков ежегодного дохода, я адресовал его на имя доктора Сорсея в Гросвенар-Сквер в Лондоне

Остаток дня и часть ночи прошли в приготовлениях. Я лег в два часа и приказал слуге разбудить себя в шесть.

Он исполнил в точности данное ему приказание. Это был такой человек, на которого я мог положиться, один из старых слуг, встречающихся в немецких драмах, таким отцы завещают своих сыновей, его и я унаследовал от отца. Я отдал ему письмо, адресованное доктору с приказанием отвезти его самому в Лондон, если я буду убит. Двести долларов, данные мной, были назначены на расходы в дороге. Если ехать не придется, он оставит их себе в виде награды. Я показал ему, кроме того, ящик, где хранилось прощальное письмо к матери, которое он обязан был отдать ей, если бы судьба мне не благоприятствовала. Он должен был приготовить почтовую карету к пяти часам вечера, и если в пять часов вечера я не возвращусь, отправиться в Версаль, чтобы узнать обо мне. Приняв эти меры предосторожности, я сел на лошадь, и в девять часов без четверти был с секундантами на месте. Это были, как мы условились, два гусарских офицера, совершенно не знакомые мне, которые, однако, не задумываясь согласились оказать мне услугу. Для них достаточно было знать, что это дело, в котором пострадала честь одной благородной семьи, и они согласились, не задав ни одного вопроса... Только французы могут быть всякий раз, когда этого требуют обстоятельства, самыми храбрыми или самыми скромными из всех людей.

Мы ожидали не более пяти минут, когда граф приехал со своими секундантами. Мы стали искать удобное место, и вскоре нашли его, благодаря нашим свидетелям, привыкшим находить такие места. На месте мы объяснили этим господам свои условия и просили их осмотреть оружие. У графа были пистолеты работы Лепаже, у меня работы Девима, те и другие с двойным замком и одного калибра, как, впрочем, почти все дуэльные пистолеты.

Граф сохранил репутацию храброго и вежливого человека, он хотел уступить мне все преимущества, но я отказался. Решено было, чтобы жребий назначил место и порядок выстрелов, расстояние должно было составить двадцать шагов. Барьер для каждого из нас был отмечен другим заряженным пистолетом, чтобы мы могли продолжать поединок на тех же условиях, если бы ни одна из двух первых пуль не была смертельной.

Жребий благоприятствовал графу два раза кряду: он имел право сначала выбора места, потом первенства. Он тотчас стал против солнца, избрав по доброй воле самое невыгодное положение. Я заметил ему это, но он поклонился, отвечая, что так как жребий назначил ему выбор, то он хочет остаться на своем месте, я занял свое.

Когда секунданты заряжали наши пистолеты, я имел время, чтобы рассмотреть графа, и должен сказать, что он постоянно сохранял холодное и спокойное лицо абсолютного храбреца; он не произнес ни одного слова, не сделал ни одного движения, которые не согласовались бы с приличиями. Вскоре свидетели подошли к нам, подали каждому по пистолету, другие положили у наших ног и отошли. Тогда граф снова предложил мне стрелять первому, я вновь отказался. Мы поклонились, каждый своим секундантам, потом я приготовился к выстрелу, защитив себя насколько возможно и закрыв нижнюю часть лица прикладом пистолета, дуло которого закрывало мою грудь между рукой и плечом. Едва я успел предпринять эти меры предосторожности, как секунданты поклонились нам, и старший из них подал сигнал, воскликнув «Пали!». В то же мгновение я увидел пламя из пистолета графа и почувствовал двойное сотрясение в груди и руке. Пуля повстречала дуло пистолета и, отскочив, ранила меня в плечо. Граф, казалось, удивился, видя, что я не падаю.

— Вы ранены? — спросил он, делая шаг вперед.

— Ничего, — ответил я и взял пистолет в левую руку.

Теперь моя очередь. Граф бросил разряженный пистолет, взял другой и встал на место.

Я прицелился медленно и хладнокровно, потом выстрелил. Сначала я думал, что дал промах, потому что граф стоял неподвижно и даже начал поднимать второй пистолет. Но прежде чем дуло пришло в горизонтальное положение, судорожная дрожь овладела им, он выронил оружие, хотел что-то сказать, но кровь хлынула горлом, и он упал замертво: пуля прострелила ему сердце.

Секунданты сначала подошли к графу, потому ко мне. Между ними был хирург, я просил его оказать помощь моему противнику, которого считал только раненным.

— Это бесполезно,— отвечал он, качая головой,— теперь ему не нужна ничья помощь.

— Исполнил ли я все обязанности чести, господра? — спросил я у них.

Они поклонились в знак согласия.

— В таком случае, доктор, я попрошу вас,— сказал я, скидывая одежду,— перевязать чем-нибудь мою царапину, чтобы остановить кровь, потому что я еду сию же минуту.

— Кстати,— спросил меня старший из офицеров, когда хирург закончил свою перевязку,— куда отнести тело вашего друга?

— Улица Бурбонов N 16-й,— отвечал я, невольно улыбаясь простодушию этого храброго человека,— в дом господина Безевала.

При этих словах я вскочил в седло. Лошадь вместе с лошадью графа держал гусар. Поблагодарив в последний раз этих господ за их присутствие, я простился и поскакал в Париж.

Я приехал вовремя, мать моя была в отчаянии. Не видя меня за завтраком, она вошла в мою комнату, и в ящике бюро нашла письмо, которое я написал ей.

Я вырвал из рук матери письмо и бросил его в огонь вместе с другим, предназначенным для Полины. Потом обнял ее, как обнимают мать, не зная, когда с ней увидятся, с которой расстаются, может быть, навсегда.

XVI

— Через восемь дней после сцены, рассказанной мною,— продолжал Альфред,— мы сидели в нашем маленьком домике в Пикадилли и завтракали за чайным столом один против другого. Вдруг Полина, читавшая английскую газету, ужасно побледнела, выронила ее из рук, вскрикнула и упала без чувств. Я звонил из всех сил, горничные сбежались; мы перенесли ее в спальню, и пока ее раздевали, я вышел, чтобы послать за доктором и посмотреть в газете, что послужило причиной ее обморока. Едва я раскрыл ее, как взгляд мой упал на эти строки, переведенные из «Французского курьера»:

«Сейчас мы получили странные и таинственные подробности о дуэли, происходившей в Версале и имевшей причину, как кажется, сильную, таинственную ненависть.

Третьего дня, 5 августа 1833 года двое молодых людей, по видимому, принадлежащих к парижской аристократии, приехали в наш город, каждый со своей стороны, верхом и без слуг. Один из них отправился в казармы на Королевской улице, другой — в кофейню Регентства. Там он просил двух офицеров сопровождать его на место дуэли. Каждый из соперников привез с собой оружие. По условиям поединка противники выстрелили один в другого на расстоянии двадцати шагов. Один из них был убит, другой, имени которого не знают, уехал в ту же минуту в Париж, несмотря на серьезную рану в плече, полученную им.

Убитого звали граф Безеваль, имя его противника неизвестно»

Полина прочла эту новость, и она произвела на нее такое огромное впечатление, тем более, что я никак ее не подготовил. Вернувшись к ней, я ни разу не произносил при ней имени ее мужа и, хотя чувствовал необходимость рассказать ей когда-нибудь о случае, сделавшем ее свободной, не объясняя, однако, кто был тому причиною, еще не решил, каким образом исполнить это. Я был далек от мысли, что газеты опередят мое сообщение и откроют ей так грубо и жестоко новость, о которой ей, слабой и больной, надо было сообщить осторожнее, чем любой другой женщине.

В эту минуту вошел доктор. Я сказал ему, что сильное волнение привело Полину к новому припадку. Мы вошли вместе в ее комнату, больная была еще без чувств, несмотря на воду, которой опрыскивали ее лицо, и соли, которые давали ей нюхать. Доктор заговорил о кровопускании и начал делать приготовления к этой операции. Тогда вся твердость моя исчезла, я задрожал, как женщина, и бросился в сад.

Там я провел около получаса, склонив голову на руки, раздираемый тысячами мыслей, бродивших в моем уме. В прошлом я действовал из двойного интереса: ненависти моей к графу и любви к сестре. Я проклинал этого человека с того самого дня, когда он похитил мое счастье, женившись на Полине, и потребность личного мщения, желание отплатить злом за мучения моральные вывели меня из себя. Я хотел только убить или быть убитым. Теперь, когда все уже кончилось, я начинал понимать последствия моего поступка.

Кто-то дотронулся до моего плеча. Это был доктор.

— А Полина? — спросил я, сложив руки.

— Она пришла в чувство...

Я хотел бежать к ней, доктор остановил меня.

— Послушайте, — продолжал он, — теперешний слу-

чай очень важен для нее; она нуждается в покое... Не входите к ней в эту минуту.

— Почему же? — спросил я.

— Потому что ее надо предохранить от всякого сильного волнения. Я никогда не спрашивал вас об отношениях ваших к ней, не требую от вас доверенности. Вы называете ее сестрой, правда ли то, что вы брат ей, или нет? Это не относится ко мне, как человеку, но очень важно для доктора. Ваше присутствие, даже ваш голос имеют на Полину сильное влияние. Я всегда замечал это, и даже сейчас, когда держал ее руку, одно произнесение вашего имени ускорило ее пульс. Я запретил впускать к ней сегодня кого бы то ни было, кроме служанок. Не пренебрегайте моим приказанием.

— Она в опасности? — испугался я.

— Все опасно для такого расстроенного организма, как ее. Если бы я мог, я дал бы этой женщине питье, которое заставило бы ее забыть прошедшее. Ее мучает какое-то воспоминание, какая-то горечь, какое-то угрызение.

— Да, да, — отвечал я, — ничто от вас не скрылось, вы увидели все пронизательными глазами ученого. Нет, это не сестра моя, не жена, не любовница. Это ангельское создание, которое я люблю больше всего, но которому не могу возратить счастья, и она умрет на руках моих с непорочным и мученическим венком!.. Я сделаю все, что вы хотите, доктор, я не буду входить к ней до тех пор, пока вы не позволите, я буду повиноваться вам, как ребенок. Но скоро ли вы вернетесь?

— Сегодня...

— А что я буду делать, Боже мой?

— Ободритесь, будьте мужчиной!

— Если бы вы знали, как я люблю ее!

Доктор пожал мне руку; я проводил его до ворот и там остановился, не в силах двинуться с места. Потом, выйдя из этого бесчувствия, машинально сошел по лестнице, подошел к ее двери и, не смея войти, слушал. Мне казалось сначала, что Полина спит, но вскоре глухие рыдания донеслись до меня. Я положил руку на замок, но, вспомнив свое обещание и боясь изменить ему, бросился из дому, впрыгнул в первую попавшуюся мне карету и приказал везти себя в Королевский парк.

Я бродил там около двух часов, как сумасшедший, между гуляющими, деревьями и статуями. Возвращаясь домой, я встретил у ворот слугу, бежавшего за доктором.

С Полиной случился новый нервный припадок, после которого она начала бредить. На этот раз я не мог выдержать, бросился в ее комнату, стал на колени и взял ее руку, свесившуюся с постели. Дыхание ее было тяжело и прерывисто, глаза закрыты, и она пыталась пробормотать какие-то слова, но они были бессмысленными и бессвязными. Доктор вошел.

— Вы не сдержали своего слова,— сказал он.

— Увы! Она не узнает меня! — отвечал я.

Однако при звуке моего голоса ее рука задрожала. Я уступил свое место доктору, он подошел к постели, пощупал пульс и объявил, что второе кровопускание необходимо. Но несмотря на выпущенную кровь, волнение все усиливалось и к вечеру началась горячка.

В продолжение восьми суток Полина была добычею ужасного бреда; она не узнавала никого, думая, что ей угрожают, и призывая беспрестанно на помощь. Потом болезнь начала терять свою силу. Полная слабость и истощение последовали за этим безумным бредом. Наконец, на девятое утро, открыв глаза после недолгого спокойного сна, она узнала меня и назвала по имени. Невозможно описать, что происходило тогда во мне: я бросился на колени, положил голову на ее постель и начал плакать, как ребенок. В эту минуту вошел доктор и, боясь, чтобы не случилось с ней припадка, приказал мне выйти. Я хотел возразить, но Полина пожала мне руку, говоря нежным голосом: «Идите!..»

Я повиновался. Восемь суток я не смыкал глаз, сидя у ее постели, но теперь, успокоясь, погрузился в сон, в котором нуждался так же, как и она.

В самом деле, горячка начала постепенно отступать, и через три недели у Полины осталась только большая слабость. Но в продолжение этого времени хроническая болезнь, которой она страдала в прошлом году, усилилась. Доктор предписал ей лекарство, которое уже ее излечило, и я решил воспользоваться последними прекрасными днями года, чтобы посетить с нею Швейцарию, а оттуда проехать в Неаполь, где хотел провести зиму. Я сказал Полине об этом намерении, она улыбнулась печально, потом с покорностью дитяти согласилась на все. Итак, в первых числах сентября мы отправились в Остенде, проехали Фландрию, путешествовали вверх по Рейну до Баля, посетили озера Биенское и Невшательское, останавливались на несколько дней в Женеве, наконец, побывали в Оберланде, Брюниге и проехали в

Альторф, где ты встретил нас в Флелене на берегу озера четырех кантонов.

Ты поймешь теперь, отчего мы не могли подождать тебя Полина, узнав о твоём намерении воспользоваться нашей шлюпкой, спросила у меня твоё имя и вспомнила, что часто встречалась с тобой у графини М..., у княгини Б... При одной мысли быть вместе с тобой, лицо её приняло такое выражение страха, что я, испугавшись, приказал гребцам отчалить. Ты, очевидно, приписал это моей невежливости.

Полина лежала в шлюпке, я сел подле неё и положил её голову на свои колени. Прошло уже целых два года как она покинула Францию, страдающая и имеющая опору только во мне. С того времени я был верен обязательству, которое принял на себя, я заботился о ней, как брат, считал её, как сестру. Я напрягал все способности своего ума, чтобы предохранить её от горести и доставить ей удовольствие; все желания моей души обращались вокруг надежды быть любимым ею когда-нибудь. Когда мы долго живём с кем-нибудь, появляются мысли, которые приходят в одно время обоим вместе. Я увидел её глаза, полные слез, она вздохнула и пожала мою руку, которую держала в своей:

— Как вы добры! — сказала она.

Я содрогнулся, услышав ответ на мою мысль.

— Все ли я исполняю, как нужно? — спросил я.

— О, вы были ангелом-хранителем моего детства, улетевшим на минуту, которого Бог возвратил мне под именем брата.

— И в замену этой преданности не сделаете ли вы чего-нибудь для меня?

— Увы! Что могу я сделать теперь для вашего счастья! — сказала Полина. — Любить вас?.. Это озеро, эти горы, это небо, вся эта природа, Бог, который создал их, свидетели, что я люблю вас, Альфред! Я не открываю вам ничего нового, произнося эти слова.

— О да, да, я это знаю, — отвечал я, — но не достаточно только любить меня, надо, чтобы жизнь ваша была соединена с моею неразрывными узами, чтобы это покровительство, которое я получил, как милость, стало для меня правом.

Она печально улыбнулась.

— Зачем вы так улыбаетесь? — спросил я.

— Потому, что вы видите земное будущее, а я небесное.

— Нет!..— сказал я.

— Без заблуждений, Альфред: заблуждения делают горести тяжкими и неисцелимыми. Неужели вы думаете, что я не известила бы матушку о моем существовании, если бы сохранила какое-нибудь заблуждение. Но тогда я должна была еще раз оставить ее и вас, а это уже слишком много. Я сжалилась сначала над собой, и лишила себя большой радости, чтобы пощадить потом от сильной горести.

Я сделал движение, чтобы умолять ее.

— Я люблю вас, Альфред! — повторяла она. — Я буду говорить это до тех пор, пока язык мой будет в состоянии произнести два слова. Но не требуйте от меня ничего более и позаботьтесь о том, чтобы я умерла без угрызений...

Что мог я говорить, что мог делать после такого признания? Взять Полину в свои объятия и плакать с нею о счастье, которое Бог мог бы нам послать, и о несчастье, в которое ввергла нас судьба.

Мы прожили несколько дней в Люцерне, потом поехали в Цюрих, а оттуда по озеру в Пферер. Там мы хотели остановиться на неделю или на две. Я надеялся, что теплые воды принесут какую-нибудь пользу Полине. Мы пошли к целительному источнику, на который я возлагал большие надежды, и, возвращаясь встретились с тобой на тесном мостике в этом мрачном подземелье. Полина почти до тебя дотронулась. Эта новая встреча так взволновала ее, что она захотела уехать в ту же минуту. Я не смел противиться, и мы тотчас пустились в Констанс.

В то время для меня не было уже сомнений: Полина заметно ослабела. Ты никогда не испытал и, надеюсь, никогда не испытаешь этого ужасного мучения: чувствовать, как сердце, которое любишь, медленно умирает рядом с тобой; считать каждый день, слушать пульс, насколько он более лихорадочен, и говорить себе каждый раз, прижимая к груди это обожаемое тело, что через неделю, через пятнадцать дней, может быть, еще через месяц,— это создание Божие, которое живет, мыслит, любит,— будет только холодным телом без мыслей и без любви!

Что касается Полины, то чем ближе было, по-видимому, время нашей разлуки, чем более она раскрывала в эти последние мгновения все сокровища своего ума и души. Без сомнения, моя любовь украсила поэзией за-

кат ее жизни. Последний месяц между тем временем, когда я встретил тебя в Пферере, и тем, когда с террасы гротиницы на берегу озера Маджоре ты бросил в нашу коляску букет померанцевых цветов,— этот последний месяц будет всегда жить в моей памяти.

Мы приехали в Арону. Там Полина, казалось, ожидалась при первом дуновении ветерка Италии. Мы остановились только на одну ночь, я надеялся доехать до Неаполя. Однако на другой день ей опять стало хуже, и вместо того, чтобы продолжать путешествие в коляске, мы взяли шлюпку и пустились на ней в Сесто-Календе. Мы сели на нее в пять часов вечера. Глазам нашим по мере приближения открывался в последних теплых золотых лучах солнца маленький городок, простирающийся у подошвы холмов. На холмах раскинулись его очаровательные сады из миртовых, апельсиновых и лавровых деревьев. Полина смотрела на них с восхищением, которое давало мне надежду, что мысли ее стали менее грустны.

— Вы думаете, что приятно жить в этой очаровательной стране? — спросил я.

— Нет,— отвечала она,— я думаю, что здесь будет не так тягостно умереть. Я всегда мечтала о гробницах,— продолжала Полина,— воздвигнутых посреди прекрасного сада, напоенного благоуханиями, между кустарниками и цветами. У нас мало заботятся о последнем жилище тех, которых любят: украшают временное и забывают о вечном ложе!.. Если я умру прежде вас, Альфред,— сказала она, улыбаясь после минутного молчания,— и если вы будете столь великодушны, что будете заботиться и о мертвой, то мне бы хотелось, чтобы вы вспомнили о моих словах.

— О, Полина, Полина! — простонал я, обняв ее и прижимая судорожно к сердцу.— Не говорите мне этого, вы убиваете меня!

— Не стану более,— отвечала она,— но я хотела сказать вам это, друг мой, один раз. Я знаю, что, если скажу вам что-нибудь однажды, вы не забудете этого никогда. Но перестанем говорить об этом... Впрочем, я чувствую себя лучше, Неаполь поправит меня. О, как давно я хочу увидеть Неаполь!..

— Да,— продолжал я, прерывая ее,— мы уже скоро будем там. Мы найдем на зиму небольшой домик в Сорренто или Резино. Вы проведете там зиму, согреваемая солнцем, которое никогда не тускнеет. Потом весною вы

возвратитесь к жизни со всей природой... Но что с вами? Боже мой!..

— О, как я страдаю! — сказала Полина, холодея и прижимая руку к своему сердцу.— Вы видите, Альфред, смерть ревнует даже к нашим мечтам, и она посылает мне болезнь, чтобы пробудить нас.

Мы пробыли в молчании до тех пор, пока пристали к берегу. Полина хотела идти, но была так слаба, что колени ее подгибались. Наступала ночь, я взял ее на руки и перенес в гостиницу.

Я приказал отвести себе комнату подле той, в которой поместил Полину. Давно уже между нами было нечто непорочное, братское и священное, которое позволяло ей засыпать на глазах у меня, как на глазах матери. Потом, видя, что она страдала более, чем когда-нибудь, и не надеясь продолжить наше путешествие на следующий день, я послал нарочного в моей карете, чтобы найти в Милане и привезти в Сесто доктора Скарпа.

Возвращаясь к Полине, я нашел ее лежащей, и сел у изголовья ее постели. Мне казалось, что она хотела о чем-то спросить меня, но не смеет. В двадцатый раз я заметил ее взор, устремленный на меня с необъяснимым выражением сомнения.

— Что вам угодно? — сказал я.— Вы хотите о чем-то спросить меня и не смеете? Вот уже несколько раз вы посмотрели на меня так странно! Разве я не друг, не брат ваш?

— О! Вы более, чем все это! — отвечала она.— И нет имени, чтобы выразить то, что вы есть. Да, да, меня мучит сомнение — ужасное сомнение!.. Я объясню его после, в ту минуту, когда вы не осмелитесь лгать. Но теперь еще не время. Я смотрю на вас, чтобы видеть вас как можно дольше, смотрю, потому что люблю вас!..

Я положил ее голову на свое плечо. Мы пробыли в таком положении целый час, в продолжение которого я чувствовал ее влажное дыхание на моей щеке и биение ее сердца на своей груди. Наконец, она сказала, что ей лучше, и просила меня удалиться. Я встал и, по обыкновению, хотел поцеловать ее в лоб, но она обвила меня руками и прижала свои губы к моим. «Я люблю тебя!» — прошептала она в поцелуе и упала на постель. Я хотел взять ее на руки, но она оттолкнула меня тихонько, не открывая глаз. «Оставь меня, мой Альфред! — сказала она.— Я люблю тебя... я очень... очень счастлива!..»

Я вышел из ее комнаты. Я не мог оставаться там, на-

ходясь в волнении, в которое привел меня этот лихорадочный поцелуй. Возвратясь в свою комнату, я оставил общую дверь полуотворенной, чтобы бежать к Полине при малейшем шуме. Потом, вместо того, чтобы лечь, снял с себя верхнее платье и отворил окно, желая немного освежиться.

Балкон моей комнаты выходил на те очаровательные сады, которые мы видели с озера, приближаясь к Сесто. Посреди лимонных и померанцевых деревьев несколько статуй, стоящих на своих пьедесталах, выделялись при лунном свете, как белые тени. Чем более я смотрел на одну из них, тем более зрение мое помрачалось, мне показалось, что она ожила и сделала мне знак, показывая на землю. Вскоре мне начало казаться, что она зовет меня. Я обхватил руками голову, мне показалось, что я уже сошел с ума. Имя мое, произнесенное жалобным голосом, заставило меня вздрогнуть, я вошел в свою комнату и прислушался. Опять произнесли мое имя, но очень слабо. Голос доносился из боковых покоев. Это Полина звала меня, и я бросился в ее комнату.

Это была она... она, умирающая, которая, не желая умереть одна и видя, что я не отвечаю ей, сползла со своей постели, чтобы найти меня. Она была на коленях на паркете... Я бросился к ней, хотел взять ее в свои объятия, но она сделала мне знак, что хочет о чем-то спросить меня... Потом, не в силах говорить и предчувствуя свою кончину, она схватила рукав моей рубашки и открыла рану, едва закрывшуюся, которую месяца три тому назад проделала пуля Горация, и, показывая мне пальцем на рубец, закричала, откинувшись назад и закрыла глаза.

Я перенес ее на постель и успел прижать свои губы к ее губам, чтобы принять последнее ее дыхание, не потерять ее последнего вздоха.

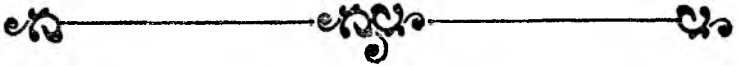
Воля Полины исполнена: она почивает в одном из тех восхитительных садов, с видом на озеро, среди благоухающих апельсиновых деревьев, в тени миртов и лавров».

— Я это знаю,— отвечал я Альфреду,— потому что приехал в Сесто через четыре дня после твоего отъезда и, не зная еще, кто покоится там, я уже молился на ее гробнице.



АМОРИ

РОМАН.



Только французам присуще это удивительное качество: уменье вести беседу. В то время, как во всех других странах Европы спорят, разговаривают, разглагольствуют,— во Франции беседуют. Когда я, будучи в Италии, Германии или Англии объявлял вдруг, что завтра отправляюсь в Париж, кое-кто удивлялся по поводу такого внезапного отъезда и спрашивал:

— Что вы собираетесь делать в Париже?

— Я собираюсь беседовать,— отвечал я.

И тогда все, уставшие от болтовни, удивлялись, зачем нужно проезжать пятьсот лье, чтобы побеседовать.

Только французы понимали и говорили:

— Вы — счастливчик!

И только один или двое, находившиеся рядом, бросали все и возвращались со мной.

На самом деле, можете ли вы представить что-либо более замечательное, чем узкий круг людей из пяти или шести человек, собравшихся в уголке элегантного

салона, беседующих по своему усмотрению на любую тему, какая им нравится, и, едва исчерпав все свое остроумие, они переходят к другому вопросу, который кажется еще важнее и возникает из шуточек одних, парадоксов других и всеобщего остроумия; затем и этот, пережив свой апогей, исчезает, испаряется, как мыльный пузырь, в то время как хозяйка дома с чашкой чая в руке передвигается, как живой челнок, от одной группы к другой, неся серебряную нить общего разговора, выясняя мнения, задавая вопросы, вынуждая время от времени каждую группу бросать свое слово в эту бочку Данаид, называемую беседой.

В Париже есть пять или шесть салонов, похожих на только что описанный мною, где не танцуют, не поют, не играют, но который, однако, покидают лишь в три или четыре часа утра.

Один из таких салонов принадлежит моему доброму другу графу де М...; когда я говорю «моему доброму другу», я должен был бы сказать «доброму другу моего отца — графу де М...», который избегает говорить о своем возрасте, хотя никто и не собирается его об этом спрашивать; ему, скорее всего, уже шестьдесят пять или шестьдесят восемь лет, но, благодаря его тщательной заботе о своей персоне, на вид ему дашь не более пятидесяти; это один из последних и самых обходительных представителей бедного оклеветанного восемнадцатого века; в конце концов он тоже разуверился в своем веке и, как большинство недоверчивых людей, стал страдать манией преследования всех, кто считал иначе.

В его характере были заложены два принципа: один шепот от сердца, другой — от разума, и они постоянно боролись друг с другом. Эгоист по воспитанию, по темпераменту, он был великодушен. Он родился в эпоху джентльменов и философов, аристократизм дополняет в нем мыслителя; он еще успел увидеть все, что было великого и остроумного в предыдущем веке. Руссо наградил его званием гражданина, Вольтер предсказал, что он будет поэтом, Франклин порекомендовал ему быть честным человеком.

Он говорит об этом безжалостном девянсто третьем годе, как граф де Сен-Жермен говорил о гонениях Суллы, о резне Нерона. Он видел своим скептическим взглядом, как проходили поочередно убийцы, участники септембризад, палачи — сначала в своей колеснице, затем в двухколесной телеге. Он был знаком с Флорианом и

Андре Шенье, Демустье и мадам де Сталь, с шевалье де Бертэном и Шатобрианом, он целовал руку мадам Гальен, мадам де Рекамье, принцессе Боргезской, Жозефине и герцогине де Берри. Он видел взлет и падение Наполеона. Аббат Мори называл его своим учеником, а господин де Талейран — своим последователем; граф М... — это словарь дат, перечень фактов, учебник анекдотов, неисчерпаемый фейерверк слов

Чтобы быть уверенным в сохранении своего превосходства, он никогда не желал ничего записывать; он рассказывает — вот и все.

Его салон, как я только что сказал, — один из пяти или шести салонов Парижа, в которых, хотя нет ни игры, ни музыки, ни танцев, остаются до трех или четырех часов утра. Правда и то что на пригласительных билетах он пишет своей рукой: «Будем беседовать», — как другие печатают: «Будем танцевать».

Такой способ приглашения отталкивает банкиров и биржевых маклеров, но привлекает умных людей, которые любят разговаривать; людей искусства, которые любят слушать; мизантропов всех классов, которые, несмотря на просьбы хозяек дома, не желают танцевать, ибо считают, что контрданс назван так потому, что противостоит танцу.

У него был восхитительный талант вовремя уметь останавливать обсуждение теории, которая может ранить чье-то самолюбие и прекратить дискуссию, которая угрожает стать скучной.

Однажды некий молодой человек с длинными волосами и с длинной бородой говорил с ним о Робеспьере, чьей системой он восхищался и чью преждевременную смерть он оплакивал, предсказывая его реабилитацию. Он говорил, что это человек, который не был оценен по достоинству.

— К счастью, он был казнен, — ответил граф де М..., и разговор на этом закончился.

Итак, примерно через месяц я оказался на одном из подобных вечеров, когда, почти исчерпав все темы и не зная, о чем еще говорить, начали говорить о любви. Это произошло как раз в один из таких моментов, когда разговор стал всеобщим, когда обмениваются фразами из одного конца салона в другой.

— Кто говорит о любви? — спросил граф де М...

— Доктор П... — произнес чей-то голос.

— И что он говорит?

— Он говорит, что это доброкачественный прилив крови к мозгу, который можно излечить при помощи диеты, пиявок и кровопускания.

— Вы так говорите, доктор?

— Да, разумеется, и я считаю, что обладание ценится выше: это и быстрее, и надежнее.

— Но, доктор, представьте, что обратились с вопросом не к вам, который нашел всеобщую панацею, а к кому-нибудь из ваших коллег в клинике, менее сведущих, чем вы: «Можно умереть от любви?»

— О Боже! Это вопрос, который нужно задавать не медикам, а больным,— возразил доктор.— Ответьте, господа, скажите, дамы.

Конечно, мнения по этому серьезному вопросу разделились. Молодые люди, у которых было время, чтобы погибнуть от разочарования, ответили «да»; старички, которые могли скончаться от катаров или от удара, отвечали «нет». Женщины качали с сомнением головой, ничего не говоря: слишком гордые, чтобы сказать «нет», слишком искренние, чтобы сказать «да».

Все усиленно старались объясниться, так что никто ничего не слышал.

— Итак,— говорил граф де М...,— я выведу вас из затруднительного положения.

— Вы?

— Да, я.

— А как?

— Рассказав о любви, от которой умирают, и о любви, от которой не умирают.

— Значит, есть несколько видов любви? — спросила одна женщина, менее, чем кто-либо из присутствующих имеющая право задать подобный вопрос.

— Разумеется, мадам,— ответил граф,— но чтобы перечислить все виды любви, понадобится слишком много времени.

— Вернемся, однако, к моему предложению: скоро полночь, у нас есть еще два или три часа. Вы сидите в удобных креслах, огонь весело горит в камине. На улице холодная ночь, идет снег; итак, вы — те идеальные слушатели и в тех условиях, о которых я давно мечтал. Я вас задержу, я вас не отпущу. Огюст, прикажите, чтобы заперли двери, и возвращайтесь с известной вам рукописью.

Молодой человек встал — это был секретарь графа, великолепный молодой человек, необыкновенно изыскан-

ный, о котором шепотом говорили, что у него должность более высокая, чем секретарь, можно было предположить, что граф де М... испытывает к нему отеческую привязанность.

При слове «рукопись» раздались восклицания, и гости начали возражать, говоря, что чтению не будет конца.

— Извините,— произнес граф,— но не бывает романа без предисловия, а я не закончил свое. Вы можете подумать, что я сочинил эту историю, и, прежде всего, я утверждаю, что ничего не выдумал. Вот как я узнал о ней. Будучи душеприказчиком одного из моих друзей, который умер восемнадцать месяцев тому назад, я обнаружил среди его бумаг мемуары; однако хочу заметить, что это его собственные мемуары, а не наблюдения над жизнью других людей. Это был доктор, поэтому я должен попросить у вас прощения, так как эти мемуары представляют из себя не что иное, как замедленное вскрытие. Не бойтесь, дамы, моральное вскрытие — вскрытие единственное, поризведенное не скальпелем, а пером; одно из тех вскрытий сердца, при которых вы так любите присутствовать.

Страницы другого дневника, написанного не его рукой, перемешались с его воспоминаниями, как биография Крейслера с размышлениями кота Мурра. Я узнал этот почерк — почерк одного молодого человека, которого я часто встречал у него, доктор был его опекуном...

Каждая из этих рукописей в отдельности представляла непонятную историю; но они дополняли друг друга, я их прочитал и нашел историю достаточно... — как бы это сказать — достаточно гуманной. Я проявил к ней большой интерес, хотя все считают меня скептиком (счастлив тот, кто имеет какую-нибудь репутацию), и как скептик, не проявлявший ни к чему большого интереса, подумал: если этот рассказ, который меня тронул за сердце — извините, доктор, что я употребляю это слово, сердце не существует, но нужно использовать общепринятые выражения, без них можно быть непонятым, — я подумал: если этот рассказ тронул за сердце меня, скептика, он сможет произвести такое же впечатление на моих современников, а к тому же должен вам сказать, меня щекотало самолюбие: опасность потерять, опубликовав подобное, свою репутацию умного человека, как это случилось с М..., я не помню его имени, вы знаете его, он стал членом Государственного совета...

Я начал размещать эти дневники в хронологическом порядке, чтобы рассказ получил смысл; далее я убрал собственные имена, заменив их придуманными мною именами; затем я стал вести рассказ от третьего, вместо первого, лица и в одно прекрасное утро стал автором двух томов.

— Вы их не напечатали потому, что ваши персонажи еще живы?

— О, нет! Бог мой, нет! Не поэтому, так как оба главных действующих лица отсутствуют: один из них умер восемнадцать месяцев тому назад, а другой покинул Париж две недели тому назад. Вы слишком заняты и слишком невнимательны, чтобы узнать умершего и уехавшего, хотя их портреты похожи. Не поэтому я не стал печатать эту историю.

— А почему?

— Тс-с! Только не говорите об этом ни Ламенне, ни Беранже, ни Альфреду де Виньи, ни Сулье, ни Бальзаку, ни Дешану, ни Сент-Бёву, ни Дюма, а я обещаю для одного из них два первых вакантных кресла в академии, если я не буду ничего делать.

— Огюст, друг мой,— продолжал граф де М., обращаясь к молодому человеку, который вернулся с рукописью,— садитесь и читайте, мы вас слушаем.

Огюст сел, потом, откашлявшись, развернул листы, облокотился на диван, и, когда все удобно устроились, в глубокой тишине он прочитал следующее.



I

В начале мая 1838 года, когда пробило 10 часов утра, ворота маленького отеля на улице Матюрен открылись и пропустили молодого человека, сидящего верхом на прекрасной лошади рыжей масти, длинные ноги, вытянутая шея которой выдавали ее английское происхождение; за ним через те же ворота того же отеля выехал на почтительном расстоянии слуга, одетый в черное и тоже верхом, но на менее чистокровной лошади.

Этот всадник, которого при первом взгляде можно бы назвать светским *львом*, был молодым человеком двадцати трех-двадцати четырех лет, в простой, но в то же время изысканной одежде, свидетельствующей, что тот, кто ее носил, имел аристократические привычки с рождения, ибо никакое воспитание не сумеет создать то, чего нет в крови.

Уместно сказать, что его внешность великолепно отвечала его одежде и осанке, и трудно было бы представить что-либо более элегантно и более утонченное, чем это лицо, обрамленное черными волосами и бакенбарда-

ми, которому матовая юношеская бледность придавала особый отличительный характер. Этот человек, последний отпрыск одного из самых старинных семейств монархии, принадлежал к тому древнему роду, что угасают с каждым днем и скоро останутся только в истории: его звали Амори де Леонвиль.

А сейчас попробуем заглянуть в душу, перейдем от портрета к чувствам, от видимости к сущности, и тогда мы увидим, что внешняя безмятежность гармонирует с состоянием сердца, ибо лицо — зеркало души. Улыбка, которая время от времени проявляется на его губах и выражает мечтательность его души, — это улыбка счастливого человека.

Итак, последуем за этим человеком, столь одаренным от рождения и счастливой судьбой, и незаурядностью, и красотой, и удачей. Это герой нашей истории.

Он выехал из ворот дома и направил свою лошадь мелкой рысью, тем же шагом достигнув бульвара, проехал Ля Мадлен, предместье Сен-Оноре и добрался до улицы Ангулем.

Въехав в улицу, он едва заметным движением заставил свою лошадь перейти на медленный шаг, а его до сих пор равнодушный и отсутствующий взгляд стал вдруг острым и внимательным. Он смотрел в одну точку: туда, где находился за резной решеткой прелестный маленький особняк, расположенный между двором, полным цветов, и одним из огромных садов, которые в промышленном Париже исчезают с каждым днем, дабы уступить место каменным массам без воздуха, без пространства и без зелени, которые так неудачно продолжают называть домами.

Около этого особняка лошадь остановилась сама, послушная привычке, но молодой человек, бросив долгий взгляд на два окна, плотно закрытых занавесками, защищавшими их от любого нескромного любопытства, продолжал свой путь, оглядываясь и посматривая на свои часы, убеждаясь, что еще не настало время, когда ему могут открыть ворота этого дома.

Молодому человеку нужно было как-то убить время: он спустился в тир к Лепажу и там развлекался, разбив несколько кукол, затем перешел к другим мишеням, а от них — к следующим.

Любое упражнение в ловкости будит самолюбие. Итак, хотя стрелок имел в качестве зрителей только мальчишек, он стрелял так великолепно, что те, кому

было нечего делать, окружили его, наблюдая за юношей; он потратил сорок пять минут на это упражнение, а затем снова сел на лошадь, рысью поскакал по дороге дю Буа и через несколько минут оказался на Мадридской аллее. Там он встретил одного из своих друзей, с которым побеседовал о последнем стипль-чезе, о будущих бегах в Шантлильи — это заняло еще полчаса.

Наконец, третий господин, прогуливающийся у ворот Сен-Жам, только что приехавший с Востока, с таким интересом рассказал о жизни, которую он вел в Каире, в Константинополе, что еще час прошел довольно быстро. Но этот час истек, и наш герой не смог больше оставаться; распрощавшись с друзьями, он пустил свою лошадь галопом и, не останавливаясь и не меняя скорости, вернулся в конец улицы Ангулем, выходящей на Елисейские Поля.

Там, остановившись, посмотрел на свои часы и, увидев, что они показывали час, слез с лошади, бросил поводья своему слуге, подошел к дому, перед которым останавливался утром, и позвонил.

Если Амори испытывал замешательство, то оно могло бы показаться странным, так как по улыбке, возникшей на лицах слуг при его появлении — начиная с консьержки, открывшей ему ворота ограды, до слуги в вестибюле — можно было понять, что молодой человек считался своим в доме.

И все же, когда посетитель спросил, видели ли господина д'Авриньи, слуга ответил, как ответил бы любому, соблюдая приличия:

«Нет, господин граф, но дамы находятся в малой гостиной».

Так как слуга хотел пройти вперед, чтобы сообщить о приходе молодого человека, граф остановил его, заметив, что эта формальность была бы излишней. Амори, как человек, знающий дорогу, пошел по коридорчику, в который выходили все двери, и через минуту оказался перед полуоткрытой дверью малой гостиной, что позволило ему взгляду свободно проникнуть в комнату.

Еще мгновение, и он остановился на пороге.

Две девушки в возрасте восемнадцати-девятнадцати лет сидели напротив друг друга и вышивали, в то время как видневшаяся в дверном проеме старая гувернантка-англичанка вместо того, чтобы читать, смотрела на обеих своих учениц.

Никогда еще живопись — королева искусств — не воспроизводила группу более прелестную, чем ту, которую представляли, почти соприкасаясь, головы двух девушек, так удачно отличных друг от друга по виду и по характеру, что можно было сказать: сам Рафаэль приблизил их одну к другой, чтобы запечатлеть этюд из двух видов красоты, одинаково грациозных, но контрастирующих между собой.

И, действительно, одна из двух девушек, бледная блондинка с длинными волосами, завитыми на английский манер, с голубыми глазами и немножко удлиненной шейкой, казалась хрупкой и чистой девой в духе Оссиана, созданной, чтобы парить в облаках, которые северный ветер несет к пустынным горам Шотландии или туманным равнинам Великобритании. Это было прелестное создание, скорее волшебное, нежели земное, почти в духе Шекспира, который благодаря своему гению смог привести в реальную жизнь дивные создания, такие, каких никто не встречал до его рождения и каких никто не создал после его смерти, тех, кого он окрестил нежными именами Корделия, Офелия или Миранда.

Другая девушка, с черными, заплетенными двойной косой волосами, обрамлявшими ее розовое лицо, со сверкающими глазами, с пурпурными губами; ее движения были живыми и решительными, она казалась одной из тех девушек с золотистым цветом лица, которых Боккаччо собирает на вилле Пальмиери, под солнцем Италии, чтобы слушать веселые сказки *Декамерона*. В ней светились жизнь и здоровье, ум искрился в ее взгляде, а иногда и грусть — ибо не бывает таких веселых лиц, которые не омрачались бы время от времени, — но даже печаль не могла скрыть приветливого выражения ее лица. В ее меланхолии можно было разглядеть улыбку, как сквозь летнее облако можно чувствовать солнце.

Таковы были эти две девушки, склоненные одна напротив другой над одним вышиванием, а под их иголками появлялся букет цветов, в котором каждая осталась верна своему характеру: одна создавала белую лилию и бледные гиацинты, в то время как другая оживляла букет тюльпанами, медвежьим ушком и гвоздиками ярких и веселых тонов.

Мгновенно окинув все это взглядом, Амори толкнул дверь.

Обе девушки повернулись на шум открывшейся двери и слабо вскрикнули, как две напуганные газели; жи-

вой, но мимолетный румянец алого цвета покрыл лицо девушки со светлыми волосами, в то время как ее подруга чуть заметно побледнела.

— Я вижу, что ошибся, не приказав доложить о себе,— сказал молодой человек, подойдя поспешно к блондинке и не обращая внимания на ее подругу,— поскольку я вас напугал, Мадлен. Извините меня, но я, считая себя приемным сыном господина д'Авриньи, всегда веду себя в этом доме, как один из членов семьи.

— И вы поступаете правильно, Амори,— ответила Мадлен.— Впрочем, если бы вы и захотели вести себя иначе, то у вас не получится, я думаю: нельзя потерять за шесть недель привычки восемнадцати лет. Но поздоровайтесь же с Антуанеттой.

Молодой человек, улыбаясь, протянул руку брюнетке

— Извините меня,— сказал он,— дорогая Антуанетта, но я должен был сначала попросить прощения за свою оплошность у Мадлен: я испугал ее и, услышав крик Мадлен, подбежал к ней.

Затем, повернувшись к гувернантке, сказал:

— Миссис Браун, приветствую вас...

Антуанетта улыбнулась с легкой печалью, пожимая руку молодого человека, и подумала, что она тоже вскрикнула, но Амори этого не услышал.

Что касается миссис Браун,— она ничего не видела, или, скорее, видела все, но взгляд ее оставался бесстрастным.

— Не извиняйтесь, граф,— сказала она,— будет хорошо, напротив, если все будут поступать так, как вы, чтобы излечить это прелестное дитя от ее безумных страхов и внезапного вздрагивания. Знаете, с чем это связано? С ее мечтами. Она создала свой мирок, в который она прячется, как только ее перестают поддерживать в реальном мире. О том, что происходит в ее мирке, я ничего не знаю, но, я думаю, если так будет продолжаться, она покинет один из миров для другого, и тогда мечта станет ее жизнью, в то время как ее жизнь будет мечтой.

Мадлен подняла на молодого человека долгий и мягкий взгляд, который, казалось, говорил:

— Вы знаете, о ком я думаю, когда мечтаю, не правда ли, Амори?

Антуанетта увидела этот взгляд; она постояла, раздумывая, но вместо того чтобы приняться за работу,

села за пианино и, опустив пальцы на клавиши, заиграла фантазию Тальберга.

Мадлен принялась за работу, и Амори сел возле нее.

II

— Какая мука, дорогая Мадлен,— сказал совсем тихо Амори,— в том, что мы теперь так редко бываем наедине. Это случайность или это приказ вашего отца?

— Увы, я ничего не знаю, друг мой,— ответила девушка,— но верьте, что я страдаю, как и вы. Когда мы виделись каждый день и каждый час, мы не понимали нашего счастья; как часто бывает, нам понадобилась тень, чтобы сожалеть о солнце.

— Но не можете ли вы сказать Антуанетте или по крайней мере дать ей понять, что она окажет нам большую услугу, удаляя время от времени миссис Браун, которая остается здесь скорее по привычке, чем из предосторожности, и которая, я думаю, не получала приказа наблюдать за нами.

— Я тоже так думаю, Амори, и я не могу понять, в чем дело, но какое-то непонятное чувство меня сдерживает. Как только я открываю рот, чтобы поговорить о вас с моей кузиной, я теряю голос; однако что я могу сообщить ей нового? Она знает прекрасно, что я вас люблю.

— И я тоже, Мадлен, но мне нужно, чтобы вы говорили это вслух, а не шепотом. Я счастлив вас видеть, но мне кажется, что лучше лишиться этого счастья, чем видеть вас среди посторонних, холодных и безразличных людей, которые вынуждают вас скрывать ваш голос и кривить душой, а я не могу вам сказать, как я страдаю от этой скованности.

Мадлен встала, улыбаясь.

— Амори,— сказала она,— хотите помочь мне срывать в саду букет цветов? Я начала рисовать букет, и так как вчерашний завял, я хотела бы составить новый.

Антуанетта живо поднялась.

— Мадлен,— сказала она, обменявшись с подругой взглядом,— тебе не нужно выходить в такую сырую и холодную погоду. Поручи это мне, и я справлюсь, мне это доставит удовольствие.

— Моя дорогая миссис Браун,— продолжала она,— доставьте мне удовольствие, возьмите в комнате Мадлен букет, который вы найдете на маленьком круглом столе

Буля, в японской вазе, и принесите мне его в сад. Только видя его, я смогу составить такой же.

При этих словах Антуанетта через одно из окон гостиной, служившее дверью, вышла в сад, в то время как миссис Браун, не получавшая никакого приказа по поводу молодых людей и зная о том, что их связывало с детства, вышла, не возражая, через боковую дверь.

Амори следил глазами за доброй гувернанткой, затем, очутившись наедине с девушкой, схватил ее за руку.

— Наконец-то, дорогая Мадлен,— сказал он с выражением самой горячей любви,— наконец-то мы одни. Поторопитесь посмотреть на меня, сказать мне, что вы меня любите, так как после странного изменения отношения ко мне вашего отца я начинаю сомневаться во всем. А что касается меня, вы знаете, что душой и телом я ваш, вы знаете, как я вас люблю.

— О, да! — сказала девушка со счастливым вздохом, поднявшим ее стесненную грудь.— О, скажите мне, что вы меня любите; мне кажется, что такому хрупкому созданию, как я, ваша любовь поможет жить. Видите, Амори, когда вы рядом, я дышу и чувствую себя сильной! До вашего приезда и после вашего отъезда мне не хватает воздуха, а вы так часто отсутствуете с тех пор, как не живете больше с нами. Когда я буду иметь право не расставаться с вами, ибо вы — мое дыхание, моя душа?

— Послушайте, Мадлен, что бы ни случилось, сегодня вечером я напишу вашему отцу.

— И что может быть дурного в том, что наши детские планы наконец осуществились бы? С тех пор, как вам исполнилось двадцать лет, а мне шестнадцать, не привыкли ли мы чувствовать себя предназначенными друг другу? Напишите моему отцу, Амори, и вы увидите, что он не будет сопротивляться с одной стороны — вашему предложению, с другой стороны — моей просьбе.

— Я хотел бы разделить вашу уверенность, Мадлен, но, действительно, с некоторого времени ваш отец странно изменился по отношению ко мне. Обращаясь со мною в течение пятнадцати лет как с сыном, с некоторых пор, мне кажется, он стал видеть во мне чужого. Будучи в этом доме вашим братом, не заставил ли я вас вскрикнуть, когда вошел без доклада?

— А! Этот крик, это был крик радости, Амори. Ваше присутствие никогда не застает меня врасплох, я жду вас всегда, но я такая слабая, такая нервная, что не

могу скрыть своих чувств. Не нужно обращать на это внимания, мой друг, со мной следует обращаться, как с той бедной мимозой, над которой мы смеялись, мучая ее когда-то, не думая, что у нее своя жизнь, как и у нас, и что мы ей причиняем боль. Я — как она, ваше присутствие мне доставляет удовольствие, такое же, какое я испытывала прежде на коленях у моей матери. О, Боже, взяв ее у меня, он дал мне вас. Своей матери я обязана жизнью, своим первым рождением, вам — вторым. Она меня дала миру, вы возродили мою душу. Амори, чтобы я была вашей, смотрите на меня чаще.

— О! Всегда, всегда! — закричал Амори, схватив руку девушки, прижавшись к ней горячими губами. — О! Мадлен, я тебя люблю, я тебя люблю!

Почувствовав поцелуй, бедная девушка начала лихорадочно дрожать и, положив руку на сердце, сказала:

— О, не так, не так! Ваш голос слишком страстен, он меня слишком волнует, ваши губы меня обжигают. Пощадите меня, прошу вас. Вспомните о бедной мимозе: я пошла вчера на нее посмотреть, она умерла.

— Ну, Мадлен, как вы пожелаете Сядьте, Мадлен, и позвольте мне сесть на эту подушку у ваших ног; поскольку моя любовь вам причиняет боль, я только ограничусь разговорами по душам. О, спасибо, Боже! Ваши щеки принимают свой обычный цвет. На них больше нет ни того странного румянца, какой меня поразил, ни мертвенной бледности, что их покрывала при моем появлении. Вам лучше, вам хорошо, Мадлен, моя сестра, моя подруга!

Девушка почти упала в кресло, облокотившись на него, склонив лицо, скрытое длинными светлыми волосами, кончики локонов которых касались лба молодого человека.

Расположившись так, что ее дыхание смешивалось с дыханием возлюбленного, она сказала:

— Да, Амори, да, вы заставляете меня бледнеть и краснеть по своему желанию. Вы для меня словно солнце для цветов.

— О, какой восторг — ободрять вас таким взглядом, оживлять вас словом. Я люблю вас, Мадлен, я люблю вас!

Молодые люди замолчали, во время этого молчания все их чувства, казалось, сосредоточились в их взглядах.

Вдруг в гостиной послышался легкий шум. Мадлен подняла голову, Амори повернулся.

Господин д'Авриньи стоял сзади, сурово глядя на них.

— Отец! — воскликнула Мадлен, откидываясь назад.

— Мой дорогой опекун! — произнес в замешательстве Амори, вставая и приветствуя его.

Господин д'Авриньи, не отвечая, медленно снял перчатки, положил шляпу на кресло и с того же места после минутного молчания, которое показалось часом пытки для молодых людей, сказал коротко и отрывисто:

— Вы еще здесь? Знаете ли, что вы станете очень ловким дипломатом, если продолжите изучать политику в будуарах и отчитываться о нуждах и интересах народов, глядя, как вышивают коврики! Вы не будете долго простым атташе, а перейдете в первые секретари в Лондоне или Санкт-Петербурге, если вы углубите так кстати возможности мыслей талейранов или меттернихов в компании пансионерки.

— Мсье, — ответил Амори со смесью сыновней любви и уязвленной гордости, — может быть, в ваших глазах я пренебрегаю карьерой, какую вы выбрали для меня, но министр никогда не замечал этого пренебрежения и вчера, при чтении работы, которую меня попросил...

— Министр попросил вас сделать работу! О чем? Об образовании второго жокей-клуба, об элементах бокса в фехтовании, о правилах в спорте в целом или в скачках с препятствиями в частности? О, тогда я удивлен тем, что он удовлетворен.

— Но, мой дорогой опекун, — возразил Амори с легкой улыбкой, — осмелю вас заметить, что всеми этими талантами, от которых я получаю удовольствие, в чем вы меня упрекаете, я обязан вашей отцовской заботе. Вы мне всегда говорили: оружие и фехтование, а также знание иностранных языков, на которых я говорю, — это необходимые элементы образования джентльмена девятнадцатого века.

— Да, я хорошо знаю, господин, когда делают из этих талантов развлечения в серьезной работе, но не серьезную работу — удовольствием. А вы типичны для людей нашего времени, которые думают, что знают все, ничего не изучив, и, проведя утром час в Палате, час — в Сорбонне после обеда, час — на спектакле вечером, представляют себя Мирабо, Кювье или Жоффруа, давая оценку всему, согласно своей гениальности, и мимоходом заглядывая в салоны, на чьих весах взвешиваются судьбы света. Министр вас похвалил вчера, говорите вы? Ну, живите в славной надежде, учитывайте эти

высекопарные похвалы, и в день платы долгов судьба сделает вас банкротом: потому что в двадцать три года, управляемый удобным опекуном, вы — доктор права, бакалавр словесности, атташе посольства, потому что вы ходите на праздники во фраке, расшитом золотом по воротнику, потому что вам обещали крест Почетного легиона, может быть, как всем, которые его не имеют еще. Вам кажется, что все сделано, и вам остается только ждать удачи. Я богат, говорите вы, значит, я могу оставаться бесполезным, и после этого прекрасного рассуждения ваш титул джентльмена становится дипломом праздности.

— Но, дорогой отец,— воскликнула Мадлен, потрясенная растущей пылкостью слов господина д'Авриньи,— что вы говорите? Я никогда не слышала, чтобы вы так разговаривали с Амори.

— Сударь! Сударь! — шептал молодой человек.

— Да,— продолжал господин д'Авриньи более спокойно, но мрачно,— мои упреки вас ранят больше, потому что они заслуженны, не правда ли? Вам нужно понять, однако, если вы будете продолжать бесцельную жизнь, то вам нужно отказаться от встреч с опекуном, хмурым и требовательным. О, вы освободились лишь вчера, мой воспитанник. Права, переданные мне по завещанию моим старым другом графом де Леонвилем, не существуют больше по закону, но существуют морально, и я должен вас предупредить, что в наше беспокойное время, когда благосостояние и честь зависят от каприза толпы или народного бунта, нельзя рассчитывать только на себя, и какой бы вы ни были миллионер и граф — отец достойного семейства из предосторожности откажет вам выдать за вас дочь, рассматривая ваш успех на бегах и ваши чины в жокей-клубе как слишком ненадежные гарантии.

Господин д'Авриньи, вдохновленный собственной речью, ходил большими шагами, не глядя ни на дочь, дрожащую как листок, ни на стоящего с нахмуренными бровями Амори.

Глаза молодого человека, которого сдерживало лишь уважение, переходили от взволнованного д'Авриньи, не понимая причин его волнения, на Мадлен, изумленную, как и он сам.

— Но вы не поняли,— продолжал господин д'Авриньи, останавливаясь перед обоими молодыми людьми, онемевшими от этого неожиданного гнева,— значит, вы

не поняли, мой дорогой Амори, почему я вас попросил не оставаться дольше с нами. Не следует молодому человеку с таким именем и с таким состоянием изнурять себя в пустой болтовне с девушками; то, что можно делать в двенадцать лет, становится смешным в двадцать три года, и более того, будущее моей дочери, не имеющее ничего общего с вами, может пострадать, как и ваше, от этих постоянных визитов.

— О, господин, господин! — закричал Амори. — Но имейте жалость к Мадлен, вы видите, что вы ее убиваете.

И в самом деле, белее статуи, Мадлен упала без движения в свое кресло, пораженная в сердце словами своего отца.

— Дочь моя, моя дочь! — закричал господин д'Авриньи, становясь таким же бледным, как она. — Моя дочь! Это вы ее убиваете, Амори!

И, бросившись к Мадлен, он взял ее на руки, как ребенка, и отнес в соседнюю комнату.

Амори захотел идти следом.

— Остановитесь, господин, — сказал отец, задерживаясь на пороге, — остановитесь, я вам приказываю.

— Но она нуждается в помощи, — закричал Амори, сложив молитвенно руки.

— Ну, — сказал господин д'Авриньи, — разве я не доктор?

— Извините, сударь, — прошептал Амори, — я думал... я не хотел бы уйти, не зная...

— Большое спасибо, мой дорогой... большое спасибо за ваш интерес. Но будьте спокойны, Мадлен остается со своим отцом, и я позабочусь о ней. Итак, будьте здоровы и прощайте.

— До свидания! — сказал молодой человек.

— До свидания! — произнес господин д'Авриньи ледяным тоном и толкнул ногой дверь, тут же захлопнувшуюся за ним и за Мадлен.

Амори остался на месте, неподвижный, уничтоженный.

В это время раздался звонок, позвавший горничную, и в то же время Антуанетта вернулась с миссис Браун.

— О, Боже! — вскрикнула Антуанетта. — Что с вами, Амори, и почему вы такой бледный и расстроенный? Где Мадлен?

— Умирает! Умирает! — крикнул молодой человек. — Идите, миссис Браун, идите к ней, ей нужна ваша помощь.

Миссис Браун бросилась в комнату, куда ей показал рукой Амори.

— А вы,— сказала ему Антуанетта,— почему вы не входите туда?

— Потому что он меня прогнал! — воскликнул Амори.

— Кто это?

— Он, господин д'Авриньи, отец Мадлен.

И, взяв свою шляпу и перчатки, молодой человек бросился, как безумный, из гостиной.

III

Придя домой, Амори застал у себя одного из друзей, который его ждал.

Это был молодой адвокат, его товарищ по коллежу в Сен-Барб, коллега по праву, бакалавр. Ему было примерно столько же лет, как и Амори; имея состояние около двадцати тысяч ливров ренты, он вышел, однако, из плебейской семьи, ничем не прославившейся в прошлом.

Его звали Филипп Оврэ.

Амори был предупрежден слугой об этом непредвиденном визите и решил подняться прямо в свою комнату, чтобы заставить Филиппа ждать его, пока тому не надоест.

Но Филипп был такой хороший парень, что Амори передумал: не надо с ним так обращаться! Он вошел в маленький рабочий кабинет, куда был приглашен его друг.

Заметив его, Филипп встал и подошел к нему.

— Черт возьми, мой дорогой,— сказал молодой адвокат,— я жду около часа. Я уже не надеялся, что увижу тебя, собирался уйти, и я уже давно бы это сделал, если бы не должен был попросить тебя о важной услуге.

— Мой дорогой Филипп,— сказал Амори,— ты знаешь, как я тебя люблю, тебя не должно обидеть то, что я собираюсь тебе сказать. Ты проиграл в карты или у тебя дуэль? Это две важные вещи, которые нельзя отложить. Нужно тебе заплатить сегодня? Нужно тебе сражаться завтра? В этих двух случаях и мой кошелек, и я сам к твоим услугам.

— Нет,— сказал Филипп,— я пришел ради более важного дела, но не менее спешного.

— В таком случае я должен объяснить, мой друг,— сказал Амори,— дело в том, что со мной случилось одно

из событий, которые полностью переворачивают человека. Я едва соображаю. Все, что ты мне скажешь, несмотря на всю мою дружбу, будет напрасным.

— Бедный друг,— сказал Филипп,— но со своей стороны могу ли я что-нибудь сделать для тебя?

— Ничего, только отложить на два или три дня сообщение, которое ты собираешься сделать; ничего, только оставь меня наедине с самим собой и с событием, которое меня ждет.

— Ты несчастен! Амори несчастен! И это имя одно из самых прекрасных имен и одно из самых больших состояний Франции! Несчастен граф де Леонвиль, у которого сто тысяч ливров ренты! О, Боже! Я тебе признаюсь: следует, чтобы ты сам мне об этом сказал, чтобы я поверил.

— Это, однако, так, мой дорогой, да... да... несчастный, очень несчастный, и я считаю, когда друзья несчастны, следует оставлять их наедине со своим несчастьем. Филипп, ты никогда не был несчастным, если ты этого не понимаешь!

— Понимаю я или нет, когда ты меня просишь о чем-то? Амори, ты знаешь хорошо, что я привык выполнять то, о чем меня просят. Ты хочешь остаться один, бедный друг, прощай, прощай!

— Прощай! — сказал Амори, упав в кресло.

Потом, когда Филипп уходил, он сказал:

— Филипп, предупреди моего слугу, что меня нет ни для кого и что я запрещаю входить, пока не позову. Я никого не хочу видеть.

Филипп сделал знак своему другу, что выполнит поручение, и, выполнив его, удалился, напрасно пытаясь понять, какие странные обстоятельства могли заставить Амори впасть в такой глубокий приступ нелюдимости.

Как только Амори остался один, он обхватил голову руками, стараясь вспомнить, за что он заслужил гнев своего опекуна, но ничего не вспомнил, и, бесстрастно спрашивая себя, кто мог бы дать объяснение этому неожиданному гневу, вдруг обрушившемуся на него, он в один миг вспомнил всю свою жизнь, и вся она, как один день, прошла перед его глазами.

Амори, как мы уже отмечали, был одним из людей, одаренных от природы во многих областях.

Природа, создав Амори, одарила его красотой, элегантною, изяществом; а его отец, умирая, оставил ему древнюю фамилию, монархический глянец которой

он закалил в войнах империи, огромное состояние в полтора миллиона, доверенное заботам господина д'Авриньи, одного из выдающихся медиков эпохи, с кем его связывала дружба их отцов.

Кроме того, Амори видел, как его состояние при умелом управлении опекуном увеличилось в руках того почти на треть.

Этого было бы достаточно, чтобы оценить его как опекуна, если бы господин д'Авриньи лишь заботливо занимался денежными делами своего воспитанника, но он наблюдал за его воспитанием так, как заботился бы о судьбе собственного сына.

В результате Амори, воспитывавшийся вместе с Мадлен, будучи лишь на четыре года старше ее, испытывал глубокую нежность к ней, — а она смотрела на него, как на брата, — и чувствовал более, чем братскую любовь к той, которую он всегда называл сестрой.

И они с детства, в невинности своих душ и в чистоте сердец, придумали прекрасный план: никогда не расставаться.

Огромная любовь, какую господин д'Авриньи перенес со своей жены, умершей в двадцать два года от болезни легких, на свою дочь, своего единственного ребенка, и почти отцовское чувство, какое он испытывал к Амори, давали молодым людям уверенность, что господин д'Авриньи им не откажет.

Все способствовало тому, чтобы они тешили себя надеждой иметь общее будущее, и это составляло вечный предмет их разговоров с тех пор, как они почувствовали любовь в своих сердцах.

Постоянные отлучки господина д'Авриньи, вынужденного почти полностью отдаваться своим больным, клиентуре, больнице, где он был директором; институту, где он также сотрудничал, позволяли им строить прекрасные воздушные замки, которые укреплялись воспоминаниями о прошлом и надеждами на будущее и казались прочными, как здания из гранита.

Именно в это время безмятежного счастья и мечаний (Мадлен едва достигла восемнадцати лет, а Амори — двадцати двух лет) ровное и спокойное настроение господина д'Авриньи испортилось.

Вначале они думали, что такое изменение характера вызвано смертью сестры, которую он очень любил и которая оставила дочь в возрасте Мадлен, ее постоянную подругу и соратницу в учебе и в играх.

Но проходили дни, месяцы, но время, вместо того, чтобы сделать лицо д'Авриньи более светлым, омрачало его все больше, и странно: это плохое настроение было вызвано Амори; и доктор время от времени обрушивался на Мадлен, на свое обожаемое дитя, которое сам любил так, как может любить только мать, и казалось странным, что энергичная и радостная Антуанетта стала любимицей мсье д'Авриньи и отняла у Мадлен привилегию быть его первой собеседницей и советчицей.

Кроме всего этого, господин д'Авриньи постоянно хвалил Антуанетту в присутствии Амори и часто стал говорить, что он намерен отказаться от своих планов в отношении Амори и Мадлен, чтобы обратить внимание подопечного на племянницу, которую он взял к себе и на которой, казалось, сосредоточилась его любовь.

Однако Амори и Мадлен, ослепленные привычкой, не заметили этих странностей господина д'Авриньи, вызвавшего их раздражение, но не страдание.

Они полностью доверяли друг другу, и однажды они играли, как дети, какими и были еще, бегая вокруг бильярда: Мадлен прятала цветок, Амори пытался его отнять, но внезапно дверь отворилась, появился господин д'Авриньи.

— Ну,— сказал он с горечью, уже не раз замеченной в его речи,— что значит это ребячество? Разве вам, Мадлен, десять лет? А вам, Амори, не более пятнадцати? Вы видите себя бегающими по лужайке перед замком Леонвиль? Почему вы хотите взять этот цветок, который Мадлен вам не дает? Я думал, что так поступают на сцене в опере только пастухи и пастушки и делают такие пируэты в хореографии, но, кажется, я ошибся.

— Но, батюшка,— осмелилась сказать Мадлен, которая вначале подумала, что господин д'Авриньи шутит, но потом увидела, что тот никогда не был таким серьезным,— но, батюшка, еще вчера...

— Вчера не означает сегодня, Мадлен,— сухо возразил господин д'Авриньи,— быть послушным прошлому — значит отказываться от будущего. И поскольку вы охотно делаете то, что только сейчас проделали, я хочу вас спросить: почему вы отказались от игрушек, от кукол, если вы не видите, что с возрастом ваш долг и поведение должны изменяться? Что ж, я обязан вам об этом напомнить.

— Но, мой добрый отец,— возразил Амори,— мне кажется, что вы слишком строги к нам. Вы считаете нас

детьми? О, Боже, вы слишком часто говорили, что бедой нашего века является то, что дети ведут себя, как монашки.

— Я вам это говорил, сударь? Это, может быть, о сбежавших из коллежа, что дает гуманное воспитание этим Ришелье в двадцать лет, этим совершенно равнодушным людям, этим земным поэтам, которые делают из разговоров десятую музу. Но вы, мой друг Амори, если не по возрасту, то по крайней мере по своему положению, должны иметь более серьезные намерения. Если у вас их нет на самом деле, сохраняйте видимость их: впрочем, я пришел, чтобы поговорить с вами о более серьезных вещах. Выйдите, Мадлен.

Мадлен вышла, бросив на отца один из тех прекрасных умоляющих взглядов, что когда-то мгновенно укрощали гнев господина д'Авриньи. Но, без сомнения, господин д'Авриньи понимал, ради кого эти прекрасные глаза умоляли, и оставался холодным и раздраженным.

Оставшись наедине с Амори, господин д'Авриньи прогуливался некоторое время, ничего не говоря, а Амори следил за ним с грустью в глазах. Наконец, тот остановился, однако его лицо оставалось таким же строгим.

— Амори,— сказал господин д'Авриньи,— уже давно я должен был вам сообщить то, что вы услышите, и я уже опоздал сказать то, что вы, молодой человек двадцати двух лет, не можете оставаться в доме, где проживают две девушки, с которыми вы не состоите в родстве. Мне нелегко, без сомнения, расстаться с вами, и вот почему я не решался вам сказать, что наша разлука необходима. Но еще более затягивать решение этого вопроса стало бы непростительной ошибкой с моей стороны. Об этом бесполезно дискутировать, не приводите ваших доводов и аргументов — они меня не убедят. Решение принято, и ничто не может заставить меня его изменить.

— Но, добрый и дорогой опекун,— сказал Амори дрожащим голосом,— мне казалось, что вы так привыкли видеть меня рядом с вами и называть меня своим сыном, что вы считали меня членом вашей семьи или по крайней мере человеком, имеющим надежду войти в вашу семью. Разве я вас обидел, думая так? И приговаривая меня к этой ссылке, разве вы меня больше не любите?

— Мой дорогой воспитанник,— сказал господин д'Авриньи,— мне кажется, что меня ничто, кроме обязан-

ностей опекуна, не связывало с вами, и теперь, уладив эти дела, мы ничего больше друг другу не должны.

— Вы ошибаетесь, сударь,— ответил Амори,— так как по крайней мере я не рассчитался с вами: вы были для меня больше, чем честный опекун, вы были предупредительным и ласковым отцом, вы меня воспитали, вы меня сделали таким, каким я стал, вы в меня вложили все, что у меня в сердце и на душе, вы были для меня всем, кем старший мужчина может быть для младшего: мужчиной, опекуном, отцом, гувернером, гидом, другом. Я должен прежде всего вам повиноваться с уважением, что я и делаю, удаляясь.

В этот момент господин д'Авриньи увидел, что в комнату входит бледная и дрожащая Мадлен, и поспешно сказал:

— Амори, вы ошиблись относительно моих намерений; ваш отъезд — не изгнание. Далеко не так: этот дом остается вашим, и как только вы захотите прийти, вы будете желанным здесь.

Радость осветила прекрасные томные глаза Мадлен; улыбка, появившаяся на ее побелевших губах, была наградой господину д'Авриньи. Но так как Амори, очевидно, догадался, что только ради дочери господин д'Авриньи пошел на уступку, он робко поклонился своему опекуну и поцеловал руку Мадлен с чувством такой глубокой печали, что показалось: тоска уступила место любви.

Потом он вышел.

Только в тот час, когда молодых людей разлучили друг с другом, они поняли, как на самом деле любили друг друга и до какой степени были необходимы друг другу.

Желание увидеться, будучи в разлуке, внезапные волнения, когда видишься, эта грусть без причины, радость без повода — все, что является симптомами той прекрасной болезни, которую называют любовью, были постепенно испытаны ими обоими, и ни один из этих симптомов не ускользнул от взгляда господина д'Авриньи, уже не раз пожалевшего, что уступил Амори, разрешив ему приходиться в дом.

Все эти события вновь прошли перед глазами Амори; молодой человек, исследуя свои самые заветные воспоминания, не смог найти причину происшедших в господине д'Авриньи перемен.

Он подумал только, что поведение его опекуна изменилось из-за того, что, рассматривая свою женитьбу на Мадлен как естественное решение, он никогда не говорил об этом с господином д'Авриньи. И потому господин д'Авриньи мог бы подумать, что его воспитанник, живя у него и продолжая посещать его дом после отъезда, имел по отношению к Мадлен другие намерения, а не те, которые подразумевались вначале.

Он остановился на той мысли, что, не поговорив с отцом, он оскорбил его чувства к дочери, и решил официально написать господину д'Авриньи и попросить руки Мадлен.

Приняв такое решение, Амори тотчас же приступил к его выполнению и, взяв ручку, написал следующее письмо.

IV

«Сударь.

Мне двадцать три года, меня зовут Амори де Леонвиль — это одна из самых древних фамилий Франции, это имя, уважаемое муниципальными, государственными советами, имя, прославленное на войне.

Единственный сын, я владею состоянием около трех миллионов недвижимости, доставшихся от моих умерших отца и матери, что мне дает около ста тысяч дохода.

Я могу перечислить различные свои преимущества, которые имею благодаря случаю. Все это позволяет мне верить, что с таким состоянием, именем и покровительством тех, кто меня любит, я достигну успеха на поприще, избранном мною, на поприще дипломатии.

Сударь, я имею честь просить у вас руки вашей дочери, мадемуазель д'Авриньи.

Мой дорогой опекун! Вот официальное письмо господину д'Авриньи, письмо, точное, как цифра, сухое, как факт.

Теперь позвольте вашему сыну поговорить с вами с душевной признательностью и с сердечными излияниями.

Я люблю Мадлен и надеюсь, что Мадлен меня любит. Если мы опоздали признаться вам, то, поверьте, мы сами не догадывались об этом. Наша любовь рождалась так медленно, и она раскрылась так быстро, как будто мы были поражены ударом грома в безоблачный день. Я воспитывался рядом с нею, под вашим взглядом, как и она, и когда из нежного брата превратился во влюбленного—

че заметил сам. Все, о чем я вам свидетельствую, правда.

Я вспоминаю с удивлением наши игры и радости детства, проведенного в вашем прекрасном загородном доме в Виль-Давре на глазах у нашей доброй миссис Браун.

Я говорил Мадлен ты, и она называла меня Амори; мы прыгали по широким аллеям, в глубине которых садилось солнце, мы танцевали под большими каштанами парка прекрасными летними вечерами, у нас случались длительные прогулки на лодках и бесконечные прогулки по лесу.

Дорогой опекун, это было славное время.

Почему наши судьбы, соединившись на заре, разъединились, не достигнув полудня?

Почему не я был вашим сыном? Почему Мадлен и я не можем возобновить наши отношения? Почему я не могу сказать ей ты? Почему она мне больше не говорит Амори?

Это мне казалось таким естественным, а теперь я боюсь, как бы мое воображение не создало тысячи препятствий, но разве на самом деле они существуют, дорогой опекун?

Видите ли, вы считаете меня слишком молодым и слишком легкомысленным, может быть, но я старше ее на четыре года, и легкомысленности не будет в нашей жизни.

Кроме всего этого, я не столь легкомысленный. Естественно, я такой; вы сказали мне, что я такой. Но все это поддельные удовольствия. Я от них откажусь, когда вы этого захотите, по одному вашему слову, по одному знаку Мадлен, так как я люблю ее так же, как уважаю вас; я сделаю ее счастливой, клянусь вам. Да, да, очень счастливой! И чем я моложе, тем больше у меня времени любить ее, о Боже! Вся моя жизнь принадлежит ей!

Вы знаете это, вы, который обожает ее; если кто-то любит Мадлен, то это навсегда. Разве может такое случиться, что ее перестанут любить? Это безумие. Когда ее видишь, когда смотришь на ее красоту, чувствуешь ее душу и знаешь о сокровищах ее доброты, веры, любви, чистоты, которые скрыты в ней, конечно, нет другой такой женщины в мире, и мне кажется, что и на небе нет такого ангела.

О, мой опекун, о, мой отец, я ее безумно люблю! Я вам пишу так, как слова приходят ко мне: бессвязно, беспорядочно, безосновательно. Это значит, что вы должны понять, как я безумно люблю ее.

Доверьте мне ее, дорогой отец; оставаясь рядом с нами, будьте нашим поводырем. Вы нас не покинете, вы будете наблюдать за нашим счастьем, и никогда вы не увидите в глазах Мадлен ни слезинки печали или страдания, но если эта печаль и страдания будут из-за меня, возьмите оружие, стреляйте мне в голову или поразите в сердце, и вы правильно сделаете.

Но нет, не бойтесь, никогда Мадлен не будет плакать!

О, Боже, кто осмелится заставить плакать этого ангела, этого деликатного ребенка, такого славного и хрупкого, которого не ранит ни слово, ни ревнивая мысль! О, Боже! Это будет трусостью, и вы знаете хорошо, мой дорогой опекун, я не трус!

Ваша дочь будет счастлива, отец. Видите, я вас уже называю отцом — такой славный обычай вы не захотите отменить, а с некоторого времени вы меня встречаете со строгим лицом, к какому я совсем не привык, так как вы боитесь, что я опаздываю сказать то, о чем вам сегодня пишу, не правда ли?

Но я надеюсь найти самое простое средство, чтобы оправдаться, и этим средством вы сами меня снабдили.

Вы раздражены мной, потому что вы думаете, что я неискренен с вами, так как эту любовь, которой я не должен и не мог вас оскорбить, я скрывал от вас, как оскорбление. Ну, читайте теперь в моем сердце, как Бог читает, и вы увидите, виновен ли я.

Каждый вечер, вы это знаете, я пишу о своих поступках и мыслях дня; эта привычка, которой вы меня наградили с детства и которой вы, занятый серьезными вещами, не изменили ни разу. Только наедине с собой оцениваешь себя и с каждым днем узнаешь себя лучше. Отмечаешь свою мечтательность и, оценивая критически свое поведение, стараешься в дальнейшем действовать честно и целенаправленно.

Этой привычке, примером которой для меня являетесь вы, я следую постоянно, и я поздравляю себя сегодня, так как именно благодаря ей вы сможете читать эту открытую книгу — мою душу — без недоверия и упреков.

Видите ли, в этом зеркале моя любовь присутствует всегда, невидимая мне самому, так как действительно я почувствовал, как мне дорога Мадлен, только в тот день, когда вы меня с ней разлучили, я почувствовал, как я ее люблю, в момент, когда понял, что ее теряю; и когда вы меня узнаете так, как я сам себя знаю, вы сможете судить, достоин ли я вашего уважения.

Теперь, дорогой отец, хотя я доверяю вашему опыту и вашей доброте, я жду, полный нетерпения и тоски, приговора моей судьбе.

Она в ваших руках, помилуйте ее, не калечьте ее, умоляю вас.

Ах, когда я узнаю, что меня ждет, жизнь или смерть? Ночью каждый час кажется таким длинным. Прощайте, мой опекун, и Бог благословит, чтобы отец смягчил приговор, прощайте!

Извините меня за беспорядочность и бессвязность моего письма, которое было начато как холодное деловое письмо и которое я хочу закончить криком моего сердца, что найдет ответ в вашем сердце! Я люблю Мадлен, отец, я умру, если вы или Бог разлучат меня с Мадлен.

Ваш преданный и признательный воспитанник Амори де Леонвилье».

Написав это письмо, Амори взял дневник, где день за днем он записывал мысли, ощущения, события своей жизни.

Он запечатал все, написал на пакете адрес господина д'Авриньи и, позвонив слуге, приказал немедленно отнести этот пакет тому, кому он был предназначен.

Затем молодой человек начал ждать, и сердце его было наполнено сомнениями и тоской.

V

В то время, как Амори запечатывал письмо, господин д'Авриньи уже покинул комнату своей дочери и входил в свой кабинет.

Он был бледен и дрожал, следы глубокого страдания отпечатались на его лице; он молча подошел к столу, покрытому бумагами и книгами, и сел, уронив голову на руки с глубоким вздохом и погружившись в тяжелое раздумье.

Затем он встал, обошел комнату в глубоком волнении, остановился перед секретером, вынул из кармана ключик, повертел его несколько раз в руках, затем, открыв секретер, достал из него тетрадь и отнес на бюро.

Эта тетрадь была дневником, в который он, как и Амори, записывал все, что с ним произошло за прошедший день.

Он постоял недолго, опираясь рукой на бюро и читая с высоты своего роста последние строчки, написанные на-

кануне. Затем, как бы одержав победу над собой, словно приняв тяжелое решение, он сел, схватил перо, положил дрожащую руку на бумагу и после минутного колебания записал следующее:

«Пятница, 12 мая, 5 часов после полудня.

Слава Богу, Мадлен чувствует себя лучше, она спит. Я сделал все, закрывшись в ее комнате, и при свете ночной лампы я увидел, что цвет ее лица становится живым, дыхание успокаивается и равномерно приподнимает ее грудь. Тогда я приложился губами к ее влажному и горячему лбу и вышел на цыпочках.

Антуанетта и миссис Браун там, они ухаживают за ней, и вот я наедине с собой и выношу себе приговор.

Да, я был несправедлив, я был жесток, да, я нанес безжалостный удар этим чистым и прелестным сердцам, двум сердцам, которые меня любят.

Я заставил лишиться чувств мою обожаемую дочь, причинив ей страдание, ей, хрупкому ребенку, какого может опрокинуть порыв ветра!

Я дважды прогнал из моего дома своего воспитанника, сына своего лучшего друга, Амори, чья душа так прекрасна, что он еще сомневается, я уверен, так ли я зол и почему?

Почему? Я не осмеливаюсь в этом признаться самому себе.

Я здесь с пером в руках, с этим дневником, куда я записываю все свои мысли, но я не спешу с записью.

Почему я несправедлив? Почему я зол? Почему я проявил такое варварство по отношению к людям, которыми я дорожу?

Потому что я ревную.

Никто меня не поймет, я это хорошо знаю, но отцы поймут, потому что я ревную свою дочь, ревную из-за любви, которую она испытывает к другому, ревную к ее будущему, ревную ее к жизни.

Об этом грустно говорить, но это так, даже лучшие в нашем мире — а каждый верит, что он таков — в душе хранят тайну, которой стыдятся, и имеют ужасные тайные мысли; так же, как Паскаль, я это знаю. Как доктор, я могу чувствовать и анализировать чужое состояние, но мне гораздо труднее объяснить свое.

Когда я думаю о том, что я делаю, думаю наедине с собой, в своем кабинете, недалеко от нее — я думаю

бесстрастно и обещаю победить себя и в конце концов выздороветь.

Потом я случайно вижу страстный взгляд Мадлен, направленный на Амори, я понимаю, что занимаю второе место в сердце моего ребенка, кто сам безраздельно владеет моим, и инстинкт дикого отцовского эгоизма снова владеет мной: я становлюсь слепым, сумасшедшим, бешеным.

Однако все просто: ему двадцать три, ей — девятнадцать, они молоды, красивы, они любят друг друга.

Раньше, когда Мадлен была ребенком, я тысячу раз мечтал об этом счастливом союзе и теперь, по правде говоря, спрашиваю у самого себя: разве мои действия — это действия думающего и разумного создания, человека, коего считают одним из светил нации?

Светило науки — да, ибо это я проник намного глубже, чем кто-либо другой, в тайны человеческого организма, ибо это я по пульсу человека могу сказать приблизительно, от какой болезни он страдает, ибо это я вылечил больных, которых другие, более невежественные врачи считали неизлечимыми.

Но если я попытаюсь вылечить свою моральную боль, здесь мои знания будут бессильны, здесь рухнет моя гордость.

Есть ряд болезней, перед которыми наука бессильна; я видел смерть единственной женщины, любимой мною, — матери Мадлен.

О, да, ваша молодая и прекрасная жена, любящая вас и любимая вами, покидает этот мир и возвращается на небеса, оставив вам единственное утешение и надежду, ангела, свое подобие, что-то вроде ее помолодевшей души, ее возрожденной красоты; вы привязываетесь к этой последней радости, как терпящий кораблекрушение к своей последней доске, вы целуете ее ручки, что привязывают вас к жизни.

Ваше будущее рухнуло, но вот другое, которое его продолжит: вы можете еще быть счастливыми этим счастьем, вы его создадите, вы вложите свое существование в существование этого кроткого и хрупкого создания: каждый раз, как она вздохнет, вам кажется, что вздыхаете вы.

Этот мир, который без вашей дочери был бы ледяной пустыней, отогревается ее присутствием, покрывается цветами под ее шагами.

С того мига, как вы получили ее из рук умирающей матери, вы не теряли ее из вида ни на мгновение, вы стерегли ее своим взглядом: днем, когда она играла, ночью, когда она спала, вы каждую минуту прислушивались к ее дыханию, следили за ее пульсом, вас беспокоила бледность на ее лице или краснота щек. Ее лихорадка сжигала ваши артерии, ее кашель разрывал вашу грудь; вы десятки раз сказали смерти, этому призраку, что постоянно ходит рядом с людьми, невидимый для всех, исключая нас, несчастных избранников науки; вы говорили сотни раз этому призраку, который, касаясь ее, может смять ваш цветок, дохнув на нее, может снова убить вашу воскресшую душу, вы ему сказали:

«Возьми меня и позволь ей жить».

И смерть удалилась не потому, что она вас послушала, а потому, что время еще не пришло, и по мере того как она удалялась, вы чувствовали, что заново родились, а при ее появлении вы чувствовали, что умираете.

Но это еще не все — вернуть дочь к жизни; нужно еще подготовить ее для выхода в свет. Она красива, нужно придать грациозность ее красоте.

Она добра, нужно научить проявлять свою доброту.

Она остроумна, нужно научить ее уметь блистать остроумием.

Час за часом, чувство за чувством, мысль за мыслью, вы строите ее ум, вы формируете ее сердце, вы лепите ее душу.

Как вы восхищаетесь ею, и как необходимо, чтобы ею восхищались! В глазах других она едва делает первые шажки, для вас — ходит. Она лепечет? Нет, она говорит. Она произносит слог? Нет, она читает.

Вы сделались маленьким, чтобы быть одного с ней роста, и вы вдруг обнаруживаете, что сегодня Перро интереснее, чем Гомер. Блестящий ученый, великий поэт, выдающийся государственный деятель беседует, прогуливаясь с вами в вашем саду, о вещах самых общих в науке, о теориях самых возвышенных, о расчетах самых хитроумных в политике. Он считает, что вы очень внимательно к его словам, вы киваете головой и делаете вид, что обдумываете его идеи, теории, расчеты.

Бедный государственный деятель, бедный поэт, бедный ученый!

Вы в ста лье от того, что он вам говорит. Вы смотрите только на своего доброго ребенка, который играет в соседней аллее: вы думаете только об этом проклятом бас-

сейне, куда она может упасть, и о вечерней свежести, от чего она может простудиться.

Вы помните, как ее мать умерла в двадцать два года от неизлечимой болезни.

Однако ваша Мадлен растет, ее ум развивается, ее представления расширяются, она вас понимает, когда вы говорите о поэтах, науке, Боге. Она начинает любить вас не только инстинктивно; все вокруг ее хвалят, когда она проходит мимо.

О, ее считают самой прелестной, но чтобы у нее все было, необходимо, чтобы она была богатой. Вам самому ничего не нужно, но вам необходимо, чтобы у нее было все.

За дело! Из-за нее вы становитесь честолюбивым и скупым, делая ей корону из вашей славы, богатство из вашего пота (ежегодные доходы от государства растут), вы покупаете ей эту прекрасную ферму: два года труда, и она ваша.

Богатство — это еще не все, ей нужна роскошь; для этих ножек, которые ее с трудом удерживают, нужна коляска — она стоит вам месяца экономии... — стоит ли об этом говорить?

Если твое тело устало, бедный отец, скажи ей, пусть она тебе улыбнется. Теперь, когда у нее есть ферма, есть коляска, ей нужны украшения.

Что это за отец, который бережет свою душу и тело? — нет, ему не жаль себя, лишь бы его дочь имела лучшие украшения. Еще одна морщинка на его лице — но это еще один купленный ей жемчуг; еще один седой волосок — за рубин; еще несколько капель его крови — и у нее будет полный ларец украшений, и за пять или шесть лет жизни твоя дочь будет столь же блестящей, как королева.

Впрочем, все эти усилия, весь этот тяжелый труд доставляют столько удовольствия, и вознаграждение немедленно последует: через несколько месяцев ребенок станет женщиной. Какая радость, когда вы увидите, что ее разум понимает ваши мысли, а ее сердце — вашу любовь.

Она станет вашей подругой, доверенным лицом, компаньонкой, она будет больше, чем все они вместе, так как никакое земное чувство не может смешаться с вашей любовью и с ее любовью к вам; ее присутствие будет похоже на присутствие ангела, которому Бог разрешил стать видимым.

Да, еще немного терпения, и вы пожнете то, что сеяли, и ваши лишения будут стоять вам больших богатств, и все ваши страдания перерастут в бесконечные радости.

В этот момент кто-то чужой приходит, видит вашу дочь, говорит ей три слова на ушко, и после этих слов она начинает любить чужого больше, чем вас, она вас покидает ради него и отдает навсегда этому постороннему свою жизнь, которая является и вашей. Это закон природы. Природа смотрит вперед.

А вы... вы! Остерегайтесь сказать лишнее слово, пожимайте с веселым видом руку вашему зятю, этому грабителю вашего счастья, только что похитившему у вас самое дорогое, иначе о вас скажут: «Этот Сгапарель не хочет, чтобы его дочь Люсинда вышла замуж за Кли-тандра».

Мольер написал ужасную комедию «Любовь-цели-тельница», комедию, где, как везде у Мольера, радость — только маска, за которой прячется лицо в слезах.

О чем говорят любовники, когда говорят о ревности? Что значит ярость венецианского мавра перед отчаянием Бробантио и Сашет? Любовники! Разве в течение 20 лет они жили жизнью своего божества? Разве, создав его однажды, они теряли его и спасали 20 раз? Разве это божество принадлежит им, как отцам — их кровь, их душа, их дочь! Их дочери! Этим все сказано!

Если женщина предает одного ради другого, все громко кричат: это преступление. Но она сначала предала отца ради возлюбленного, и они считают это в порядке вещей.

И я не говорю еще о том, что наиболее ужасно.

Наши отцовские страдания и наша заброшенность непоправимы, мы теряем их любовь, любовники сохраняют настоящее и будущее.

Отцы! Отцы прощаются с будущим, с настоящим, со всем. Любовники молоды, отцы стары. У них первая страсть, у нас — наше последнее чувство.

Обманутый муж, обманутый возлюбленный найдут тысячи других любовниц, двадцать других увлечений заставят их позабыть свою первую любовь.

А где отец возьмет другую дочь? Пусть все покинутые молодые люди осмелятся теперь сравнить свое отчаяние с нашим!

Где любовник убивает, отец приносит жертву, их любовь — это результат гордыни, наша — преданности, они любят своих жен и любовниц ради себя.

Мы любим наших дочерей ради них. Это последняя жертва, самая жестокая. Неважно, если она смертельна, примем ее. Самое дорогое, самое бескорыстное, самое милосердное, самое божественное, что у меня было на свете,— отцовская любовь,— и теперь какой-то эгоист придет и отнимет ее у меня.

Обратимся к дочери, которая отворачивается от нас; будем относиться к ней лучше, чем она к нам будет относиться, будем любить того, кого она любит, отдадим ее тому, кто собирается ее отнять.

Будем печальны, но пусть она будет свободной.

А Бог, не делает ли он так? Бог, который любит тех, кто его не любит. Бог — это ведь не что иное, как большое отцовское сердце.

Через три месяца Амори женится на Мадлен, если...

О, Боже, я не осмеливаюсь об этом писать больше!..»

И в самом деле, перо выпало из пальцев господина д'Авриньи, он глубоко вздохнул и уронил голову на руки.

VI

В это время дверь кабинета открылась, и вошла девушка. Она на цыпочках подошла к господину д'Авриньи и, посмотрев на него с выражением грусти, какую трудно было представить на обычно озорном лице, мягко положила руку на плечо.

Мсье д'Авриньи вздрогнул и поднял голову.

— А, это ты, моя дорогая Антуанетта,— сказал он.— Добро пожаловать!

— Повторите эти добрые слова еще раз, дядюшка!

— Я повторю их еще не раз, разве ты сомневаешься в моем отношении к тебе, дитя мое?

— Да ведь я пришла, чтобы вас бранить.

— Ты меня собираешься бранить?

— Да, я.

— И чем я заслужил, чтобы ты меня бранила? Говори.

— Дядюшка, это очень серьезно, то, что я собираюсь вам сказать.

— Действительно?

— Да, так серьезно, что я не осмеливаюсь...

— Антуанетта, моя дорогая племянница, не осмеливается мне сказать! Что она собирается мне сказать?

— Увы, дядюшка, я хочу поговорить о вещах, о которых не говорят в моем возрасте и в моем положении.

— Говори, Антуанетта. Под твоей веселостью скрывается задумчивость, под твоим легкомыслием я давно заметил глубокую рассудительность, говори... Особенно, если ты собираешься говорить о моей дочери.

— Да, дядя, я как раз собираюсь говорить о ней.

— Ну, что ты собираешься мне сказать?

— Я хочу вам сказать, мой добрый дядюшка... О, извините меня... Я осмелюсь вам сказать, что вы слишком любите Мадлен... Вы ее убьете!..

— Я! Ее убить! Боже, что ты хочешь этим сказать?

— Я говорю, дядя, что ваша лилия, ведь вы так ее называете, не правда ли? Я говорю, что ваша лилия, бледная и хрупкая, сломается в ваших любящих руках.

— Я не понимаю, Антуанетта,— сказал господин д'Авриньи.

— О! Нет, вы меня понимаете,— сказала девушка, обнимая обеими руками шею доктора,— о, вы меня понимаете, хотя говорите обратное... Я вас хорошо понимаю, я!

— Ты меня понимаешь, Антуанетта? — воскликнул господин д'Авриньи с чувством, похожим на испуг.

— Да.

— Невозможно!

— Мой дорогой дядя,— снова заговорила она с такой грустной улыбкой, что трудно было понять, как такие розовые губки могли сказать это,— мой дорогой дядя, нет сердец, закрытых для взглядов тех, которые сами любят: я прочла в вашем сердце.

— И какое чувство ты там нашла?

Антуанетта посмотрела на дядю, сомневаясь.

— Говори! — сказал он.— Не видишь, что ты мучаешь меня?

Антуанетта приблизила губы к уху господина д'Авриньи и тихо сказала:

— Вы ревнуете!

— Я! — воскликнул господин д'Авриньи.

— Да,— продолжала девушка,— эта ревность делает вас злым.

— О, Боже! — воскликнул господин д'Авриньи, наклонив голову.— О, Боже! Я думал, эту тайну знают только Бог и я.

— Ну и что страшного в этом, дорогой дядя? Ревность — это ужасное чувство, я знаю, но ее можно победить. Я тоже ревную к Амори.

— Ты ревнуешь к Амори?

— Да,— ответила Антуанетта, опустив голову,— да, за то, что он похищает у меня сестру, за то, что, когда он рядом, Мадлен не смотрит на меня.

— Значит, ты испытала то, что испытал я?

— Да. Да, тоже что-то похожее, и я победила себя, потому что сказала об этом вам. Дядя, они любят друг друга безумно, нужно их поженить; если их разлучить, они умрут.

Господин д'Авриньи покачал головой и, не произнося ни слова, пальцем показал Антуанетте последние строчки, которые только что написал, и Антуанетта прочитала вслух: «Итак, через три месяца Амори женится на Мадлен, если... О, Боже, я не осмеливаюсь об этом писать больше!»

— Дядя,— сказала Антуанетта,— успокойтесь, она ни разу не кашлянула.

— О, Боже! — воскликнул господин д'Авриньи, глядя на племянницу с чувством глубокого удивления.— О, Боже, она обо всем догадалась, все поняла!

— Да, дядя, мой добрый, мой дорогой дядя, да, все сокровища нежности, любви вашего сердца я поняла. Но послушайте, ведь если однажды Мадлен выйдет замуж и нас покинет, то разве не лучше будет, что вместо того, чтобы полюбить кого-нибудь, она будет любить Амори? Разве ее счастье должно стать несчастьем для нее, и должны ли мы вменять ей в преступление ее радость? Нет, наоборот, примем ее судьбу, пусть они будут счастливы. Вы не останетесь в одиночестве, дорогой отец, с вами останется Антуанетта, которая вас очень любит, которая любит только вас, которая вас никогда не покинет. Я не заменю вам Мадлен, я это знаю, но я буду вам вместо дочери, пусть я не так богата, как Мадлен, и не так красива, я буду дочерью, которую никто не полюбит, будьте спокойны, и даже если меня полюбят, будь я грациозна и красива, как Мадлен, я не полюблю никого, я вам посвящу свою жизнь, я вас утешу... и вы меня утешите.

— Но разве Филипп Оврэ,— сказал господин д'Авриньи,— не влюблен в тебя, а ты в него?

— О, дядюшка, дядюшка! — воскликнула Антуанетта с укором.— Ах! Как вы можете верить...

— Ну, ладно, дитя, не будем говорить больше об этом. Да, я сделаю так, как ты говоришь, поскольку ничего не остается, лишь сделать так, как я решил, но пусть Амори объяснится. Если мы ошиблись, если он не любит Мадлен!..

— О, вы не ошиблись, отец, увy! Он ее любит... вы ведь в этом уверены, и я тоже...

Господин д'Авриньи замолчал; там, в глубине души, он был в этом уверен, как и Антуанетта.

И в это время дверь кабинета отворилась, и Жозеф, доверенный слуга господина д'Авриньи, объявил ему, что слуга графа Амори де Леонвиля попросил его передать письмо графа. Господин д'Авриньи и Антуанетта обменялись взглядами, означающими, что они заранее знают о содержании этого послания. Затем с усилием, более заметным из-за печальной улыбки, с которой следила за ним Антуанетта, господин д'Авриньи сказал:

— Жозеф, принесите это письмо, скажите Жермену, чтобы он подождал ответа.

Пять минут спустя письмо было в руках господина д'Авриньи, он молча разглядывал конверт, не в силах распечатать.

— Давайте посмотрим. Смелее, дядя,— сказала Антуанетта.— Откройте и прочтите.

Господин д'Авриньи машинально подчинился, распечатал письмо, быстро прочитал его, перечитал вторично, затем передал письмо Антуанетте, та, отстраняя его, прошептала:

— О, дядя, я знаю, что он может сказать.

— Да, не правда ли? — с горечью сказал господин д'Авриньи, отвечая Антуанетте, как Гамлет — Полонию: «Слова, слова...».

— Вы разве ничего не увидели, кроме слов, в этом письме? — воскликнула Антуанетта, взяв из рук дяди письмо и прочитав его с жадностью.

— Да, слова,— продолжал господин д'Авриньи,— но словами эти юнцы, эти отменные аранжировщики метафор, вытесняют нас из сердца наших дочерей, нас, которые удовлетворяются тем, что любят, и наши дочери предпочитают эту риторику нам, отцам.

— Но, дядюшка! — сказала серьезно Антуанетта, возвращая письмо мсье д'Авриньи.— Вы ошибаетесь, Амори любит Мадлен настоящей любовью, искренней и честной. Я тоже, как и вы, прочитала письмо, которое он написал не разумом, а сердцем.

— Итак, Антуанетта?..

Антуанетта подала перо дяде.

Господин д'Авриньи взял перо и написал просто:

«Будьте завтра в 11 часов, дорогой Амори.

Ваш отец Леопольд д'Авриньи»

— А почему не сегодня вечером? — спросила Антуанетта; прочитав послание д'Авриньи.

— Потому что слишком много волнений для одного дня. Ты скажешь Амори, Антуанетта, что я ему написал вечером, и ты думаешь, что он должен прийти завтра.

И, позвав Жермена, которому было приказано ждать, господин д'Авриньи передал ответ.

VII

На следующий день Мадлен проснулась вместе с солнцем и птицами, с солнцем и птицами Парижа, то есть в девять часов утра.

Она позвонила своей горничной и попросила открыть окна. Густой жасмин, покрытый цветами, рос у стены, и она часто втягивала его длинные ветки в комнату, где они благоухали. Как все нервные люди, Мадлен обожала запахи, которые ей, однако, причиняли зло. Мадлен попросила свой жасмин.

Что касается Антуанетты, она была уже в саду, где прогуливалась в простом кисейном пеньюаре. Ее прекрасное здоровье позволяло ей свободно делать то, что запрещали Мадлен.

Мадлен в своей кровати, хорошо укрытая и защищенная от холода, была вынуждена просить, чтобы к ней подносили цветы. Антуанетта, живая и хорошо себя чувствующая, бегала к цветам, как полевая птица, не боясь ни утреннего ветерка, ни ночной росы. Это было единственное преимущество сестры, которому завидовала Мадлен, более богатая и красивая, чем Антуанетта.

На этот раз Антуанетта, вместо того чтобы порхать от цветка к цветку, как бабочка или пчела, ходила по аллеям, мечтательная и почти печальная. Мадлен, приподнявшись в кровати, некоторое время следила за ней глазами, с выражением легкого беспокойства, но потом, когда Антуанетта подошла к дому и скрылась в нем, Мадлен упала в кровать со вздохом.

— Что с тобой, моя дорогая Мадлен? — спросил господин д'Авриньи, который, зная, что его дочь проснулась, тихонько приподнял портьеру и присутствовал при этой легкой борьбе, происходящей в душе его дочери, борьбе зависти с ее доброй натурой.

— Я считаю, что Антуанетта очень счастливая, отец,— сказала Мадлен,— она очень счастливая: действительно, она свободна, в то время как я — вечная рабыня! Солнце в полдень слишком жаркое! Утренний и вечерний воздух — слишком холодный! Зачем мне ноги, которые не хотят бегать. Я, как бедный цветок в оранжерее, вынуждена жить в искусственной атмосфере. Разве я больна, отец?

— Нет, моя дорогая Мадлен, но ты такая слабая и хрупкая, ты сказала, как цветок в оранжерее, но цветы в оранжерее самые дорогие и драгоценные, что им еще нужно? Посмотри, разве они не имеют все то, что есть у полевых цветов? Или они не видят неба, солнца? Да, только через стекло, я знаю, но это стекло защищает их от ветра и дождя, ломающих другие цветы.

— Ах, отец, есть правда в ваших словах, однако я предпочла бы быть садовой фиалкой или полевой ромашкой, как Антуанетта, чем этим драгоценным, но слабым растением, о котором вы говорите. Видите, как ее волосы развеваются на воздухе? И как этот воздух освежает ее лоб, в то время как мой — потрогайте, отец,— горит.

И Мадлен схватила руку отца и поднесла ее к своему лбу.

— Ну, мое дорогое дитя,— сказал господин д'Авриньи,— именно потому, что у тебя горячий лоб, я боюсь этого холодного воздуха. Сделай так, чтобы мечты твоего сердца не сжигали твой лоб, и я позволю тебе бегать, как и Антуанетте, с развевающимися волосами; если ты, дорогая Мадлен, хочешь выйти из оранжереи и жить в саду, я увезу тебя в Ниццу, в Неаполь, и там тебе, свободной, в раю с золотыми яблоками, я позволю делать все, что ты пожелаешь.

— И...— сказала Мадлен, глядя на отца,— и он поедет с нами?

— Да, конечно, потому что тебе нужно его присутствие.

— И вы не будете его ругать, как вчера, злой отец?

— Нет, ты видишь, как я раскаиваюсь, поэтому я написал ему, чтобы он пришел.

— И хорошо сделали, ведь, если ему помешают меня любить, он полюбит Антуанетту, а если он полюбит Антуанетту, то я умру от печали.

— Не говори о смерти, Мадлен,— сказал господин д'Авриньи, сжимая руку дочери,— когда ты говоришь

мне, что умрешь, улыбаясь так — хотя я хорошо знаю, что это шутка, — ты напоминаешь ребенка, который играет с острым и отравленным оружием.

— Но я не хочу умереть, дорогой отец, клянусь вам... я слишком счастлива для этого. И вы ведь лучший доктор в Париже и не позволите умереть вашей дочери.

Господин д'Авриньи вздохнул.

— Увы! — сказал он, — если бы я был так силен, как ты думаешь, мое дитя, то тогда еще была бы жива твоя мать. Но что ты делаешь, теряя время в кровати: скоро десять часов, и разве ты не знаешь, что в одиннадцать придет Амори?

— О, да, отец, я знаю, я позову Антуанетту и, благодаря ей, я скоро буду готова. Ведь вы всегда называете меня вашей большой лентяйкой.

— Да.

— Да, потому что в кровати, видите ли, я чувствую себя совсем хорошо. Вне кровати я испытываю или усталость, или боль.

— Ты страдала эти дни, ты страдала и ничего не говорила?

— Нет, отец, впрочем, вы хорошо знаете, что то, что я испытываю, — это не страдания, это недомогание, неясное и лихорадочное, и только иногда, но не теперь... Сейчас вы рядом со мной, и я увижу Амори... О, я счастлива, я очень хорошо себя чувствую.

— А вот и он, Амори!

— Где?

— В саду, с Антуанеттой. Он, должно быть, перепутал время, — сказал господин д'Авриньи, улыбаясь, — я ему написал, чтобы он пришел в одиннадцать часов, а он прочитал — в десять.

— В саду, с Антуанеттой! — воскликнула Мадлен, поднимаясь. — Да, действительно, отец, позовите Антуанетту, сейчас же, прошу вас, я хочу одеться, и она мне нужна.

Господин д'Авриньи подошел к окну и позвал девушку. Амори, пришедший до назначенного часа, скрылся за деревьями, надеясь, что его не увидели.

Вошла Антуанетта, и господин д'Авриньи ушел, оставив девушек одних. Через полчаса Антуанетта осталась в спальне, а мсье д'Авриньи и Мадлен ожидали Амори в той же комнате, где накануне произошла печальная сцена.

Вскоре объявили о приходе графа де Леонвиля, и Амори появился.

Господин д'Авриньи подошел к нему, улыбаясь; Амори робко протянул ему руку, и господин д'Авриньи, держа эту руку в своей, подвел его к дочери, которая смотрела на все это с удивлением.

— Мадлен,— сказал он,— я представляю тебе Амори де Леонвиля, твоего будущего мужа. Амори,— продолжал он,— вот Мадлен д'Авриньи, ваша будущая жена.

Мадлен радостно вскрикнула, Амори бросился на колени перед отцом и дочерью, но вдруг он встал, увидев, что Мадлен покачнулась. Господин д'Авриньи успел придвинуть кресло. Мадлен села в него, улыбаясь, готовая почувствовать себя плохо, ибо любое потрясение могло сломить это хрупкое создание, и радость для нее была так же опасна, как и страдание.

Мадлен, открыв глаза, увидела возлюбленного у своих ног и почувствовала, что отец прижимает ее к сердцу.

Амори целовал ее руки, а господин д'Авриньи называл ее самыми ласковыми именами. Первый ее поцелуй предназначался отцу, а первый взгляд — возлюбленному. Однако оба они ревновали ее друг к другу.

— Вы мой пленник на весь день, мой дорогой воспитанник,— сказал господин д'Авриньи,— и мы втроем будем составлять планы и романы, если вы допустите вашего грубого отца в свое общество.

— Итак, мой дорогой отец,— сказал Амори,— я могу вас теперь так называть? Итак, ваша холодность в предшествующие дни объясняется — я это предвидел — тем, что вы не доверяли мне и моему чувству к Мадлен?

— Да, да, мой дорогой воспитанник,— сказал господин д'Авриньи, улыбаясь,— да, да, все кончено. Я прощаю вашу скрытность при условии, что и вы простите мое плохое настроение. Таким образом, я — бесчувственный тиран, и ты — неблагодарный бунтовщик,— мы оба будем мечтать только о любви.

После всего случившегося оставалось назначить день свадьбы.

Амори очень спешил, и любой назначенный срок казался ему слишком поздним, но, однако, уверенность в счастье заставила его согласиться с доводами господина д'Авриньи.

Впрочем, господин д'Авриньи держался хорошо.

— Высший свет,— говорил он рассудительно,— не может быть застигнут врасплох, особенно в подобных

обстоятельствах; но он имеет привычку мстить за доставленное удивление клеветой. Нужно время, чтобы представить Амори как зятя

Амори согласился с этим обстоятельством и только попросил, чтобы по крайней мере это представление высшему свету произошло как можно раньше.

Представление было назначено через неделю, а свадьба — через два месяца.

Все это происходило в присутствии Мадлен, она не произнесла ни слова, но она также не пропустила ни одного слова из того, что говорилось: наполовину покрасневшая, наполовину взволнованная, девушка была восхитительна и счастлива в своем простодушии.

Счастье шло ей, она смотрела то на возлюбленного, то на отца, а потом снова на возлюбленного; обоим она дарила свое обаяние и очаровательное кокетство.

Когда все было решено, господин д'Авриньи встал, сделал знак своему зятю следовать за ним.

— Предупреждай, когда ты больна, испорченное дитя,— сказал он Мадлен,— и ты будешь иметь дело со мной.

— О, ты меня вылечил сегодня, дорогой отец,— сказала девушка,— и теперь я буду хорошо себя чувствовать всегда. Но куда вы уводите Амори?

— О, я этим недоволен, но это вынужденное отсутствие. После поэзии любви наступает проза женитьбы, но будь спокойна, дорогое дитя, мы тебя покидаем, чтобы заняться твоим счастьем.

— Идите,— сказала Мадлен, поняв, в чем дело.

— Будь спокойна, Мадлен, я быстро,— тихо сказал Амори и, воспользовавшись тем, что господин д'Авриньи подошел к двери, поцеловал ее пушистые волосы.

На самом деле нужно было обсудить условия контракта. Состояние Амори хорошо известно господину д'Авриньи, потому что под его руководством оно удвоилось, но Амори понятия не имел о состоянии своего тестя: оно было почти таким же, как его.

Господин д'Авриньи давал своей дочери миллион приданого.

И размышляя об этом состоянии, о котором он догадывался, Амори решил, что понял сейчас причину молчаливого протеста отца Мадлен против его любви. Может быть, тот надеялся найти для Мадлен человека, если не более богатого, то по крайней мере с более высоким по-

ложением в обществе, положением, уже имеющимся, вместо положения, которого нужно добиться.

Поскольку это было единственно разумное объяснение, Амори остановился на нем.

Впрочем, он выбросил из головы все эти понятные нам мысли: люди, чье будущее закрыто, возвращаются в прошлое, другие же, для которых будущее открыто, бросаются вперед.

Все эти детали обсуждались не более получаса, после чего господин д'Авриньи, видя нетерпение Амори, пожалел его и позволил вернуться к Мадлен.

VIII

Мадлен была в саду, Антуанетта оставалась одна в гостиной. Заметив молодого человека, она сделала шаг, чтобы удалиться; потом, вероятно, поняв, что уйдя, ничего не сказав, она может показаться ему равнодушной к его счастью, Антуанетта остановилась и с чудесной улыбкой произнесла:

— Ну, дорогой Амори, вы очень счастливы, не правда ли?

— О, да, моя дорогая Антуанетта, хотя я не мог поверить в то, о чем вы сказали утром. А вы скажите,— продолжил Амори, усаживая девушку в то кресло, которое она только что покинула и в которое упала сейчас, вздыхая,— когда я буду поздравлять вас?

— Меня, Амори? И с чем вы хотите меня когда-нибудь поздравить?

— С вашей свадьбой! Мне кажется, вам не стоит бояться остаться старой девой ни из-за вашей семьи, ни из-за возраста, ни из-за лица.

— Амори,— сказала Антуанетта,— послушайте, что я хочу вам сказать сегодня, в этот торжественный для вас день, о котором вы будете помнить всегда,— я никогда не выйду замуж!

В этом ответе девушки оказалось столько глубины и решительности, что Амори был удивлен.

— О, к примеру,— сказал он, стараясь обратить эти планы в шутку,— вы можете говорить это кому-нибудь другому,— и этот другой может вам поверить,— но не мне; ведь кто-то может помешать вашему решению, и я уже знаю этого счастливого.

— Я знаю, что вы хотите сказать,— возразила Антуанетта с грустной улыбкой,— но вы ошибаетесь, Амори,

тот, о ком вы говорите, думает обо мне меньше всего. Никому не нужна сирота без приданого, и мне никто не нужен.

— Без состояния? — сказал Амори. — Вы ошибаетесь, Антуанетта, нельзя быть бесприданницей, будучи племянницей господина д'Авриньи и сестрой Мадлен. У вас двести тысяч франков, это втрое больше, чем у дочери пэра Франции.

— У дяди доброе сердце, я знаю это, Амори, и мне не нужны новые доказательства, чтобы убедиться в этом, но, — добавила она, — есть еще повод для того, чтобы я не была неблагодарной по отношению к нему. Мой дядя останется один, я буду рядом с ним, если он захочет. Кроме того, мое будущее принадлежит только Богу.

Антуанетта произнесла эти слова с такой глубокой убежденностью, что Амори понял, что по крайней мере сегодня ему нечего возразить. Он взял ее руку и нежно пожал, ибо любил Антуанетту, как сестру.

Но Антуанетта живо выдернула свою руку.

Амори повернулся, понимая, что это движение было чем-то вызвано. Мадлен стояла на крыльце, глядя на них обоих, бледная, как белая роза, которую она сорвала в саду и которую со вкусом, свойственным девушкам, приколотила к волосам.

Амори подбежал к ней.

— Вам плохо, прекрасная Мадлен? — спросил он ее. — Во имя Бога, вы страдаете, вы такая бледная?

— Нет, Амори, — ответила она — нет, это скорее Антуанетта страдает, посмотрите на нее.

— Антуанетта печальна, я спросил о причине ее грусти, — сказал Амори. — И вы знаете, — добавил он тихо, — она говорит, что никогда не выйдет замуж.

Затем еще тише добавил:

— Любит ли она кого-нибудь?

— Да, — ответила Мадлен со странным выражением. — Да, Амори, я думаю, вы правильно догадались, что Антуанетта кого-то любит.

— Но будем говорить громко и подойдем к ней, ведь вы видите, — добавила она, улыбаясь, — наша тихая беседа заставляет ее страдать.

И действительно, Антуанетта чувствовала себя неловко. Молодые люди подошли к ней, но они не сумели ее удержать. Под предлогом, что ей необходимо написать письмо, она удалилась в свою комнату.

Антуанетта ушла, Мадлен задышала свободно, и влюбленные вновь стали мечтать о будущем.

Это были бесконечные путешествия в Италию, всегда наедине; любовные слова, всегда одни и те же и, однако, всегда новые, и они знали, что их счастье наступит не через долгие годы, а через два коротких месяца, а сейчас они могут видаться и быть вдвоем каждый день.

Минуты, действительно, бежали стремительно, вот и ночь уже наступила, а Мадлен и Амори показалось, что они были вместе лишь мгновение.

Позвонили к обеду.

В то время господин д'Авриньи и Антуанетта, оба улыбаясь, появились в противоположных дверях.

И опять Амори был у ног Мадлен, но сегодня вместо того, чтобы вспылить, как накануне, господин д'Авриньи сделал ему знак, позволяющий оставаться там же.

Затем, подойдя к ним, он протянул руку каждому, говоря:

— Мои дети! Мои дорогие дети!

Антуанетта, всегда хорошо владеющая собой, но непостоянная по настроению, сейчас была прелестна, радостна, остроумна и приветлива. Хотя красноречие девушки могло показаться постороннему несколько лихорадочным.

Но Мадлен и Амори были так поглощены собственными чувствами, что у них не было времени анализировать чувства других, они были слепы в своей любви. Только время от времени Мадлен толкала локтем Амори, чтобы напомнить, что отец рядом. Тогда они вступали в общий разговор, но вскоре чувство одерживало верх, и они снова были поглощены друг другом так, что это заставило сильнее почувствовать бедного старика, какую жертву приносили дети, бросая ему милостыню взглядом, словом или лаской.

Господин д'Авриньи долго не осмеливался замечать, как Мадлен соразмеряла, с согласия Амори, часть дочерней любви; в девять часов под предлогом усталости прошлой ночи он удалился, оставляя детей под присмотром миссис Браун.

Но перед тем, как уйти, он подошел к дочери, взяв за руку, пощупал биение пульса, и тогда его напряженное лицо осветилось внезапной и неопикуемой улыбкой.

Кровь Мадлен текла спокойно и равномерно, ее пульс не вызывал никакого беспокойства, и ее прекрасные чис-

тые глаза, так часто сверкающие от жара лихорадки, светились в этот момент лишь от счастья.

Тогда он повернулся к Амори и прижал его к груди, шепча:

— О! Если бы ты мог ее спасти.

Затем, счастливый, он удалился в свой кабинет, чтобы записать в дневник различные впечатления прошедшего дня, такого важного в его жизни.

Через некоторое время Антуанетта тоже удалилась, и ни Мадлен, ни Амори не заметили ее исчезновения; и, без сомнения, они считали, что она находится в гостиной, когда в одиннадцать часов миссис Браун подошла к ним и напомнила Мадлен, что господин д'Авриньи никогда не позволяет ей задерживаться позднее этого часа.

Молодые люди расстались, обещая провести следующий день так же.

Амори вернулся к себе домой самым счастливым человеком. Он только что провел один из таких дней, полных счастья, какие человек не может иметь дважды в своей жизни. Это один из тех исключительных дней, ничем не омраченных, когда все случайности, что несет с собой бег времени, смешиваются гармонично друг с другом, как детали прекрасного пейзажа под голубым небом.

Ни одно облачко не омрачило спокойствия этого дня, ни одно пятно не испортило вечных воспоминаний, которые он должен ему оставить.

Таким образом, Амори вернулся к себе, почти боясь своего счастья и стараясь понять, с какой стороны может прийти первое облако, что омрачит это радостное небо.

Сладкие грезы сопровождали тот счастливый вечер, который мы попытались описать.

IX

Итак, Амори проснулся в прекрасном расположении духа в преддверии встречи со своим другом Филиппом, о котором ему доложил Жермен, как только Амори позвонил.

Он вспомнил тотчас же, что накануне Филипп приходил попросить его о какой-то услуге, и Амори, неспособный заниматься в то время чем-либо другим, кроме собственных мыслей, отложил его дело на следующий день.

Филипп вернулся и с настойчивостью, свойственной его характеру, спросил: лучше ли настроен Амори в этот день, чем накануне?

Амори был в таком хорошем настроении, что хотел видеть весь мир счастливым: он приказал ввести Филиппа сразу же и с веселым лицом готовился принять его. Но Филипп вошел чопорным шагом и с очень серьезным видом; он был в черном фраке и в белых перчатках, хотя пробило только девять часов утра. Он стоял до тех пор, пока не удостоверился, что слуга вышел.

— Ну, дорогой Амори,— спросил он торжественным тоном,— расположен ли ты сегодня дать мне аудиенцию?

— Мой дорогой Филипп,— ответил Амори,— ты ошибаешься, сердясь на меня за отсрочку, которую я попросил у тебя для решения твоих дел, ты сам мог видеть позавчера, что я в тот день почти потерял голову; ты неудачно выбрал время, вот и все. Сегодня, наоборот, ты пришел удачно. Добро пожаловать, садись и сообщи мне о твоем важном деле, из-за которого ты выглядишь таким серьезным, непреклонным и чопорным.

Филипп улыбнулся, и, как актер, уверенный в том впечатлении, какое произвел, глубоко вздохнул, прежде чем начать свою тираду.

— Я прошу тебя, Амори,— сказал он,— вспомнить, что я адвокат, и, следовательно, выслушать меня терпеливо, не перебивая, и ответить мне только тогда, когда я кончу; я же обещаю, что моя речь продлится только пятнадцать минут.

— Берегись,— сказал Амори, улыбаясь,— прямо напротив меня часы, и сейчас они показывают девять часов пятнадцать минут.

Филипп вынул свои часы, сверил их с комической серьезностью, ему свойственной, и, повернувшись к Амори, сказал:

— Твои часы спешат на пять минут.

— Ты уверен? — возразил Амори, смеясь.— А не твои ли часы опаздывают? Ты знаешь, мой бедный Филипп, что ты похож на человека, который появился на свет на день позже и никак не может наверстать упущенное.

— Да,— сказал Филипп,— да, я знаю, что это моя привычка или, скорее, свойство моего нерешительного характера; это приводит к тому, что я никогда не решаюсь сделать то, на что решаются другие. Но на этот раз, я надеюсь, благодаря Богу, я прибыл вовремя.

— Поберегись, ты теряешь время на разглаговольствования, и, может быть, кто-то другой использует это время в свою пользу, и тогда и на этот раз ты будешь среди опоздавших.

— Тогда,— сказал Филипп,— это будет из-за тебя, так как я просил не перебивать меня, и благодаря Богу это лишь первое, что ты сделал.

— Говори, на этот раз я весь внимание; слушаем, о чем ты мне расскажешь.

— Я расскажу историю, какую ты знаешь так же хорошо, как и я, но необходимо, чтобы я сделал свой вывод.

— А, мой дорогой,— подхватил Амори,— кажется, мы оба собираемся начать сцену Августа и Цинны; не подозреваешь ли ты меня, случайно, в заговоре?

— Ты меня прерываешь второй раз, несмотря на твое обещание.

— Нет, мой дорогой, я помню, что ты адвокат.

— Не смейся, Амори, когда речь идет о серьезных вещах, которые должны быть выслушаны серьезно.

— Посмотри на меня, мой дорогой,— сказал Амори, облокачиваясь на кровать с самым бесстрастным и серьезным видом.— Так лучше? Да, теперь я буду таким все время, пока ты будешь говорить.

— Амори,— продолжал Филипп полусерьезно, следуя принятому решению быть солидным, полушутя — против своей воли.— Ты помнишь наш первый курс занятий по праву? Мы выходим из колледжа новоявленными философами, умными, как Сократ, и рассудительными, как Аристотель. Нашим сердцам позавидовал бы сам Ипполит — так мы думали о себе и прилежно учились, рассчитывая на нашем первом экзамене по праву получить три белых шара как символы нашей девственной чистоты, которые наградят наше усердие и принесут радость в наши семьи. Вряд ли стоит объяснять тебе, мой дорогой, что я был очень взволнован похвалами своих преподавателей и благословением своих кумиров и даже рассчитывал умереть, как Святой Ансельм, в своем целомудренном платье, но я не учел, что существуют черт, апрель и что мне только восемнадцать лет. Из чего следовало, что этот прекрасный план потерпел поражение. Перед моими окнами находились два окна, где время от времени я видел лицо отвратительного создания, модель мстительной испанской дуэньи, уродливой и крикливой, в компании такой же, как и она, безобразной собаки, которая, когда окно случайно открывалось, клала свои лапы на подоконник, глядя на меня с любопытством через свою грязную шерсть. Я боялся и собаки, и ее хозяйки, и тщательность, с коей я закрывал свои окна зана-

весками, была одной из причин моих побед в учебе, в результате чего я добился к концу предыдущего года такого успешного начала в карьере Кюжа и Дельвинкура.

Однажды в начале марта я с удовольствием увидел доску в шесть дюймов в высоту и фут в ширину, на которой были написаны утешительные слова:

КОМНАТА И КАБИНЕТ

сдаются

с первого апреля

Стало очевидно, что я избавляюсь от моей соседки и что какое-то человеческое существо заменит это мерзкое создание, в течение двух лет приводящее меня в ужас. Я с нетерпением ожидал первого апреля — время приезда новых жильцов. Тридцать первого марта я получил письмо от моего дяди, того, кто оставил мне две тысячи ливров ренты, меня приглашали провести следующий день, воскресенье, в его загородном доме в Ангиене. Из-за этого я мог опоздать на лекции на следующей неделе, и я провел часть ночи, занимаясь, чтобы в понедельник быть на одном уровне с тобой и с другими товарищами; и вместо того, чтобы проснуться в семь часов утра, я проснулся в восемь часов, и вместо того, чтобы отправиться в восемь часов, я уехал в девять, и вместо того, чтобы приехать в десять часов, я приехал в одиннадцать. Заканчивался завтрак. Это опоздание, конечно, не лишило меня аппетита, я сел за стол, обещая догнать других гостей, но, несмотря на то, что я активно работал челюстями, часть общества закончила завтрак раньше меня, и так как была прекрасная погода, все решили прогуляться по озеру и мне объявили, что, ожидая меня, пройдутся по дороге, после чего отчалят. Мне дали десять минут, и я убедился, что мне больше не надо.

Но я забыл о кофе, и вместо того, чтобы оставить кофе на столе, услужливая кухарка из боязни, что он остынет, отнесла его на плитку, и его подали кипящим. Мне понадобилось две минуты, чтобы его выпить, что заняло больше времени, чем обычно, ведь я вынужден был дуть более полутора минут, чтобы остудить кофе.

Таким образом, я опоздал на шестьдесят секунд.

К несчастью, в обществе был математик, то есть один из таких людей, точных, как солнечные часы, какие и ходят, как часы, а часы их точны, как солнце.

Через десять минут, которые он мне дал, он достал свой хронометр, показал обществу, что я опаздывал, заставил всех сесть в лодку и начал ее отвязывать.

В это время я вышел на порог дома и сразу же увидел, какая шутка мне угрожает: меня хотели оставить на дороге.

Я побежал со всех ног и был на причале, когда лодка отходила от берега. Четыре дюйма отделяли меня от нее, меня встретили смехом, и я решил, что мне следовало бы ответить на это криками триумфа.

Я вспомнил свои упражнения по гимнастике, прыгнул вперед и упал в озеро.

— Бедный Филипп! — вскрикнул Амори. — К счастью, ты плаваешь как рыба.

— Хорошо говорить. К несчастью, вода была на два три градуса выше нуля, я добрался до берега, дрожащий, в то время как математик считал, сколько миллиметров понадобилось бы мне, чтобы я прыгнул в лодку, вместо того, чтобы упасть в озеро. Холодная ванна, принятая в необычных условиях, очень вредна, как ты знаешь; таким образом, мой озноб перешел в лихорадку, задержавшую меня на три дня в Ангиене. На третий день вечером доктор объявил меня полностью здоровым, и мой дядя заметил, что за эти три дня я мог опоздать на экзамен на степень бакалавра, и я отправился в Париж, а к десяти вечера я вернулся в свою комнату на улице Сен-Николя дю Шардонре. Перед тем как вернуться к себе, я постучал в твою дверь, но ты или вышел, или лег спать. Эта деталь ускользнула от меня в тот момент и пришла теперь мне в голову.

— Но, черт возьми, что ты хочешь?

— Увидишь. Я лег спать, как выздоравливающий, и на следующий день проснулся с птицами. Я подумал, что я за городом. Птица, чье название носит моя улица, скончалась уже давно или была только мифом, я открыл глаза, ища взглядом зелень, цветы и крылатого певца, как его называет господин Делиль, мелодичный голос которого дошел до меня, и, к моему большому удивлению, я увидел все это. Я увидел кое-что еще, так как через стекла — накануне я забыл их занавесить — я заметил в рамке из левкоев и розовых кустов самую красивую гризетку, какую можно было видеть, сентиментально покрывавшую звездчаткой клетку, где находились пять или шесть видов птиц: коноплянки, щеглы, канарейки — все они благодаря мягкости правительства, что ими руководило, несмотря на различие видов, видимо, жили в согласии. Настоящая картина Миериса. Ты знаешь, что я любитель картин. Я целый час смотрел на ту, которая мне

казалась прелестной, так как заменила вид, который в течение двух лет был мне особенно отвратителен: вид старой женщиной и ее старой собакой. Во время моего отсутствия моя Тисифона переехала, уступив место прелестной гризетке. В тот же день я решил, что влюблюсь безумно в свою прелестную соседку и воспользуюсь первой случайностью, чтобы дать понять об этом решении.

— Я вижу, зачем ты пришел,— сказал Амори, смеясь,— но я надеюсь, что ты забыл это маленькое приключение, когда я имел несчастье соперничать с тобой и опередить тебя на два или три дня.

— Наоборот, дорогой Амори, я все помню в деталях, и так как это детали, о которых ты не знаешь, будет хорошо, если я тебе о них сообщу, чтобы ты знал, как ты не прав относительно меня.

— А это! Но не дуэль же ты собираешься мне предложить?

— Нет, наоборот, я попрошу тебя об услуге, и я хочу тебе рассказать мою историю, чтобы, кроме чувства нерушимой дружбы, которая объединяет нас и предрасполагает тебя быть со мною приятелем, ты понял бы, как ты ошибаешься; чтобы ты мог искупить свою вину.

— Итак, вернемся к Флоранс.

— Ее звали Флоранс! — воскликнул Филипп.— Это прелестное имя, и ты думаешь, что я не узнал ее имени? Вернемся к Флоранс, как ты ее называешь. Я сразу принял два решения, назвав тебе время и место — а это уже слишком много, так как мне даже одно принять очень трудно. Решение принято, и никто не исполнит его более настойчиво, чем я. Слушай, я считаю, что я только что придумал оборот речи.

— Ты имеешь на это право,—ответил серьезно Амори.

— Первое решение было безумно влюбиться в свою соседку,— продолжал Филипп,— это казалось легче всего, и я исполнил это в тот же день. Вторым решением было объявить о своей любви, а это не совсем удобно осуществить. Сначала надо было найти возможность, наконец, надо было осмелиться ею воспользоваться. В течение трех дней я караулил ее. В первый день я следил за ней из-за моих занавесок, боясь ее испугать, показавшись ей внезапно. Во второй день я следил за ней из-за стекол, так как не осмеливался открывать окна. На третий день — из моего открытого окна. Я заметил с удовольствием, что моя смелость ее совсем не испугала. К концу

третьего дня я увидел, как она накинула шаль на плечи и застегнула свои деревянные башмаки. Было очевидно, что она готовилась выйти из дома. Я ждал этого момента и приготовился идти за ней.

Х

Филипп продолжал:

— Я составил план: я должен ее остановить, если осмелюсь, предложить свою руку, чтобы проводить ее туда, куда она шла, и, провожая ее, перечислить все разрушения, которые нанесли мне ее вздернутый носик и белоснежные зубки.

Я взял трость, шляпу, плащ и пролетел кубарем пять этажей. Но, несмотря на быстроту, с какой я действовал, она была уже в тридцати шагах от меня, когда я добрался до двери на улицу. Я тотчас же принялся ее преследовать. Но, ты понимаешь, соблюдая приличия, догонял ее постепенно, чтобы не испугать.

На углу улицы Сен-Жан я выигрывал уже восемнадцать шагов, на углу улицы Расина — двенадцать, наконец, на улице Вожирар я уже собирался подойти к ней, когда вдруг через ворота она вошла в какой-то двор, пересекла его и поднялась по лестнице, последние ступеньки которой можно было увидеть с улицы.

Мгновенно мне пришла в голову мысль: не упустить ее из виду и подождать в глубине двора, но там стоял швейцар, и это меня смутило. Он, конечно, спросил бы меня, куда я иду, и я не знал бы, что ответить, или поинтересовался бы, за кем я шел, а я даже не знал имени прелестной гризетки.

Я ограничился тем, что начал ее ждать и вести наблюдение, и это сразу же навсегда меня оттолкнуло от национальной гвардии. Час, два с половиной часа прошли, идол моего сердца не появлялся. Может быть, я испугал мою гризетку? Я ждал ее, наступила ночь, скрылось солнце, я не видел ее.

Вдруг в свете керосиновой лампы, осветившей лестницу, я увидел ситцевое платье моей беглянки и полы пальто молодого человека, и я слышал, как его трость с железным наконечником ударяла по ступенькам лестницы.

Был ли это ее возлюбленный или брат? Очевидно, или брат, или любовник.

Я вспомнил изречение мудреца: «В сомнении воздержись». Я воздержался.

Гризетка и ее кавалер прошли в четырех шагах, не заметив меня,— так было темно.

Это событие заставило меня изменить тактику — подобные обстоятельства могли представиться еще.

Впрочем, в глубине души я укорял себя за слабость, я говорил себе, что в момент, когда я ее догнал, эта смелость, такая великая вдали от нее, помогла бы мне, и, может быть, стоило бы ей написать.

Написать любовное письмо, письмо, от которого зависело, какое мнение составит обо мне соседка, и таким образом значительно сократить путь к ее сердцу.

Я тотчас же сел за стол, чтобы выполнить свое намерение.

Впрочем, я писал впервые.

Я провел часть ночи, сочиняя черновик, я прочитал его на следующее утро, и он показался мне отвратительным. Я сочинил второй, третий, и, наконец, остановился на этом.

Филипп достал черновик из портфеля и прочитал следующее:

«Мадемуазель! Видеть Вас — значит любить, я Вас увидел и полюбил. Каждое утро я вижу, как Вы кормите ваших птиц, которые счастливы, что им дает корм такая прелестная ручка; я вижу, как Вы поливаете розы, менее розовые, чем Ваши щечки, и Ваши левкои, менее сладостные, чем Ваше дыхание, и этих нескольких минут достаточно, чтобы заполнить мои дни мыслями и мои ночи мечтами о Вас.

Мадемуазель, Вы не знаете, кто я, я же совсем не знаю, кто Вы; но тот, кто Вас видел мгновение, может составить мнение, какая душа, нежная и пылкая, прячется за Вашей соблазнительной внешностью.

Ваш ум, конечно, так же поэтичен, как Ваша красота, а Ваши мечты так же прекрасны, как Ваши взгляды. Счастлив тот, кто сможет осуществить эти сладкие несбыточные мечты, и нет прощенья тому, что нарушит эти прелестные иллюзии!»

— Я достаточно хорошо подражаю литературному стилю нашего времени, не правда ли? — сказал Филипп, удовлетворенный собою.

— Это комплимент, который я хотел бы тебе сделать,—подхватил Амори,—если бы ты не просил не прерывать тебя.

Филипп продолжал:

«Видите, мадемуазель, я Вас знаю. И Ваш тайный инстинкт, разве он Вас не предупредил, что рядом с Вами, в доме напротив, немного в стороне от Ваших оконных рам, молодой человек, владелец кое-какого состояния, но одинокий и изолированный в этом мире, нуждается в сердце, которое его поймет и поможет ему? Что ангелу, который опустился с небес, чтобы заполнить его одинокое существование, он отдаст свою кровь, свою жизнь, свою душу, и его любовь будет не капризом, таким же легким, как и смешным, но обожанием каждый день, каждый час, каждую минуту.

Мадемуазель, если бы Вы меня не увидели, Вы бы не догадались?»

Филипп остановился во второй раз, глядя на Амори, как бы спрашивая вторично его мнение. Амори сделал одобрительный знак головой, и Филипп продолжал.

«Извините, что я сумел сопротивляться этому сильному желанию сказать Вам о глубоких и очень прочных чувствах, которые появляются при одном вашем виде. Извините меня, что я осмелился Вам рассказать об этой жалкой и пылкой любви, что составляет теперь мою жизнь.

Не обижайтесь на признание сердца, которое лишь испытывает к Вам уважение, и, если Вы только захотите поверить в искренность этого преданного сердца, позвольте мне прийти и объяснить с Вами наяву, а не в холодном письме, и показать, сколько я несу в своем сердце почтительности и нежности.

Мадемуазель, позвольте мне увидеть ближе своего кумира. Я не прошу Вашего ответа, о нет, я не так тщеславен; но одно Ваше слово, один жест, и я упаду к Вашим ногам и останусь там на всю жизнь.

Филипп Оврэ, улица Сен-Николя дю Шардонре, шестой этаж, одна из трех дверей, на которой висит заячья лапка».

— Ты понимаешь, Амори? Я не спрашивал ответа, ибо это было бы слишком смелым, но я сообщил свой адрес на тот случай, если моя прелестная соседка будет тронута моей запиской и удивит меня ответом на нее.

— Без сомнения,— ответил Амори,— и это замечательная предусмотрительность.

— Бесплезная предосторожность, мой друг, как ты увидишь. Это милое и пылкое послание закончено, и теперь нужно отослать его по адресу, но как, каким путем? Я не знал имени моего божества.

Передать его через швейцара, наградив его экую? Но я слышал, что швейцары неподкупны. Рассыльный? Это было бы прозаично и немного опасно, так как рассыльный мог бы появиться, когда там будет брат. Я решил, что этот молодой человек ее брат. Вдруг мне пришла в голову мысль довериться тебе, но так как я знал, что ты более проникателен в подобных делах, я боялся, что ты будешь насмеяться надо мной. В результате письмо было написано, запечатано, положено на стол, два дня я пребывал в растерянности.

Наконец к вечеру третьего дня я воспользовался моментом, когда моя красавица отсутствовала, сел к окну и устремил взор на ее окно, оставшееся широко открытым, я увидел, что листок оторвался от ее розового куста и, унесенный ветром, пролетел через улицу и прилетел на окно нижнего этажа. Желудь, упавший на нос Ньютона, открыл ему систему мира. Листок розового куста, летящий по воле ветра, предложил мне средство переписки, которое я искал.

Я привязал мое письмо к палочке сургуча для запечатывания писем и ловко бросил его через улицу из своей комнаты в комнату моей соседки. Затем, очень взволнованный этой чрезмерной смелостью, я быстро закрыл окно и стал ждать. Совершив такой смелый поступок, я испугался его последствий. Если моя соседка встретится с братом и если ее брат найдет мое письмо, то она будет ужасно скомпрометирована. Я ждал, спрятавшись за занавеской, с сердцем, полным тоски, боясь минуты, когда она вернется к себе, как вдруг я увидел, что она появилась.

К счастью, она была одна, и я облегченно вздохнул. Она сделала два или три круга по комнате, легко, словно танцуя, как обычно, не замечая моего письма. Но наконец ее нога коснулась письма, она наклонилась и подняла его. Мое сердце забилося, я задыхался, я сравнил себя с Лозюном, Ришелье и Ловеласом.

Наступила ночь, она подошла к окну, чтобы посмотреть, с какой части улицы могло прийти послание, которое она держала в руках, чтобы прочесть. Я решил, что наступил момент, когда можно показаться и своим присутствием доверить впечатление, какое произведет мое

письмо; я открыл окно. При шуме открываемого окна соседка повернулась в мою сторону, посмотрела на меня, потом на письмо. Выразительная пантомима показала ей, что я автор послания. Я скрестил руки, умоляя ее прочесть его. Она, казалось, была в затруднении, но, наконец, все-таки решилась.

— На что?

— Прочесть его, черт возьми! Я видел, как она развернула мое письмо кончиками пальцев, посмотрела на меня еще, улыбнулась, потом расхохоталась. Этот взрыв смеха немного сбил меня с толку. Но поскольку она прочла письмо с начала до конца, я уже обрел надежду, как вдруг я увидел, что она собирается разорвать мое письмо. Я чуть не закричал, но подумал, что она делает это, без сомнения, из-за страха; как бы ее брат не нашел это письмо. Я решил, что это правильно, и зааплодировал, но мне показалось, что она с ожесточением рвала мое письмо на кусочки: на четыре, восемь, еще на шестнадцать, тридцать два, на незаметные клочки. Это было ребячество, но казалось, она хотела превратить его в атомы, а это было уже жестокостью.

Вот что она сделала, и когда кусочки стали такими мелкими, что рвать их стало невозможно, она бросила на прохожих этот печальный снег, затем, смеясь мне в лицо, закрыла окно, в то время как дерзкий порыв ветра принес мне обрывок моей бумаги и моего красноречия. И какой? Мой дорогой, тот, где написано «смешным». Я был взбешен, но так как в конце концов она не виновата в этой последней насмешке, то я упрекнул в таком оскорблении один из четырех ветров, закрыл окно с достойным видом и стал думать, как победить это сопротивление, столь редкое в почтенном сословии гризеток.

XI

Первые планы, придуманные мною, были следствием состояния крайнего раздражения, в котором я находился. Это были самые жестокие комбинации и самые большие любовные катастрофы, какие потрясли мир, начиная с Отелло и кончая Антонием. Однако прежде чем остановиться на какой-нибудь из них, я решил, что проведу ночь в гневной согласии аксиоме: утро вечера мудренее.

Действительно, на следующий день я проснулся удивительно спокойным. Мои жестокие планы уступили ме-

сто решениям более копромиссным, как говорят сегодня, и я остановился на следующей комбинации, заключающейся в том, чтобы дождаться вечера, позвонить в ее дверь, закрыть на задвижку, броситься к ее ногам и сказать ей то, о чем я сообщил ей письменно. Если она меня оттолкнет, ну и что, будет время прибегнуть к крайним мерам.

План действительно смелый, но у автора этого плана не было достаточно смелости, чтобы его исполнить. Вечером я решительно дошел до конца лестницы моей инфанты, но там остановился. На следующий день я дошел до третьего этажа, но спустился, не рискуя подняться выше; на третий день я дошел до лестничной площадки, но тут моя смелость кончилась: я был как Керубино, я не осмелился отважиться.

Наконец, на четвертый вечер я поклялся покончить с этим и признать себя трусом и простофилей, если буду вести себя, как в предшествующие дни. Затем я вошел в кафе, выпил подряд шесть чашек черного кофе, и, возбужденный за три франка, я поднялся на три этажа и, не раздумывая, дернул за дверной колокольчик.

При дребезжании дверного колокольчика я готов был броситься вниз, но моя клятва меня удержала.

Шаги приближались...

«Мадемуазель!..»

«Мадемуазель!..»

Но едва я произнес это слово, как чьи-то мужские руки меня схватили и, затащив в комнату, привели к той, которую я искал, она при моем приближении грациозно встала, а мой друг Амори сказал ей:

«Милочка, я представляю тебе моего друга Филиппа Оврэ, хорошего и смелого парня, который живет в доме напротив и который давно желает с тобой познакомиться».

Ты знаешь остальное, мой дорогой Амори: я провел десять минут в вашей компании, в течение этих минут я ничего не видел и не слышал; в это время у меня звенело в ушах, в глазах у меня было темно; после чего я поднялся, прошептал несколько слов и удалился, сопровождаемый взрывом смеха мадемуазель Флоранс и приглашениями приходить.

— Ну, дорогой мой, зачем вспоминать об этом приключении? Ты на меня долго дулся, я знаю, но я думал, что ты меня уже простил.

— Итак! Я это и сделал, мой дорогой, но я признаюсь, нет ничего легче, чем твое предложение представить меня твоему опекуну, и обещание, кое ты торжественно мне дал: оказывать в будущем все услуги, какие будут в твоей власти, чтобы мое прощение было более искренним. Я хотел тебе напомнить о твоём преступлении, Амори, до того, как напомнить о твоём обещании.

— Мой дорогой Филипп,— сказал Амори, улыбаясь,— я помню о том и другом и жду дня, чтобы искупить свою вину.

— Ну, этот день наступил,— сказал торжественно Филипп.— Амори, я люблю!

— Ба! — воскликнул Амори.— Правда?

— Да,— продолжал Филипп тем же поучающим тоном,— но на этот раз это не любовь студента, о которой я говорю. Моя любовь — это серьезная любовь, глубокая и долгая, что умрет только вместе с моей жизнью.

Амори улыбнулся, он думал об Антуанетте.

— И ты меня попросишь,— сказал он,— служить поверенным твоей любви? Несносный, ты заставляешь меня трепетать! Неважно, начинай! Как эта любовь пришла, и кто предмет твоей любви?

— Кто она, Амори? Теперь это не гризетка, о которой шла речь, которую берут штурмом, а знатная девушка, и только светлые и нерасторжимые узы могут связать меня с ней. Я долго колебался, прежде чем объявить тебе об этом, моему лучшему другу. Я не знатен, но, в конце концов, я из доброй и уважаемой семьи.

Мой дорогой дядюшка оставил мне после смерти в прошлом году двадцать тысяч ренты и дом в Ангиене, я рискнул и пришел к тебе, Амори, мой друг, мой брат, ты сам мне признался в прошлых ошибках по отношению ко мне, в вине большей, чем я думал; я прошу тебя просить у твоего опекуна руки мадемуазель Мадлен.

— Мадлен! Великий Боже! Что ты говоришь, мой бедный Филипп! — воскликнул Амори.

— Я тебе говорю,— снова начал Филипп тем же торжественным тоном,— я говорю, что я прошу тебя, моего друга, моего брата, который признался, как он ошибался по отношению ко мне; я говорю тебе, что я прошу тебя просить руки...

— Мадлен? — повторил Амори.

— Без сомнения.

— Мадлен д'Авриньи?

— Да.

- Значит, ты влюблен не в Антуанетту?
- О ней я никогда не думал.
- Значит, ты любишь Мадлен?
- Это Мадлен! И я тебя прошу...
- Но несчастный! — воскликнул Амори. — Ты опять прибыл слишком поздно, я ее тоже люблю.
- Ты ее любишь?
- Да, и...
- И что?
- Я просил ее руки и вчера получил согласие на брак.
- С Мадлен?
- Да.
- Мадлен д'Авриньи?
- Конечно.

Филипп поднес обе руки ко лбу, как человек, пораженный апоплексическим ударом, потом, отупевший, ошеломленный, раненый, он поднялся, пошатываясь, взял машинально свою шляпу и вышел, не сказав ни слова.

Амори, сочувствуя, хотел броситься за ним.

Но в это время пробило десять часов, и он вспомнил, что Мадлен ждет его к одиннадцати.

XII

ДНЕВНИК ГОСПОДИНА Д'АВРИНЬИ

15 мая

«По крайней мере я не покину мою дочь, она останется со мной. Это решено, или скорее всего я останусь с ней. Куда они поедут, туда поеду я; там, где они будут жить, буду жить я.

Они хотят провести зиму в Италии, или скорее это я, предчувствуя разлуку, внушил им эту мысль, но я решил, что подам в отставку и последую за ними.

Мадлен достаточно богата, значит, и я достаточно богат...

Боже мой, что мне нужно? Если я еще сохранил что-то, то лишь для того, чтобы передать это ей...

Я знаю хорошо, что мой отъезд очень удивит людей. Меня захотят удержать во имя науки, будут ссылаться на больных, которых я покидаю. Но разве все это вечно?

Единственный человек, за которым я должен наблюдать, — это моя дочь. Она — не только мое счастье, но

и мой долг, я необходим двум моим детям, я буду управлять их делами, я хочу, чтобы моя Мадлен была самой прекрасной и роскошной, чтобы их состояние при этом не пострадало.

Мы займем дворец в Неаполе, на Вилль-Реаль в красивом южном местечке. Моя Мадлен расцветет, как редкий цветок, посаженный в родную почву.

Я буду организовывать их прогулки, я буду вести их дом, я буду, наконец, их интендантом; решено — я освобожу их от всех материальных забот.

Они будут только любить друг друга и будут счастливы: им будет достаточно заниматься только этим.

Это не все, я хочу еще, чтобы это путешествие, которое они рассматривают как приятное развлечение, послужило бы карьере Амори; не сказав ему об этом, вчера я попросил министра о секретном и очень важном поручении. Я добился этого поручения.

Ну, вот что значит тридцать лет посещать высший свет, наблюдать за физическим и моральным состоянием этого мира, вот что позволил мне мой опыт, и я этим воспользуюсь.

Я не только буду помогать ему в работе, как об этом просят, но я сам выполню эту работу. Я засею поле для него, а ему останется собрать урожай.

Короче, так как мое состояние, моя жизнь, мой ум принадлежат моей дочери, я ему отдам все это.

Все для них, только для них, я себе не оставляю ничего, кроме права иногда видеть, как Мадлен мне улыбается, слышать, как она разговаривает со мной, видеть ее веселой и красивой.

Я ее не покину, вот что я повторял все время, вот о чем я мечтаю так часто, что я забываю из-за этого мой институт, даже короля, который послал за мной сегодня, чтобы спросить, не болен ли я, так как я забываю обо всем, кроме моих больниц: остальные мои больные богаты и могут взять другого доктора, но мои бедняки, кто их будет лечить, если не я?

Однако и их я покину, когда уеду с дочерью.

Случаются моменты, когда я себя спрашиваю, имею ли я на это право? Но будет странно, если я буду заботиться о ком-то больше, чем о своей дочери.

Это немислимо, но это слабость духа, если человек подвергает сомнению самые простые истины.

Я попрошу Крювельера или Жовера временно исполнять мои обязанности, в этом случае я буду спокоен».

«Они действительно так радостны, что их радость отражается на мне, они на самом деле так счастливы, что я греюсь около их счастья, хотя и чувствую, что этот избыток любви, которую она несет ко мне,— это всего лишь часть любви к нему, что переполняет ее; бывают моменты, когда я, бедный и забытый, позволяю себе воспользоваться этой чужой любовью, словно комедиант, сочиняющий рассказ, который есть не что иное, как басня.

Сегодня он пришел с таким сияющим лицом, что, видя, как он проходит через двор, поскольку я сам послал его к моей дочери, я задержался, чтобы не заставлять его сдерживать свои чувства в моем присутствии. В жизни так мало подобных минут, что это грех, как говорят итальянцы,— считать их у тех, кто их имеет.

Спустя две минуты они прогуливались в саду, сад — это их рай. Там они спрятаны от всех, и, однако, они не одни: там гуща деревьев, где можно взяться за руки, а в аллеях подойти близко друг к другу.

Я наблюдал за ними, спрятавшись за занавеской моего окна, и сквозь куст сирени я видел, как их руки ищут друг друга, их взгляды погружаются во взгляды друг друга; кажется, что сами они рождаются и цветут, как все, что цветет вокруг них. О, весна, молодость года! О молодость, весна жизни!

И, однако, я думаю не без страха о волнениях, даже счастливых, которые ожидают мою бедную Мадлен; она так слаба, что любая радость может сломить ее, как ломает других несчастье.

Возлюбленный, будет ли он так же скуп в чувствах, как отец? Будет ли он, как я, измерять силу ветра, дующего на дорогую овечку без шерсти? Создаст ли он хрупкому и деликатному цветку теплую и благоуханную атмосферу без лишнего солнца и без лишних гроз?

Этот пылкий молодой человек, с его страстью и с частыми переменами этой страсти, может разрушить за месяц то, что я создавал терпеливым трудом девятнадцать лет.

Плыть, поскольку так надо, моя бедная хрупкая лодка, в эпицентр этой бури; к счастью, я буду лоцманом, к счастью, я тебя не покину.

О! Если я тебя покину, моя бедная Мадлен, что станет со мной? Хрупкая и деликатная, такой я тебя знаю, ты будешь всегда со мной, страдающая или готовая страдать.

Кто будет рядом с тобой, чтобы говорить тебе каждый час: «Мадлен, это полуденное солнце слишком жаркое», «Мадлен, этот вечерний бриз слишком холодный», «Мадлен, накинь вуаль на голову», «Мадлен, накинь шаль на плечи».

Нет, он будет любить тебя, он будет думать только о любви; я же буду думать о том, как поддерживать твою жизнь».

XIII

17 мая

«Увы! Вот и на сей раз мои мечты упорхнули. Вот еще один день, когда, проснувшись, я отметил его для радости, а Бог — для страдания.

Амори пришел сегодня утром веселый и счастливый, как обычно. Как всегда, я оставил их под присмотром миссис Браун и сделал свои обычные поручения.

Весь день я был убаюкан мыслью, что вечером объявлю Амори о поручении и планах, намеченных мной. Когда я вернулся, было пять часов, и все собрались садиться за стол.

Амори уже ушел, чтобы вернуться пораньше, без сомнения, и он отсутствовал недолго. Все счастье, почти видимое, расцвело на лице Мадлен.

Бедное мое дитя! Никогда она себя лучше не чувствовала, как она говорит. Может быть, я ошибался, и эта любовь, пугающая меня, поможет укрепить этому хрупкому организму, который, я боялся этого, может сломаться? Природа имеет свои кладези, куда даже самый пытливый взгляд не сможет проникнуть.

Я жил весь день с этой мыслью о счастье, что я им сохранял, я был как ребенок, который хочет сделать сюрприз кому-то, кого он любит, и у которого этот секрет постоянно на устах; чтобы ничего не говорить Мадлен, я оставил ее в гостиной и спустился в сад. Она села за пианино, и, прогуливаясь, я услышал, как зазвучала соната, которую она играла, и эта мелодия, исполняемая моей дочерью, взволновала мое сердце.

Это продолжалось около четверти часа.

Я развлекался тем, что удалялся и приближался к этому источнику гармонии, кружа по дорожкам сада. Из самого отдаленного уголка его я слышал только выскоки ноты, которые пересекали пространство и долета-

ли до меня, несмотря на расстояние; затем я приближался и сразу входил в этот гармоничный круг, от которого отделяли меня теперь лишь несколько шагов.

В это время наступила ночь, и все погрузилось в темноту.

Внезапно я перестал слышать музыку. Я улыбнулся: значит, пришел Амори.

Я возвращался в гостиную, но по другой аллее, шедшей вдоль стен. В этой аллее я встретил задумчивую Антуанетту; она была одна. В течение двух дней я хотел поговорить с ней и сейчас, подумав, что наступил благоприятный момент, остановился перед ней.

Бедная Антуанетта! Я сказал себе, что действительно она будет стеснять нашу дивную жизнь втроем, которую я себе обещал, что вся нежность таких близких сердечных отношений не нуждается в свидетеле, каков бы он ни был, и будет лучше, если Антуанетта не поедет с нами путешествовать.

Однако, бедное дитя, я не хотел бы оставить тебя здесь одну! Она останется только счастливой и окруженной любовью; и я, и Мадлен, и Амори обязаны ей счастьем. Я ее слишком люблю, и я слишком любил свою сестру, чтобы поступить иначе.

И так же, как я все приготовил для Амори и Мадлен, я приготовил все для нее.

Увидев меня, она подняла глаза, улыбнулась и протянула мне руку.

— «Ну, дядя,— сказала она,— я вам обещала, что вы будете счастливы их счастьем, не правда ли? Их счастье состоялось... разве вы не счастливы?»

— Да, дорогое дитя,— сказал я ей,— но это еще не все, счастливы они и я, остаешься еще ты, Антуанетта, и ты тоже должна быть счастливой.

— Но, дядя, я счастлива! Вы меня любите, как отец, Мадлен и Амори любят меня, как сестру; чего же мне еще не хватает?

— Кого-то, кто тебя полюбит, как супругу, дорогая племянница, и я его нашел.

— Дядя...— сказала Антуанетта тоном, который, казалось, молил меня не продолжать.

— Выслушай, Антуанетта,— возразил я,— и потом ты ответишь.

— Говорите, дядя.

— Ты знаешь господина Жюля Раймонда?

— Это тот молодой человек, кому вы поручаете вести ваши дела?

— Он... Как ты его находишь?

— Прелестный... для адвоката, мой дядя.

— Не шути, Антуанетта! У тебя отвращение к этому молодому человеку?

— Дядя, только те, кто любит, испытывают это чувство, противоположное страсти... Я не люблю никого, и все мужчины мне безразличны.

— Но, моя дорогая Антуанетта, Жюль Раймонд пришел ко мне вчера; и если ты не обратила на него внимание, то он тебя заметил...

— Господин Жюль Раймонд один из тех людей, кого будущее не обойдет стороной, так как они сами делают свое будущее.

— И он попросил, чтобы ты разделила это будущее с ним. Он знает, что у тебя двести тысяч франков приданого... Он...

— Дядя,— прервала Антуанетта,— все это так прекрасно и великодушно, что я не хочу, чтобы вы продолжали, прежде чем я вас поблагодарю. Жюль Раймонд составляет среди деловых людей редкое исключение, которое я ценю, но мне казалось, что я уже говорила вам о своем единственном решении — остаться с вами. Я не представляю другого счастья, чем это, хотя вы вынуждаете меня к другому».

Я хотел настаивать, я хотел ей показать выгоды, которые она могла бы извлечь из этого союза. Человек, мною предложенный, был молод, богат, уважаем, а я не буду жить вечно: что будет делать она одна, без привязанностей, без опоры? Антуанетта меня выслушала со спокойной решимостью и, когда я закончил, сказала:

— «Дядя, я должна вам повиноваться, как я повиновалась одновременно моему отцу и моей матери, потому что, умирая, они передали вам свою власть надо мной. Прикажете, и я послушаюсь, но не старайтесь меня убедить, так как в том расположении сердца и разума, в котором я нахожусь, и в своем выборе я откажусь от любого, кто пожелает быть моим мужем, будь этот претендент миллионером или принцем...»

В ее голосе, в ее словах, в ее движениях было столько твердости, что я понял: настаивать, как она сама говорила, значило принуждать ее. Я успокоил ее полностью.

После того как я ей сказал, что она будет вольна распоряжаться своей рукой и сердцем, я отвлек ее планами,

которые я рассчитывал предложить моим детям. Я ей объявил, что она будет нас сопровождать в путешествии, и вместо того, чтобы быть втроем, мы будем счастливы вчетвером, вот и все.

Но она покачала головой и ответила, что благодарит меня от всего сердца, но не поедет в это путешествие с нами. Тогда я выразил изумление.

— «Послушайте, дядя,— сказала она.— Бог, наверное, управляет судьбами; одним приносит счастье, другим печаль. Для меня, бедной девушки, моя судьба — одиночество. До того, как я достигла двадцатилетия, я потеряла отца и мать. Шум, движение в длительном путешествии, смена народов и городов мне не подходит. Я останусь одна с миссис Браун. Я буду ждать вашего возвращения в Париж, я покину мою комнату только для того, чтобы войти в церковь или вечером погулять в саду, и, возвратившись, вы найдете меня на том же месте, где вы меня покинули, с тем же спокойным сердцем, с той же улыбкой на губах — все это я потеряю, дядюшка, если вы захотите сделать мою жизнь иной, чем она должна быть».

Я больше не настаивал, но я спрашивал себя, почему Антуанетта стала такой, она, верящая в людей; что превратило в келью — комнату девятнадцатилетней девушки, красивой и остроумной, часто смеющейся, имеющей двести тысяч франков приданого?

Боже, что со мной стало и почему я терял время, чтобы гадать о необъяснимых фантазиях девушки? Почему я терял время, успокаивая, жалея, приводя в чувство Антуанетту, вместо того, чтобы сразу идти в гостиную? И Бог знает, сколько времени я был бы еще там, наедине с этой второй дочерью, если бы не озадаченная моим взглядом, обеспокоенная моими вопросами, она сама не попросила разрешения удалиться в свою комнату.

«Нет, дитя,— сказал я,— оставайся здесь, а я уйду. Ты, моя дорогая Антуанетта, можешь, не боясь, находиться на свежем ночном воздухе. Я хотел бы, чтобы Мадлен была такой же, как ты».

— «О, дядя! — воскликнула Антуанетта, вставая.— Я клянусь вам звездами, которые смотрят на меня, и этой луной, которая так нежно светит, я вам клянусь, если бы я смогла отдать свое здоровье Мадлен, я его отдала бы немедленно; разве было бы не лучше, чтобы я, бедная сирота, подвергалась той опасности, которой под-

вергается она, такая богатая, и особенно — опасности любви!»

Я поцеловал Антуанетту, поскольку она произнесла эти слова так искренно, что в них нельзя было сомневаться; после этого она присела на скамью, а я направился к крыльцу.

XIV

В тот момент, когда я взшел на первую ступеньку крыльца, раздался милый голос Мадлен, и, подобно голосу ангела, запел в моей душе, прогоняя печаль. Я остановился, чтобы послушать; не то, что этот голос произносил, а сам голос. Несколько слов, однако, дошли до моего слуха и до разума, и я не ограничился тем, что услышал, а начал прислушиваться...

Окно, выходящее в сад, было открыто, но чтобы не пропустить прохладный вечерний воздух, портьеры опустили: за ними я видел знакомые тени — это мои дети склонили друг к другу головы.

Они тихо беседовали. Я слушал. Я слушал, онемевший, неподвижный, подавленный, сдерживая дыхание, и каждое их слово, как капля ледяной воды, падало мне на сердце.

— «Мадлен, — говорил Амори, — как я буду счастлив видеть тебя каждый день, постоянно, и видеть вокруг твоей прелестной головы нимб, который идет ей больше всего, — небо Неаполя или Сорренто.

— О, дорогой Амори, — отвечала Мадлен. — О, я скажу тебе, как Миньона: «Прекрасна страна, где зреют апельсины... Но твоя любовь, где отражается рай, прекраснее».

— О, Боже мой! — сказал Амори со вздохом, в котором был легкий налет нетерпения.

— Что? — спросила Мадлен. — Что ты хочешь сказать?

— Я хочу сказать, что Италия будет нам Эльдorado, я хочу сказать, как Миньона: «Да, там нужно любить, да, там чувствуешь, что живешь». Без всего, что омрачит нашу жизнь и опечалит нашу любовь?

— Без чего?

— Я не осмелюсь тебе сказать, Мадлен.

— Прошу, говори.

— Ну, мне кажется, чтобы быть полностью счастливыми, нужно, чтобы мы были абсолютно одни, мне ка-

жется, что любовь — это деликатная и святая вещь, что присутствие третьего, кем бы он ни был, своим или чужим, мешает, и, чтобы быть поглощенными друг другом, чтобы быть единым целым, нельзя быть троим.

— Что ты хочешь сказать, Амори?

— О, ты хорошо знаешь.

— Это потому, что мой отец будет с нами? Ты поэтому так говоришь?.. Но подумай, это будет неблагоприятно — дать ему почувствовать, ему, который сделал наше счастье, что его присутствие — преграда нашему счастью; мой отец не посторонний, это не третье лицо, это третий из нас двоих. Так как он нас любит обоих, Амори, и мы должны его любить.

— В добрый час,— подхватил Амори с легкой холодностью.— Ты не чувствуешь то же, что и я, по отношению к отцу... Не будем говорить об этом.

— Мой друг,— живо возразила Мадлен,— я тебя обидела?.. В таком случае, извини меня, но знаешь ли ты, мой ревнивец, что не одной любовью любят отца и возлюбленного?

— О, Боже, да! — сказал Амори.— Я знаю это хорошо, но любовь отца — не такая ревнивая и не единственная, как наша; ты привыкла к нему, вот и все. Для меня же видеть тебя — это не привычка, это необходимость».

Ах, Боже! Библия, этот великий голос человечества, говорила об этом две тысячи пятьсот лет тому назад: «Ты покинешь отца своего и мать свою, чтобы идти за супругом своим». Я хотел бы их прервать, я хотел бы им крикнуть: «Библия так говорит о Рахели. Она не хотела иметь утешение, так как ее дети были не с ней».

Я был прикован к своему месту, я был неподвижен; я испытывал мучительное удовлетворение, слыша, как моя дочь меня защищает, но мне казалось, что этого недостаточно; мне казалось, что она должна объявить своему возлюбленному, что она нуждается во мне, как и я в ней; я надеялся, что она сделает это. Она сказала:

— «Да, Амори, может быть, ты прав, но присутствия моего отца нельзя избежать, не причинив ему ужасной боли; кроме того, если в какие-то моменты его присутствие и стеснит наши чувства, то в другие — оно обогатит наши впечатления.

— Нет, Мадлен, нет,— сказал Амори,— ты ошибаешься, смогу ли я в присутствии твоего отца, как сейчас, говорить, что люблю тебя? Когда под темными апельсиновыми деревьями, о которых мы только что говорили,

или на берегу прозрачного и сверкающего, как зеркало, моря мы будем прогуливаться не вдвоем, а втроем, смогу ли я, если он пойдет за нами, обнять тебя за талию или попросить у твоих губ поцелуя, в котором они еще отказывают мне? А его серьезность не испугает ли нашу радость? Разве он одного с нами возраста, чтобы понять наши безумства? Ты увидишь, ты увидишь, Мадлен, какую тень бросит на нашу радость его строгое лицо. Если же, наоборот, мы будем одни в нашей почтовой карете — как мы будем часто болтать, как будем молчать иногда! С твоим отцом мы никогда не будем свободными: нам нужно будет молчать, когда мы захотим говорить, и нужно будет говорить, когда у нас будет желание молчать. С ним всегда нужно будет беседовать одним и тем же тоном, с ним не будет ни приключений, ни смелых экскурсий, ни пикантных инкогнито, а лишь большая дорога, правила, соблюдение приличий. И, Боже, понимаешь ли ты меня достаточно хорошо, Мадлен, я испытываю по отношению к твоему отцу глубокую признательность, уважение и даже любовь; но разве почтение нам должен внушать наш компаньон по путешествию? Скажи мне, разве чье-то постоянное внимание не будет нас слишком стеснять в дороге? Ты, моя дорогая Мадлен, со своей дочерней любовью, с чистотой девственности, разве и ты не думала обо всем этом; и я вижу по твоему задумчивому лицу, что ты об этом думаешь и теперь. И чем больше ты размышляешь, тем больше убеждаешься, что я не ошибаюсь и что, путешествуя втроем, двое по крайней мере скучают».

Я с тоской ожидал ответа Мадлен. Этот ответ раздался. После нескольких секунд молчания она сказала:

— «Но, Амори, предположим, что я согласна с тобой, что делать, скажи мне? Это путешествие намечено, мой отец примет все меры, чтобы оно было именно таким. Даже если ты прав, теперь слишком поздно. Впрочем, разве кто-нибудь осмелится дать понять бедному отцу, что он нас стесняет? Ты, Амори? Во всяком случае, не я.

— Боже мой, я знаю это,— сказал Амори,— и это меня приводит в отчаяние. Господин д'Авриньи, такой умный, такой тонкий и понимающий нас в моральном и материальном отношении, должен быть рассудителен и мудр и не впадать в эту жестокую манию стариков, постоянно навязывающихся молодым людям. Я не хочу тебя обидеть, обвиняя его, но в самом деле, это очень неприятное ослепление — ослепление отцов, которые не

умеют понять своих детей, и вместо того, чтобы подчиняться возрасту, хотят подчинить их желаниям своего возраста. Вот и путешествие, которое могло быть дивным для нас, может быть испорчено этой фатальной...

— Тише! — прервала Мадлен, положив палец на губы Амори. — Тихо, не говори больше так. Послушай, мой Амори, я не могу от тебя требовать доказательства твоей любви, но...

— Мои слова тебе кажутся безумными, не правда ли? — сказал Амори с чувством скрытого недовольствия.

— Нет, — ответила Мадлен, — нет, злой. Но будем говорить тише, я боюсь сама себя услышать, так как то, о чем я собираюсь сказать тебе, мне кажется безбожным.

И, действительно, Мадлен понизила голос.

— Нет, твои требования не только не кажутся мне безумными, Амори, — я их разделяю; вот то, в чем я хотела тебе признаться, хотя в этом я не хотела бы признаться даже себе самой. Но, дорогой Амори, я тебя буду просить, я тебе скажу, что я тебя люблю, и необходимо, чтобы ты, в свою очередь, сделал кое-что для меня и чтобы ты покорился».

Услышав это последнее слово, я не захотел больше слушать. Это последнее слово, острое и холодное, как кончик шпаги, вошло в мое сердце.

Слепой, эгоист, я знал только, что Антуанетта беспокоит меня — меня! Но я не видел, что я стесняю их. Открыв для себя эту горькую истину, я уже действовал решительно и быстро.

Печальный, но спокойный и покорный судьбе, я поднялся на крыльцо и вошел в гостиную, объявляя о себе стуком своих сапог по ступенькам. Мадлен и Амори встали при моем приближении; я поцеловал Мадлен в лоб и протянул руку Амори...

— Знаете ли вы, мои дорогие дети, серьезную новость? — сказал я им. И хотя мой голос должен был дать им понять, что несчастье не было особенно велико для них, они вздрогнули одновременно. — Это то, что мне необходимо отказаться от моей прекрасной мечты о путешествии. Вы уедете без меня, король не хочет дать мне отставку, о которой я его сегодня просил: его величество имел доброту сказать мне, что я ему нужен, даже необходим, и попросил меня остаться. Что отвечать на это? Просьба короля — приказ.

— «О, отец, как это плохо,— сказала Мадлен.— Ты предпочитаешь короля дочери!..

— Ну что вы, дорогой опекун,— сказал, в свою очередь, Амори, не умея скрыть под видимым огорчением свою радость,— отсутствуя, вы тем не менее всегда будете с нами».

Они хотели продолжить, но я сразу же сменил тему разговора или скорее всего я повел его в другом направлении; их невинная ложь причиняла мне ужасную боль.

Я объявил Амори, что хотел ему сообщить о миссии, полученной для него, и о том, что хотел сделать это приятное путешествие полезным для его дипломатической карьеры.

Он казался мне очень признательным за то, что я сделал для него, но в это время дорогой ребенок был поглощен единственной мыслью, мыслью о своей любви. Когда он удалился, Мадлен проводила его из гостиной. Случай сделал так, что я в это время очутился за дверью; я подошел к столику, чтобы взять книгу. Мадлен меня не видела.

— «Ну, Амори,— сказала она,— веришь ли ты, что события нас опережают и подчиняются нам?.. Что ты скажешь об этом?»

— Я скажу,— ответил Амори,— что мы не рассчитывали на честолюбие, а это так называемое честолюбие — удивительное чувство. Бывают недостатки, которые приносят больше благ, чем добродетели».

Итак, моя дочь поверит, что я остаюсь из-за тщеславия. Пусть будет так; возможно, так будет лучше.

XV

С этого момента ничего не могло омрачить радость обоих молодых людей, и два или три дня прошли, освещенные улыбками на всех лицах, хотя два сердца из четырех были заняты единственной мыслью, которая, как только они оставались наедине, придавала их лицам истинное выражение.

Улыбающийся господин д'Авриньи, сохраняющий тем не менее опасение относительно здоровья Мадлен, не терял ее из виду ни на миг в то короткое время, что он проводил около нее.

С тех пор, как была назначена свадьба, по мнению всех, Мадлен чувствовала себя лучше и была грациознее, чем когда-либо; но отец и врач... он-то видел симптомы

физической и душевной болезни, которые проявлялись в любое время.

Краски жизни вернулись на обычно бледные щеки Мадлен, но эти живые краски, как краски самого цветущего здоровья, выделялись на скулах немного больше, чем нужно, в то время как овал лица оставался очень бледным, сеть голубых вен, едва видимых у других, делала кожу девушки тонкой и прозрачной. Огонь, блестящий в глазах девушки, был для всех огнем молодости и любви; но среди этих искр, которые они весело бросали господину д'Авриньи, он узнавал время от времени темные вспышки лихорадки.

Весь день Мадлен, сильная и живая, весело прыгала в гостиной или бегала как сумасшедшая в саду. По утрам же, до прихода Амори, и вечером, после его ухода, вся эта девичья резвость, которая охватывала ее в присутствии возлюбленного, угасала, и тело девушки, такое слабое, гнулось, как тростник прогибается под своей тяжестью, и искало точку опоры не только для ходьбы, но и для отдыха.

Кроме всего этого, Мадлен — всегда такая мягкая, полная доброжелательности — почему-то по отношению к одному человеку из всех, кто ее окружал, за эти семь или восемь дней очень странно изменилась; хотя Антуанетта, которую Мадлен приняла, как сестру, когда два года тому назад отец сделал ее компаньонкой, — оставалась той же для Мадлен, однако такой глубокий наблюдатель, как господин д'Авриньи, заметил, что Мадлен очень переменялась к Антуанетте.

Когда смуглая девушка с волосами, черными как вороново крыло, со своими полными жизни глазами, с алыми губами, — входила в гостиную, то эта сила молодости и здоровья, бьющая в ней, вызывала чувство инстинктивного страдания, похожего на зависть, в ангельском сердце Мадлен, и хотя она сама этого не осознавала, это чувство овладевало ею без ее ведома, и она ложно истолковывала все действия своей подруги.

Если Антуанетта оставалась в своей комнате, а Амори спрашивал об Антуанетте, в ответ на это простое свидетельство дружеского интереса он слышал несколько грубых слов. Если Антуанетта была рядом и Амори взглядом останавливался на мгновение на ней, недовольная Мадлен уводила своего возлюбленного в сад. Если Антуанетта гуляла в саду, и Амори, не зная, что она там, предлагал Мадлен выйти в сад, Мадлен находила пред-

лог, чтобы остаться в гостиной, ссылаясь то на жару, то на прохладу.

Мадлен, такая прелестная и любезная со всеми, была несправедлива по отношению к своей подруге, несправедлива, как избалованное дитя, не желающее иметь дело с другим ребенком, который ее стесняет или не нравится ей.

Но Антуанетта интуитивно, словно она находила поведение Мадлен естественным, делала вид, что не обращает внимания на те мелочи, какие в другое время ранили бы ее сердце и ее гордость; но, далекая от этого, она, казалось, жалеет Мадлен, прощая ее несправедливость. Антуанетта, которая должна была прощать, казалось, вымаливала прощение: это Антуанетта, когда Амори еще не было или как только он уходил, подходила к Мадлен, и та только тогда вдруг понимала, насколько она несправедлива, и протягивала ей руку и даже иногда обнимала ее, готовая заплакать.

Звучал ли, однако, в глубине души обеих девушек голос, неслышный для всех, который говорил только с ними?

Часто господин д'Авриньи хотел просить прощения у второй дочери за несправедливость Мадлен, но как только он произносил первые слова, Антуанетта клала палец на его губы, и, смеясь, заставляла молчать.

Приближался день бала. Накануне обе девушки долго обсуждали свои туалеты, и, к большому удивлению Амори, Мадлен меньше занималась своим нарядом, чем нарядом своей кузины. Сначала, следуя своей привычке, Антуанетта предложила Мадлен одеться, как она, то есть в платье из белого тюля на сатиновом подкладе, но Мадлен считала, что розовый цвет больше идет Антуанетте, и почти сразу же девушка согласилась с мнением Мадлен, сказав, что она оденется в розовое. Больше об этом не говорили, казалось, все решено.

На следующий после этого решения день, то есть в тот день, когда господин д'Авриньи должен был всем объявить о счастье своих детей, Амори был все время с Мадлен. Но как и во все, девушка вложила в приготвление своего туалета страстное волнение, что особенно удивило Амори, который знал естественную скромность своей невесты. Что заставляло ее мучиться? Разве не знала она, что в его глазах она всегда будет самой красивой?

Амори, покинувший Мадлен около пяти часов, вернулся в семь. Он хотел до того, как придут гости, до того, как Мадлен будет принадлежать всем, быть с ней по крайней мере час, смотреть на нее в свое удовольствие, говорить с нею очень тихо, не беспокоя других.

Когда Амори вошел в комнату Мадлен, она была причесана и скромно одета. Изящная корона из белых камней лежала на столике. Амори поразился ее бледности; весь день прошел в приступах слабости, которые утомили и ослабили ее, и она держалась только благодаря своей воле и сильному нервному возбуждению.

Вместо того, чтобы встретить Амори своей обычной улыбкой, она сделала нетерпеливое движение, увидев его, и так как он был поражен ее бледностью (что она тоже заметила), произнесла с гордой улыбкой:

— Вы находите меня очень некрасивой сегодня, не правда ли, Амори? Но бывают дни, когда мне ничего не удается, и сегодня один из таких дней. Я плохо причесана, у меня нет платья, я ужасна.

Бедная портниха была там. Она смутилась, протестуя.

— Вы ужасны? — сказал Амори. — Мадлен, напротив, ваша прическа чудесна и очень идет вам! Ваше платье очаровательно, вы прекрасны и милы, как ангел.

— Тогда, — сказала Мадлен, — это не вина портнихи или парикмахера, — это моя вина; я не подхожу ни к прическе, ни к платью. Ах, Боже, Амори, какой у вас плохой вкус, если вы меня любите.

Амори подошел, чтобы поцеловать ей руку, но Мадлен, казалось, не видела его, хотя она была перед зеркалом, и, показывая почти неприметную складку на своем корсаже, сказала:

— Видите, мадемуазель, эту складку нужно убрать, я вас предупреждаю, иначе я брошу это платье и надену первое попавшееся мне под руку.

— О, Боже мой, мадемуазель, — сказала портниха, — это пустяк, и через мгновение, если вы хотите, ее не будет, но нужно будет переделать корсаж.

— Вы слышите, Амори, вам нужно нас покинуть, я не хочу, чтобы осталась эта складка, делающая меня ужасной.

— И вы предпочитаете, чтобы я вас покинул, Мадлен? Я подчиняюсь, я не хочу быть виновным в преступлении против красоты.

И Амори удалился в соседнюю комнату, а Мадлен, занятая или казавшаяся занятой своим платьем, не сделала ни малейшего движения, чтобы его удержать. Так как необходимая переделка не должна была занять много времени, Амори остался в комнате, соседней с будуаром, где одевалась Мадлен; он взял журнал, лежащий на столе, чтобы занять время. Но, читая, Амори невольно прислушивался к гому, что происходило рядом, и хотя он следил глазами за строчками, эти строчки ни о чем ему не говорили, так как разумом он был в соседней комнате, от которой его отделяла тонкая дверь, таким образом, он слышал все упреки, какими Мадлен осыпала парикмахера и портниху, он слышал все, даже то, как она нетерпеливо стучала ножкой по паркету.

В это время дверь напротив будуара открылась, и появилась Антуанетта. По совету Мадлен, она надела простое платье из розового крепа, без всякого украшения, без цветка, без драгоценностей: невозможно было одеться более скромно, чем она, и, однако, она была прелестна.

— Боже мой,— сказала она Амори,— вы здесь, я не знала.— И она хотела уйти.

— Почему вы уходите? Подождите хотя бы, чтобы я сделал вам комплимент! На самом деле, Антуанетта, вы красавица сегодня!

— Тихо, Амори,— сказала девушка шепотом, положив палец ему на губы,— не говорите об этом.

— С кем вы, Амори? — спросила Мадлен, открывая дверь, завернувшись в большую кашемировую шаль, и смерила быстрым взглядом бедную Антуанетту, сделавшую шаг, чтобы удалиться.

— Но вы сами видите, дорогая Мадлен,— ответил молодой человек,— я говорю с Антуанеттой и делаю комплимент по поводу ее туалета.

— Без сомнения, такой же искренний, как те, который вы только что сделали мне,— сказала девушка.— Вы бы сделали лучше, если бы помогли мне, Антуанетта, чем выслушивать все, что вам говорит этот скверный льстец.

— Я только что вошла, Мадлен,— сказала девушка,— и если бы я знала, что нужна тебе, я пришла бы пораньше.

— Кто тебе шил это платье? — спросила Мадлен.

— Ты же знаешь, что я привыкла сама, и мне не нужна ничья помощь для этого.

— Ты права, так как ни одна портниха не сошьет такое платье.

— Я тебе предлагала сшить платье. Но ты отказалась.

— А кто тебя одел?

— Сама.

— А кто причесал?

— Сама. Это моя повседневная прическа, как ты видишь, я ничего не добавила.

— Ты права,— сказала Мадлен с горькой улыбкой,— тебе никто не нужен, чтобы быть красивой.

— Мадлен,— сказала Антуанетта, подойдя к кухне и говоря так тихо, чтобы Амори не мог услышать, что она говорила,— если почему-то ты не хочешь, чтобы я появлялась на балу, скажи только слово, и я останусь у себя.

— Но почему я должна лишать тебя этого удовольствия? — сказала очень громко Мадлен.

— О, клянусь тебе, дорогая кузина, этот бал совсем не доставляет мне удовольствия.

— Я думала,— сказала Мадлен со скрытой горечью,— что все, что составляет мое счастье, доставляет удовольствие для моей хорошей подруги Антуанетты.

— Разве нужны мне звуки музыки, ослепительный блеск и шум бала, чтобы разделить твоё счастье, Мадлен? Нет, клянусь тебе, что в своей одинокой комнате я буду горячо желать тебе счастья, как и на самом оживленном празднике, но сегодня я нездорова.

— Ты, нездорова! — вскрикнула Мадлен.— С такими блестящими глазами и с таким свежим цветом лица? Тогда что я могу сказать о себе, с моим бледным лицом и с моими удрученными глазами? Ты нездорова?

— Мадемуазель,— сказала портниха,— не можете ли вы пройти, платье готово.

— Ты сказала, что я смогу тебе помочь? — робко спросила Антуанетта.— Что ты хочешь, чтобы я сделала?

— Делай, что хочешь,— подхватила Мадлен,— я не могу тебе приказывать; хочешь — пойдем со мной, хочешь — оставайся с Амори.

И она вошла в будуар, но по ее движению было видно, что у нее плохое настроение, и это не ускользнуло от Амори.

— Вот и я,— сказала Антуанетта, закрывая за собой дверь; она последовала за кузиной в ее будуар.

— Но что с ней сегодня? — прошептал Амори, устремив глаза на дверь.

— Она страдает,— раздался голос позади молодого человека,— у нее волнение из-за лихорадки, и эта лихорадка ее убивает.

— А, это вы, отец,— сказал Амори, узнав господина д'Авриньи, наблюдавшего за этой сценой из-за портьеры.

— О, верьте, что это не упрек Мадлен, а вопрос, который я задаю самому себе, я боялся, что сделал что-нибудь такое, что могло расстроить вашу дочь.

— Нет, успокойся, Амори, это не из-за тебя и не из-за Антуанетты, и ты не виноват в том, что слишком сильно любишь.

— О, отец, как вы добры, успокоив меня таким образом,— сказал Амори.

— Теперь,— продолжал господин д'Авриньи,— обещаю тебе, что ты не будешь ее подстрекать ни к танцам, ни к вальсам, ни к контрдансам, оставайся рядом с ней и говори о будущем.

— О да, будьте спокойны.

В этот момент они услышали голос Мадлен, который становился все громче.

— О, Боже, моя дорогая мадам Леру,— сказала она,— как вы сегодня неловки, пусть это сделает Антуанетта, посмотрим и покончим с этим.

Наступило молчание, потом вдруг она закричала:

— Что ты делаешь, Антуанетта?

И это восклицание сопровождалось шумом, похожим на шум рвущейся материи.

— Ничего,— сказала Антуанетта, смеясь,— это булавка скользнула по сатину, вот и все. Успокойся, ты будешь королевой бала.

— Королевой бала! О, ты шутишь, Антуанетта, как это благородно с твоей стороны. Это ты, которая все украшает, будешь королевой бала, а я, я... кого трудно украсить и сделать красивой...

— Мадлен, моя сестра, что ты говоришь? — возразила Антуанетта с легким упреком.

— Я говорю, что будет время в гостиной, чтобы сделать из меня предмет насмешек и сломить меня, и не

слишком благородно преследовать меня до моей комнаты вашей победой.

— Вы меня прогоняете, Мадлен? — спросила Антуанетта со слезами в голосе.

Мадлен не ответила. Ответить было бы слишком большой жестокостью, и Антуанетта вышла, рыдая.

Господин д'Авриньи обнял ее, в то время как Амори, пораженный этой сценой, продолжал неподвижно сидеть в своем кресле.

— Иди, дитя, иди, дочь моя, бедная Антуанетта! — сказал он ей вполголоса.

— О, отец, отец! — шептала она. — Я очень несчастна.

— Ты не это хотела сказать, и не это ты должна сказать, — возразил господин д'Авриньи. — Ты должна была сказать, что Мадлен несправедлива, но это говорит не Мадлен, а лихорадка. Не надо ее обвинять, ее нужно жалеть. Выздоровев, она образумится; тогда она будет раскаиваться в своем гневе и попросит прощения за то, что была несправедлива.

Мадлен услышала шепот двоих, она подумала, что это Антуанетта и Амори. Тогда она резко толкнула дверь, которую Антуанетта не успела закрыть.

— Амори! — сказала она коротко и повелительно, не глядя в комнату.

Когда Амори встал, она увидела, что он был один, в то время как в глубине комнаты были Антуанетта и ее отец. Эти голоса, которые она услышала, принадлежали господину д'Авриньи и его племяннице.

Мадлен покраснела, в то время как Амори, взяв ее за руку, вернулся с ней в будуар.

— Дорогая Мадлен, — произнес Амори голосом, в котором невозможно было не услышать самую глубокую тревогу, — во имя Бога, что с вами? Я вас не узнаю.

Весь ее гнев прошел, она упала в кресло и заплакала.

— О, о, — сказала она, — я очень злая, не правда ли, Амори? Вот о чем вы думаете... вот о чем вы не осмеливаетесь мне сказать!.. Да, я ранила в сердце мою бедную Антуанетту, и я заставляю страдать всех, кто меня любит! Да, все мне причиняет боль, Амори, даже неодушевленные предметы; то, что меня ранит, заставляет меня страдать: мебель, о которую я ударяюсь; воздух, которым я дышу; слова, с которыми ко мне обращаются; вещи, самые безразличные и самые лучшие.

Когда все мне улыбаются, когда я обрела свое счастье... откуда эта горечь, что идет от меня ко всему, к че-

му я прикасаюсь? Почему мои раздраженные нервы обижаются на все: на день, на ночь, на молчание, на шум? То я впадаю в черную меланхолию, то я впадаю в гнев без причины и без цели.

Если бы я была больной или несчастной, я не удивилась бы, но ведь мы счастливы, не правда ли, Амори? Ах, скажите мне, что мы счастливы... Я люблю тебя, ты любишь меня, через месяц мы соединимся навсегда!

— О чем просить двум избранникам Бога, который дал им возможность устроить свою жизнь по своему желанию?

— О,— молвила она,— я хорошо знаю, что ты мне все прощаешь, но Антуанетта, моя бедная Антуанетта, с которой я обращаюсь так жестоко...

— Она не сердится на тебя, как и я, моя бедная Мадлен, и я тебе отвечаю за нее... Боже! Разве у нас всех не бывают моменты скуки и печали? Не мучайся из-за этого, заклинаю тебя. Дождь, гроза, облако на небе вызывают недомогание, какое мы не можем объяснить, и могу ли я объяснить причину изменения нашего морального климата?

— Входите, мой дорогой опекун, входите,— продолжал Амори, заметив отца Мадлен,— скажите ей, что мы знаем слишком хорошо, что она добра по характеру, поэтому ее капризы нас не ранят, а плохое настроение нас не беспокоит.

Но господин д'Авриньи, не отвечая, подошел к Мадлен, посмотрел на нее внимательно и нащупал пульс.

— Дорогое дитя! — сказал он после минутного молчания, и легко было понять, что все его способности сосредоточились на исследовании, которым он занимался.— Дорогое дитя! Я прошу тебя о жертве! Послушай, Мадлен,— продолжал он, прижав ее к сердцу,— нужно, чтобы ты обещала твоему старому отцу не отказывать ему в том, о чем он тебя попросит.

— Ах, Боже, отец! — вскрикнула Мадлен.— Ты меня пугаешь.

Амори побледнел, так как в умоляющем тоне господина д'Авриньи заключался страх.

Последовало молчание, и это время, несмотря на усилия, которые доктор делал, чтобы никто не понял его ощущений, лицо господина д'Авриньи все-таки мрачнело.

— Прощу тебя, отец, говори,— произнесла дрожащая Мадлен,— скажи, что нужно, чтобы я сделала? Я больна серьезнее, чем я думала?

— Моя любимая дочь! — возразил господин д'Авриньи, не отвечая на вопрос Мадлен. — Я не осмелюсь тебя просить совсем не появляться на этом балу, что было бы более благоразумным, но если я попрошу об этом, ты скажешь, что я требую слишком многого. Я умоляю тебя, Мадлен, обещать мне совсем не танцевать... особенно вальс... Ты не больна, но ты слишком нервная и слишком беспокойная, чтобы я мог позволить тебе развлечения, которые возбуждают тебя еще больше.

— О, папа, но как ужасно то, о чем ты меня просишь! — воскликнула Мадлен недовольно.

— Я не буду ни танцевать, ни вальсировать, — сказал ей совсем тихо и живо Амори.

Как и говорил Амори, Мадлен, которую иногда лихорадка выводила из себя, была сама доброта. Эта самоотверженность всех, кто ее окружал, глубоко ее тронула.

— Ну ладно, посмотрим, — сказала она с глазами полными слез от умиления и сожаления, в то время как нежная улыбка появилась и почти тотчас исчезла с ее губ, — посмотрим, я жертвую собой: разве мне не нужно искупить свою злость немедленно и доказать вам, что я не всегда капризна и эгоистична. Отец, я не буду ни танцевать, ни вальсировать.

Господин д'Авриньи вскрикнул от радости.

— Мой дорогой Амори, — продолжала Мадлен, — так как надо прежде всего уважать привычки света и соблюдать приличия общества, я вам разрешаю танцевать и вальсировать, сколько вы пожелаете. Но не слишком часто, а время от времени вы согласитесь разделить со мной пассивную роль, к которой меня приговаривают отцовские чувства и его обязанности доктора?

— О, дорогая Мадлен, спасибо, сто раз спасибо! — вскричал господин д'Авриньи.

— Ты очаровательна, и я люблю тебя до безумия! — сказал ей совсем тихо Амори.

Слуга доложил им, что первые кареты начали въезжать во двор.

Пора было идти в гостиную, но Мадлен захотела прежде всего, чтобы пошли за Антуанеттой. При первых же произнесенных ею словах, выражавших это желание, портьера тихо приподнялась, и Антуанетта появилась с красными глазами, но с улыбкой на губах.

— Ах, моя бедная, дорогая сестра! — сказала ей Мадлен и подошла к кухне — Если бы ты знала...

Но Антуанетта не позволила ей закончить: она бросилась Мадлен на шею и, целуя ее, не дала произнести ни слова.

Примирение состоялось, и обе девушки пошли на бал, держась за руки! Мадлен, очень бледная, еще более изменившаяся, Антуанетта, уже оживленная и радостная.

XVII

Сначала все шло хорошо.

Мадлен, несмотря на свою подавленность и бледность, была так красива и изящна, что оставалась королевой праздника. Только Антуанетта, полная движения, блеска и здоровья, имела право разделить ее королевскую власть.

Впрочем, при первых же звуках музыки Мадлен испытала тот притягательный эффект, исходящий от пылкого и умело руководимого оркестра.

Ее лицо разругмянилось, появилась улыбка, и силы, которые она десять минут тому назад напрасно искала, казалось, возродились как бы по волшебству.

Затем что-то оживило сердце Мадлен, наполнило ее несказанной радостью. Каждому входившему значительному лицу господин д'Авриньи представлял Амори как своего зятя, и все, кому об этом объявляли, бросали взгляды на Мадлен и на Амори, и, казалось, эти взгляды говорили, как будет счастлив тот, кто станет супругом такой прелестной девушки.

Со своей стороны, Амори сдержал слово, данное Мадлен, он с большим перерывом танцевал два или три контрданса с двумя или тремя женщинами: совсем не приглашать танцевать было бы невежливо.

Но во время этих перерывов он постоянно возвращался к Мадлен, она очень тихо его благодарила легким пожатием руки, а вид ее говорил ему, как она счастлива.

Время от времени Антуанетта тоже подходила к своей кухне, как вассалка, оказывая почести королеве, справляясь о ее здоровье и смеясь с нею над людьми с несчастной внешностью, которые на самых элегантных балах, кажется, нарочно появляются, чтобы предоставить танцорам, не знающим, о чем говорить, тему для разговора.

После одного из таких визитов Антуанетты к своей кухне Амори, стоявший рядом с Мадлен, сказал ей:

— И теперь, моя великодушная красавица, чтобы полностью искупить вину, могу ли я потанцевать с Антуанеттой?

— С Антуанеттой? Но, конечно,— сказала Мадлен,— я об этом не подумала, и вы правы, она хотела бы от меня получить на это разрешение.

— Как! Она хотела этого!

— Конечно, она сказала бы, что это я помешала вам ее пригласить.

— Ах, какая мысль! — воскликнул Амори. — И как вы могли подумать, что подобная безумная мысль пришла в голову вашей кузине?

— Да, вы правы,— сказала Мадлен, стараясь изо всех сил засмеяться,— да, это было бы нелепо с ее стороны, но как бы то ни было, вы прекрасно сделали, решив ее пригласить. Идите, не теряйте времени, вы видите, как ее окружили.

Амори, не уловив в ее голосе горечи, сопровождавшей эти слова, понял ее буквально и не замедлил увеличить окружение Антуанетты, затем после довольно долгих переговоров с ней он вернулся к Мадлен, глаза которой не покидали его ни на миг.

— Ну,— сказала Мадлен с самым простодушным видом, который она сумела принять,— на какой контрданс?

— Но,— ответил Амори,— если ты королева бала, то Антуанетта — заместительница королевы, и, кажется, я прибыл слишком поздно: танцоры толпятся около нее, и ее блокнот так перегружен, что нельзя туда внести еще одного.

— Вы не будете танцевать вместе? — живо спросила Мадлен.

— Может быть, по особой милости, и так как я пришел от твоего имени, она собирается обмануть одного из своих обожателей, моего друга Филиппа, я думаю, и она мне назначила номер пять.

— Номер пять? — сказала Мадлен.

Она сосчитала и сказала:

— Это вальс.

— Возможно,— безразлично ответил Амори.

В это время Мадлен была рассеянна, озабочена; на все, что ей говорил Амори, она едва отвечала: ее глаза не покидали Антуанетты, которая от шума, света, движения пришла в свое обычное состояние — живая, смеющаяся и окруженная поклонниками, и казалось, что она, легкая и грациозная, как Сильфида, излучала вокруг се-

бя живость и веселье. Филипп холодно смотрел на Амори. Оскорбленное достоинство заставляло его принять решение не ехать на бал, но тогда на следующий день он не смог бы сказать:

— Я был на балу, который господин д'Авриньи дал в честь замужества своей дочери.— И он пошел.

Однако после того, что произошло, он почувствовал себя обязанным быть услуживым по отношению к Антуанетте, холодным по отношению к Мадлен.

К несчастью, так как Амори сохранил его тайну, ни та, ни другая из девушек не знали о его разочаровании, и его сдержанность была не замечена, как и его учтивость.

Господин д'Авриньи наблюдал издали за своей дочерью. В перерыве между контрдансами он подошел к ней.

— Ты должна идти к себе в комнату,— сказал он Мадлен,— тебе нехорошо.

— Наоборот, очень хорошо, отец, я вас уверяю,— сказала Мадлен прерывистым голосом и с растерянной улыбкой,— впрочем, бал меня бесконечно развлекает, и я хочу остаться.

— Мадлен!

— Отец, не требуйте, чтобы я его покинула, прошу вас, вы ошибаетесь, если думаете, что я страдаю; я никогда не чувствовала себя лучше, чем теперь.

По мере того как вальс, обещанный Амори, приближался, Антуанетта, со своей стороны, смотрела на Мадлен с беспокойством; иногда взгляды девушек встречались, и в то время, как Антуанетта опускала голову, что-то вроде молнии сверкало в глазах Мадлен.

Что касается господина д'Авриньи, то он ни на минуту не терял из поля зрения свою дочь; он заметил с беспокойством это странное пламя, что пылало в ее глазах и, казалось, пожирало слезы, он следил за первыми подрагиваниями, которые она не могла сдержать; наконец, он не смог больше наблюдать это, подошел к ней, взял ее за руку и голосом, полным печали и бесконечной боли, произнес:

— Мадлен, тебе что-нибудь нужно? Делай, что хочешь, дитя, это будет лучше, чем скрывать страдание, как ты делаешь.

— На самом деле, отец,— воскликнула Мадлен,— вы позволяете делать, что я хочу?

— Увы, так нужно.

— Вы позволите мне танцевать вальс один только раз, единственный раз, с Амори?

— Делай, что хочешь! — повторил еще раз господин д'Авриньи.

— Итак, Амори, — воскликнула Мадлен, — следующий вальс, не правда ли?

— Но... — ответил Амори, радостный и озабоченный одновременно, — я обещал его Антуанетте.

Мадлен повернулась резким движением головы к своей кухне и, ни слова не говоря, спросила ее сверкающим взглядом.

— О, Боже, я так устала, — поторопилась сказать Антуанетта, — и если Мадлен хочет меня заменить и если вы, Амори, согласны, я не рассержусь, мне нужно отдохнуть немного, уверяю вас.

Огонек радости осветил бесчувственные веки Мадлен. В то же время раздался ритурнель вальса, она встала, схватила своей лихорадочной рукой руку Амори и потянула его в толпу, которая начала кружиться.

— Пощадите ее, — сказал совсем тихо господин д'Авриньи в то время, как молодой человек проходил мимо него.

— Будьте спокойны, — ответил Амори, — только несколько туров.

И оба бросились танцевать.

Это был вальс Вебера, страстный и серьезный одновременно, как гений того, кто его сочинил, один из вальсов, который увлекает и заставляет мечтать; движение было сначала довольно мягкое, потом оживилось по мере того, как вальс подходил к концу.

Амори поддерживал свою невесту, как только мог, и после трех и четырех туров ему показалось, что она слабеет.

— Мадлен, — сказал он ей, — не хотите ли вы остановиться на мгновение?

— Нет, нет, — сказала девушка, — ничего не бойтесь, я сильная, если мы остановимся, мой отец может помешать мне продолжать.

И в порыве увлекая Амори, она стала танцевать, ускоряя движение.

Не было более восхитительного зрелища, чем эти двое прекрасных молодых людей, с красотой такой различной, обнимающих друг друга и бесшумно скользящих по паркету; Мадлен, хрупкая и элегантная, опиралась своей гибкой талией на руки Амори, а тот, в свою

очередь, пьяный от счастья, забыл о зрителях, о шуме и даже о музыке, которая их уносила, забыл обо всем на свете, смотрел в почти закрытые глаза Мадлен, смешивая свое дыхание с ее дыханием, слушал двойное биение их сердец, что стучали в своем притягательном порыве и, казалось, стремились навстречу друг другу.

Тогда опьянение, овладевшее Мадлен, передалось ему: рекомендации господина д'Авриньи, свои обещания, все это исчезло из его памяти, чтобы уступить место иступлению; они летели под эти лихорадочные такты; однако Мадлен шептала все время:

— Быстрей, Амори, быстрей.

И Амори подчинился, так как это не была больше бледная и томная Мадлен,— это была блистательная и радостная девушка, чьи глаза горели, а лоб был увенчан сиянием жизни. Они продолжали танцевать, когда самые выносливые останавливались два или три раза, они танцевали быстрее, не видя ничего, не слыша ничего. Свет, зрители, зал — все вертелось с ними, один или два раза молодому человеку казалось, что он слышал дрожащий голос господина д'Авриньи, который кричал:

— Амори, остановитесь, остановитесь, Амори, достаточно.

Но при каждой такой рекомендации он слышал лихорадочный голос Мадлен, шептавшей ему:

— Быстрей, Амори, быстрей!

Казалось, что оба они не принадлежат земле, унесенные в божественную мечту, в вихрь любви и счастья; оба были переполнены, оба говорили задыхающимся голосом: «Я тебя люблю, я тебя люблю». И оба черпали новые силы в этом единственном слове и бросались, почти безрассудные, в движение, надеясь, что там они и умрут, не чувствуя больше этого мира, думая, что они на небесах.

Вдруг Мадлен повисла на Амори, он остановился.

Бледная, откинувшаяся назад, с закрытыми глазами, с полуоткрытым ртом, она была без сознания.

Амори закричал; сердце девушки вдруг перестало биться; казалось, что оно разбилось! Он подумал, что она умерла.

Его кровь остановилась — затем вдруг все понеслось, как поток, перед глазами. Мгновение он оставался неподвижен, как статуя, потом подхватил Мадлен на руки, легкую, как перышко, и понес ее бегом из гостиной, где

он был так счастлив, где минуту назад готов был умереть от счастья.

Господин д'Авриньи бросился за ним, он не сделал ни одного упрека Амори.

Добравшись до будуара, доктор взял свечу и пошел впереди них до комнаты своей дочери, затем, когда Амори положил Мадлен на кровать, он занялся ее пульсом, в то время как другой поднес ей флакон с солью.

Через несколько минут Мадлен пришла в себя, но хотя ее отец склонился над ней, а Амори, стоя на коленях у ее кровати, был почти невидим, она остановила на нем свой взгляд.

— А, дорогой Амори,— сказала она,— что случилось? Мы умерли, мы на небесах с ангелами?

Амори зарыдал Мадлен посмотрела на него с удивлением.

— Мой друг,— сказал тихо господин д'Авриньи,— займитесь гостями. Ангуанетта и женщины разденут и уложат Мадлен. Я сообщу вам, как она будет себя чувствовать. Не уходите далеко и, если вы не хотите покидать Мадлен, прикажите поставить кровать в вашей бывшей комнате.

Амори поцеловал руку Мадлен, следившей за ним глазами, и, улыбаясь, вышел.

Как и ожидал Амори, все уехали, и он, после того как отдал приказ приготовить комнату, вернулся, чтобы бродить около комнаты Мадлен, слушая у двери или стараясь услышать какой-нибудь звук.

Через полчаса ожидания появился господин д'Авриньи и подошел к молодому человеку.

— Ей лучше,— сказал он, пожимая руку Амори,— я буду дежурить всю ночь. Вы, Амори, ничем нам не сможете помочь, идите отдыхать, и будем надеяться на завтрашний день

Амори вернулся в свою прежнюю комнату, но, дабы быть готовым прийти по первому зову, вместо того, чтобы лечь спать, он придвинул к огню кресло и растянулся на нем.

Господин д'Авриньи вошел в свою библиотеку и долго искал среди книг самых знаменитых профессоров ту, с которой он смог бы проконсультироваться, но на каждой заголовке, какой читал, он качал головой, как человек, кому эта книга ничего нового не сообщит.

Наконец, он остановился на маленьком томике в сафьяновом переплете с серебряным крепом сверху, взял

его и, войдя в комнату уснувшей дочери, сел у ее изголовья.

Это был том «Подражание Иисусу Христу».

Господин д'Авриньи ничего больше не ждал от людей, но он мог еще надеяться на Бога.

XVIII

ДНЕВНИК ГОСПОДИНА Д'АВРИНЬИ

22 мая, ночь

«Борьба отца со смертью началась. Нужно, чтобы я дал второе рождение моему ребенку.

Если Бог со мной, я надеюсь, что добьюсь этого, если он меня покинет, то она умрет.

Ее сон лихорадочный и беспокойный, но она спит; во сне она произносит имя Амори... Амори... Амори всегда.

Ах, почему я им позволил кружиться в вальсе? Но нет... это значило бы снова говорить о том же...

Нужно обращаться более чутко с душой Мадлен, а не с телом: ее душевные страдания заставляют бояться за нее больше, чем из-за болезни в ее груди, и она упадет в обморок от ревности быстрее, чем от истощения.

От ревности!.. То, что я подозревал, правда. Она ревнует к своей кухне. Бедная Антуанетта, она это заметила, как и я, и весь этот вечер она была сама доброта и самоотречение.

Только Амори ничего не замечает. По правде сказать, мужчины иногда слепы. У меня было желание все ему сказать, но тогда он был бы более внимателен к Антуанетте, чем раньше... и лучше оставить его в неведении.

Ах! Я думал, что она проснется, но, прошептав несколько бессвязных слов, она снова упала на подушку.

Я боюсь и хочу, чтобы она скорее проснулась, я хотел бы знать, лучше ли ей?.. И не стало ли ей хуже?

Понаблюдаем за нею. Когда я думаю, что уже дважды Амори ранил ее, едва прикоснувшись к ней... Ах, Боже мой! Очевидно, этот человек убьет ее.

Иногда я думаю, если бы она не знала его, она могла бы жить. Нет, если бы не было Амори, был бы кто-нибудь другой; могучая и вечная природа так хочет. Любое сердце ищет свое сердце, любая душа желает найти свою душу. Несчастлив тот, у кого сердце и душа находятся в слабом теле — крепкие объятия их ломают. Вот и все; нет, замужество — это несбыточная мечта.

Счастье ее убьет. Разве не умирает она потому, что мгновение была счастлива?

30 мая

Восемь дней я ничего не мог записать в этот альбом.

В течение восьми дней моя жизнь цеплялась за прерывистое дыхание, за биение пульса. Восемь дней я не покидал этот дом, эту комнату, это изголовье и никогда — хотя и был занят только одним — столько событий, столько волнений, столько мыслей не поглощали мои часы. Я покинул всех моих больных, чтобы заниматься только ей одной.

Король посылал за мной дважды, я сказал, что страдал, что чувствовал себя нездоровым.

Я кричал его лакею: «Скажите королю, что моя дочь умирает!»

Благодарю Господа! Ей немного лучше. Пора, чтобы ангел смерти начал уставать. Яков боролся только одну ночь, а я боюсь шесть дней и шесть ночей.

О, Боже, кто может описать тревогу тех минут, когда я думал, что уже победил, когда я видел в природе изумительного помощника, посланного мне Богом для борьбы с болезнью, когда неопишуемая радость надежды пробуждалась во мне, но ее тут же гасил первый приступ кашля или незначительное повышение температуры.

Тогда все подвергалось сомнению, тогда я снова чувствовал ужасное отчаяние: враг, на минутку удалившись, наступал более упорно.

Этот ужасный стервятник, который разрывает своим клювом грудь моего ребенка, набрасывается снова на свою добычу, и тогда я кричу, стоя на коленях, прижавшись лбом к земле: «О, Боже! Боже, если Ваше бесконечное предвидение не поможет моей бедной ограниченной науке, мы все погибли».

Повсюду говорят обо мне, что я умелый доктор. Есть, конечно, в Париже несколько сотен людей, обязанных жизнью моим заботам; я вернул много жен их мужьям, много матерей — их дочерям, много дочерей — отцам, а я — у которого умирает дочь — я не могу сказать: я ее спасу.

Я встречаю на улицах каждый день безразличных людей, которые едва здороваются со мной, потому что они заплатили мне несколько экую, и которые, если бы я их покинул, лежали бы в темноте гробницы, а не прогу-

ливались бы при солнечном свете, и тогда я побеждал смерть, сражаясь, как кондотьер, ради чужих людей, ради незнакомцев, ради этого прсхожего. Я изнемогаю, Боже мой, когда речь идет о жизни моего собственного ребенка, то есть о моей собственной жизни.

Ах, горькая насмешка, и какой ужасный урок дает судьба моему тщеславию ученого.

Ах, у всех людей речь шла об ужасных болезнях, какие, однако, не были смертельными, для каких находились лекарства.

Лечил брюшной тиф бульоном и водой Зедлица, побеждал самый острый менингит с помощью противовоспалительной обработки, самое тяжелое воспаление сердца методом Вальсава, но туберкулез!

Единственную болезнь, которую даже Бог может вылечить только чудом, это та болезнь, которую Бог посылает моему ребенку.

Однако есть два или три случая туберкулеза во второй стадии, когда его радикально вылечили.

Я видел один случай собственными глазами в больнице, у бедного сироты, не имеющего ни отца, ни матери, на могиле которого никто не плакал бы; может быть, потому, что он был так покинут, Бог обратил свой взор на него.

Иногда я поздравляю себя с тем, что Провидение сделало из меня врача, как будто заранее Бог догадался, что я должен буду бодрствовать в последние дни моей дочери.

И на самом деле кто, кроме меня, несущего бремя филантропии медицины, мог бы иметь терпение, чтобы не покинуть эту дорогую больную хоть на миг. Кто сделал бы ради золота или ради славы то, что делаю я из отцовской любви? Никто. Если бы я не находился там, как тень, чтобы все предвидеть, готовый все отложить, готовый сражаться, Боже, два или три раза ее жизнь уже была бы в опасности.

На самом деле этого наказания нет даже в аду Данте: увидеть, как в груди твоего ребенка сражается жизнь со смертью; когда жизнь побеждена, едва переводит дух, преследуемая смертью, отступает шаг за шагом и оставляет поле битвы потихоньку своему непримиримому врагу!

К счастью, я сказал уже об этом, болезнь не прогрессирует; я на мгновение вздохнул.

Я надеюсь.

5 июня

Ей лучше, дорогая Антуанетта, и этим «лучше» я объясан вам. Амори был великолепен; если он причинил зло, трудно сделать больше, чтобы его исправить. Все время, которое он мог проводить около Мадлен, он посвятил ей, и я уверен, что он все время думал о ней.

Но я заметил следующее: как только Антуанетта и Амори вместе были около Мадлен, Мадлен становилась беспокойна: ее глаза переходили с Антуанетты на Амори, стараясь застать врасплох, когда они обменивались взглядами; по привычке ее рука была в моей, и она забывала, что я чувствую, как ревность бьется в ее пульсе.

Когда тот или другой были наедине с ней, пульс становился спокойнее, но когда случайно оба отсутствовали, Боже мой, бедная, дорогая Мадлен, как она страдала, как жар пожирал ее до тех пор, пока тот или та не появлялись.

Я не мог удалить Амори. В этот момент Амори был ей необходим, как воздух, которым она дышит.

Мы увидим позднее, как следует поступить Амори — уехать или нет.

Я не осмелился удалить Антуанетту: как я мог сказать этому бедному ребенку, юному и чистому, как божий свет: «Антуанетта, уходи!»?

Конечно, она догадалась обо всем. Позавчера я увидел, как она входила в мой кабинет.

— «Дядя,— сказала она мне,— я слышала, что вы собирались, как только наступят прекрасные дни и Мадлен почувствует себя лучше, увезти ее в замок в Виль-Давре. Дядя, Мадлен чувствует себя лучше, и прекрасные дни наступили. Дядя, я пришла просить вас, чтобы вы разрешили мне уехать.

Едва она заговорила, я обо всем догадался, и я устремил свой взгляд на нее. Она опустила глаза, и как только она их подняла, она увидела мои раскрытые объятия. Она бросилась в них, рыдая.

— О, дядя, дядя! — вскрикнула она, — я не виновата, клянусь вам. Амори не обращает на меня внимания, Амори не занят мной с тех пор, как Мадлен больна, Амори забыл о моем существовании, и, однако, она ревнует. И эта ревность причиняет ей боль. Не возражайте, вы это знаете так же хорошо, как и я; эта ревность — в ней, в ее пылких взглядах, в дрожащей речи, в ее прерыви-

стых движениях. Дядя, вы хорошо знаете, что мне необходимо уехать, и, если бы вы не были так добры, разве вы мне уже не сказали бы, что нужно уехать?

Я не отвечал Антуанетте, только прижимал ее к сердцу.

Потом мы вернулись в комнату Мадлен.

Мы нашли ее беспокойной и взволнованной. Амори не было уже полчаса; было очевидно: Мадлен думала, что он с Антуанеттой.

— Дитя мое,— сказал я ей,— так как ты чувствуешь себя все лучше, и я обещал, что через две недели мы сможем поехать за город, то наша добрая Антуанетта, которая берет на себя обязанность быть нашим квартирьером, уезжает заранее, чтобы приготовить наше жилье.

— Как! — воскликнула Мадлен.— Антуанетта едет в Виль-Давре?

— Да, моя милая Мадлен, тебе лучше, как сказал твой отец,— отвечала Антуанетта.— Я оставляю тебя на горничную, миссис Браун и Амори, они о тебе позаботятся. Их присутствие достаточно для выздоравливающей; а я тем временем приготовлю твою комнату, буду ухаживать за твоими цветами, я устрою твои оранжереи. И когда ты приедешь, ты найдешь все готовым к твоему приезду.

— А когда ты уезжаешь? — спросила Мадлен с волнением, которое она не смогла скрыть.

— Сейчас запрягают лошадей.

Тогда, то ли от угрызения совести, то ли от признательности, то ли от обоих этих чувств, Мадлен раскрыла свои объятия Антуанетте, и девушки обнялись.

Затем Мадлен, казалось, сделала над собой усилие.

— Но,— сказала она Антуанетте,— разве ты не подождешь Амори, чтобы попрощаться с ним?

— Прощаться? А зачем,— сказала Антуанетта,— разве мы не увидимся через две или три недели? Ты с ним прощаешься и обнимешь его от моего имени; ему понравится.

И, сказав это, Антуанетта вышла.

Спустя десять минут мы услышали стук колес ее коляски, и Жозеф прибыл, чтобы объявить, что Антуанетта уехала.

Странная вещь, все это время я держал за руку Мадлен.

Как только объявили об отъезде Антуанетты, ее пульс изменился. С 90 ударов он снизился до 75; затем, утомившись от этих волнений, таких незначительных для постороннего, могущего увидеть только их внешнюю сторону, она уснула самым спокойным сном, какого она не знала, с того фатального вечера, когда мы уложили ее в кровать, которую она с тех пор не покидала.

Так как я не сомневался, что Амори не замедлит явиться, я приоткрыл дверь, чтобы шум, который он произведет, входя, не разбудил ее.

И на самом деле через некоторое время он появился.

Я сделал знак, чтобы он сел у кровати, там, где лежала голова моей дочери, чтобы ее глаза, открывшись, могли увидеть его.

А, мой Бог, вы знаете, что я не ревнив, пусть ее глаза закроются после того, как она проживет долгую жизнь, и пусть все ее взгляды будут устремлены на него.

С этого времени ей стало лучше.

9 июня

Улучшение продолжается... Спасибо, Боже!

10 июня

Ее жизнь в руках Амори. Пусть он помнит о том, что я у него прошу, и она спасена!»

XX

Мы обратились к дневнику господина д'Авриньи, чтобы описать происшедшие события, так как никто лучше, чем этот дневник, не смог бы объяснить, что произошло у изголовья бедной Мадлен и в сердцах тех, кто ее окружал.

Как уже сказал господин д'Авриньи, заметные улучшения произошли в состоянии больной благодаря кропотливым заботам отца, и, однако, несмотря на науку и даже на плоды этой науки, делающей так, что ни одно из таинств человеческого организма не могло ускользнуть от нее, господин д'Авриньи понял, что, кроме доброго и злого гения, которые боролись за больную, была третья сила, помогающая то болезни, то врачу: это был Амори.

Вот почему в дневнике отмечено, что существование Мадлен было отныне в руках ее возлюбленного.

Итак, на следующий день после того как он написал эти строки, они оба вышли из комнаты Мадлен, отец вынужден был передать Амори, что должен с ним поговорить.

Амори, который еще не лег, тотчас же пришел к господину д'Авриньи в его кабинет.

Старик сидел в углу у камина, опершись рукой на мрамор, погруженный в такое глубокое раздумье, что не услышал, как открылась и закрылась дверь, и молодой человек подошел к нему так тихо, что шум шагов, приглушенный толстым ковром, не вывел его из задумчивости.

Подойдя, Амори подождал и, не скрывая своего беспокойства, спросил:

— Вы меня звали, отец, не произошло ли что-нибудь нового? Мадлен не чувствует себя хуже?

— Нет, мой дорогой Амори, наоборот,— ответил господин д'Авриньи,— она чувствует себя лучше, и поэтому я вас позвал.

Затем, показав на стул, он сделал знак, чтобы Амори подошел к нему.

— Садитесь здесь,— сказал он,— и побеседуем.

Амори молча, но с видимым беспокойством послушался, так как, несмотря на утешительные слова, было что-то торжественное в голосе господина д'Авриньи, сообщившего, что он намерен говорить серьезно.

Действительно, когда Амори сел, господин д'Авриньи взял его за руки и, глядя на него с нежностью и твердостью, которые молодой человек так часто замечал в его глазах во время долгих бессонных ночей, проведенных у изголовья Мадлен, сказал:

— Мой дорогой Амори, мы похожи на двух солдат, что встретились на поле битвы, мы знаем теперь, чего мы стоим, мы знаем наши силы и можем говорить с чистым сердцем.

— Увы, отец,— сказал Амори,— во время этой длительной борьбы, в которой, я надеюсь, вы одержали победу, я вам был бесполезен. Но, если только любовь действительно бессмертна, мои страстные молитвы могут быть услышаны Богом и, может быть, зачтутся на небе вместе с чудесами вашей науки. Я тоже могу надеяться, что сделал что-то для выздоровления Мадлен.

— О, Амори, именно потому, что я знаю силу вечной любви, я надеюсь, что вы будете готовы пойти на жертву немедленно.

— О! — воскликнул Амори, — все, что угодно, отец, только я не откажусь от Мадлен.

— Будь спокоен, сын, — сказал господин д'Авриньи, — Мадлен твоя, и она никогда никому не будет принадлежать, кроме тебя.

— Ах, Боже мой! Что вы хотите сказать?

— Послушай, Амори, — продолжал старик, взяв вторую руку молодого человека в свои, — то, что я скажу тебе — это не упрек отца, это факт, о котором я сообщаю, как врач, озабоченный со дня рождения здоровьем своего ребенка; только дважды ее здоровье вызывало у меня серьезные опасения: первый раз, когда в малой гостиной ты сказал, что любишь ее, второй раз...

— Да, отец, ах, не напоминайте мне об этом, я об этом вспоминаю тоже, и очень часто, в тишине ночей — когда вы бодрствовали около Мадлен, а я плакал в своей комнате; это воспоминание было мне упреком; но что мне делать, если рядом с Мадлен я становлюсь как безумный, я забываю обо всем, моя любовь сильнее меня, я теряю самообладание, меня можно простить.

— Я тебя прощаю, мой дорогой Амори, если было бы иначе, ты бы ее не полюбил. Увы! Вот разница между моей и твоей любовью. Моя любовь предвидит постоянно будущие несчастья, твоя — постоянно забывает о несчастном прошлом. Вот почему, мой дорогой Амори, надо на время удалить слепую эгоистическую любовь и оставить мою любовь, преданную и предвидящую.

— О, отец, что вы говорите, Боже мой! Я должен покинуть Мадлен?

— Только на несколько месяцев.

— Но, отец, Мадлен меня любит так же, как я ее люблю, я это хорошо знаю, это невозможно. (Господин д'Авриньи улыбнулся.) Не бойтесь ли вы, что мое отсутствие причинит больше зла вашей девочке, чем мое присутствие?

— Нет, Амори, она будет тебя ждать, а надежда — сладкое утешение.

— Но куда я поеду, о Боже! Под каким предлогом?

— Предлог найден, и это даже не предлог. Я добился для тебя миссии при дворе в Неаполе: ты скажешь, или лучше я скажу — я не хочу, чтобы ты нанес удар — я скажу, что забота о твоём будущем потребует, чтобы ты

выполнил это поручение. Затем, когда она закричит, я скажу ей очень тихо: «Молчи, Мадлен, поедем ему навстречу, и вместо того, чтобы быть разлученными на три месяца, вы будете разлучены только на шесть недель».

— Вы поедете мне навстречу, отец?

— Да, до Ниццы: Мадлен нужен теплый и мягкий воздух Италии, я отвезу ее в Ниццу, так как до Ниццы она может ехать, не уставая, поднявшись по Сене, следуя по Бриарскому каналу и спускаясь по Соне и Гаронне.

Из Ниццы я напишу, чтобы ты тотчас же возвращался или подождал еще, в зависимости от того, будет ли Мадлен сильной или слабой, и тогда, ты понимаешь, твое отсутствие больше не причинит боль, так как надежда на будущую встречу сменится радостью, сладкой радостью, без тех ужасных волнений, которые доставляет ей твое присутствие, без тех ужасных физических страданий, которые ее изматывают.

Дважды я ее спас, но я предупреждаю тебя, Амори, третий кризис — и она умрет, а этот третий кризис, если ты будешь рядом, неизбежен.

— О, Боже, Боже!

— Амори, это не только ради тебя и ради меня я прошу, но ради нее. Пожалей мою бедную лилию и помоги мне ее спасти, сравни разлуку на время, разлуку на расстоянии с вечной разлукой, разлукой из-за смерти.

— О, да, да, все, что хотите, отец! — воскликнул Амори.

— Хорошо, мой сын, — сказал старик, улыбнувшись первый раз за пятнадцать дней, — хорошо, я тебя благодарю, и в этот час, чтобы тебя вознаградить, я осмелюсь тебе сказать: «Будем надеяться!»

XXI

На следующий день господин д'Авриньи вышел, удовлетворившись, что Мадлен чувствует себя лучше: он должен был увидеть короля, чтобы извиниться перед ним, затем министра иностранных дел, чтобы напомнить ему о его обещании.

Конечно, господин д'Авриньи мог бы сказать, не боясь прослыть обманщиком, что он сам был болен, так как за пятнадцать дней он постарел на пятнадцать лет, и, хотя ему было только пятьдесят, его волосы поседели полностью.

Спустя час господин д'Авриньи вернулся, уверенный, что в день, когда он пожелает, дипломатическое письмо будет готово.

У дверей своего особняка он встретил Филиппа.

С того вечера, когда Мадлен чуть не умерла, Филипп приходил каждый день, чтобы узнать новости; сначала его принимала Антуанетта, потом, после ее отъезда, он обращался к Жозефу, спрашивая его о Мадлен и Антуанетте.

Что касается Амори, то Филипп думал, что тот должен быть обиженным на него; однако в течение пятнадцати дней Амори был так занят, что забыл о существовании своего друга.

Господин д'Авриньи узнал о внимании Филиппа и поблагодарил его с сердечной непринужденностью отца.

Затем он вернулся к Мадлен.

Наступили первые прекрасные дни июня; был полдень — самый теплый час дня, и господин д'Авриньи решил впервые открыть окна в комнате Мадлен; он нашел девушку сидящей на кровати и радующейся свежему воздуху, которым она еще не дышала, и зелени, по которой она не могла ни бегать, ни ходить, но зато ее кровать была усеяна цветами и походила на тот прекрасный временный алтарь, какой мы все видели в нашей юности и какой мы увидим еще, когда люди догадаются вернуть Богу этот красивый и поэтический праздник «те-ла Господня», что они отменили.

Амори приносил Мадлен цветы, которые ей нравились и которые он собирал для нее.

— Ах, отец,— сказала девушка, заметив господина д'Авриньи,— как я благодарна вам за этот сюрприз, который вы позволили Амори мне сделать, вернув мне воздух и цветы, мне кажется, что я дышу свободнее, вдыхая аромат лета, и я, как та бедная птица, помните, отец, которую вы поместили с розовым кустом в свою клетку для опытов и которая каждый раз умирала, как только вы убирали от нее розовый куст, и, наоборот, оживала каждый раз, как только вы его возвращали. Скажите, отец, когда мне не хватает воздуха, когда я задыхаюсь, словно я тоже в клетке,— не могли бы меня вернуть к жизни, окружая цветами?

— Да, дитя мое,— сказал господин д'Авриньи,— мы так и сделаем, будь спокойна, я увезу тебя в страну, где ни розы, ни девушки не умирают, и там ты будешь жить среди цветов, как пчелка или птица.

— В Неаполь, отец? — спросила Мадлен.

— О нет, дитя мое, Неаполь очень далек для первой поездки, к тому же в Неаполе дует *сирокко*, от которого умирают цветы, а неощутимый пепел Везувия сжигает грудь девушек. Нет, мы остановимся в Ницце.

И господин д'Авриньи замолчал, вопросительно глядя на Мадлен.

— И что? — спросила Мадлен в то время, как Амори опустил голову.

— А Амори поедет в Неаполь.

— Как? Амори нас покидает? — вскрикнула Мадлен.

— Ты называешь это «покидает», мое дитя? — живо возразил господин д'Авриньи.

И тогда мало-помалу, слово за слово, с бесконечными предосторожностями, он объявил Мадлен о плане, который он придумал и который состоял, как мы уже сказали, в том, чтобы прибыть в Ниццу и ожидать в этой оранжерее Европы возвращения Амори.

Мадлен выслушала все эти планы, склонив голову, как бы во власти одной-единственной мысли, и когда отец закончил, она спросила:

— А Антуанетта, Антуанетта поедет с нами?

— Моя бедная Мадлен, — сказал господин д'Авриньи, — я на самом деле в отчаянии, что разлучаю тебя с твоей подругой, с сестрой, но ты понимаешь, что я не могу доверить присмотр за домом в Париже и за домом в Виль-Давре посторонним. Антуанетта остается.

Радость блеснула в глазах Мадлен, отсутствие Антуанетты примирило ее с отсутствием Амори.

— А когда мы поедем? — произнесла она с чувством, похожим на нетерпение.

Амори поднял голову и посмотрел на нее удивленно. Амори, с его эгоистичной любовью влюбленного, не догадался ни об одной из тайн, в которые со своей отеческой любовью проник господин д'Авриньи.

— Наш отъезд зависит от тебя, дорогое дитя, — сказал господин д'Авриньи, — заботься хорошо о своем драгоценном здоровье, и как только ты будешь достаточно сильной, чтобы перенести путешествие в коляске, то есть, когда, опираясь на мою руку или руку Амори, ты дважды обойдешь, не уставая, сад, тогда мы уедем.

— Ах, будь спокоен, отец, — воскликнула Мадлен, — я сделаю все, что ты мне прикажешь, и мы очень скоро уедем.

То, что господин д'Авриньи предвидел, оправдалось: в Виль-Давре Антуанетта была слишком близка к Амори.

Амори — Антуанетте

«Вы спрашиваете подробности о выздоровлении Мадлен, дорогая Антуанетта, я понимаю это: недостаточно знать, что ей лучше, вы хотите знать еще, как лучше? По правде говоря, я тот рассказчик, который вам нужен, так как, не имея вас рядом, чтобы говорить о ней, я счастлив вам писать. Кроме того, очень странно, но к ее отцу, который любит ее почти так же, как и я, я не чувствую, не знаю почему, ни доверия, ни непринужденности. Это объясняется, без сомнения, разницей в возрасте или серьезностью его характера. С вами, дорогая Антуанетта, все иначе, я буду говорить о ней с вами всегда.

В течение восьми дней после вашего отъезда я повторял каждый вечер, буду ли я жить или умру, так как все эти восемь дней Мадлен была в опасности. Сегодня, дорогая Антуанетта, я могу сказать: я буду жить, поскольку я могу сказать, что она будет жить.

Верьте мне, Антуанетта: это не банальная и проходящая любовь, которой я ее люблю; это не женитьба ради приличий, которые я соблюдаю, женюсь на Мадлен; это не женитьба из привязанности, как говорят еще. Меня с ней объединяет необычная страсть, беспримерная, единственная, и, если она умрет, я должен умереть.

Бог не захотел ее смерти, спасибо, Боже. Только позавчера д'Авриньи поверил, что сможет поручиться за ее жизнь, а еще он сказал, что при одном условии: я должен уехать.

Сначала я подумал, что новость окажется опасной для Мадлен, но, без сомнения, у бедного ребенка не было сил живо чувствовать, так как, узнав, что она будет ждать в Ницце, где я присоединюсь к ним, она почти заторопилась уехать; это мне показалось еще более удивительным, так как ее отец сообщил ей, что вы не сможете ее сопровождать.

В остальном больные похожи на больших детей. Со вчерашнего дня она делает себе праздник из этого путешествия.

Действительно, ей кажется, что мы совершим его вместе, хотя господин д'Авриньи меня уже предупредил, что я уеду через восемь дней.

Но даже если предположить, что состояние больной будет улучшаться, Мадлен не сможет, очевидно, уехать раньше, чем через три недели или месяц.

Как смог он убедить Мадлен позволить мне уехать?

Признаюсь, я об этом не знаю, но он мне сказал, что возьмет все на себя.

Сегодня впервые Мадлен встала, или точнее, господин д'Авриньи перенес ее из кровати в большое кресло, которое он поставил около окна, и бедный ребенок был еще так слаб, что, если бы во время этого переезда миссис Браун не поднесла ей флакон с нюхательной солью, она, конечно, упала бы в обморок. Однажды, когда она сидела у окна, мне разрешили войти.

О, Боже мой, дорогая Антуанетта, только тогда я смог узнать, какие губительные последствия нанесла болезнь моей обожаемой Мадлен.

Она красива, более красива, чем когда-либо, ибо в своем длинном платье без талии похожа на одного из прекрасных ангелов Беато Анджелико с прозрачным челом и воздушным телом, но эти прекрасные ангелы — на небесах, в то время как Мадлен благодаря Богу еще среди нас; и то, что у них составляет божественную красоту, делает ее красоту ужасной.

Если бы вы смогли увидеть ее, как она счастлива и довольна у этого окна! Можно сказать, что она впервые видит небо, вдыхает этот чистый воздух, вдыхает запах благоухающих ароматов цветов; сквозь ее бледную и прозрачную кожу видно, как она возвращается к жизни.

Ах, Боже мой, разве когда-нибудь эта жизнь будет земной? Будет ли это хрупкое создание чувствовать человеческие радости и страдания, не сгибаясь от радости или от горя?

Все эти страхи усиливаются поведением отца, который через четверть часа подходит к ней и берет ее за руку, щупая пульс.

Вчера вечером он был веселым; пульс уменьшился на три или четыре удара в минуту за день.

В четыре часа, когда солнце полностью покинуло сад, несмотря на просьбы Мадлен, господин д'Авриньи потребовал, чтобы она легла; он взял ее на руки и отнес в кровать, но, к его радости, она лучше перенесла этот второй переезд, чем первый: она сама держала флакон, и он ей был не нужен, что служило доказательством того, что воздух и солнце вернули ей некоторые силы.

В то время, как ее перенесли на кровать, я играл в гостиной мелодию Шуберта; когда я кончил играть, миссис Браун пришла мне сказать от ее имени, чтобы я продолжал играть. В первый раз она слышала музыку с того самого ужасного вечера, когда музыка ее чуть не убила. Я продолжал играть по ее просьбе и, когда пришел к ней, нашел ее в экстазе.

— Ах, вы не представляете, Амори,— сказала она мне,— что эта ужасная болезнь, которая так всех вас беспокоит, имеет удивительную сладость для меня: мне кажется, что чувства не только удвоили свои силы, но пробудили во мне другие чувства, прежде не существовавшие, чувства души — если это можно так назвать.

В этой музыке, которую вы мне сейчас играли и которую я слышала двадцать раз, я услышала мелодию, о которой я не подозревала до сегодняшнего дня, как в запахе роз и жасмина я чувствую теперь аромат, какой я не чувствовала раньше и какой, может быть, я не буду чувствовать, когда здоровье вернется ко мне.

Это, как вчера... (не смейтесь надо мной, Амори). Славка пела в кустарнике, где у нее гнездо; и мне показалось, что, если бы я была одна, а не с вами или с моим отцом, и если бы я закрыла глаза, если бы сконцентрировала все способности моего разума на этом пении, я бы поняла, о чем эта славка-самец говорил со своей самочкой и со своими малышами.

Я смотрел на господина д'Авриньи, дрожа от мысли, что Мадлен бредит, но он меня успокоил, покачав головой.

Через минуту он вышел.

Мадлен наклонилась к моему уху.

— Амори,— сказала она,— сыграйте тот вальс Вебера, который мы танцевали вместе, знаете его?

Я понял, что Мадлен ждала ухода своего отца, чтобы попросить меня сыграть этот вальс, и я испугался, что это опасно, если она услышит те же звуки, приведшие ее в такое сильное нервное возбуждение, и я ответил, что я его не совсем помню.

— Ну, ладно,— сказала она,— вы его поищите, а завтра вы мне его сыграете.

Я пообещал.

Ах, Боже мой! Разве то, о чем говорил мне господин д'Авриньи, правда?

Ей нужны волнения, хотя они ее убивают.

Когда я ее покинул вечером, она попросила меня, чтобы я обещал ей сыграть завтра этот вальс Вебера.

Господин д'Авриньи с десяти часов вечера до шести часов утра трижды заходил в комнату дочери и каждый раз находил ее спящей.

Миссис Браун, чья очередь была дежурить, успокоила его, сказав, что за все время, то есть за восемь часов, она проснулась только два раза, каждый раз проглатывая несколько капель успокоительной микстуры, приготовленной ее отцом, засыпала, уверяя миссис Браун, что чувствует себя лучше.

На следующий день, то есть сегодня утром, когда по привычке господин д'Авриньи прежде, чем ввести меня к Мадлен, рассказал мне о состоянии ее здоровья за ночь, я ему сказал, о чем она просила меня накануне — о вальсе Вебера.

Он оставался мгновение задумчивым, потом покачал головой.

— Я вам сказал правду, Амори, — ответил он, — когда говорил о необходимости эмоций, которых я боюсь, и о том, что ваше присутствие поддерживает их. Ах, мой друг, не сомневайтесь в справедливости моих слов, как я хотел бы, чтобы вы уехали.

— Но как быть, должен ли я играть этот вальс или нет? — спросил я его.

— Играйте его, нечего бояться, я не уйду, только слушайте меня: прекращайте или продолжайте играть, когда я вам скажу.

Я вошел в комнату Мадлен, она была радостной.

Ночь, как и сказал мне господин д'Авриньи, прошла хорошо, и жар утром уменьшился, как и вечером.

— Ах, друг мой, — сказала она мне, — как я хорошо спала, какой сильной я чувствую себя, мне кажется, если бы мой «тиран» мне разрешил, — и при этом она бросила взгляд безграничной любви на своего отца, — я пошла бы или полетела бы, как птица, но он считает, что знает меня лучше, чем я, и на сегодня он привязывает меня к этому проклятому креслу.

— Вы забываете, дорогая Мадлен, — сказал я ей, — что еще позавчера вы добивались этого кресла, и, сидя здесь, у открытого окна, вы чувствовали себя хорошо, как в раю. Вчера вы оставались в нем и чувствовали себя счастливой.

— Да, без сомнения, но то, что было хорошо вчера, не так хорошо сегодня. Если вы любите меня сегодня

так, как вы любили меня вчера,— этого недостаточно, и я не найду удовлетворения в подобной любви. Все чувства, которые не увеличиваются — уменьшаются. Знаете, где я хотела бы быть? Я хотела бы быть под этим кустом роз, лежать на этом прекрасном и таком зеленом газоне, который, должно быть, такой мягкий.

— Итак,— сказал господин д'Авриньи,— я очень рад, дорогая Мадлен, что твое горячее желание ограничивается таким малым; через три дня ты там будешь.

— Правда, отец! — воскликнула Мадлен, хлопая в ладоши, как ребенок, которому пообещали желаемую игрушку.

— И даже сегодня, если ты хочешь, ты пойдешь пешком до этого проклятого кресла. Нужно испытывать свои ноги до того, как испытаешь крылья. Только миссис Бран и я будем тебя поддерживать.

— И я верю, что вы сделаете хорошо,— сказала Мадлен,— так как, дорогой отец, должна вам признаться, что я очень похожа на тех трусов, какие производят большой шум, в то время как они далеки от опасности, но которые перед самой угрозой вдруг теряют дар речи и становятся робкими и скромными. В каком часу мне вставать? Нужно ли ждать полудня? Посмотри, как долго еще ждать, сейчас десять часов.

— Сегодня, дорогое дитя, ты выиграешь час, и, поскольку утро теплое, твое окно откроют сейчас же, только наберись терпения.

Открыли окно; воздух и солнце вошли одновременно. В это время она наклонилась ко мне.

— А вальс Вебера? — спросила она.

Я ей ответил утвердительным жестом. С этого времени она казалась веселой и спокойной.

Пришли сказать, что завтрак готов. Вот уже несколько дней, как господин д'Авриньи и я ели вместе.

Раньше, как вы знаете, дорогая Антуанетта, мы завтракали и обедали по очереди, чтобы один или другой оставался с ней. Теперь ей лучше, и наша предосторожность не нужна.

В одиннадцать часов без нескольких минут господин д'Авриньи поднялся из-за стола.

— Чтобы дети и больные делали все, что от них требуют, нужно с ними еще более строго держать слово, чем с другими. Я помогу Мадлен встать, вы сможете войти через десять минут.

И на самом деле через десять минут Мадлен сидела около окна, она была восхищена.

С помощью отца и миссис Браун она прошла от кровати до кресла; действительно, без этой двойной поддержки она не смогла бы сделать ни шага. Но какое отличие от предыдущего дня! Накануне, чтобы проделать то же самое, ее нужно было нести.

Я сел рядом с ней.

Через несколько минут она сделала нетерпеливое движение. Господин д'Авриньи, сумевший прочесть, как по волшебству, в ее сердце, понял ее.

— Мой дорогой Амори,— сказал он мне, вставая,— вы не покинете Мадлен, не правда ли?.. Я могу отлучиться на час или на два?

— Идите, отец,— ответил я ему,— я останусь здесь.

— Хорошо,— сказал он и вышел, поцеловав Мадлен.

— Быстрей, быстрей,— сказала Мадлен, когда дверь ее спальни закрылась за господином д'Авриньи,— быстрей играйте этот вальс Вебера. Представьте себе, что со вчерашнего дня я держу в голове его такт, и я его слышала всю ночь.

— Но вы не сможете идти в гостиную, дорогая Мадлен,— сказал я ей.

— Я знаю, так как с трудом могу держаться на ногах, но оставьте обе двери открытыми, и я вас услышу отсюда.

Я встал, вспоминая то, что мне рекомендовал господин д'Авриньи. Я не сомневался, что он был там и наблюдал за дочерью. Я подошел к пианино.

От пианино я мог видеть Мадлен в открытые двери; в рамке из портьер она казалась похожей на одну из картин Греза. Она сделала мне знак рукой.

Я начал.

Как я говорил, это был один из изумительных мотивов меланхолического характера, какой мог сочинить только Вебер.

Я не знал вальс наизусть, и должен был следить по нотам, по мере того как играл.

Однако как в тумане, мне показалось, что я вижу, как Мадлен встает с кресла; я обернулся внезапно: действительно, она стояла.

Я хотел прекратить игру, но господин д'Авриньи увидел мое движение.

— Продолжайте,— сказал он мне.

Я продолжал, так что Мадлен не могла заметить остановку.

Казалось, что это поэтическое создание оживилось от гармонической игры и набиралось сил по мере того, как темп возрастал.

Она немного постояла, и я увидел, что хрупкая больная начала двигаться сама, и это после того, как с большим трудом отец и гувернантка проводили ее от кровати к креслу; вот она медленно пошла вперед, уверенно, бесшумно, как тень, но не ища опоры у мебели или у стены.

Я повернулся в сторону господина д'Авриньи и увидел, что он был бледен как смерть. Вторично я готов был остановиться.

— Продолжайте, продолжайте,— сказал он мне,— вспомните скрипку Кремона.

Я продолжал играть.

Движения ее становились все более решительными и торопливыми, и по мере того, как темп набирал силу, Мадлен тоже, более сильная, приближалась ко мне стремительно: наконец, она облокотилась о мое плечо. В это время ее отец, пройдя вокруг гостиной, появился позади нее.

— Продолжайте, продолжайте, Амори,— сказал он.— Bravo, Мадлен, но почему ты говорила сегодня утром, что у тебя нет больше сил?

Бедный отец смеялся и дрожал одновременно, в то время как пот волнения и страха струился по его лицу.

— Ах, отец,— сказала Мадлен,— это магия. Но вот эффект музыки: я думала, что если бы я умерла, некоторые арии смогли бы поднять меня из могилы.

Вот почему я так хорошо понимаю монашек *Роберта Дьявола* и виллис *Жизели*.

— Да,— сказал господин д'Авриньи,— но не надо злоупотреблять этим могуществом. Возьми мою руку, дитя, а вы, Амори, продолжайте,— эта музыка восхитительна. Только,— добавил он тихо,— переходите от этого вальса к какой-нибудь мелодии, которая бы умолкала, как эхо.

Я подчинился, так как понял: нужно было, чтобы моя музыка возбуждала Мадлен, поддерживала ее до кресла. Когда Мадлен уже сидела, музыка должна была уйти незаметно, так как, внезапно прекратившись, она, очевидно, могла что-то сломать в Мадлен.

На самом деле Мадлен дошла до кресла без видимой усталости и села с сияющим лицом.

Когда я увидел, что она хорошо устроилась в своем большом кресле в стиле Людовика XV, я замедлил темп там, где раньше убыстрял; тогда она облокотилась на спинку кресла и закрыла глаза. Отец следил за каждым ее движением и сделал знак, чтобы я играл тихо, очень тихо, поскольку от вальса я перешел к нескольким аккордам, которые становились все тише, и, наконец, последний аккорд умолк, как далекая песня улетевшей птицы.

Тогда я встал и хотел подойти к Мадлен, но отец остановил меня.

— Она спит,— сказал он, не будите ее.

Затем, увлекая меня в прихожую, сказал:

— Вы видите, Амори, необходимо, чтобы вы уехали. Если бы подобное событие произошло в мое отсутствие, если бы я не был там, чтобы всем руководить, Амори, клянусь вам, я не решаюсь даже подумать о том, что могло произойти; я вам повторяю: нужно, чтобы вы уехали.

— О, Боже, Боже! — воскликнул я. — Но Мадлен, которая не думает, что мой отъезд так близок, как ей сказать...

— Будьте спокойны,— добавил господин д'Авриньи,— она попросит об этом сама.

И, подталкивая меня, он вернулся к дочери.

Я поднялся в свою комнату и пишу вам, Антуанетта; скажите, какое средство он использовал, чтобы приказ — мне покинуть ее — исходил от самой Мадлен?»

XXII

Амори — Антуанетте

«Через шесть дней я уезжаю, дорогая Антуанетта и, как предсказал господин д'Авриньи, Мадлен сама попросила меня уехать.

Вчера вечером я и господин д'Авриньи были с Мадлен; на нее моя игра на пианино, к счастью, не оказала никакого отрицательного влияния: наоборот, ей становится все лучше. Господин д'Авриньи долго разговаривал с Мадлен о вас, и она говорила такие вещи, которые я не хочу повторять из боязни ранить вашу скромность, а затем он объявил о вашем возвращении из деревни в следующий понедельник.

Мадлен задрожала, внезапно ее липо вспыхнуло, затем побледнело.

Я сделал движение, чтобы указать господину д'Авриньи на то, что происходит с его дочерью, но я заметил, что он держал руку Мадлен, и подумал, что ее состояние не могло ускользнуть от отца.

Заговорили о другом.

На следующий день Мадлен должна была выйти в сад и идти в беседку из сирени и роз, чтобы дышать этим воздухом и этим запахом, таким желанным для нее два дня тому назад.

Но, видите, дорогая Антуанетта, как господин д'Авриньи был прав, сравнивая больных с большими детьми: это обещание ее отца не произвело на нее никакого впечатления. Я не знаю, но какое-то облако промелькнуло в ее глазах; ее мысль, казалось, была занята другим.

Я воспользовался сразу же тем, что очутился с ней наедине, чтобы спросить, какая мысль ее занимала, но дверь открылась, и вошел Жозеф, он нес письмо с широкой печатью: это письмо было адресовано мне, я сразу же его распечатал.

Министр иностранных дел просил меня прийти к нему.

Я показал письмо Мадлен.

Какая-то тревога сжала мне сердце: я понимал взаимосвязь этого письма со словами господина д'Авриньи, сказанными мне накануне по поводу моего отъезда, и я посмотрел на Мадлен испуганно, и, к своему большому удивлению, увидел, что лицо ее просветлело.

Я думал, что она не почувствовала в этом послании ничего необычного, и я решил ее не разубеждать. Я вышел, обещая ей скоро вернуться, и оставил ее с отцом.

Я не ошибся: министр был очень любезен со мной, он только хотел объявить мне лично, что некоторые политические события должны ускорить миссию, какую он мне поручает; я должен был готовиться к отъезду. В остальном, зная о моих обязательствах перед господином д'Авриньи и его дочерью, он позволил мне использовать столько времени, сколько необходимо, чтобы их к этому подготовить.

Я поблагодарил за это новое проявление доброты и обещал дать ему ответ в тот же день.

Я вернулся к господину д'Авриньи очень озабоченным, думая, каким образом я объявлю эту новость Мадлен. Я рассчитывал, признаюсь, на господина д'Авриньи,

обещавшего мне позаботиться обо всем, но господин д'Авриньи только что вышел, а Мадлен приказала тотчас же после моего возвращения попросить меня прийти к ней

Я колебался еще, но в то время, как горничная объясняла мне это, Мадлен позвонила, чтобы узнать, не вернулся ли я.

Я не мог медлить и поднял портьеру комнаты Мадлен, которая, без сомнения, узнала мои шаги, так как ее глаза смотрели в мою сторону.

И сразу же, как она меня заметила, она сказала мне:

— Ах, мой дорогой Амори, входите, входите, вы видели министра, не правда ли?

— Да,— ответил я, колеблясь.

— Я знала, о чем речь: он встретил вчера моего отца у короля и предупредил его, что вы должны уехать.

— О, моя дорогая Мадлен,— воскликнул я,— верьте, что я готов скорее отказаться от этого поручения, даже от моей карьеры, чем вас покинуть.

— Что вы такое говорите? — воскликнула живо Мадлен.— Какое безумие вы задумали? Нет, нет, нет, мой дорогой Амори, не делайте этого. Нужно быть благоразумным, и я не хочу, чтобы вы однажды могли меня обвинить в том, что я помешала вам в тот самый момент, когда судьба дает вам такой случай отличиться.

Я смотрел на нее с глубоким удивлением.

— Ну,— сказала она, улыбаясь,— что с вами? Вы не понимаете, дорогой Амори, как такая экзальтированная девушка, как ваша Мадлен, может сказать что-то разумное хотя бы раз в жизни?

Я подошел к ней и сел, как обычно, у ее ног.

— Вот на чем мы остановились, мой отец и я.

Я взял в свои руки ее похудевшие ручки и слушал.

— Я еще недостаточно окрепла, чтобы переносить поездку в коляске или на пароходе, но через пятнадцать дней, как уверяет мой отец, я смогу путешествовать без препятствий. Итак, вы уезжаете, а я за вами. Вы поедете, чтобы выполнить вашу миссию, в Неаполь, а я вас буду ждать в Ницце, куда вы прибудете почти одновременно со мной, благодаря пароходу, приводимому в движение паром. Это прекрасное изобретение — пар, не правда ли? А Фюльтон мне кажется самым великим человеком нашего времени.

— И когда я должен уехать? — спросил я.

— В воскресенье утром,— живо ответила Мадлен.

Я подумал, что в понедельник вы приедете из Виль-Давре и что я не увижу вас больше до моего отъезда.

Я собирался сказать об этом Мадлен, но она продолжала:

— Вы поедете в воскресенье утром, вы доедете на почтовой карете до Шалона — слушайте хорошо — так мне объяснил мой отец. Вы приедете в Марсель, чтобы сесть на государственный пароход, который отправляется первым в следующем месяце, и через шесть дней вы будете в Неаполе. Я даю вам десять дней, чтобы вы выполнили ваши поручения. Можно многое сделать за десять дней, не правда ли?

На одиннадцатый день вы уезжаете, и двадцать шестого или двадцать восьмого июля вы в Ницце, где мы ждем вас четыре или пять дней.

Только шесть недель отсутствия и все: соединившись под этим прекрасным небом, мы больше не расстанемся; Ницца будет нашей обетованной землей, нашим найденным раем, затем, после того, как я буду обласкана нежным воздухом Италии, убаюкана вашей любовью, мы поженимся; мой отец вернется в Париж, а мы продолжим наше путешествие. Великолепный план, не правда ли?

— Да, прекрасный в самом деле, — сказал я, — к несчастью, он начинается с разлуки.

— Друг мой, — возразила Мадлен, — я вам уже сказала, эта разлука необходима для вашего будущего, и я подчиняюсь с преданным смирением.

Я больше не возвращался к этому вопросу, ибо что-то было необъяснимое в этой необычной рассудительности такого избалованного ребенка, как Мадлен, но я напрасно ее спрашивал, торопил, атаковал всеми способами, она не выходила из своей системы самоотречения и считала необходимым удовлетворить министра, проявившего ко мне такой живой интерес

Это не кажется вам таким же странным, как и мне, Антуанетта? Я об этом думал весь день, я, который не осмеливался сказать ни слова о своем отъезде, об этой разлуке, а она пошла мне навстречу.

На самом деле, Антуанетта, прав тот, кто говорит, что сердце женщины — пропасть.

Весь остаток вчерашнего дня мы провели, строя планы; вслед за силой и здоровьем радость возвращалась к Мадлен.

Господин д'Авриньи не сводит с нее глаз, я видел, как он улыбнулся три или четыре раза, а эти улыбки заставляли сильнее биться мое сердце».

Амори — Антуанетте

«Сегодня произошло большое торжество: день, когда Мадлен было обещано спуститься в сад.

Погода стояла великолепная, никогда я не видел неба более чистого и более радостного; казалось, что вся природа была праздничной, дул легкий ветерок, необходимый, чтобы смягчить жару этих первых летних дней.

Я предложил господину д'Авриньи, чтобы предупредить любую случайность, отнести вместе с ним Мадлен в ее кресле. Она не захотела: ее самолюбие выздоравливающей больной было оскорблено, но, после обещания разрешить ей прогуляться по саду, она покорилась нам без сопротивления, и мы ее подняли вместе с креслом и отнесли в железную беседку.

Если бы вы были там, дорогая Антуанетта, вы бы увидели действительно великолепный спектакль: это зрелище молодости, возвращающейся к жизни, и к счастливой жизни, святой, обожаемой.

Ее грудь со стесненным дыханием поднималась, чтобы запастись воздухом.

Со своего кресла, не вставая, она хватала своими руками пучки сирени, жимолости, роз, прижимая их к груди, так целуя, точно они были ее подругами, с которыми она была навсегда разлучена; затем были восторги природе, благодарность Богу, слезы признательности отцу. Она сама походила на цветок среди этих цветов, на прекрасную лилию, покрытую розами.

Мы держались за руки, господин д'Авриньи и я, готовые плакать вместе с ней, и были счастливы несказанным и чистым счастьем, которое не имеет ничего земного. Только одного не доставало. Антуанетта: Антуанетта, если бы вы были здесь!

Наконец, эта сидячая жизнь, если так можно выразиться, показалась ей недостаточной, она встала, сделала мне знак подойти к ней и прижалась к моей руке.

Господин д'Авриньи подвинулся.

— Ах, отец,— сказала она,— вспомните, что вы мне обещали: позволить прогуляться в саду.

— О,— ответил господин д'Авриньи,— я разрешаю от всего сердца, но идите осторожно.

— Отец,— сказал я ему,— посоветуйте Мадлен опереться на меня.

И он ответил кивком головы.

Я думал, что он ревновал, видя, как Мадлен взяла мою руку, но, если это чувство и было в его сердце, то он быстро справился с ним, так как сделал знак рукой, чтобы мы пошли.

Мы осторожно удалялись.

Можно было подумать, что Мадлен видела впервые деревья, цветы и газон, все заставляло ее вскрикивать: жук — живой изумруд, который переходил дорогу, бабочка — летящий цветок, которую легкий ветерок переносил с одного куста на другой, бражник с длинным хоботком и такими стремительными крыльями, что можно было подумать, что он неподвижен. Никогда еще природа не казалась нам такой живой.

Каждый пучок травы, каждый куст, каждое шпалерное дерево, населенное миром насекомых, птиц, рептилий — красивых, легких, оживленных, жужжащих, кричащих, поющих — все ликовало так, будто благодарили Бога, которого мы должны были так благодарить.

Можете ли вы поверить, Антуанетта? Мы обошли весь сад, не произнеся ни слова. Только Мадлен воскликнула несколько раз радостно, в то время как я не сводил с нее глаз.

Только один раз, когда мы проходили по проталине, я посмотрел на отца. Он сидел в кресле, где до этого сидела она, и целовал цветы, которые она целовала.

К концу первого круга он пошел нам навстречу и внимательно посмотрел на дочь: она прекрасно перенесла эту маленькую усталость, и ее лицо, слегка оживленное слабым розовым цветом, разливавшимся по ее щекам, говорило о здоровье. Мадлен настаивала, чтобы сделать еще круг, но господин д'Авриньи был непреклонным и проводил ее к креслу.

Мы оставались в саду до трех часов пополудни, и во время этих четырех или пяти часов, проведенных на воздухе, Мадлен набралась сил, и мне кажется, что, покидая ее, я могу быть спокоен за ее здоровье.

Я не прощаюсь с вами, Антуанетта, а напишу вам прощальное письмо, и дам вам рекомендации, не оставлять ни на день Мадлен и всегда говорить с ней обо мне».

Суббота, 8 часов вечера.

«Завтра я уезжаю, дорогая Антуанетта, я не писал вам четыре дня, так как у меня не было ничего своего,

чтобы вам рассказать, и вы должны были узнать из двух писем, полученных от господина д'Авриньи, что Мадлен чувствует себя лучше.

Каждый из дней, которые прошли с тех пор, как я вам написал, — это повторение предшествующего дня, только с каждым днем Мадлен набиралась сил, и это под постоянным наблюдением господина д'Авриньи, который является примером отцовской любви

Теперь она встает самостоятельно, идет одна в сад и одна возвращается; я почти завидую такому хорошему здоровью, так как, похожая на ребенка, ускользнувшего из помочей, Мадлен не желает, чтобы ее кто-нибудь поддерживал.

В остальном, дорогая Антуанетта, вы имеете в ней нежную и очень искреннюю подругу, о чем я могу судить в течение нескольких дней.

День моего отъезда приближается и омрачает лицо Мадлен. Господин д'Авриньи, видя это облачко, говорит:

— Смелее, милое дитя, ты не останешься одна, я здесь, а в понедельник возвращается Антуанетта.

Тотчас же при этом обещании вашего возвращения облачко уплывает далеко, и Мадлен первая говорит:

— Да, да, ему нужно ехать.

И сегодня она сказала это, хотя отъезд назначен уже на завтра.

Однако я хорошо чувствую, что господина д'Авриньи беспокоит приближение моего отъезда.

Сегодня, когда в шесть часов вечера я покинул Мадлен, ее отец пошел за мной и, отойдя со мной в сторону, сказал:

— Мой дорогой Амори, вы собираетесь уехать, вы видите, как Мадлен благоразумна и как без всякого волнения она приходит в себя, следите за ней, берегите ее от волнений по поводу вашего отъезда, будьте холодны, если нужно: я боюсь сильных проявлений вашей любви.

Дважды вы уже видели эффект от этих слишком пылких ощущений.

В первый раз, когда вы ей сказали, что вы ее любите, — как ей стало плохо!

Во второй раз, когда вы танцевали с ней вальс и она чуть не умерла.

Ваше слово, ваше дыхание имеют на этот нервный и хрупкий организм фатальное влияние. Заботьтесь о

ней, как заботятся о цветке, и как я сделал теплым воздух, сделайте вашу любовь к ней чистой.

Я хорошо знаю, что это трудно для вас, молодого и пылкого, подумайте — это ее жизнь, Амори, и, если случится третий кризис, похожий на два других, я не ручаюсь ни за что. Впрочем, в момент отъезда я буду рядом.

Я ему обещал все, что он хотел, увы! Я хорошо вижу существование этого хрупкого ребенка, висящее на волоске, который может порваться от любого жестокого волнения, и я вижу, благодаря Богу, достаточно, чтобы согласиться сделать вид, что люблю ее меньше, чем на самом деле.

Затем я поднялся в свою комнату, чтобы написать вам эти несколько строк, которые я окончу позже, так как Мадлен велела сказать, чтобы я спускался, что она меня ждет».

XXIV

10 часов

«Ругайте меня, Антуанетта, так как боюсь, что совершил большую глупость. Я нашел Мадлен одну, она послала за мной, чтобы сказать мне, что рассчитывает увидеть меня наедине до моего отъезда. Дорогое дитя, невинное в душе, просило меня о свидании, в котором другая отказала бы мне, если бы я ее об этом попросил.

Верьте мне, если хотите, Антуанетта, но, связанный обещанием, данным господину д'Авриньи, я сначала хотел отдалить от себя этот час блаженства, какой в другое время я оплатил бы годом своей жизни.

Я ей сказал, что, без сомнения, миссис Браун получила указание от господина д'Авриньи; вы видите я твердо решил не поддаваться своему желанию.

— Но зачем говорить об этом миссис Браун? — ответила мне Мадлен.

— Как вы это сделаете? Миссис Браун отделяет от вас только перегородка, и при малейшем шуме, который она услышит, она подумает, что вам нездоровится, она войдет и найдет меня у вас.

— Да, без сомнения, если вы придете сюда, — ответила Мадлен.

— Куда же вы хотите пригласить меня?

— Не могли бы вы выйти в сад? Я к вам присоединюсь.

— В сад, подумайте только, дорогая Мадлен! А свежесть ночи?

— Разве вы не слышали вчера, как мой отец говорил, что следует бояться от восьми до девяти часов вечера,— то есть того часа, когда приходит ночь? Но когда эта первая свежесть исчезнет, наши ночи такие же теплые, как и дни; впрочем, я накину кашемировую шаль.

Я хотел отговорить ее, хотя уже чувствовал себя увлеченным, несмотря ни на что.

— Но,— сказал я ей,— разве необходимо, чтобы мы были наедине ночью?

— Мы ведь бываем наедине днем,— ответила она мне с восхитительной наивностью, которая вам знакома.

— Но, днем — это днем.. — возразил я.

— Ну какая разница? — спросила Мадлен.

— Большая, моя милая,— возразил я, улыбаясь.

— Но разве вы не жаловались когда-то, что во время путешествия отец будет нас стеснять? Вы рассчитываете, что будете наедине со мной днем и ночью?

— Но мы будем путешествовать только после нашей свадьбы

— Да, я заметила, что женщина имеет больше привилегий, в которых нам, молодым девушкам, отказывают, как будто церемония бракосочетания сразу же может превратить безумного ребенка в разумное существо, в остальном разве мы как бы не женаты? Разве каждый не знает, что мы должны стать мужем и женой? И разве мы ими не были бы уже, не окажись я так жестоко больна?

Я затруднялся ей ответить.

— Вы мне теперь не откажете? — продолжала Мадлен — Очень любезно будет с вашей стороны, если вы уедете в то время, когда вы должны о многом мне сказать, дать мне обещания. Вы не узнаете, когда уедете, как я буду несчастна. По крайней мере будет лучше, если вы уедете, сказав мне несколько добрых и нежных слов, которые доставят мне столько удовольствия, так как будут исходить от вас.

Я нашел свое положение смешным и мой ригоризм дерзким, я обещал себе следить за собой и за ней, и я обещал быть в саду в 11 часов.

На самом деле, моя дорогая Антуанетта, надо быть благоразумным, как семь мудрецов Греции одновременно, чтобы быть строгим к такой прелестной просьбе.

Я ей только посоветовал хорошо закутаться, что она мне и обещала, когда вошел ее отец.

В 10 часов мы вышли вместе.

— Вы видите, Амори,— сказал он мне,— я положился на ваше слово, и я оставил вас наедине с Мадлен..— Я хорошо понял, бедное дитя, что у вас есть о чем сказать с вашей стороны — и я вас за это благодарю — вы были благоразумны. Вы видите, что и моя бедная Мадлен спокойна, она проведет спокойную ночь...

— Завтра утром я вас оставлю еще на час наедине, и через шесть недель вы встретите в Ницце вашу будущую жену, здоровую и счастливую

Меня мучили угрызения совести, я был готов во всем ему признаться, но что сказала бы Мадлен?

Без сомнения, неудовольствие, которое она бы испытала, причинило бы ей больше вреда, чем наша встреча.

Впрочем, как я себе обещаю, я буду следить за собой. Пробыло одиннадцать часов, спокойной ночи, Антуанетта, я вас покидаю ради Мадлен

Два часа утра

Сразу же, как вы получите это письмо, Антуанетта, покиньте Виль-Давре и быстро приезжайте в Париж. Вы нам здесь очень нужны. Боже мой, Мадлен умирает!

О, как я несчастен!

Приезжайте, приезжайте!

Амори»

Господин д'Авриньи — Антуанетте

«Как бы ты нам ни была нужна, какое бы беспокойство ты ни испытывала, узнав о состоянии моей дочери, не приезжай, дорогая Антуанетта, пока Мадлен тебя не попросит об этом

Увы, я боюсь, что она тебя скоро не попросит.

Пожалей меня, ты знаешь, как я тебя люблю

*Твой дядя
Леопольд д'Авриньи».*

XXV

Вот что случилось.

Окончив писать письмо Антуанетте, Амори покинул свою комнату; никто его не видел, никто не встретил, он прошел через большую гостиную, остановился у двери Мадлен и не услышал никакого шума; без сомнения, Мадлен уже сделала вид, что легла, чтобы миссис Браун ушла; он вышел на крыльцо и прошел в сад

У Мадлен все закрыто: ставни и занавески. И нельзя было увидеть тень от света; единственное окно на фасаде светилось — окно господина д'Авриньи

Амори посмотрел на это окно с выражением, похожим на угрызение совести.

Отец и возлюбленный следили за Мадлен, но какая разница в этом бдении!

Один, преданный любви, следил за ней, советуясь с наукой, чтобы вырвать ее из рук смерти.

Другой из эгоистической любви согласился на свидание, хотя знал, что это свидание может быть гибельным для той, которая о нем просила.

Амори подумал на миг, что нужно вернуться и сказать Мадлен через дверь:

«Оставьте у себя, Мадлен, ваш отец бодрствует и может нас увидеть».

Но в это время свет в окне господина д'Авриньи вдруг погас, и на крыльце появилась тень, нерешительно спускавшаяся по ступеням. Амори бросился навстречу, забыв обо всем, так как этой тенью была Мадлен.

Мадлен вскрикнула и оперлась на руку своего возлюбленного, дрожащая от волнения, понимая, что поступает плохо; Амори чувствовал, как бьется ее бедное сердце рядом с его.

На мгновение оба остановились, не говоря ни слова и почти не дыша — так велико было их волнение.

Наконец Амори проводил девушку в беседку, окруженную сиренью, розами, жасмином, где она обычно располагалась днем; когда она села на скамью, он устроился рядом с ней.

Мадлен была права, не боясь ночной свежести. Наступила одна из летних прелестных ночей, теплых, чистых и усыпанных звездами; взгляд, поднимаясь к небу, казалось, проникал в бесконечные незнакомые глубины, где блестели в пыли алмазов почти невидимые звезды.

Мягкий ветерок, как дыхание листвы, пробежал по ветвям деревьев.

Тысячи шумов столицы удалились, умирая, и уступили место глухому и далекому рокоту, который не прекращался никогда и который считается дыханием спящего города.

Соловей пел в глубине сада, останавливаясь вдруг, чтобы начать снова свою капризную песню, а она то расцветала нежной и сладкой мелодией, то вспыхивала светлыми нотами, пронзительными и громкими.

Это была одна из тех гармоничных ночей, созданных для соловьев, поэтов и влюбленных

Подобная ночь должна бы произвести глубокое впечатление на такое нервное создание, как Мадлен.

Казалось, она впервые дышала этим легким ветерком, видела впервые эти звезды, слышала впервые эти звуки. Можно было сказать, что она всеми своими порами вдыхала благоухание, запахи этой прерывисто дышавшей ночи. Ее лицо, запрокинутое назад, смотрело на небо в счастливом экстазе, и две слезы, похожие на две капли росы, упавшие с кустов сирени, что качались над ее головой, скатились с ресниц и текли по ее щекам.

На Амори эта ночь тоже оказала сильное действие, он жадно дышал пьянящими ароматами ночи, и если на Мадлен они наводили только мягкую истому, то для Амори превращались в огненные потоки, клокочущие в его молодых венах.

Оба хранили недолгое молчание, наконец Мадлен заговорила первая.

— Какая ночь, Амори! — сказала она. — И ты думаешь, что в Ницце, климат которой считают мягким, будут более прекрасные ночи! Не скажем ли мы до того, как разлучимся, что Бог нам дает возможность, чтобы я сохранила в своем сердце и чтобы унес в твоём сердце воспоминание об этой ночи?

— Эта ночь разбудила в моем сердце все чувства, спавшие до сих пор. Разве я тебе когда-нибудь говорил, что я тебя люблю, Мадлен! Тогда я лгал или говорил не так, как должен был бы сказать это! Слушай: я люблю тебя, Мадлен, я люблю!

И на самом деле, молодой человек произнес эти слова так страстно, что та, к кому он обращался, вздрогнула всем телом.

— Я тоже, — сказала она, уронив голову на плечо Амори, — я тоже тебя люблю!

Амори закрыл на мгновение глаза, чувствуя эту милую тяжесть, ему казалось, что он готов был потерять сознание от счастья.

— О, Боже мой! — сказал он. — Когда я думаю, что завтра я тебя покину, моя обожаемая Мадлен, когда я думаю, что не увижу тебя шесть недель, — а может быть, и два месяца, — и при встрече третий помешает мне упасть к твоим ногам, целовать их, прижимать тебя к сердцу, клянусь тебе, я готов от всего отказаться ради тебя!

И молодой человек обвил гибкий стан Мадлен, которая согнулась под его рукой, приблизившись к нему.

— Нет, нет,— прошептала Мадлен,— мой отец прав, Амори, тебе нужно уехать, нужно, чтобы я собралась с силами, чтобы нести нашу любовь; ты знаешь, она может убить меня, бедную тростинку. Понимаешь ли ты, Амори, что я могла бы умереть, и вместо того, чтобы быть вместе с тобой, живой, веселой, полной счастья, я лежала бы в этот час, скрестив руки, в могиле? Ну что с тобой, мой любимый?

— О, мой Бог! — воскликнул Амори.— Не произноси подобных слов, Мадлен, ты сводишь меня с ума!

— Хорошо, не буду. Вот я любима, вот я счастлива и, благодаря Богу, спасена и возвращаюсь к жизни, вот я рядом с тобой в эту прекрасную благоухающую ночь, когда все говорит о любви. Слушай: тебе не кажется, что ты слышишь ангелов, которые шепчут друг другу слова, похожие на наши?

Девушка остановилась и прислушалась.

В это время подул легкий бриз и взметнул длинные волосы Мадлен, кончики надушенных локонов коснулись лица Амори — он, в свою очередь, слишком слабый для подобного ощущения, откинул назад голову и вскрикнул

— Ах, смилуйся,— прошептал он,— смилуйся, Мадлен, пожалей меня!

— Пожалеть тебя, Амори, разве ты несчастлив? Ах, я не знала, но мне кажется, любимый, что я на небесах. Скажи мне, разве счастье, подобное нашему,— это не счастье, которое нас ожидает в раю? Разве существует, может существовать большее счастье?

— О, да, да,— шептал молодой человек, открывая глаза и увидев прекрасную голову Мадлен, склоненную над ним,— о да, еще большее.

И он обвил руками шею девушки, приблизив свою голову к ее голове, ее волосы вновь касались его лица, ее дыхание смешалось с его дыханием.

— И каково оно, бог мой? — спросила Мадлен.

— Это говорится тогда, когда двое в одном поцелуе... я люблю тебя, Мадлен.

— Я люблю тебя, Ам...

Губы молодого человека коснулись в это время губ девушки, и слово, начатое с невыразимой любовью, закончилось криком от невыносимой боли.

При этом крике Амори живо отпрянул с капельками пота на лбу. Мадлен упала на скамью, положив

руку на грудь, приложив другой рукой свой платок к губам.

Ужасная мысль промелькнула в голове Амори, он упал на колени перед Мадлен, обнял ее рукой и отнял платок от рта.

Несмотря на темноту, он смог увидеть, что на нем были пятна крови.

Тогда он взял Мадлен на руки и бросился бежать, как безумный, он унес ее, молчаливую и задыхающуюся, в ее комнату, положил на кровать и, подбежав к звонку кабинета д'Авриньи, потянул за шнур, едва не оборвав его.

Затем, понимая, что не сможет вынести взгляд этого несчастного отца, он выбежал из комнаты и, похожий на человека, совершившего преступление, удалился в свою комнату.

XXVI

Амори провел так целый час, ничего не говоря, не дыша, слушая за приоткрытой дверью все шумы, какие раздавались в доме, не осмеливаясь спросить, что случилось, и испытав все пытки, которые отделяют сомнение от отчаяния.

Вдруг он услышал шаги по лестнице, они приближались к его комнате, и, наконец, он увидел на пороге старого Жозефа.

— Жозеф,— прошептал он,— а как Мадлен?

Жозеф, ничего не отвечая, протянул Амори письмо.

В этом письме была единственная строка, написанная господином д'Авриньи: «На этот раз она умрет, и это вы ее убили»

Легко понять, какую ужасную ночь провел Амори.

Его комната находилась над комнатой Мадлен. Всю ночь он провел лежа, приложив ухо к паркету, вставая только, чтобы открыть дверь, в надежде увидеть проходящих слуг, у кого он мог узнать новости.

Время от времени он слышал быстрые шаги, свидетельствующие, что кризис усиливается, иногда раздавался кашель, который разрывал грудь больной.

Наступил день: мало-помалу шум в комнате Мадлен стих, Амори надеялся, что она уснула.

Он спустился в малую гостиную, долго прислушивался у двери в спальню, не осмеливаясь зайти, не желая подняться к себе, как будто прикованный к месту.

Вдруг дверь открылась, Амори отступил на шаг: это был господин д'Авриньи, выходящий из комнаты Мадлен, темное лицо его при виде Амори приняло оттенок ужасной строгости.

Амори почувствовал, что ноги его не держат, и упал на колени, прошептав одно слово: «Простите!»

Наконец, он почувствовал, что господин д'Авриньи взял обе его руки в свою,— только рука господина д'Авриньи была холодна как лед.

— Встаньте, Амори,— сказал он ему,— это не ваша вина, это вина природы, что делает из любви для одних — живительное влияние, а для других — убийственный миг. Я предвидел все это, и вот почему я хотел, чтобы вы уехали.

— Отец мой, отец! — воскликнул Амори.— Спасите ее, спасите! Пусть я даже больше ее не увижу.

— Спасти ее! — прошептал господин д'Авриньи.— Вы думаете, меня надо просить, чтобы я ее спас, это не меня надо просить, а Бога.

— У вас нет никакой надежды? Значит, мы приговорены безвозвратно?

— Все, что человеческая наука может сделать в подобном случае,— ответил господин д'Авриньи,— будьте спокойны, я это сделаю, но наука бессильна против болезни, достигшей стадии, в которой Мадлен находится.

И две большие слезы упали с бесчувственных век старика.

Амори ломал руки с выражением такого отчаяния, что господин д'Авриньи пожалел его.

— Послушай,— сказал он молодому человеку, прижимая его к своему сердцу,— у нас одна миссия: сделать так, чтобы смерть была как можно более легкой. Я — своим искусством, ты — своей любовью. Выполним эту миссию преданно; поднимись к себе, и как только ты сможешь увидеть Мадлен, я тебя позову.

Молодой человек был готов к упрекам, рыданиям и оказанию смущен этой страдающей добротой, он бы предпочел ей проклятье.

Он поднялся к себе и хотел написать Антуанетте, но не смог выразить свои мысли. Он отбросил перо далеко от себя и уронил голову на стол.

Он оставался неподвижным неизвестно сколько времени; чей-то голос вывел его из забытья, это был голос Жозефа.

— Господин д'Авриньи,— сказал он,— прислал меня предупредить господина Амори, что он может спуститься.

Амори встал, не произнося ни слова, и последовал за старым слугой, у двери он остановился, не осмеливаясь войти.

— Войдите, Амори,— сказала Мадлен, делая усилия, чтобы говорить громче,— входите же.

Бедная больная узнала шаги своего возлюбленного.

Амори был готов броситься в комнату, но он понял, какое волнение могло вызвать подобное появление. Он придал лицу соответствующее выражение, тихо открыл дверь с улыбкой на губах, но с тоской в сердце

Мадлен протянула обе руки к нему, пытаясь приподняться, но это усилие было слишком велико при ее слабости; она упала, обессиленная, на подушку.

Тогда все его спокойствие испарилось. Видя ее такой бледной и немощной, он вскрикнул от горя и бросился к ней.

Господин д'Авриньи встал, но Мадлен протянула ему руку с жестом такой трогательной просьбы, что он упал в кресло и прижался головой к этой руке.

Затем наступило длительное молчание, прерываемое только рыданиями Амори

Все повторялось так, как пятнадцать дней тому назад: только теперь это был рецидив болезни.

XXVII

Амори — Антуанетте

«Буду я жить или умру?»

Вот вопрос, который я задаю себе каждый день, глядя на слабеющую Мадлен, и мечты мои угасают. Клянись вам, Антуанетта, не из кокетства каждое утро я спрашиваю у ее отца:

— Как наше здоровье?

И когда он отвечает: — «Ей хуже», — я удивляюсь, почему он не говорит: «Вам хуже»

В конце концов я не могу больше заблуждаться, хотя сначала моя недоверчивость бунтовала против приговора медицины, моя надежда тает. Прежде, чем опадут последние листья, Мадлен уйдет из этого мира.

Антуанетта, клянись вам, надо будет рыть сразу две могилы.

Видит Бог, я говорю это без горечи и, однако, не могу запретить себе думать, что нет судьбы более жалкой и более печальной, чем моя. Я приблизился к порогу величайшего счастья и упал, прикоснувшись к этому порогу; я видел все радости мира и потерял их; все обещания судьбы исчезли одно за другим. Богатый, молодой, любимый, чего я еще мог желать, кроме жизни, а я умру с последним вздохом моей обожаемой Мадлен.

И когда я думаю, что именно я...

Боже мой, если бы я нашел тогда мужество и отказался от этого свидания! Но она могла подумать, что я не люблю, и любовь ее остыла бы. Если быть совершенно искренним, то осмелюсь сказать, я предпочитаю, чтобы все было так, как случилось. Ведь я уверен, что умру вместе с ней.

Какое благородное сердце у господина д'Авриньи, Антуанетта! После того письма ни одного слова упрека не слетало с его губ. Он продолжает называть меня «сын мой», будто догадывается, что я жених Мадлен не только в этом мире, но и в другом.

Бедная Мадлен! Она не замечает, что часы ее сочтены. Благодаря странной причуде ее болезни, она не замечает опасности, она говорит о будущем, она строит планы, она думает о нашей совместной жизни.

Никогда я не видел ее более прелестной и внимательной ко мне, каждую секунду она ругает меня за то, что я не помогаю ей строить замки, увы, на песке.

Сегодня утром она заставила меня ужасно страдать

— Друг мой,— сказала она мне,— мы с вами вдвоем, поэтому дайте мне бумагу и чернила, я хочу писать.

— Как, Мадлен!— вскрикнул я.— Вы так слабы!

— Так что ж, Амори. Вы меня поддержите.

Я замер, неподвижный, разбитый, не будучи в состоянии произнести хоть слово. Неужели она поняла, наконец, наше несчастье? Неужели роковое предчувствие предупредило ее, что конец близок? Неужели она хочет написать свою последнюю волю? Может быть, она хочет сделать завещание?

Я принес ей то, что она просила. Но как я и предвидел, она была слишком слаба, хоть я и поддерживал ее, голова у нее кружилась, перо выпало из пальцев, и она упала на подушки.

— Вы правы, Амори,— сказала она через мгновение.— Я не могу писать. Пишите вы, а я буду диктовать.

Я взял перо и, полный тревоги, приготовился писать. Она же начала диктовать план нашей жизни, который она обдумывала час за часом.

А завтра господин д'Авриньи хочет созвать консилиум, так как отец не доверяет себе самому как врачу. Консилиум — это значит, что шесть человек, одетых в черное, шесть судей торжественно придут вынести приговор жизни или смерти. Ужасный суд, который берет на себя смелость угадать Божью волю.

Я попросил, чтобы меня предупредили, как только они придут. Они не будут осматривать Мадлен, так как господин д'Авриньи боится, как бы их появление не вывело бедную больную из ее заблуждения.

Они не будут знать, что речь идет о дочери их собрата. Господин д'Авриньи опасается, что из жалости они скроют от него истину.

Я же собираюсь присутствовать на этом консилиуме, спрятавшись за портьерой. Ни отец, ни врачи не будут знать об этом.

Я вчера спросил у него, с какой целью он решился на этот консилиум.

— Здесь нет цели,— ответил он,— есть только надежда.

— Какова же надежда,— спросил я, цепляясь, как потерпевший кораблекрушение, за эту соломинку, плавающую на поверхности мсего отчаяния.

— Может быть, я ошибся или в болезни, или в лечении. Именно поэтому я созвал тех, кто следует принципам, чуждым мне. Видит Бог, пусть они превзойдут меня в познаниях, пусть они меня унижат, пусть они меня раздавят, пусть, наконец, они решат, что я невежественнее сельского цирюльника. И тогда, клянусь вам, Амори, я буду рад моему ничтожеству. Пусть один из них вернет мне дочь, а вам невесту. Я не собираюсь походить на тех пациентов, которые обещают вам половину своего состояния, а излечившись, посылают с лакеем двадцать пять луидоров. Нет, спасителю моей дочери я скажу: «Вы — бог медицины, вы всемогущий исцелитель. Вам принадлежат эти пациенты, эти почести, эти титулы, эти награды, эта слава. Я украл все это у вас, только вы заслуживаете всего этого».

— Но, увы,— добавил он после горестного молчания, качая головой,— боюсь, что я не ошибся.

Мадлен просыпается, я иду к ней. До завтра.

Сегодня утром в 10 часов Жозеф зашел предупредить, что доктора собрались в кабинете господина д'Авриньи. Я тотчас прошел в библиотеку, и там, спрятавшись за стеклянной дверью, я убедился, что могу все слышать и видеть. Они собрались там, знаменитости медицинского факультета, князя науки, носители шести имен, равных которым нет в Европе; однако, когда вошел господин д'Авриньи, они склонились перед ним, как придворные перед королем.

На первый взгляд, он казался совершенно спокойным, но я заметил по стиснутым зубам и изменившемуся голосу его скрытое волнение.

Господин д'Авриньи заговорил; он изложил им причину, по которой он их созвал, рассказал им о смерти матери Мадлен, о болезненности девочки в детстве, о тех предосторожностях, какие он принимал при ее взрослении, о своих опасениях, когда приблизился возраст страстей, о любви Мадлен ко мне. Он рассказал все это, ни разу не упомянув ее или мое имя.

Он рассказал о колебаниях отца, у которого просят руку его дочери, о вспышках болезни, чьей жертвой она едва не стала, и я с ужасом почувствовал, что приближается роковая минута, и он начнет обвинять меня. Наконец, он рассказал о последней катастрофе, угрожающей жизни больной, за которую он борется со дня ее рождения.

О, признаюсь, я вынужден опереться о стену. Но он меня не обвинял, он просто изложил факты.

Затем, после истории больной, он перешел к истории болезни, проследившая ее во всех фазах, анализируя во всех проявлениях, показывая им развитие смерти в груди Мадлен, делая, если можно так сказать, вскрытие своей живой дочери, и все это с такой силой, с такой четкостью, что даже я, абсолютно чуждый этой науке, смог увидеть, как прогрессировало разрушение.

Боже мой! Несчастный отец! Он увидел, угадал все это и смог это перенести.

Каждое слово выслушивалось с необычайным вниманием, описание каждой фазы болезни встречалось бесконечными похвалами его наблюдательности.

Когда он посвятил их в ужасное состояние отца, знающего о болезни своего ребенка, когда он рассказал им о страданиях, убивающих нас троих, они назвали его своим учителем и своим королем.

Как это очевидно! Какая глубина анализа! От него ничто не ускользнуло! Это чудо исследования! Он увидел все так же отчетливо, как увидел бы Бог

А он тем временем вытирал пот со лба, ибо последняя надежда уходила: было ясно, что он не ошибся.

Но, если он не заблуждается в появлении, течении и развитии болезни, может быть, он ошибся в избранном пути лечения?

Он заговорил о средствах, примененных в борьбе с недугом. Он перечислил способы лечения, заимствованные в познаниях других и найденные им самим. Он назвал лекарства, какие использовал для борьбы с постоянно возрождающейся чахоткой. Что еще можно было сделать?

Он думал об одном лекарстве, но оно оказалось слишком сильным, он подумал о другом, но оно оказалось слишком слабым. Он обращался к своим братьям, так как он приблизился к границе человеческого знания

На мгновение ученые мужи замолчали, и я увидел проблеск надежды на лице господина д'Авриньи.

Вне всякого сомнения, он ошибся. Разумеется, он не знал надежного средства, и сейчас его ученые братья, прослушав его детальный анализ, смогут предложить простое, эффективное лекарство для спасения его дочери. Вот почему они молчали и сосредоточенно размышляли.

Но, увы, это было молчание, вызванное восхищением и удивлением, и вскоре похвалы возобновились, еще более цветистые и ужасные в своей безнадежности.

Господин д'Авриньи — звезда французской медицинской науки.

Все, что можно было сделать, он сделал. Ни одной ошибки, ни одного неверного шага. Они восхищены той длительной борьбой, которую человек вел с природой; увы, границы научного знания небеспредельны, больше ничего нельзя сделать, все средства исчерпаны. Если бы *субъект* болезни не был поражен изначально смертельным недугом, он бы излечил больного. Но какое бы чудо он ни совершил, ясно, что через две недели *субъект* умрет.

Я увидел, как при этих словах господин д'Авриньи побледнел, ноги у него подкосились, и он, рыдая, упал в кресло.

— Но, сударь,— спросили у него доктора,— почему вы так заинтересованы в этом *субъекте*?

— Ах, господа!— воскликнул бедный отец дрожащим голосом.— Это моя дочь!

Больше я не мог сдерживаться. Я вбежал в кабинет и бросился в объятия господина д'Авриньи.

Тогда эти ученые мужи поняли и молча удалились, кроме одного, который подошел к господину д'Авриньи. Это был один из тех врачей, к которым господин д'Авриньи относился неодобрительно и даже считал их своими врагами.

— Сударь,— сказал он ему,— моя мать умирает, как и ваша дочь. Как вы сделали все, чтобы вылечить дочь, так и я старался найти средство для излечения матери. Еще сегодня утром, направляясь сюда, я был убежден, что больше ничего найти нельзя. Теперь надежда вернулась ко мне: я доверяю вам свою мать, сударь, вы ее спасете.

Господин д'Авриньи вздохнул и протянул ему руку.

Затем мы вошли в комнату Мадлен, которая с улыбкой приняла нас, не подозревая, что для нас она была уже мертва».

XXVIII

Амори — Антуанетте

«Предпоследнюю ночь у постели Мадлен дежурил господин д'Авриньи. Но и я, лежа в своей комнате, не сомкнул глаз.

За последние пять недель, кажется, я спал не более двух суток. Вскоре, к счастью, мне предстоит долгий-долгий отдых...

Уверяю вас, тот, кто видел меня два месяца назад подвижным, веселым, полным надежды, не узнал бы сейчас мое бледное лицо и покрытый морщинами лоб. Я сам чувствую себя разбитым и постаревшим, за сорок дней я прожил сорок лет.

Сегодня утром, так и не сумев заснуть, в семь часов я спустился вниз и встретил господина д'Авриньи, вышедшего из комнаты дочери. Он едва заметил меня. Казалось, только одна мысль владела им. За шесть недель он не написал ни строчки в дневнике, где он освещал события своей жизни.

Дело в том, что эти дни полны горечи, но событий не было. На следующий день после возобновления болезни он написал:

«Она снова больна».

И все. Увы, я знаю заранее, что он напишет после этих слов.

Я остановил его и спросил, как дела.

— Ей не стало лучше, но она спит,— рассеянно сказал он, не глядя на меня,— миссис Браун около нее. Я сейчас приготовлю ей лекарство.

На следующий день после бала господин д'Авриньи превратил одну из комнат особняка в аптеку, и все, что Мадлен принимает, приготовлено его руками.

Я направился к комнате больной. Он остановил меня, избегая моего взгляда:

— Не входите. Вы ее разбудите!

Не обращая на меня внимания, он пошел дальше с застывшим взглядом, опущенной головой, одолеваемый единственной мыслью.

Не зная, что делать до пробуждения Мадлен, я отправился в конюшню, оседлал Стурма, вскочил в седло и пришпорил коня. Вот уже месяц я не выходил из особняка, и мне хотелось свежего воздуха.

Приехав в Булонский лес и пересекая Мадридскую аллею, я вспомнил прогулку, совершенную три месяца назад совсем в других условиях. В тот день я был на пороге счастья, сегодня — на пороге отчаяния.

Сентябрь едва начинается, а листья уже падают. Лето было очень жаркое, без обычных теплых дождей и легкого ветра. Осень наступит в этом году очень рано. Она придет и уйдет цветы Мадлен.

Хотя только пробило 10 часов утра и было холодно и пасмурно, на аллеях было довольно много гуляющих. Перескакивая через изгороди и рвы, конь домчал меня до ворот Марли. К 11 часам я вернулся, разбитый усталостью и полный отчаяния. Но я почувствовал, что усталость тела уменьшает страдания души.

Мадлен только что проснулась.

Бедное дитя! Она совсем не страдает! Она тихо умирает и не замечает этого.

Она упрекнула меня за долгое отсутствие: она беспокоилась обо мне. Только о вас, Антуанетта, она никогда не говорит. Понимаете ли вы это молчание?

Я подошел к ней и извинился. Я думал, что она спит.

Не дав мне закончить, в знак прощения она протянула мне для поцелуя свою маленькую пылающую руку. Потом она попросила почитать немного из «Поля и Виргинии».

Я открыл страницу на сцене прощания героев и с трудом сдержал слезы.

Время от времени входил господин д'Авриньи, но тотчас выходил с озабоченным видом. Мадлен мягко упрекнула его за эту занятость, но он едва ее выслушал и ничего не ответил.

Мне кажется, углубившись в изучение болезни, он перестал видеть дочь.

Он вернулся около шести часов вечера, принес успокаивающую микстуру и предписал полный покой».

XXIX

«Сегодня вечером дежурил я.

Господин д'Авриньи, миссис Браун и я по очереди дежурили всю ночь. Кроме того, помогает сиделка. Хотя я был истерзан усталостью и горем, я настоял на своем праве, и господин д'Авриньи удалился без возражений.

Мадлен уснула так спокойно, словно время ее не было отмерено судьбой. Мне же не давали уснуть мои печальные мысли.

Однако к полуночи взгляд мой затуманился, голова отяжелела, и после короткой борьбы со сном я уронил ее на край постели Мадлен. И словно для того, чтобы вознаградить меня за эти горестные бдения, начался прекрасный и счастливый сон.

Была спокойная, звездная июньская ночь. Мы с Мадлен гуляли по незнакомой местности, которую я тем не менее узнавал. Мы шли берегом моря, беседуя и восхищаясь игрой лунного света на серебристых волнах. Я называл ее женой, а она отвечала мне «Амори» таким нежным голосом, какого нет и у ангелов небесных.

Вдруг сон мой прервался на середине, и я увидел темную комнату, белую постель, слабый ночник; рядом сидел господин д'Авриньи, суровый и невозмутимый, грустным взглядом созерцая свою спящую дочь.

— Видите, Амори, вы напрасно настаивали на дежурстве,— сказал он холодно.— Я хорошо знаю, что в

двадцать три года сон нужен больше, чем в шестьдесят
Идите отдыхать, мой друг. Я подежурю.

В его словах не было ни язвительности, ни насмешки, скорее наоборот, отеческое сочувствие к моей слабости. И все-таки, не знаю почему, я почувствовал в сердце глухое раздражение и неожиданную ревность.

Он мне кажется сверхъестественным существом, он не Бог, но и не человек, он не подвластен никакому человеческому волнению, он не нуждается в еде и во сне. В этом месяце он ни разу не ночевал в своей спальне. Он постоянно начеку, он сидит у постели, задумчивый, печальный, ищущий.

Этот человек словно сделан из железа!

Я не захотел подниматься к себе, я спустился в сад и сел на скамью, где мы когда-то сидели с Мадлен.

Мельчайшие события той ночи возникли в моей памяти.

На фасаде дома тускло светилось единственное окно: окно комнаты Мадлен.

Я смотрел на этот дрожащий слабый свет, сравнивал с ним ту жизнь, которая еще теплится в теле моей любимой, как вдруг и этот свет угас. Я содрогнулся, оставшись в полной темноте.

Не было ли это отражением моей собственной судьбы?

Уходит единственный луч света, освещавший сумерки моей жизни.

Заливаясь слезами, я вернулся в свою комнату».

Амори — Антуанетте

«Я ошибался, Антуанетта. Господин д'Авриньи, как и все, имеет минуты усталости и отчаяния. Сегодня утром я вошел в его кабинет и увидел, что он сидит за столом, положив голову на руки.

Я подумал, что он спит, и подошел к нему, чувствуя смущение от того, что обнаружил в этом человеке нечто человеческое; но нет, услышав шаги, он поднял голову, и я увидел слезы, текущие по его лицу.

Я почувствовал, что у меня сжалось сердце. Впервые я видел его слезы. Пока он казался спокойным, я верил, что есть надежда.

— Значит, всякая надежда спасти ее исчезла! — воскликнул я.— И вы больше не знаете ни одного средства, не можете придумать ни одного лекарства?!

— Ни единого,— ответил он.— Вчера я составил новое лекарство, но оно столь же бесполезно, как и прежние. Ах, что такое наука? — продолжал он, вставая и широко шагая по кабинету.— Это тень, это слово. Если бы речь шла о том, чтобы продлить жизнь старика, оживить кровь, обедненную возрастом, если бы речь шла, например, обо мне, тогда можно было бы постичь беспомощность человека в борьбе с природой, в борьбе против небытия. Нет, надо спасти дитя, рожденное вчера, надо спасти жизнь совсем молодую, совсем юную, которая просит только одного — позволить ей продолжать свое существование. Ее нужно вырвать у болезни, а я не могу, я не в состоянии!

И бедный отец в отчаянии ломал себе руки, а я смотрел на него неподвижно и безмолвно, столь же беспомощный в своем невежестве, как он — в своем знании.

— Я думаю,— продолжал он, словно обращаясь к самому себе,— если бы все, кто занимается искусством врачевания, выполняли свой долг и работали так же, как я, наука продвинулась бы дальше. Трусы! В ее нынешнем состоянии для чего она нужна? Неужели только для того, чтобы сообщить мне, что через неделю моя дочь умрет?

Я глухо вскрикнул.

— Нет! — воскликнул он с чувством, похожим на бешенство.— Нет, я спасу ее, я найду эликсир, чудо-средство, секрет бессмертия, наконец даже если потребуются приготовить его из собственной крови. Я найду это средство, и она не умрет, она не может умереть!

Я подошел к нему и заключил его в свои объятия. Мне показалось, что он сейчас упадет.

— Послушай, Амори,— сказал он.— Две мысли постоянно преследуют меня, и я боюсь, что сойду с ума. Первая: если бы мы могли сейчас же, без толчков, без утомления перевезти Мадлен в более мягкий климат, в Ниццу, Мадеру или Пальму, она осталась бы жива.

Почему же Бог дал отцам великую любовь и не дал им власть, равную этой любви, власть диктовать врсмени, преодолевать пространство, волновать землю. Боже, несправедливо и кощунственно, что им не дана такая сила.

Другая мысль преследует меня: может быть, через день после смерти моей дочери кто-нибудь найдет, или я сам открою лекарство от болезни, которая ее убила. И если я найду его, знаешь, Амори, я никому об этом не

скажу: какое мне дело до дочерей других! Их отцы не должны были позволить умереть моей.

В этот момент вошла миссис Браун и сообщила господину д'Авриньи, что Мадлен проснулась.

И я увидел, Антуанетта, удивительную вещь: власть этого человека над самим собой. Усилием воли искаженные черты его лица приобрели обычное спокойствие. Только с каждым днем это спокойствие становилось все более угрюмым.

Он спустился вниз, попросив меня остаться. Я не обладаю таким стоицизмом, и мне требуется гораздо больше времени, чтобы успокоиться. Поэтому я провел в кабинете около получаса, чтобы придать моему лицу безмятежное выражение.

В это время я и пишу вам, дорогая Антуанетта».

Амори — Антуанетте

«Какого ангела теряет земля!

Сегодня утром я долго смотрел на Мадлен, я любовался ее длинными белокурыми волосами, разметавшимися по подушке, белизной ее кожи, ее большими грустными глазами. Она была прекрасна той неземной красотой, какую придают последние мгновения жизни, и я говорил себе:

— Этот голос, этот взгляд, эта глубокая любовь, скрытая в ее улыбке, разве это не душа? Что, если не душа? Разве может умереть душа?

И все-таки она умирает!

И эта уходящая прелесть не будет моей, как не была ей никогда! И в день последнего суда ангел, который призовет Мадлен, чтобы она стала таким же ангелом, не назовет ее моим именем.

Бедное дитя, она уже понимает, что солнце ее дней гаснет, печальные предчувствия посещают ее. Сегодня утром, остановившись у дверей ее комнаты, как я обычно это делаю, чтобы собраться с силами, я услышал, как она говорит господину д'Авриньи своим нежным голосом:

— Я чувствую себя очень плохо! Но ты меня спасешь, отец, не правда ли? Ты ведь знаешь, если я умру, он тоже умрет,— добавила она тихо.

Да, дорогая Мадлен, если ты умрешь, я тоже умру.

Я вошел и опустился на колени около ее кровати. Она сделала отцу, собравшемуся отвечать, знак мол-

чать. Моя бедная Мадлен, она думает, что я не подозреваю о ее состоянии, и хочет скрыть от меня свои предчувствия.

Она протянула мне руку и, когда я встал, попросила пройти в малый салон и сыграть еще раз ее любимый вальс Вебера.

Я заколебался. Господин д'Авриньи знаком посоветовал мне подчиниться.

Увы, в этот раз бедная Мадлен не встала и не подошла ко мне. Магическое влияние этой мощной мелодии не помогло ей.

Она с трудом поднялась на постели и, когда умолкла последняя нота, затих последний звук, упала на подушки, закрыв глаза и тяжело вздохнув.

Затем у нее появились более серьезные мысли, и она сказала, что была бы счастлива видеть кюре из Виль-Давре, который принимал ее первсе причастие. Господин д'Авриньи ушел писать письмо, а я остался наедине с ней.

Все это так печально, что хочется умереть.

Но можете ли вы понять, Антуанетта, почему она никогда не говорит о вас, она не спрашивает о вас, и почему господин д'Авриньи никогда не напоминает ей о вас?

Если бы не ваш категорический запрет произносить при ней ваше имя, я бы уже давно знал причину этого молчания».

Господин д' Авриньи — кюре деревни Виль-Давре

«Господин кюре.

Моя дочь умирает и прежде, чем она предстанет перед Богом, хочет видеть своего духовного отца.

Приезжайте как можно скорее, господин кюре: я вас знаю достаточно, чтобы ничего больше не говорить. Я знаю, что, если кто-то страдает и в своем страдании призывает вас, ему достаточно сказать: «Придите!».

Я хочу попросить вас еще об одной услуге. Не удивляйтесь, прошу вас, господин кюре, и забудьте, что эта просьба высказана человеком, которого называют, совершенно несправедливо, величайшим врачом нашего времени.

Вот о чем я прошу.

В Виль-Давре живет бедный пастух по имени Андре, у которого, говорят, есть чудесные рецепты. По расска-

зам крестьян, простым сочетанием каких-то растений он вернул к жизни людей, которых доктора считали безнадежными.

Я слышал об этом, я не ошибся, не так ли? Я слышал об этом в то время, когда был счастлив и, следовательно, недоверчив. Но я слышал обо всех этих чудесах, поэтому привезите этого человека, умоляю вас, господин кюре.

Леопольд д'Авриньи».

XXX

Господин д'Авриньи отправил письмо с конным лакеем, и в тот же день кюре и пастух приехали.

Пастух был грубый, совершенно невежественный крестьянин, и, если у господина д'Авриньи теплилась какая-то надежда, с первого взгляда он понял, что она была напрасной.

Тем не менее он проводил его к дочери под тем предлогом, что этот человек принес известие о завтрашнем приезде кюре.

Мадлен, ребенком не раз видевшая пастуха в их доме в Виль-Давре, радостно поздоровалась с ним.

Выйдя из комнаты Мадлен, господин д'Авриньи спросил у старика, что он думает о состоянии девушки.

Тот сказал, что она, конечно, очень плоха, но с помощью тех трав, которые он привез с собой, ему пришлось возвращать с того света и не таких больных.

И он достал из мешка целебные травы, сила которых, по его словам, удвоилась по сравнению с годом, когда они были собраны.

Господин д'Авриньи лишь взглянул на эти травы и понял, что смесь этих трав произведет тот же эффект, что и обычная микстура; но этот отвар не мог повредить, и он не стал мешать пастуху готовить питье и, потеряв последнюю надежду, поднялся в комнату кюре.

— Господин кюре, — сказал он, — своим лекарством Андре смешит меня, но оно не опасно, и я позволил ему его сделать. Оно не ускорит и не отдалит час смерти Мадлен, которая наступит в ночь с четверга на пятницу или, самое позднее, в пятницу утром.

— Я знаю много, — добавил он с горькой улыбкой, — я достаточно известный врач и знаю, что не ошибаюсь в моих предсказаниях. Как видите, господин кюре, у меня больше нет никакой надежды на этом свете.

— Надеемся на Бога, господин д'Авриньи,— ответил священник.

— Именно об этом я и хотел поговорить с вами, отец мой,— ответил господин д'Авриньи после некоторого колебания.— Да, я всегда надеялся, я всегда верил в Бога, особенно когда Бог дал мне дочь; однако, должен признаться, господин кюре, сомнения часто посещают мой ум. Да, анализ всегда ведет к неверию; когда видишь только материю, начинаешь сомневаться в душе. Тот, кто сомневается в душе, близок к отрицанию Бога. Кто отрицает тень, отрицает солнце. Я же иногда в человеческой гордыне осмеливался подвергнуть сомнению само существование Господа! Не смущайтесь, отец мой! Ныне я раскаиваюсь в своем бунтарстве, я нахожу его неверным, неблагодарным, отвратительным. Я верую...

— Верьте, и вы будете спасены,— сказал кюре.

— Именно к этим словам Евангелия я зываю,— воскликнул господин д'Авриньи.— Сегодня я верю не как гордец, я верю буквально, как простой смертный. Я верю, что Бог добр, велик, милосерден, всегда вечен и всегда сущ даже в бесконечно малых событиях жизни.

Я верю, что Евангелие нашего Спасителя включает в себя не только символы, но и факты. Я верю, что история о Лазаре не сказка, а событие; там говорится не о возрождении обществ, но просто-напросто о воскрешении отдельного человека.

Я верю, наконец, во власть, переданную Богом своим апостолам, и, конечно, в чудеса, происшедшие после дивного вмешательства святых.

— Если это истинно, вы счастливы, сын мой,— ответил священник.

— Да! — воскликнул господин д'Авриньи, падая на колени.— Да! С этой святой верой я могу припасть к вашим ногам и сказать: «Отец мой, никто более вас не достоин нимба святости; вся ваша жизнь — это молитва и благотворительность, все ваши деяния чисты и благословенны Богом; вы — святой, сделайте же чудо: верните здоровье моей дочери, верните жизнь моему ребенку...» Итак, что же вы сделаете?

— Увы,— ответил священник.— Увы! Мне жаль вас, и я плачу оттого, что не являюсь тем безупречным человеком, каким вы меня считаете, я не тот, кто может свершить подобное чудо, и я могу только молиться тому, кто держит наши судьбы в своих руках.

— Так, значит, все бесполезно! — воскликнул господин д'Авриньи, поднимаясь с колен. — Бог даст умереть моей дочери, ведь он же дал умереть своему сыну!

И господин д'Авриньи вышел из кабинета. Почтенный священник, напуганный его богохульством, последовал за ним.

Как и предвидел господин д'Авриньи, лекарство старого Андре не дало никакого эффекта.

Ночь была беспокойной, однако Мадлен поспала, хотя и тревожным сном; но в ее снах уже чувствовалось приближение агонии.

На рассвете она проснулась, громко вскрикнув; господин д'Авриньи, как всегда, был рядом с ней.

Она протянула к нему руку и воскликнула:

— Отец, отец! Значит, ты меня не спасешь?

Господин д'Авриньи заключил ее в свои объятия и ничего не ответил, слезы текли по его лицу.

Усилием воли Мадлен успокоилась и спросила, приехал ли священник.

— Да, дочь моя, — ответил господин д'Авриньи.

— Тогда я хочу его видеть, — сказала Мадлен.

Господин д'Авриньи послал за кюре, и тот сразу же спустился.

— Господин кюре, — сказала ему Мадлен, — я послала за вами, ибо вы — мой духовный наставник: я хочу исповедаться. Можете ли вы выслушать меня?

Священник утвердительно кивнул.

Мадлен повернулась к господину д'Авриньи:

— Отец, оставьте меня наедине с моим духовным отцом, который отец для всех.

Господин д'Авриньи поцеловал дочь в лоб и вышел.

В дверях он встретил Амори, взял его за руку и, ни слова не говоря, увел его в молельню Мадлен. Там он встал на колени перед распятием, увлекая за собой Амори, и произнес единственное слово:

— Помолимся!

— Боже милосердный! — воскликнул Амори. — Она умерла, умерла без меня!

— Нет, нет, успокойтесь. Амори, — ответил господин д'Авриньи, — у нас есть еще сутки. Обещаю вам, когда она будет умирать, я позову вас.

Амори зарыдал и уронил голову на молитвенник.

Они молились уже четверть часа, когда дверь открылась и кто-то вошел.

Амори обернулся: это был старый кюре.

— Ну что? — спросил Амори.

— Это настоящий ангел, — сказал кюре.

Господин д'Авриньи поднял голову.

— На какой час вы назначили последнее причастие? — спросил он.

— Вечером в пять часов. Мадлен хочет, чтобы Антуанетта присутствовала на этой последней церемонии.

— Значит, — прошептал господин д'Авриньи, — она знает, что скоро умрет.

Господин д'Авриньи тотчас приказал, чтобы поскакали за Антуанеттой в Виль-Давре, и вернулся к Мадлен с Амори и кюре.

Когда Антуанетта приехала к четырем часам вечера, комната представляла собой грустное зрелище.

С одной стороны постели, держа руку умирающей, сидел господин д'Авриньи, мрачный, отчаявшийся, почти свирепый. С остановившимся взглядом он продолжал искать, как ищет игрок свой последний луидор, последнее средство спасения.

Амори, сидя с другой стороны, пытался улыбаться Мадлен, но был способен только плакать.

Священник с благородным и торжественным лицом стоял у спинки кровати, устремляя глаза то на умирающую, то на небо, которое примет ее.

Антуанетта приподняла портьеру и какое-то время оставалась незамеченной.

— Не пытайтесь скрыть от меня слезы, Амори, — тихо сказала Мадлен, — если бы я не видела их в ваших глазах, мне было бы стыдно за свои слезы. Не наша вина в том, что мы плачем. Мы плачем, потому что печально расставаться в нашем возрасте. Жизнь мне казалась такой удивительной, а мир таким прекрасным.

И самое ужасное, Амори, я не смогу видеть тебя, касаться твоей руки, благодарить тебя за нежность, засыпать и видеть тебя в моих снах. Вот что самое ужасное! Позволь мне смотреть на тебя, друг мой, чтобы я могла вспоминать тебя, когда окажусь одна в ночи моей могилы.

— Дитя мое, — сказал кюре, — взамен того, что вы оставляете здесь, у вас будет небо.

— Увы, у меня была его любовь, — прошептала Мадлен.

— Амори, — заговорила она громче, — кто полюбит тебя так, как я? Кто поймет тебя? Кто подчинит тебе свои поступки, чувства, мысли, как это делала я? Кто

сумеет влить свое самолюбие в твою любовь так, как доверчивая и нежная Мадлен? Ах, если бы я знала ее, Амори, клянусь тебе, я оставила бы тебя ей, потому что я уже не ревную... Мой бедный возлюбленный, мне жаль тебя и мне жаль себя. Тебе мир покажется таким же пустынным, как мне моя могила.

Амори рыдал, Антуанетта чувствовала, как крупные слезы катятся по ее щекам. Священник молился, чтобы не плакать.

— Ты слишком много говоришь,— мягко сказал господин д'Авриньи, единственно из любви к дочери сохранивший власть над собой.

При этих словах умирающая девушка повернулась к отцу движением, полным грации и живости.

— Что сказать тебе, отец?— заговорила она.— Ты уже два месяца совершаешь ради меня удивительные подвиги; ты готовишь меня к принятию Божьей милости. Твоя любовь так велика и великодушна, что ты уже не ревнуешь, а что может быть выше этого? В конце концов к кому теперь ты можешь ревновать? Только к Богу. Твоя любовь благородна и бескорыстна, я восхищаюсь ей... — И добавила она после раздумья: — Я завидую ей.

— Дитя мое,— сказал священник,— здесь ваша подруга, ваша сестра Антуанетта, которую вы звали.

XXXI

Антуанетта вскрикнула и, заливаясь слезами, приблизилась к Мадлен — первым желанием той было оттолкнуть ее. Затем, сделав над собой усилие, Мадлен протянула руки кузине, бросившейся к ее постели.

Девушки на несколько мгновений замерли в объятиях друг друга, затем Антуанетта отошла и заняла место ушедшего кюре.

Несмотря на беспокойство, терзавшее ее уже два месяца, несмотря на душевную боль, овладевшую ею в этот момент, Антуанетта была так красива и так свежа, так полна жизнью, она настолько принадлежала долгому и светлому будущему и имела право на любовь любого свободного, молодого и пылкого сердца, что без труда можно было прочесть ревность во взгляде Мадлен, какой она бросила сначала на эту пышущую здоровьем красавицу, а затем на своего отчаявшегося возлюбленного, которого она оставляла с ней.

Господин д'Авриньи склонился к ней.

— Ты сама просила ее приехать,— сказал он.

— Да, отец мой,— прошептала Мадлен,— и я счастлива ее видеть.

И с выражением ангельской покорности умирающая улыбнулась Антуанетте.

Что касается Амори, он увидел во взгляде Мадлен то чувство естественной зависти, которое испытывает слабое умирающее существо к человеку, сильному и полному жизни.

Сам же он, переводя взгляд с бледной и хрупкой Мадлен на живую и хорошенькую Антуанетту, испытал чувство, похожее на чувство Мадлен. Он почувствовал ненависть и гнев против этой дерзкой красоты, составляющей такой резкий контраст с печальной смертью. Ему показалось, что если бы он не решил умереть вместе с Мадлен, то он навсегда возненавидел бы Антуанетту с такой же силой, с какой он любил Мадлен.

Он хотел успокоить бедняжку, произнеся клятву верности ей на ухо, но в этот момент послышался звук колокольчика, и он вздрогнул.

Это был кюре Виль-Давре с ризничим из церкви Сен-Филипп-дю-Руль и двумя мальчиками из хора. Они пришли принять последнее причастие.

При звуке этого колокольчика все замолчали и опустились на колени. Только Мадлен приподнялась, как бы идя навстречу Богу, который приближался к ней.

Сначала вошел ризничий с распятием и мальчики со свечами, затем кюре со священным сосудом.

— Отец мой,— сказала Мадлен,— даже на пороге вечности наша душа может быть осаждаема неверными мыслями. Боюсь, что после моей утренней исповеди я уже согрешила. Перед причастием подойдите ко мне еще раз, чтобы я могла поделиться моими сомнениями.

Господин д'Авриньи и Амори тотчас отошли, и кюре подошел к Мадлен.

Тогда невинная девушка, глядя на Амори и Антуанетту, произнесла несколько слов, на которые кюре ответил только жестом благословения.

Затем началась церемония.

Надо самому стоять на коленях в такой момент у постели обожаемого существа, чтобы понять, насколько каждое слово, произнесенное кюре и повторяемое его спутниками, проникает до самых глубин души. При каждом ударе сердца Амори надеялся, что оно разорвется.

Заломив руки, откинув голову назад, с лицом, залитым слезами, он походил на статую отчаяния.

Господин д'Авриньи, неподвижный, безмолвный, с сухими глазами, терзал платок зубами, пытаясь вспомнить давно забытые молитвы своего детства.

Антуанетта, единственная — слабая, как все женщины, — не могла сдержать рыданий.

Церемония продолжалась.

Наконец кюре приблизился к Мадлен. Она приподнялась, сложив руки на груди, подняв глаза к небу, и почувствовала у своих сухих губ просфору, которую впервые она получила только шесть лет назад.

Затем, ослабленная этим усилием, она упала на подушки и прошептала:

— Господи, сделай так, чтобы он не узнал, что, отсылая Антуанетту, я пожелала, чтобы он умер вместе со мной.

Кюре вышел, сопровождаемый своими людьми.

После нескольких минут тягостного молчания Мадлен опустила сомкнутые руки и бессильно уронила их на постель. Амори и господин д'Авриньи тотчас овладели ее руками.

Для Антуанетты не оставалось ничего. Она продолжала молиться.

Началось мрачное и молчаливое ночное бдение. Однако Мадлен хотела поговорить последний раз с двумя людьми, дорогими ее сердцу, она хотела попрощаться с ними, но она слабела так быстро, и несколько слов, произнесенных ею, стоили ей таких усилий, что господин д'Авриньи, склонив к ней поседевшую голову, стал умолять ее не разговаривать. Он хорошо видел, что все кончено, и единственное, что он теперь желал в этом мире — отодвинуть, насколько возможно, час вечной разлуки.

Сначала он просил у Бога жизнь Мадлен, затем годы, затем месяцы, наконец — дни; теперь он просил Господа даровать ему лишь несколько часов.

— Мне холодно, — прошептала Мадлен.

Антуанетта легла на ноги своей кузины и через покрывало старалась согреть их своим дыханием.

Мадлен что-то шептала, но говорить уже не могла.

Невозможно описать отчаяние и горе, сжимающие эти три сердца. Только те, кто дежурил у постели дочери или матери в подобную ужасную и печальную ночь, могут нас понять.

Пусть же те, кого судьба избавила от таких страданий, благословляют Бога за то, что он не дал им такого понимания.

Взгляды Амори и Антуанетты постоянно останавливались на лице господина д'Авриньи. Ни он, ни она не могли поверить в конец — так велика в нас надежда. Они искали проблеск надежды, в которую они сами уже не верили.

Господин д'Авриньи стоял, скорбно склонив голову, и ни малейшей надежды не пробивалось сквозь эту неподвижную маску горя.

К четырем часам утра Мадлен уснула.

Увидев, что она закрыла глаза, Амори порывисто встал, но господин д'Авриньи остановил его жестом.

— Она спит, — сказал он, — успокойтесь, Амори, ей остается по меньшей мере еще час жизни.

Прекрасная, хрупкая и нежная, она дремала, а ночь постепенно переходила в рассвет, и звезды, казалось, таяли и исчезали одна за другой в утреннем небе.

Господин д'Авриньи держал в одной руке ладонь Мадлен, другой пытался найти пульс, который то исчезал, то вновь появлялся.

В пять часов на ближайшей церкви зазвонил колокол, призывая верующих к утренней мессе, а души — к Богу.

Какая-то птичка села на окно, прощебетала что-то и улетела.

Мадлен открыла глаза, попыталась приподняться, дважды проговорила: «Воздуха! Воздуха!» — упала на подушки и глубоко вздохнула.

Это был ее последний вздох.

Господин д'Авриньи встал и сказал глухим голосом: — Прощай, Мадлен!

Амори громко вскрикнул.

Антуанетта зарыдала.

Мадлен больше не было. Она ушла со звездами. Она тихо ушла из сна в смерть, вздох был ее единственным усилием.

Несколько минут отец, возлюбленный и сестра молча созерцали дорогое им существо.

Затем Амори протянул руку, чтобы закрыть ее прекрасные глаза, которые отныне будут видеть только небеса.

Но господин д'Авриньи остановил его руку.

— Я ее отец, сударь,— сказал он. И он оказал умершей эту последнюю услугу.

После мгновения немого и горестного созерцания он накрыл простыней, ставшей саваном, это прекрасное, уже остывающее лицо.

И все трое, опустившись на колени, стали молиться здесь, на земле, о той, которая молилась за них там, на небесах.

XXXII

Амори, вернувшись в свою комнату, находил повсюду: в мебели, в картинах, даже в воздухе — такие печальные воспоминания и такие горькие мысли, что он не смог там оставаться. Он пошел пешком, без цели, без желания, единственно, чтобы покинуть это место горя.

Была половина седьмого утра.

Он шел, опустив голову, и в сумеречном сознании своей одинокой души он видел только одно: тело Мадлен, накрытое саваном; он слышал мрачное эхо, непрерывно повторявшее:

«Умереть! Умереть!»

Он оказался, сам не зная почему, на Итальянском бульваре. На его пути неожиданно возникло препятствие.

Подняв голову, он увидел троих молодых людей, преградивших ему путь.

Это были его друзья, жизнерадостные спутники его прежней юношеской жизни. Элегантные и непринужденные, с зажженными сигарами, они находились в том состоянии опьянения, которое еще позволяет узнать друга и в сердечном порыве подойти пожать ему руку.

— Ба! Да это Амори,— воскликнул первый тем громким голосом, который свидетельствует о глубочайшем презрении ко всему, что происходит вокруг.— Куда ты направляешься, Амори, и откуда идешь? Уже два месяца тебя нигде не видно.

— Прежде всего, господа,— сказал второй, прерывая речи первого,— прежде всего мы должны оправдаться перед Амори, а он порядочный молодой человек, в том преступлении, что мы бродим по городу в этот неурочный час — в семь часов утра.

— Ты ведь подумал, мой дорогой, что мы уже встали, нет, мы еще не ложились, понимаешь? А вот теперь

мы идем спать. Мы трое... а трое и трое — это уже шестеро. . мы провели ночь у Альбера, мы весело пиروвали, и вот мы благо разумно возвращаемся пешком, чтобы освежиться, к нашим домашним очагам.

— Что подтверждает,— заговорил третий, немного более пьяный, чем другие,— глубину и истинность политического афоризма господина Талейрана:

«Когда все всегда счастливы .»

Амори растерянно смотрел на них и слушал, ничего не понимая.

— А теперь, Амори,— сказал первый,— твоя очередь объяснить столь ранний выход и исчезновение на два месяца.

— О, но я знаю, господа,— воскликнул второй,— я припоминаю, а это свидетельствует (о чем я вам толкую целый час), что, хотя я один выпил в два раза больше, чем вы оба, я трезвее вас, и я припоминаю, что Амори болен от страсти к дочери доктора д'Авриньи.

— Да, кстати, если у меня хорошая память и если его будущий тесть не обманул нас, то именно сегодня, одиннадцатого сентября, Амори должен был взять в жены прекрасную Мадлен.

— Да, но ты забываешь,— сказал второй,— что как раз сегодня она упала без сознания на руки нашего друга.

— Вот как! Надеюсь, что...

— Нет, господа,— ответил Амори.

— Она выздоровела?

— Она умерла.

— Когда же?

— Час назад.

— Боже! — воскликнули все трое, на мгновение застыв.

— Час назад,— заговорил Альбер,— бедный друг, а я собирался пригласить тебя позавтракать с нами сегодня утром...

— Это невозможно, у меня другое приглашение, я прошу вас присутствовать со мной на похоронах Мадлен...

И, пожав им руки, он удалился.

Три друга переглянулись.

— Он сумасшедший,— сказал один.

— Или очень силен духом! — сказал другой.

— Это одно и то же,— добавил Альбер.

— Неважно, господа,— заговорил первый,— я должен признаться, что вдовство влюбленного и разговор с ним не очень вдохновляет после вечеринки.

— Ты пойдешь на похороны?— спросил второй.

— Мы не можем не пойти,— сказал Альбер.

— Господа, господа,— воскликнул первый,— не забудьте, что завтра Гризи поет в «Отелло».

— Верно. Итак, господа, мы зайдем в церковь, чтобы показаться. Амори нас заметит, и этого достаточно.

И все трое отправились дальше, раскуривая сигары, погасшие во время разговора.

Тем временем Амори, покинув своих друзей, стал обдумывать мысль, которая уже давно жила в нем, но еще неясная и неуверенная.

Он хотел умереть.

Мадлен умерла. Что ему было делать на этом свете? Какое желание, какое чувство могло привязать его к жизни?

Потеряв свою любимую, разве он не потерял свое будущее? Он должен был последовать за ней, он уже двадцать раз говорил это сам себе.

«Из двух — одно,— говорил Амори,— или вторая жизнь есть, или ее нет.

Если есть вторая жизнь, я найду Мадлен, и радость и счастье вернутся ко мне.

Если же ее нет, мое горе утихнет, мои слезы иссякнут; и в первом, и во втором случае я выиграю. Я ничего не теряю, кроме жизни».

Когда Амори принял это решение, он ощутил спокойствие, почти радость.

Поскольку это бесповоротное решение было принято, не осталось никаких причин, чтобы прекратить свои обычные занятия и не вмешиваться в привычный ход жизни.

Он не хотел, чтобы, когда распространится слух о его смерти, люди говорили, что он убил себя бездумно, бессмысленно, в момент отчаяния.

Напротив, он хотел, чтобы люди знали, что это следствие обдуманного шага, доказательство силы, а не слабости.

Вот что сделает Амори.

Сегодня он приведет в порядок свои дела, оплатит счета, напишет завещание, нанесет визит самым близким друзьям, сообщит им, что собирается совершить долгое путешествие.

Завтра, торжественный и спокойный, он будет присутствовать на похоронах своей любимой; вечером он пойдет послушать из глубины своей кровати последний акт «Отелло», который так любила Мадлен, эту лебединую песню, этот шедевр Россини.

Искусство— это удовольствие суровое и прекрасно готовит к смерти.

Покинув оперу, он вернется к себе и застрелится.

Заметим, прежде чем продолжать повествование, что у Амори было искреннее сердце и прямая душа, и он продумывал детали своей кончины совершенно честно и без всякой задней мысли; он даже не замечал некоторую вычурность задуманного плана и не думал, что можно умереть гораздо проще.

Он был в том возрасте, когда все, что он собирался сделать, казалось ему очень простым и величественным. А вот и доказательство. Убедив себя, что ему осталось всего лишь два дня, он подавил свое горе, вернулся к себе и, разбитый различными чувствами и сильной усталостью, крепко уснул.

В три часа он проснулся, тщательно оделся, нанес намеченные визиты, оставил карточку отсутствующим, рассказал друзьям о задуманном путешествии, обнял двух-трех человек, пожал руки другим и вернулся домой. Он ужинал один, так как ни господин д'Авриньи, ни Антуанетта не показывались весь день. Его спокойствие было так ужасно, что слуги спрашивали себя, не сошел ли он с ума.

В десять часов он вернулся в свой особняк на улице Матюрэн и начал составлять свое завещание. Половину состояния он оставлял Антуанетте, сто тысяч франков — Филиппу, который каждый день, вплоть до последнего, приходил справляться о здоровье Мадлен, остальное распределил на различные пожертвования.

Затем он взял свой дневник, продолжил прерванные записи, описав все, вплоть до последнего часа, не забыв написать о своих роковых намерениях, оставаясь по-прежнему спокойным. Рука его не дрожала, почерк не изменился, строчки ложились ровно.

Именно для того, чтобы проделать все это, он проспал часть дня.

В восемь часов утра все дела были закончены.

Амори взял свои пистолеты, зарядил каждый двумя пулями, спрятал их под пальто, сел в экипаж и отправился к господину д'Авриньи.

Господин д'Авриньи еще не покидал комнату своей дочери.

На лестнице Амори встретил Антуанетту, она хотела вернуться к себе, но он удержал ее за руку, ласково привлек к себе и, улыбаясь, поцеловал в лоб.

Антуанетта замерла, испуганная подобным спокойствием, взгляд ее проводил Амори до дверей его комнаты.

Амори положил пистолеты в ящик своего стола, закрыл его и положил ключ в карман.

Затем он оделся для церемонии похорон.

Закончив туалет, Амори пошел вниз и оказался лицом к лицу с господином д'Авриньи, тот провел эту ночь у ложа своей умершей дочери, как он проводил предшествующие ночи у постели живой.

У бедного отца были запавшие глаза, бледное и осунувшееся лицо. Казалось, он сам вышел из могилы.

Выйдя из комнаты Мадлен, он попятился, яркий свет раздражал глаза.

«Уже прошли сутки», — задумчиво сказал он.

Он протянул руку Амори и долго смотрел на него, ничего не говоря. Возможно, у него было слишком много мыслей, чтобы он мог их высказать.

И, однако, как и накануне, он отдавал приказы спокойно и хладнокровно.

В соответствии с этими приказами тело Мадлен будет помещено на катафалк, и его повезут в церковь прихода Сен-Филипп-дю-Руль, в полдень состоится похоронная месса, затем покойницу увезут в Виль-Давре.

XXXIII

В половине двенадцатого начали прибывать траурные экипажи.

Господин д'Авриньи занял первый экипаж. Хотя обычно запрещает отцу следовать за телом ребенка в траурном кортеже, он поехал в церковь вместе со всеми. Амори сел в тот же экипаж.

Неф, хор и часовни были затянуты белой тканью.

Только отец и жених вошли в хор за телом той, которую ждало погребение, друзья и любопытные — а эти две категории людей очень похожи — расположились в приделах.

Панихида проходила торжественно и мрачно.

Тальберг, друг Амори и доктора, захотел сам играть на органе, и читатель понимает, что весть об этом быстро распространилась и увеличила число присутствующих.

Для троих молодых людей, которых накануне встретил Амори и которые вечером собирались пойти в оперу — это было еще одно зрелище.

Среди всех этих людей, пришедших посмотреть и послушать, пожалуй, только отец и возлюбленный чувствовали, как сжимаются их сердца от высоких и скорбных слов зауспокойных молитв.

Господин д'Авриньи особенно проникался смыслом самых грустных строф и мысленно повторял за священником слова.

«Я дам вам отдых,— сказал Господь,— потому что вы получаете милость мою, и я знаю имя ваше».

«Счастливы умирающие во мне, они будут отдыхать от трудов своих, плоды же их труда будут следовать за ними».

С каким страстным порывом осиротевший отец обратился к Всевышнему:

«Господь, освободите меня от жизни! Увы! Ждать мне еще долго, я жду, Господи, когда придет освобождение, моя душа стремится к вам, как страждущая от засухи земля ждет дождя, как уставший олень жаждет припасть к прохладному ручью, так мое сердце жаждет воссоединиться с Вами».

Но сердца старика и юноши застучали особенно сильно, когда пальцы Тальберга извлекли из органа ужасающий «Гнев Господен». Однако их впечатления не были одинаковыми.

Пламенный Амори услышал в гневном гимне крик своей души.

Господин д'Авриньи, подавленный им, затрепетал и склонил голову под его угрозами.

Влюбленный юноша соединил свое отчаяние с музыкой и мощными нотами разрушал пустыню этого мира, в котором больше не было Мадлен.

Пусть погибнет эта, ставшая навсегда сиротой земля, ибо нет больше солнца, нет больше любви! Пусть все рухнет и возвращается к хаосу! Пусть придет Высший Судья, восседающий на сверкающем троне, чтобы показать вас всех, вас, нечистых и грешных! Достаточно было Мадлен покинуть этот мир, чтобы он превратился в ад.

Отчаявшаяся душа отца, бунтующего меньше, чем

молодой человек, задрожала при звуках обличающего стиха, склонилась перед величием наказующего Бога, который только что призвал его дочь и, возможно, будет скоро судить его самого. Господин д'Авриньи почувствовал себя мелким и ничтожным, себя, прежде обуреваемого гордыней и сомнениями.

Растерянный, он заглянул в свою душу и с испугом увидел, что она полна волнениями и заблуждениями; он испугался не того, что Бог поразит его своим гневом, но того, что Бог разлучит его с дочерью.

Когда после гимна гнева послышалась мелодия надежды, с какой пылкой верой и страстностью он внимал ласковому обещанию безграничного милосердия, с какими горячими слезами он умолял милостивого Бога забыть о правосудии и помнить только о доброте!

Таким образом, когда закончилась печальная церемония, Амори вышел, высоко подняв голову, словно бросаая вызов всему свету, а господин д'Авриньи следовал за гробом дочери, склонив голову, словно пытаясь смягчить мстительный гнев.

Понятно, что присутствовавшие (почти те же самые, что были на балу) не собирались в большинстве своем сопровождать покойницу до места ее последнего упокоения.

На кладбище Пер-Лашез? Да, конечно! Это почти прогулка, но Виль-Давре... Поездка заняла бы целый день, а день в Париже очень дорог.

Поэтому, как предвидел и надеялся господин д'Авриньи, лишь трое или четверо преданных друзей, среди которых был Филипп Оврэ, поднялись в третий траурный экипаж.

Господин д'Авриньи и Амори заняли места во втором экипаже, клир — в первом.

В течение всей дороги ни отец, ни жених не произнесли ни слова.

Кюре прихода Виль-Давре встречал печальный кортеж у дверей церкви.

Катафалк с телом Мадлен должен был остановиться на несколько минут перед маленькой церковью, где она приняла свое первое причастие; впрочем, господину д'Авриньи казалось, что пока тело дочери не скрылось под землей, он еще не расстался с ней.

Не было ни органа, ни торжественности: тихо произнесенная молитва, как бы последнее прощание, сказанное на уxo дeвe, покидающей землю ради неба.

От церкви все пошли пешком и через пять минут оказались на кладбище.

Это было одно из тех кладбищ, какие так нравились Грэю и Дамартину; тихое, спокойное, даже прелестное, оно располагалось у абсиды приходской церкви.

Должно быть, хорошо найти здесь покой; здесь нег вычурных памятников и лживых эпитафий; деревянные кресты и имена — вот и все; тут и там деревья, сохраняющие прохладу земли; совсем рядом маленькая церковь, где каждое воскресенье их имена упоминаются в молитвах.

Здесь нет величия, но здесь царит покой; уже у входа можно ощутить задумчивость и мир, входящие в душу; хочется сказать себе, как сказал Лютер в Вормсе:

«Я завидую им, они нашли свое успокоение».

Но когда Лютер говорил это, он не шел за гробом своей любимой дочери или обожаемой супруги; это говорил философ, а не отец и не муж.

Боже мой! Кто может передать ужасное чувство потери, терзающее душу человека, который провожает тело любимой! Сначала печальное и угнетающее пение клира, затем вид свежерытой могилы, резко выделяющейся на зеленой траве; наконец, стук первых комков земли, сначала гулко ударяющихся о крышку гроба; этот стук постепенно затихает, как если бы гроб отдалялся и исчез в глубинах вечности.

Господин д'Авриньи участвовал в этой последней части церемонии, стоя на коленях и склонив голову до земли.

Амори остался стоять, опершись о ствол кипариса и вцепившись в одну из его ветвей.

Когда последняя лопата земли округлила холмик, указывающий на свежую могилу, который со временем сгладится, в стороне от него, не над гробом, установили мраморную плиту. На ней можно было прочесть двойную эпитафию:

ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ МАДЛЕН Д'АВРИНЬИ,
СКОНЧАВШАЯСЯ 10 СЕНТЯБРЯ 1839 ГОДА
В ВОЗРАСТЕ 19 ЛЕТ
ТРЕХ МЕСЯЦЕВ И ПЯТИ ДНЕЙ

ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ДОКТОР Д'АВРИНЬИ,
ЕЕ ОТЕЦ,
СКОНЧАВШИЙСЯ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ,
ПОХОРОНЕННЫЙ...

Даты не было, но господин д'Авриньи очень надеялся, что уже через год она будет написана.

Затем в рыхлую землю, покрывшую гроб, посадили кусты белых роз, так как Мадлен всегда их любила, и удрученный горем отец, как в стихах Ронсара, дарил эти цветы дочери,

«Чтобы живое или мертвое тело ее было как розы».

Когда все было кончено, доктор послал поцелуй своей дочери.

— До завтра,—сказал он вполголоса,—до завтра, Мадлен... я больше не расстанусь с тобой.

И твердым шагом он покинул кладбище вместе с друзьями.

— Господа,—сказал старик нескольким присутствующим, нашедшим в себе мужество сопровождать его до Виль-Давре,—вы могли видеть на могиле Мадлен, что человек, который говорит с вами, уже не живет. Начиная с сегодняшнего дня, я больше не принадлежу земле, я принадлежу только моей дочери. Париж и свет больше не увидят меня. Я больше не появлюсь ни в Париже, ни в свете.

Оставшись здесь один, в своем доме, окна которого, как вы видите, выходят на кладбище, я буду ждать, чтобы Бог назначил мне день, недописанный на нашей могиле. Я никогда никого не буду принимать.

Примите, господа, мои последние слова благодарности и прощания.

Он говорил так уверенно и убедительно, что никто и не подумал возражать ему; проникнутые его скорбью, все молча пожали ему руку и почтительно удалились.

Когда экипаж, увозящий их в Париж, тронулся, господин д'Авриньи повернулся к Амори, с непокрытой головой стоявшему с ним рядом.

— Амори,—сказал он,—я только что сказал, что, начиная с завтрашнего дня, я не увижу Парижа. Но мне необходимо вернуться туда сегодня, чтобы отдать последние распоряжения и привести в порядок все мои дела.

— Как и мне,—холодно заметил Амори.—Вы забыли меня в эпитафии на могильной плите, но я с радостью увидел, что рядом с Мадлен есть место по крайней мере для двоих.

— Ах, вот как,—сказал господин д'Авриньи, глядя на молодого человека, пристально, но без малейшего удивления.— Вот как.

Затем добавил, направляясь к экипажу:

— Едем.

Они направились к последнему экипажу, который ждал их, и отправились в Париж, не обменявшись ни единым словом, как и утром.

Когда они доехали до площади, Амори приказал остановиться.

— Извините,—сказал он господину д'Авриньи,—но у меня тоже есть дела сегодня вечером. Я буду иметь честь поговорить с вами, когда вернусь, не так ли?

Доктор кивнул.

Амори вышел, а экипаж продолжал путь к улице Ангулем.

XXXIV

Было девять часов вечера.

Амори сел в наемный кабриолет и приказал везти себя в итальянскую оперу. Он вошел в свою ложу и сел в глубине, бледный и мрачный.

Зал снял от света люстр и сверкал бриллиантами. Он созерцал этот блеск холодно, несколько удивленно, пренебрежительно улыбаясь.

Его присутствие вызвало изумление.

Друзья, заметившие его, прочитали в его лице нечто настолько торжественное и суровое, что ощутили глубокое волнение, и ни один из них не решился зайти и поздороваться.

Амори никому не говорил о роковом решении, и, однако, каждый содрогался при мысли, что этот молодой человек мог сказать свету, как некогда гладиаторы говорили Цезарю:

«Идущий на смерть приветствует тебя».

Он прослушал этот ужасающий третий акт *«Отелло»*, музыка которого явилась как бы продолжением мелодии *«Гнева Господня»*, он слушал Россини и видел Тальберга. Когда, задушив Дездемону, Отелло убил себя, Амори настолько серьезно все воспринял, что чуть не крикнул, повторив слова персонажа оперы:

«Не правда ли, это не больно, Отелло?»

После представления Амори спокойно вышел, снова нанял экипаж и приехал на улицу Ангулем.

Слуги ждали его. Он увидел свет в комнате господина д'Авриньи, постучал и, услышав: «Это вы, Амори?», повернул ручку и вошел.

Господин д'Авриньи сидел за столом, но встал, увидев Амори.

— Я зашел обнять вас перед сном,— сказал Амори с величайшим спокойствием.— Прощайте, отец мой, прощайте!

Господин д'Авриньи пристально посмотрел на него и крепко обнял:

— Прощай, Амори, прощай!

Обнимая его, он намеренно положил ему руку на грудь и заметил, что сердце Амори билось спокойно.

Молодой человек не обратил внимания на это движение и направился к выходу.

Господин д'Авриньи следил за ним взглядом и, когда тот открыл дверь, взволнованно сказал:

— Амори, послушайте...

— Слушаю вас, сударь,— сказал Амори.

— Подождите меня у себя. Через пять минут я приду с вами поговорить.

— Хорошо, отец.

Амори поклонился и вышел.

Его комната находилась в одном коридоре с комнатой господина д'Авриньи; он вошел, сел за стол, открыл ящик, убедился, что к пистолетам никто не прикасался, что они заряжены, и улыбнулся, играя спусковым крючком одного из них.

Услышав шаги господина д'Авриньи, он положил оружие в ящик и закрыл его.

Господин д'Авриньи открыл дверь, прикрыл ее за собой, молча подошел к Амори и положил ему руку на плечо.

Прошла минута странного торжественного молчания.

— Вы хотите мне что-то сказать, отец? — спросил Амори.

— Да,— сказал старик.

— Говорите, я вас слушаю.

— Неужели вы думаете, сын мой,— заговорил господин д'Авриньи,— что я не понял вашего решения покончить счеты с жизнью сегодня ночью, может быть, сейчас же?

Амори вздрогнул и невольно посмотрел на ящик стола, где были закрыты пистолеты.

— Я прав, не так ли?— продолжал господин д'Авриньи.— Пистолеты, кинжал или яд находятся здесь, в этом ящике. Хотя вы не дрогнули, или, наоборот, именно потому, я вижу, что не ошибся. Да, мой друг, это величественный поступок, прекрасный и редкий; я люблю вас за эту любовь, которую вы питали к Мадлен, и теперь я могу сказать, что она была права, ответив на ваше чувство. Вы заслужили ее сердце, и без нее невозможно жить на этом свете.

О, мы с вами всегда сможем прийти к согласию, но я не хочу, чтобы вы кончали свою жизнь самоубийством, Амори.

— Сударь...— прервал его Амори.

— Дайте мне закончить, дорогое дитя. Неужели вы думаете, что я буду пытаться отговорить вас или утешить? Банальные фразы, общепринятые утешения недостойны ни вашего горя, ни моего. Я думаю, как и вы, что, если Мадлен ушла от нас, единственное, что нам остается,— идти за ней. Я размышлял об этом и сегодня, и много ранее. Мы не сможем присоединиться к ней, наложив на себя руки. Да, это самый короткий путь, но самый ненадежный, ибо это не путь, который указал Господь.

— Однако, отец...— сказал Амори.

— Подождите, Амори. Вы слышали сегодня утром в церкви «Гнев Господен»? Конечно, вы его слышали!

Амори медленно провел рукой по лицу.

— Да, разумеется, ибо его пугающая гармония поражает самое холодное сердце, самый неустрашимый ум; с той минуты, как я услышал этот гимн, я думаю, я я боюсь.

А если церковь говорила правду: если Господь, разгневанный тем, что посягнули на жизнь, дарованную им, не допустит в ряды своих избранников тех, кто совершил это, если он разлучит нас с Мадлен? Ведь это невозможно! Даже если есть хоть один шанс, что страшная угроза осуществится, я не хочу, чтобы он выпал мне, я перенесу самые мучительные страдания, я проживу еще десять лет, десять ужасных лет; но чтобы найти ее в вечной жизни, я проживу эти десять лет.

— Жить!— горестно воскликнул Амори.— Жить без воздуха, без света, без любви, без Мадлен!

— Так надо, Амори, и выслушайте меня! Во имя Мадлен, в память о ней, я, ее отец, запрещаю вам убивать себя.

Амори сделал жест отчаяния и уронил голову на руки.

— Послушайте, Амори,—помолчав, продолжал старик,— когда ее тело опускали в могилу и я слышал, как земля, разделяя нас, сыпалась лопата за лопатой на ее гроб, я услышал слово или Божью мысль, переданную мне ангелом. И теперь я чувствую себя увереннее в этом мире. Я скажу вам это слово, Амори.

Я прошу вас подумать над всем этим и помнить о моем запрете. А теперь я оставлю вас одного в полной уверенности, что завтра утром вы спуститесь вниз, потому что перед отъездом в Виль-Давре я хочу поговорить с вами и Антуанеттой.

— А это слово? — спросил Амори.

— Амори,— торжественно заговорил господин д'Авриньи,— оставим себе нашу боль и наше отчаяние. Запомните слова, какие, мне кажется, в последний миг сказала мне дочь:

«Зачем убивать себя, ведь мы умираем».

И, ничего больше не добавив, старик удалился так же медленно и торжественно, как и вошел.

Не страшно умереть, когда прожита долгая череда дней, когда жизнь утомила вас, когда болезнь иссушила вас, когда долгие годы, нагромождаясь один на другой, наполовину убили вас.

Не страшно умереть, когда большинство чувств уже потеряло силу, когда иллюзии, надежды, привязанности постепенно угасли, когда душа похожа на остывший пепел домашнего очага... Остается только тело... Какая разница, раньше или позже умрет тело? Все, что поддерживало в нем жизнь, покинуло его; все, что в нем улыбалось, пело и цвело, исчезло. Дерево держится за землю корнем, жизнь держится в груди душой. Если корень и душа ослабели, не требуется большого рывка или сильного страдания. Охладевшие старческие чувства подготовили наше тело к холоду могилы.

Но умереть в двадцать четыре года, молодым, здоровым, сильным! И не просто умереть, а убить себя, это совсем другое дело! Резко вырвать все корни, разорвать все связи с этим миром, погасить все устремления, которые мы имеем; ощущать в венах горячую кровь, в теле — молодую силу, в воображении — яркие мечты, в сердце — пламенную любовь, и разлить эту кровь, разбить эту силу, разрушить эти мечты, удушить любовь после первого опьяняющего глотка, отбросить перепол-

ненный кубок, отказаться от будущего; когда, все впереди, сказать жизни «прощай», когда, едва начав жить, унести с собой веру, чистоту, мечтания, убить себя полным жизни,— вот где настоящее страдание, вот в чем истинная смерть!

Невзирая на эти все доводы, наш инстинкт цепляется за жизнь. Несмотря на храброе сердце, рука дрожит, прикасаясь к оружию. Несмотря на решение умереть, вы не хотите этого. Несмотря на мужество, вам страшно!

Только ли сомнение в другой жизни заставляет сказать Гамлета:

Быть или не быть, вот в чем вопрос.

Достойно ль

Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивление
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними! Умереть. Забыться.
И знать, что этим обрываешь цепь
Сердечных мук и тысячи лишений,
Присущих телу. Это ли не цель
Желанная? Скончаться. Сном забыться.
Уснуť... и видеть сны? Вот и ответ.
Какие сны в том смертном сне приснятся,
Когда покров земного чувства снят?
Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет
Несчастьям нашим жизнь на столько лет.
А тот, кто снес бы унижение века,
Неправду угнетателя, вельмож,
Заносчивость, отринутое чувство,
Нескорый суд и более всего
Насмешки недостойных над достойным,
Когда так просто сводит все концы
Удар кинжала! Кто бы согласился,
Кряхтя под ношей жизненной, плестись,
Когда бы неизвестность после смерти,
Боязнь страны, откуда ни один
Не возвращался, не склоняла воли.
Мириться лучше со знакомым злом,
Чем бегством к незнакомому стремиться!
Так всех нас в трусов превращает мысль
И вянет, как цветок, решимость наша
В бесплодые умственного тупика.

Те, кто, подобно Гамлету, приближал к груди и отводил от нее кинжал, не стыдитесь. Сам Господь вложил в вашу душу эту любовь к жизни, чтобы сохранить вас для земли, которая нуждается в вас.

Ни солдат, бросающийся в высоком порыве на дуло заряженной пушки, ни мученик, выходящий на арену со львами, не были так решительно настроены на смерть, как Амори, вернувшийся в тот дом, где умерла Мадлен.

Оружие было готово, завещание написано, решение принято так твердо, что молодой человек мог хладнокровно думать о поступке, как о свершившемся.

Конечно, он и обманывал себя. Если бы он не почувствовал неодолимое желание еще раз обнять человека, кто был ей вместо отца, он застрелился бы без малейшего колебания, с полным самообладанием.

Но властный тон господина д'Авриньи, торжественность его слов, святое имя Мадлен, названное им, заставили мысль Амори работать. Оставшись один, несколько мгновений он сидел неподвижно, затем, казалось, к нему вернулась жизнь, с которой он уже попрощался. Он встал и начал ходить по комнате, терзаясь сомнениями и угрызениями совести.

Не слишком ли жестокой будет жизнь без цели, без надежды? Не лучше ли сразу покончить с ней? Несомненно.

Но если жизнь самоубийц не продолжается в вечности, если тринадцатая песнь Данте не вымысел, если те, кто наложил на себя руки, брошены в тот адский круг, где поэт их видел, то Господу не понравится, что редеют ряды страдающих на земле, если он отвернется от отринувших жизнь, от этих предателей человечества; если он помешает им увидеть Мадлен и господин д'Авриньи окажется прав; даже если на эту встречу есть единственный шанс, лучше прожить ради него тысячу лет. Надо лишь доверить отчаянию дело кинжала, заменить слезами действие яда. И тогда смерть наступит не через мгновение, а через год.

В конце концов результат тот же. Боль, какую Амори ощущал в себе, не могла пройти бесследно. Удар был нанесен прямо в сердце, смерть была недалеко. Оставалось только ждать.

Амори, как человек быстрых решений, не знал, что значит примириться с ситуацией. Через час он принял решение — жить, как ранее он принял решение умереть.

Ему требовалось немного мужества, и все.

Определив это для себя, он устроился в кресле и стал хладнокровно обдумывать новое положение вещей.

Было ясно, что он должен усилить воздействие своего горя. Для этого он должен покинуть свет и сосредоточиться на своих переживаниях. Впрочем, свет ему казался теперь омерзительным.

У него хватило силы на то, чтобы встретиться с обществом вечером, когда он думал, что навсегда покидает

его. Теперь же, когда он оставался жить, расчетливая дружба, условности балов, банальные утешения казались ему пытками.

Сейчас самое главное — это избежать тех знаков внимания, которыми общество осыпает в случае смерти кого-то близкого.

Амори решил отныне жить, замкнувшись в себе, размышляя о прошлом, вспоминая об угасших надеждах и утраченных иллюзиях. Посыпая солью свою душевную рану и не давая ей закрыться, Амори надеялся приблизить свое исцеление смертью. И как знать, не найдет ли он в воспоминаниях о своем былом счастье, о своей прошлой жизни горькую радость и душераздирающее наслаждение?

Вероятно, да, ибо стоило ему достать увядший букет, что носила Мадлен на балу, слезы полились ручьем и, нервное напряжение, которое жило в нем последние двое суток, спало. Слезы принесли ему то же благо, какое приносит легкий дождь после жаркого июньского дня.

На рассвете он почувствовал себя таким усталым и разбитым, что с полной убежденностью он повторил слова, сказанные господином д'Авриньи накануне: «Зачем убивать себя, ведь мы умираем!»

XXXV

В восемь часов утра пришел Жозеф и от имени господина д'Авриньи попросил Амори спуститься в гостиную Амори тотчас подчинился.

Увидев Амори, его опекун подошел и нежно обнял его — Благодарю вас, Амори, — сказал он. — Я вижу, что был прав, рассчитывая на ваше мужество.

При этих словах Амори печально покачал головой, горько улыбнулся и уже хотел ответить, как открылась дверь и вошла Антуанетта.

Какое-то время все трое молчали. Казалось, каждый опасался нарушить молчание.

Старик с умилением смотрел на эту юность, которую украшало даже горе; в свою очередь, молодые люди почтительно смотрели на этого старика, который с таким достоинством сдерживал свое отчаяние.

Господин д'Авриньи сделал знак Антуанетте и Амори сесть рядом с ним слева и справа. Он взял их руки в свои.

— Дети мои, — сказал он печальным, проникнутым добротой голосом, — вы красивы, молоды, очарователь-

ны, вы — весна, будущее, жизнь, и один взгляд на вас вселяет немного радости в мое бедное, отчаявшееся сердце. Я вас очень люблю. Это все, что еще осталось у меня в этом мире. Вы тоже любите меня, я знаю, но вы должны простить меня, ибо я не могу оставаться с вами.

— Как! — воскликнула Антуанетта. — Дядя, вы нас покидаете? Что вы хотите сказать? Объяснитесь!

— Дайте мне закончить, дитя мое, — сказал господин д'Авриньи.

И, обращаясь к молодым людям, он продолжал:

— Вы — воплощение жизни, расцвета, меня же притягивает смерть. Две привязанности, какие я еще сохранил в этой жизни, не могут заменить мне ту, которая ушла в лучший мир. Мы должны расстаться, потому что вы смотрите в будущее, а я в прошлое. Я знаю все, что вы можете мне сказать; но какое бы решение вы ни приняли, пути наши различны. Впредь я буду один, таков мой выбор.

Я еще раз прошу у вас прощения. Вы, может быть, сочтете меня индивидуалистом. Но что вы хотите? Мне тяжело видеть вашу цветущую молодость, а вам будет тяжело наблюдать мою угасающую старость. Поэтому мы расстанемся и пойдем нашими путями, вы — к жизни, я — к могиле.

Он помолчал и заговорил снова:

— Сейчас я вам расскажу, как я решил провести тот остаток жизни, который предопределит мне Бог. Вы скажете свое мнение потом.

Отныне я буду жить один в моем доме в Виль-Давре. Со мной будет мой старый слуга Жозеф. Я буду выходить только на кладбище, где покоится Мадлен и где скоро успокоюсь сам. Я не буду принимать никого, даже моих лучших друзей. Они могут считать меня умершим. Я больше не принадлежу этой земле.

Первого числа каждого месяца я буду принимать вас, только вас двоих. Вы расскажете о своих делах и узнаете о моих.

— Но, мой дорогой дядя, что будет со мной? — воскликнула Антуанетта, заливаясь слезами. — Одинокая, брошенная. Что будет со мной без вас? Скажите же!

— Неужели ты думаешь, что я не подумал о тебе? — заговорил господин д'Авриньи. — Неужели я забыл о тебе, преданной, любящей сестре моей дочери?

Поскольку Амори уже достаточно богат, я сделал завещание, по которому тебе остается после моей смерти

мое состояние, а начиная с сегодняшнего дня, состояние Мадлен.

Антуанетта сделала протестующий жест.

— Да, я знаю,— продолжал господин д'Авриньи,— все это богатство тебе безразлично. Тебе нужна любовь, благородное сердце. Тебе нужно выйти замуж, Антуанетта.

Девушка хотела что-то сказать, но господин д'Авриньи остановил ее:

— Теперь, когда ты не можешь быть полезной своему старому дяде, имеешь ли ты право отказываться от священных обязанностей супруги и матери? Когда ты предстанешь перед Господом, что ты ему ответишь? Тебе надо выйти замуж.

Я предлагаю тебе в мужа не адвоката, ты можешь найти более блестящую партию. Я удаляюсь от света, но я имею там влияние и друзей. Ты припоминаешь, что год назад граф де Менжи, мой старый друг, просил руки Мадлен для своего единственного сына? Но теперь я могу написать ему, и он, конечно, согласится взять в семью мою племянницу, столь же юную, богатую, красивую, какой была Мадлен.

Так что ты скажешь, Антуанетта, о молодом виконте де Менжи? Он часто бывал здесь. Он благороден, элегантен, умен.

Господин д'Авриньи остановился в ожидании ответа, но смущенная Антуанетта молчала.

Амори, очень взволнованный, тоже смотрел на нее.

Судьба дала ему в несчастье двух спутников. Но господин д'Авриньи уже отдалялся от него, желая уединиться в своем страдании. И Амори замер, боясь ответа Антуанетты. Их сближали горе и возраст. Покинет ли она его, обрекая на одинокое горестное существование, унося с собой все, что еще напоминало ему счастливое детство, любовь к Мадлен, тепло домашнего очага?

Неудивительно, что его глаза выражали некоторую тревогу.

Антуанетта заметила этот взгляд и поняла его.

— Дядя,— сказала она наконец дрожащим голосом,— я очень признательна вам за участие и щедрость; ваши отеческие советы святы для меня, и я принимаю их всей душой; но оставьте мне немного времени для размышлений; отныне вы хотите быть глухим и слепым к мирским делам, и я чувствую, как вы делаете усилие,

чтобы покончить со всем, что не касается Мадлен, и больше не заниматься этим.

Дорогой дядя, да хранит вас Бог! Будьте уверены, ваши пожелания для меня значат больше, чем приказ. Я готова повиноваться, я прошу только отсрочки, чтобы не вступать в брак в траурных одеждах и чтобы прошло время между будущим, которое вы напрасно считаете столь блистательным для меня, и прошлым, где я оставила свои сожаления и пролила столько слез.

Кто бы мог сказать, что мои заботы будут вам когда-нибудь в тягость! Если вы согласитесь, вот что мне бы хотелось сделать. Вы собираетесь жить в Виль-Давре рядом с могилой Мадлен, а я останусь здесь хранить память о ней. Я буду прикасаться осторожной рукой к предметам, которых касалась она. Я буду бережно ходить по этим комнатам, где грациозно двигалась ее фигурка. Я буду вдыхать воздух, где звучали ее слова, вызывая в памяти прошедшие дни.

Я уверена, что миссис Браун согласится остаться со мной, мы будем разговаривать о Мадлен, как о долгожданной гостье. И если она не сумеет приехать к нам, мы отправимся к ней. Мы будем говорить, как будто осуществился план путешествия в дальние страны.

Я буду выходить только в церковь. Я не буду принимать никого, кроме ваших старых верных друзей. Вы мне назовете их. И поскольку вы не хотите их больше видеть, я буду говорить с ними о вас. Я буду связующим звеном, и тогда они будут верить, что не совсем вас потеряли. И мне кажется, что эта жизнь будет даже приносить некоторую радость.

Если вы доверяете, дядя, и считаете меня достойной хранительницей нашего прошлого, если моя молодость и неопытность не вызывают у вас сомнений, позвольте мне так устроить свою жизнь.

— Пусть будет так, как ты хочешь, Антуанетта,— мягко заговорил господин д'Авриньи.— Твое решение тронуло меня, и я его одобряю. Храни этот дом. Отныне он твой. Наши старые слуги любят тебя.

Миссис Браун поможет тебе. Впрочем, вы с Мадлен при помощи гувернантки прекрасно управлялись в доме!

Каждые три месяца ты будешь получать необходимую сумму денег; если тебе потребуется совет, ты знаешь, что каждый месяц один день моей жизни принадлежит тебе! Кроме того, один из моих старых друзей по моей

просьбе будет тебе опекуном и советчиком и сейчас и позже, когда я умру.

Что ты думаешь о графе де Менжи? Он очень добр, а его супруга — очень достойная и жизнерадостная дама и очень любит тебя. Я не говорю тебе об их сыне, так как мы отложили этот вопрос. Впрочем, сейчас он за границей.

— Дядя, какими бы ни были те, кого вы назовете...

— Ты что-то имеешь против графа де Менжи и его супруги?

— Нет, нет, дядя. Видит Бог, что после вас это единственные посторонние люди, которых я люблю и уважаю

— Итак, Антуанетта, решено, — заговорил господин д'Авриньи, — граф и графиня будут твоими наставниками и советчиками. Так что твою жизнь, Антуанетта, мы на некоторое время организовали

Теперь Антуанетта подняла голову и стала ожидать слов Амори с тем же волнением, какое минуту назад испытывал он сам.

— Дорогой опекун, — сказал твердо Амори, — в равном горе люди ведут себя по-разному, в зависимости от их характера.

Вы хотите жить у могилы Мадлен.

Антуанетта хочет быть рядом с комнатой, полной воспоминаний о ней.

Мадлен живет в моем сердце, мне безразлично, где я нахожусь. Она всюду со мной, ее могила — в моей душе.

Я хочу, чтобы холодный и насмешливый свет не касался моего горя. Праздность салонов, внимание любопытствующих меня пугают.

Как вы, Антуанетта, и вы, добрый опекун, я хочу остаться один; каждый из нас будет хранить в душе образ Мадлен, даже если мы будем в тысяче километров друг от друга.

— Итак, вы отправляетесь в путешествие? — спросил старик.

— Я хочу остаться наедине с моей болью, чтобы никто не имел права прийти со словами утешения. Я хочу сосредоточиться на своем горе, и, поскольку ничто меня не удерживает в Париже, где я не смогу видеть вас, я хочу уехать из Парижа и даже из Франции.

Я хочу уехать в страну, где все вокруг будет чужим, где посторонний собеседник не сможет отвлечь меня от моих мыслей.

— Какое же место ссылки вы избрали, Амори? — спросила Антуанетта с интересом, смешанным с печалью. — Италию?

— Италию?! Куда я собирался ехать вместе с ней! — воскликнул молодой человек, выйдя из состояния наигранного спокойствия. — Нет, это невозможно. Италия с ее ярким солнцем, лазурным морем, ароматом цветов, с ее песнями и танцами покажется мне насмешкой над моей болью. Боже, стоит мне только подумать, что в этот час мы должны были быть в Ницце, стоит только подумать ..

И, заломив руки, он зарыдал.

Господин д'Авриньи встал и положил руку ему на плечо.

— Амори, — сказал он, — будьте мужчиной.

— Амори, брат мой, — позвала Антуанетта, протягивая к нему руку.

Но сердцу, переполненному чувствами, следовало излиться.

При большом горе часто бывает, что спокойствие обманчиво, слезы накапливаются, и наступает момент, когда они разрушают преграду, поставленную волей, и текут ручьем.

Старик и девушка молча смотрели на него, не мешая.

Наконец рыдания стихли, нервные всхлипывания прекратились, слезы тихо катились по щекам Амори, и он сказал, пытаясь улыбнуться:

— Извините за то, что к вашему горю я добавляю свое, но если бы вы знали, как мне тяжело.

Господин д'Авриньи тоже улыбнулся.

Антуанетта прошептала:

«Бедный Амори!»

— Вы видите, я уже успокоился, — продолжал Амори, — я вам говорил, что Италия с ее пылающим солнцем мне не подходит. Мне нужны туманы и тень, северная зима; унылая и печальная, как я, природа: Голландия с ее болотами, Рейн с его развалинами, Германия с ее туманами. Сегодня вечером, если вы разрешите, дорогой отец, я уеду в Амстердам. Затем я поеду в Гаагу, Кельн и Гейдельберг.

Пока Амори произносил это горьким и отрывистым тоном, Антуанетта неотрывно смотрела на него.

А господин д'Авриньи, увидев, что приступ горя прошел, сел на свое место и погрузился в собственные мысли, едва слушая Амори и думая о чем-то своем.

Однако, когда голос его воспитанника умолк, он провел рукой по лицу, как бы отгоняя облако, отделяющее его от внешнего мира, и сказал:

— Итак, решено. Вы, Амори, едете в Германию, куда Мадлен последует за вами в вашем сердце. Ты, Антуанетта, остаешься здесь, где она жила. Я же отправляюсь в Виль-Давре, где она покоится.

Мне нужно остаться в Париже еще на несколько часов, чтобы написать графу де Менжи и сделать последние распоряжения.

Если вы хотите, дети мои, в пять часов мы соберемся, как бывало, за столом и затем расстанемся без всякого промедления.

— До вечера,— сказал Амори.

— До вечера,— сказала Антуанетта.

XXXVI

Амори подписал паспорт, получил у банкира чеки и деньги, приказал, чтобы его походная коляска, запряженная почтовыми лошадьми, в половине седьмого ждала его во дворе господина д'Авриньи, и провел в мелких, но необходимых заботах остаток дня.

На встречу он пришел без опоздания.

Садясь за стол, каждый посмотрел на стул, который прежде занимала Мадлен. В этот ужасный момент взгляды отца, сестры и возлюбленного встретились.

Амори почувствовал, что он сейчас зарыдает. Он встал, быстро вышел из столовой, прошел через гостиную и спустился в сад.

Через десять минут господин д'Авриньи сказал:

— Антуанетта, сходи за братом.

Она встала и спустилась в сад. Она нашла молодого человека под аркой из лилий, жимолости и розовых кустов. Ни одного цветка не было на ветвях, словно растения тоже надели траур. Он сидел на скамье, на которой он поцеловал Мадлен, и это убило ее.

Одну руку он запустил в волосы, другой он держал платок и кусал его.

— Амори,— сказала девушка, протягивая ему руку,— вы причиняете боль нам с дядей.

Ни слова не говоря, Амори встал и, как послушный ребенок, последовал за Антуанеттой в столовую.

Они вновь сели за стол, но Амори отказался съесть что-либо. Господин д'Авриньи настаивал, чтобы он хотя

бы выпил бульон, но Амори сказал, что это невозможно.

Господин д'Авриньи, с видимым усилием вышедший из своей задумчивости, вновь погрузился в нее.

Наступило глубокое молчание. Господин д'Авриньи опустил голову и, казалось, не замечал ничего вокруг, думая только о дочери.

Но молодые люди думали не только о любимой Мадлен, но и о тех привязанностях, которые они вот-вот потеряют. Вне всякого сомнения, кроме сожаления о смерти, они прочли в душах друг друга горечь расставания, потому что Амори сказал, прерывая молчание:

— Я буду самым покинутым. Один раз в месяц вы сможете встретиться, но кто расскажет мне о вас? Кто расскажет вам обо мне?

— Амори, не пишите мне,— сказал господин д'Авриньи, выйдя из состояния задумчивости,— я не буду читать письма.

— Вот видите,— уныло сказал Амори.

— Но почему бы вам не написать Антуанетте? — продолжал голос д'Авриньи.— И разве Антуанетта не сможет вам ответить?

— Вы разрешаете, мой дорогой опекун? — спросил Амори в то время, как Антуанетта с тревогой взглянула на дядю.

— По какому праву я могу запретить брату и сестре изливать в письмах их печаль и смешивать слезы, которые они проливают над одной могилой.

— А что скажете вы, Антуанетта? — спросил Амори.

— Амори, если это вас утешит хоть немного... — пробормотала Антуанетта, опустив глаза и покраснев.

— О! Благодарю вас, Антуанетта,— сказал Амори,— я уеду, столь же печальный, но более спокойный.

Больше не было произнесено ни слова, настолько их души были угнетены.

В половине седьмого коляска Амори стояла во дворе господина д'Авриньи. Экипаж хозяина дома тоже уже был заложен. Жозеф доложил, что экипажи поданы. Господин д'Авриньи улыбнулся, Амори вздохнул, Антуанетта побледнела.

Господин д'Авриньи встал, молодые люди бросились к нему, он снова сел, и они опустили перед ним на колени.

— Дорогой опекун, обнимите меня,— воскликнул Амори.

— Дорогой дядя, благословите меня еще раз,— сказала Антуанетта.

Господин д'Авриньи со слезами на глазах обнял их обоих.

— Будьте спокойны и счастливы,— сказал он им.— Спокойны в этой жизни, счастливы в вечной.

И пока он целовал их в лоб, рука Амори коснулась руки Антуанетты. Они вздрогнули и обменялись взволнованными и растроганными взглядами.

— Поцелуйте ее, Амори,— сказал доктор.

Амори поцеловал Антуанетту в лоб.

— Прощай, Антуанетта.

— До свидания, Амори.

Их голоса дрожали, их сердца сжимались.

Господин д'Авриньи оставался самым спокойным. Он встал, чтобы положить конец тягостному расставанию. Они тоже встали, обменялись взглядами и рукопожатиями.

— Едем,— сказал господин д'Авриньи,— едем, и прощайте, Амори.

— Едем,— машинально повторил Амори.— Не забывайте мне писать, Антуанетта.

Антуанетта не нашла в себе силы ни ответить, ни идти за ними. Они поклонились ей, затем дверь за ними закрылась.

Но едва они вышли, силы вернулись к ней, она побежала к окну своей комнаты, которое выходило во двор, и открыла его, чтобы взглянуть на отъезжающих еще раз.

Она увидела, что они обнялись и что-то сказали друг другу.

— В Виль-Давре, к моей дочери,— сказал доктор.

— В Германию, с моей невестой,— сказал Амори.

— А я! — воскликнула Антуанетта,— я остаюсь в этом пустынном доме с моей сестрой... и моей любовью,— добавила она, отходя от окна, чтобы не видеть отъезжающие экипажи, и положив руку на сердце, чтобы заставить его замолчать.

XXXVII

Амори — Антуанетте

Лилль, 16 сентября.

«Я был вынужден на несколько часов остановиться в Лилле. И я пишу вам, Антуанетта. Когда экипаж въез-

жал в городские ворота, сломалась ось. Я вошел в первый попавшийся постоянный двор, и вот я, эгоист, добавляю к вашему горю мое.

Выехав из Парижа, я почувствовал, что не смогу уехать, не сказав последнее «прощай» Мадлен И, сделав круг по внешним бульварам, через два часа я был в Виль-Давре.

Вы знаете, что кладбище окружено низкой стеной. Я не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о моем приезде, и, не желая просить ключ от калитки у привратника, я перелез через стену.

Была половина девятого вечера, уже стемнело. Я бесшумно пошел вперед, радуясь мраку, скрывавшему меня от глаз чужих, и безлюдью, которое позволяло мне сосредоточиться.

Но, приблизившись к могиле, я увидел там склонившуюся фигуру. Я подошел ближе и узнал господина д'Авриньи. Глухое раздражение овладело мной. Этот человек оспаривает у меня свою дочь даже после ее смерти! Когда она была жива, он постоянно находился рядом. Теперь она умерла, а он по-прежнему неразлучен с ней.

Я прислонился к кипарису, решив подождать, пока он уйдет.

Он стоял на коленях, припав к земле, почти касаясь ее губами. Он тихо говорил:

«Мадлен, если правда, что нечто остается от нас после смерти, что душа живет дольше тела, что милосердное Провидение разрешает мертвым приходить к живым, приходи ко мне в любой час дня и ночи. Умоляю тебя являться ко мне так часто, как ты сможешь. Ибо до того часа, когда я приду к тебе, Мадлен, я буду ждать тебя постоянно»

Этот человек опережал меня во всем. Именно об этом я хотел ее молить.

Господин д'Авриньи добавил еще несколько таких слов, поднялся и, к моему большому удивлению, направился ко мне. Оказывается, он меня увидел и узнал.

— Амори,— сказал он,— я оставляю вас наедине с Мадлен, так как я понимаю тот эгоизм и ту ревность, которые заставляют вас ждать моего ухода, чтобы преклонить колени на нашей могиле.

Кроме того, вы уезжаете, а я остаюсь. Я приду на могилу завтра, послезавтра и в последующие дни.

Мы увидимся с вами после вашего возвращения. Прощайте, Амори.

Послав рукой последний поцелуй Мадлен, он медленно удалился, не ожидая моего ответа, и исчез за углом стены.

Едва я остался один, я бросился на камни перед могилой и повторил просьбу господина д'Авриньи, но не его спокойным и покорным голосом, а прерывая свои мольбы словами отчаяния.

Мне стало легче. Мне было необходимо выплеснуть свои чувства. И сейчас, вспоминая, мне хочется плакать, так что я не знаю, как вы будете читать это письмо, каждая строка его смочена моими слезами.

Я не знаю, сколько времени я там пробыл. Я мог бы оставаться всю ночь, если бы кучер не поднялся на стену и не позвал меня.

Я отломил ветку с розового куста, посаженного на ее могиле, и ушел, целуя эти цветы, в каждом из которых чувствовалось ее дыхание».

XXXVIII

ДНЕВНИК ГОСПОДИНА Д'АВРИНЬИ

«Ах, Антуанетта, каким ангелом была Мадлен! Я прождал ее всю ночь, весь день и еще ночь. Она не пришла.

К счастью, я могу прийти к ней».

Амори — Антуанетте

Остенде, 20 сентября.

«Я в Остенде.

Ей было восемь лет, а мне двенадцать. Мы жили в Виль-Давре. Однажды мы придумали план, одна мысль о котором заставляла биться наши сердца. Мы решили пойти тайком одни через лес в Глатиньи, чтобы купить у известного нам садовника цветы для дня рождения доктора.

Помните ли вы Мадлен в восемь лет?

Это был настоящий херувим: белокожая, пухленькая, с розовыми щечками, с прекрасными кудрявыми белокурыми волосами. Ей не хватало только крылышек.

О, дорогая и любимая Мадлен!

План был очень серьезный и притягательный, невозможно было удержаться, и накануне праздника, вос-

пользовавшись хорошей погодой и отсутствием господина д'Авриньи, уехавшего на день в Париж, мы сделали вид, что играем, выскользнули из сада в парк и через калитку в лес.

Там мы остановились с бьющимся сердцем, испугавшись собственной смелости.

Я немного знал дорогу, потому что мы проезжали по ней всей семьей. Мадлен тоже бывала здесь раньше, но она была тогда занята бабочками, птичками и цветами. Тем не менее мы храбро вошли в лес, и я, гордый, как король, моей ответственностью, предложил руку Мадлен, которая уже начинала раскаиваться в задуманном. Мы оба были слишком самолюбивы, чтобы отступить, и пошли в Глатиньи, руководствуясь указаниями на столбах.

Я припоминаю, что дорога нам показалась довольно долгой, что косылу мы приняли за волка, а трех крестьян — за разбойников. Когда мы убедились, что волк не нападает, а разбойники спокойно идут своей дорогой, мужество вернулось к нам, шаги стали тверже, и через час мы уже добрались до Глатиньи.

Первым делом мы спросили, где живет садовник.

Нам указали его дом в конце маленькой улочки. Мы вошли во двор и увидели замечательные клумбы. Среди высоких георгинов стоял старый и почтенный человек. Он, улыбаясь, смотрел на нас и спросил, что нам нужно.

— Нам нужны цветы, — сказал я, выходя вперед. — А вот деньги, — продолжал я, важно показывая две монеты по пять франков, наш общий капитал.

Мадлен немного отстала, смутившись и покраснев.

— Вы хотите купить цветов на все эти деньги? — заговорил садовник.

— Да, — сказала Мадлен, — и самые красивые, если можно. Мы хотим поздравить с днем рождения моего отца, доктора д'Авриньи.

— О! Если это для доктора д'Авриньи, — сказал садовник, — то нужны самые красивые. Вы правы, детки. Выбирайте сами на клумбах. Я еще открою оранжерею и, помимо нескольких редких и изысканных цветов, которые я вам подберу, вы сможете взять все, какие хотите.

— Все, какие мы хотим! — закричал я, хлопая в ладоши.

— Все, все? — спросила Мадлен.

— Все, какие вы сможете унести, детки.

— Берегитесь, мы очень сильные.

— Но отсюда до Виль-Давре далеко.

Мы больше не слушали, мы бегали вокруг грядок, выбирая цветы. Мы соревновались, кто найдет самые красивые. Садовник шел за нами. Пчелы и бабочки, наверное, испугались, что им ничего не останется.

Потом послышались восклицания:

— А этот можно сорвать?

— Конечно.

— А этот?

— Разумеется.

— А вот этот?

— Да.

— А вот еще один цветок чудесной красоты! Его нельзя сорвать?

— Держите.

Наша радость была велика. Еще бы! Мы собрали не букеты, а целые охапки цветов.

— Сумеете ли вы донести все это? — сказал садовник.

— Сумеем! Сумеем! — закричали мы, беря свои цветы.

— И вам позволяют одним ходить через лес? — спросил садовник.

— Конечно, — гордо сказал я, — всем известно, что я знаю дорогу.

— Вы не хотите, чтобы я вас проводил?

— Нет, нет!

— Ну что ж, друзья мои, доброго пути и скажите доктору, что эти цветы от садовника из Глатиньи, дочь которого он спас.

Вы понимаете, Антуанетта, доктор спас дочь садовника, чужую ему, и не смог спасти свою!

Одно опасение сжимало наши сердца. Вдруг наше отсутствие уже заметили! Вдруг господин д'Авриньи вернулся и спрашивает о нас!.. Сбор цветов занял по меньшей мере два часа. Значит, прошло уже три часа после нашего ухода.

В своей растерянности я заметил, на наше несчастье, тропинку, которая, как мне казалось, должна была вдвое сократить путь. Мадлен храбро последовала за мной. Она уже успокоилась и не боялась волжов и разбойников. Впрочем, вы знаете, Антуанетта, что она полностью полагалась на меня.

Мы пошли по этой тропинке, она вывела нас к другой, затем на перекресток и наконец привела в настоящий

лабиринт дорожек, очень милых, но пустынных. Через час ходьбы я должен был признаться, что я заблудился и не знаю, где мы находимся и в какую сторону идти.

Мадлен заплакала.

Судите сами о моем отчаянии, дорогая Антуанетта. Уже, наверное, был час обеда, потому что мы очень проголодались, наши огромные букеты стали тяжелее.

Я думал о Поле и Виргинии, неосторожных детях, заблудившихся, как мы, но им помог Доминго и его собака. Правда, рощи Виль-Давре менее безлюдны, чем леса центральной Франции. Но вы понимаете, что мы не могли знать разницу между ними.

Слезами и жалобами мы не могли исправить положение, поэтому мы храбро шли еще час, но лабиринт стал еще сложнее, мы окончательно запутались. Мадлен, обессилев, села под деревом. Я тоже сильно испугался. Почти четверть часа мы предавались отчаянию, вместо того, чтобы отдыхать. Вдруг послышался легкий шум: мы обернулись и увидели, что из леса вышла бедно одетая женщина с ребенком.

Мы закричали от радости, ибо были спасены.

Потерпевшие кораблекрушение с «Медузы» не обнимались, наверное, так радостно, увидев на горизонте парус «Аргуса», как обнимались мы, заметив эту крестьянку.

Я вскочил и побежал к ней, чтобы спросить дорогу, но нужда опережает страх, и она заговорила первая:

— Мой маленький господин, и вы, маленькая госпожа, сжальтесь надо мной и моим бедным ребенком! Будьте милосердны!

Я поискал в кармане, Мадлен тоже. Мы забыли, что наши десять франков истрачены на цветы.

Мы в замешательстве посмотрели друг на друга, нищенка решила, что мы колеблемся и продолжала:

— Сжальтесь над нами! Я овдовела три месяца назад, болезнь мужа поглотила все наше состояние, а смерть заставила продать последнее. А у меня двое детей, один в колыбели, другой — вот он. Бедный малыш, он не ел со вчерашнего дня, потому что я не могу найти ни работы, ни щедрого дарителя. Пожалейте нас!

Ребенок, наверняка приученный к таким уловкам, начал плакать.

Мы посмотрели друг на друга, преисполненные сочувствием.

Мы были голодны, но мы не ели с утра, а бедный малыш, который был и младше, и слабее нас, не ел со вчерашнего дня!

— Боже! Как они несчастны! — воскликнула Мадлен своим ангельским голоском.

Слезинки заблестели на ее ресницах, и со свойственной ей живостью и изяществом она сказала:

— Милая женщина, у нас с собой больше нет денег, и, кроме того, мы заблудились, возвращаясь из Глатиньи в Виль-Давре. Помогите нам найти дорогу, проводите нас до дома доктора д'Авриньи, это мой отец, и он поможет вам.

— Боже милостивый! Благодарю за моих детей! — сказала бедняжка, молитвенно складывая руки.— Но как вы могли заблудиться? До Виль-Давре всего две минуты. Надо повернуть по тропинке налево, и вы увидите первые дома деревни.

Мужество и силы сразу же вернулись к нам, и мы быстро и весело вскочили на ноги.

Но наша радость сменилась унынием, когда мы подумали о приеме, который нас ждет. Мы вошли через калитку в парк и тотчас услышали голос миссис Браун, громко зовущей нас. Мадлен прикусила губу и повернулась ко мне:

— А теперь, Амори, что мы будем делать и, главное, что мы скажем?

Миссис Браун заметила нас и подбежала.

— Ах, какие вы нехорошие! — воскликнула она.— Сколько беспокойства вы мне причиняете! Я с ума схожу! Где вы бегали? Господин д'Авриньи только что приехал и спрашивает о вас. К счастью, я не осмелилась сказать ему правду. Я притворилась, что пошла вас искать сюда. А раз вы уже здесь, я скрою от него вашу вылазку. Тем более что ругать он будет меня, хотя здесь нет моей вины,— добавила она ворчливо.

— Какое счастье! — воскликнул я, поддавшись первому порыву.

— А бедная женщина? — сказала Мадлен.

— Что?

— Как что? Разве она может получить обещанную нами награду, если мы не признаемся, что мы заблудились, а она указала нам дорогу?

— Но нас будут ругать,— ответил я.

— Но они хотят есть,— возразила Мадлен.— Не лучше

ли получить выговор, чтобы эти бедняги могли получить еду!

Прелестное создание! Этот ответ был так похож на нее!

Нетрудно понять, что господин д'Авриньи не столько ругал нас, сколько обнимал.

А бедную вдову устроили на ферму в Мерзан, и теперь еще три благодарных существа молятся за душу нашей Мадлен...

И когда я думаю, что со времени того приключения прошло всего десять лет...

Вот все, что я могу написать вам, Антуанетта. Рядом со мной море, но увы! В моем безграничном горе мне нравится возвращаться к детским воспоминаниям, как бесконечному океану нравится играть ракушками на своих берегах:

«Когда приходит горе,
Мы обращаем взоры к счастью
Минувших дней.»

Амори»

ДНЕВНИК ГОСПОДИНА Д'АВРИНЬИ

«Странное дело! Пока у меня не было ребенка, я отрицал существование другой жизни!

Когда Мадлен родилась, я стал надеяться.

Когда она умерла, я поверил.

Благодарю тебя, Боже, что ты дал мне веру тогда, когда оставалось только отчаяние!»

XXXIX

Антуанетта — Амори

3 октября

«Амори, я не буду писать о себе, а только о дяде, о Мадлен и о вас.

Я видела господина д'Авриньи позавчера, 1 октября, помните, мы условились, что встречаемся первого числа каждого месяца? Однако я часто получаю известия о нем от старого Жака, которого он посылает в Париж справиться обо мне.

Дядя почти не разговаривал со мной, и день прошел в молчании. Он мне показался рассеянным, и я боялась его рассердить. Я довольствовалась тем, что украдкой поглядывала на него.

Он очень изменился, хотя это не сразу бросается в глаза. На лбу стало больше морщин, в глазах больше сосредоточенности, в позе больше озабоченности.

После двух месяцев болезни Мадлен он уже находился в подавленном состоянии.

Когда я приехала, он поцеловал меня со своей обычной добротой и спросил, не хочу ли я ему рассказать что-нибудь о своей жизни?

Я ответила отрицательно и сказала, что получила от вас два письма. Я хотела дать ему прочесть второе письмо, потому что оно все состоит из воспоминаний о Мадлен. Но он оттолкнул письмо и отказался взять его, хотя я и настаивала.

«Я знаю,— прошептал он,— что он может сказать; все в прошлом, как и у меня. Но я старше его на тридцать пять лет. Я уйду к ней первым».

После этих слов он почти не разговаривал. Боже! Я пугаюсь, видя его таким погруженным в свои мысли, таким чуждым всему.

Во время обеда мы произнесли только несколько банальных фраз. Прощаясь, я обняла его со слезами на глазах, он проводил нас до экипажа, и Жак отвез нас с миссис Браун обратно в Париж.

Вот и все мое свидание с дядей, дорогой Амори. Но когда Жак приезжает в Париж, я его расспрашиваю обо всем. Дядя не запрещает ему отвечать, ему теперь все безразлично. Поэтому я знаю, что он делает и как он живет.

Каждое утро в любую погоду он выходит из дома и идет на кладбище, чтобы, как он говорит, поздороваться с Мадлен. Он остается там около часа.

Вернувшись и позавтракав за пять минут, потому что он ест, только чтобы не умереть, он закрывается в своем кабинете, берет тетради, где ведет дневник. Он начал его вести очень давно.

Поскольку в течение 20 лет, что прожила Мадлен, жизнь дочери была неотделима от жизни отца, в дневнике описаны события, касающиеся обоим. Гуляла ли она и куда ходила, работала ли она и что делала, говорила ли она и что сказала. Он может вспомнить каждый день: пять, десять, пятнадцать лет назад она была тут или там. Однажды мы читали дневник вместе.

Веселые, нежные или печальные сцены прошлого проходили перед его взглядом, он видит их, улыбается или плачет, но заканчивается всегда слезами, потому что

конец этих воспоминаний один. Когда он говорит себе: в пять лет она была такой шаловливой, в десять такой умной, в пятнадцать такой прелестной, в конце концов он должен сказать: а ныне шаловливость, ум и прелесть исчезли, ныне она мертва. И даже если бы он усомнился, что такое совершенство могло умереть, ему достаточно открыть окно и увидеть могилу.

За этим печальным чтением, источником тысяч чувств, мой дядя проводит целые часы. Он не ложится в постель, не попрощавшись с Мадлен. В 10 или 11 часов вечера он возвращается, сорвав с куста, растущего на могиле, белую розу, ставит ее до заката дня в вазу из богемского хрусталя, которая раньше стояла в комнате Мадлен.

Слуги слышат, как он разговаривает с портретом своей дочери, этим удивительным творением кисти Шанмартэна. Вы часто любовались этим полотном.

Он больше не открывает ни книг, ни газет, не открывает посылки и письма. Он никого не принимает и ни к кому не ходит.

Он умер для всех живых и живет только для умершей.

Теперь вы знаете, Амори, так же хорошо, как я, чем живут в доме в Виль-Давре: там оплакивают Мадлен. То же самое происходит на улице Ангулем, где живу я. То же самое, уверена, там, где находитесь вы.

Когда я думаю теперь о ней, она мне кажется небесным видением, спустившимся на землю. Может быть, она была святой, которую Бог послал нам для подражания. Вы знаете одно ее доброе деяние, Амори, я же, ее подруга, знаю о тысяче других, и многие бедняки знают ее по имени.

Раньше я молилась только Богу, теперь я молюсь Богу и ей.

Пишите мне о Мадлен чаще, Амори.

Пишите мне и о себе. Я даю вам этот совет, а сердце у меня бьется и рука дрожит. Я так боюсь вас оскорбить или расстроить! Не обвиняйте меня в любопытстве или навязчивости!

Чтобы прикоснуться к вашим ранам, нужны нежные и чуткие руки, только Мадлен сумела бы вам написать обо всем, но где взять вторую Мадлен?

Говоря с вами, я слушаю свое сердце и вспоминаю нашу дружбу.

Боже мой! Почему я в самом деле не ваша сестра! Тогда я бы вам сказала, а вы бы выслушали следующее:

— Амори, мой любимый брат! Я не хочу и не буду советовать вам забыть или предать святую память о Мадлен. Естественно, что ваша душа отныне мертва для любви и что имя, шаги или голос другой женщины не могут заставить биться ваше сердце. Будьте верны вашей умершей любимой! Это правильно, благородно, справедливо.

Но если любовь — это лучшее, что есть на свете, нет ли и другого, столь же прекрасного? Разве искусство, науки не являются высоким предназначением?

Вы молоды, вы сильны, разве у вас нет обязанностей по отношению к себе подобным? Когда вы подаете милостыню, скажите, разве милосердие — это не проявление любви?

Вы можете осчастливить многих, вы богаты. И поскольку ваша сестра Антуанетта тоже богата, разве вы не вдвое богаче?

Я не хотела огорчать дядю отказом, но моя жизнь слишком печальна, чтобы я когда-нибудь согласилась соединить ее с другой жизнью. Какое лучшее применение я могу найти этому состоянию? Я могу только доверить его вам, Амори, пусть оно послужит великодушию или благородным миссиям. Я не могу отдать его в более надежные руки, Амори. Что касается меня...

Но речь идет не обо мне, а о вас. Я хочу говорить только о вас. Я хочу найти слова, которые бы вас тронули.

Вы же больше не думаете о смерти? Это было бы ужасно, это было бы преступно! Дядя приближается к концу своего пути, а вы находитесь в начале вашего.

У меня не так много знаний, чтобы судить о таких вещах, но между вашей судьбой и его, его долгом и вашим есть большая разница. Вы больше не можете любить, я понимаю, но вы можете быть любимым.

Не умирайте, Амори, не умирайте! Думайте о Мадлен, но когда вы будете на берегу океана, посмотрите из вашей печали на безбрежность вод. Где мне найти красноречие, чтобы убедить вас! Подумайте о вечности природы, когда зима — это только подготовка к весне, а в смерти кроется возрождение.

Как под этим снегом и льдом, так под вашей болью и тревогой бьется горячая и сильная жизнь. Не отказывайтесь от даров Божьих, смиритесь, если такова Его воля, живите, если такова Его воля.

Простите меня, Амори, я говорю это от всего сердца, когда я вспоминаю, что вы далеко, очень далеко, одинокий, покинутый, полный отчаяния, я чувствую сострадание и нежность сестры, матери. Это придает мне силы, и я нахожу в себе мужество бросить призыв другу моего детства, крикнуть жениху Мадлен:

— Не умирайте, Амори!

Антуанетта де Вальженсез»

XL

Амори — Антуанетте

15 октября.

«Пишу из Амстердама.

Как бы ни был я чужд внешнему миру, как бы ни был я поглощен собой, как бы низко я ни склонился над пропастью, в которую рухнули все мои надежды, я не могу не обращать внимание на голландцев. Они одновременно методичные и деятельные, алчные и беззаботные, домоседы и путешественники, охотно отправляющиеся на Яву, в Малайзию, в Японию, но только не в Париж.

Голландцев называют европейскими китайцами и матросами человечества.

Антуанетта, я получил ваше письмо в Анвере, и оно принесло мне радость.

Ваши утешения мне приятны, но рана слишком глубока. И все-таки посылайте мне добрые слова, рассказывайте мне о себе. Я прошу вас об этом, я умоляю. Очень плохо, что вы думаете, будто ваша жизнь мне безразлична.

Вы нашли господина д'Авриньи изменившимся? Не беспокойтесь об этом, Антуанетта, потому что каждый волен выбирать то, что он хочет. Уверяю вас, чем больше он угнетен, тем больше он доволен. Чем больше страдает его тело, тем больше радуется душа.

Вы хотите, чтобы я вам еще и еще рассказывал о Мадлен. Это дает мне возможность чаще писать вам, и о чем мне писать, как не о ней? Она — передо мной, со мной, во мне, ничто не может так радовать мое израненное сердце, как воспоминания о ней.

Хотите, я вам расскажу, как мы узнали о нашей любви?

Это было весенним вечером два с половиной года назад. Мы сидели в саду под липами. Из вашего окна вид-но это место.

Поклонитесь ему от моего имени, Антуанетта, поклонитесь всему саду. Повсюду шагали ее легкие ноги, к каждому дереву прикасалась ее вуаль, шарф или платок, в каждом уголке звучал ее нежный голос.

Итак, весенним вечером мы сидели вдвоем и, устав болтать о настоящем, стали весело разговаривать о будущем.

Вы знаете, несмотря на меланхолический вид, моя милая Мадлен была смешливой. Смеясь, мы заговорили о браке, не о любви.

Какие качества нужно иметь, чтобы покори́ть сердце Мадлен?

Какие достоинства, чтобы задеть мое?

И мы составили целый список совершенств, какие мы бы потребовали от избранника или избранницы, затем, сравнив наши пожелания, мы нашли их схожими.

— Прежде всего, — сказал я, — я хотел бы знать много лет, почти наизусть ту, которой я отдам душу.

— О, я тоже, — сказала Мадлен. — Когда ухаживает незнакомый человек, то видишь не его истинное лицо, а маску Воздыхатель облачает в черный фрак известный идеал, и только после свадьбы можно узнать, что он собой представляет.

— Значит, — заговорил я, улыбаясь, — это мы уже прояснили. Да, я хотел бы в течение длительного знакомства узнать достоинства моей избранницы. Я бы хотел также, если это не покажется вам чрезмерным требованием, чтобы она соединила в себе три качества: красоту, доброту, ум. Все очень просто.

— Но и очень редко, увы! — ответила Мадлен.

— То, что вы говорите, не отличается скромностью, — заметил я.

— Совсем нет, — возразила она, — я хотела бы, чтобы мой будущий супруг имел достоинства, подобные тем, какие вы хотите найти у вашей жены: элегантность, преданность, благородство.

— О, Мадлен, — воскликнул я, — вам придется искать слишком долго.

— Не переоценивайте себя, Амори, — засмеялась Мадлен, — и давайте продолжим.

— О, Боже мой, — продолжил я, — я могу добавить только два-три второстепенных желания; не покажется ли вам детским капризом, если я захочу, чтобы она тоже была из аристократической семьи?

— Вы совершенно правы, Амори, и мой отец, соединяющий в себе благородство происхождения и талант, мог бы изложить для подтверждения вашего желания (если он когда-либо услышит о нем) целую социальную теорию, к которой я присоединяюсь инстинктивно, не слишком ее понимая, я желаю выйти замуж за знатного человека.

— И, наконец,— сказал я,— хотя, Боже упаси! — я совсем не жаден, я бы хотел в интересах нашего морального равенства, чтобы избавить нас от неприятных мыслей, касающихся денег, чтобы моя избранница тоже была богата. Что вы думаете об этом, Мадлен?

— Вы правы, Амори, и, хотя я совсем не думала об этом, потому что моего состояния достаточно для двоих, я согласна с вами.

— Остается только узнать одно!

— Что?

— Когда я найду придуманную мной фею и полюблю ее, как узнать, любит ли она меня?

— Разве можно не полюбить вас, Амори?

— Как! Вы можете убедить меня в этом?

— Конечно, Амори, я отвечаю вместо нее. Но полюбит ли меня он?

— Он будет вас обожать, уверяю вас.

— Итак,— сказала Мадлен,— перейдем от фантазий к реальности, поищем вокруг нас, среди тех, кого мы знаем. Видите ли вы кого-нибудь, кто отвечает нашим требованиям, а я...

Она вдруг замолчала и покраснела

Мы молча смотрели друг на друга, и истина начала проявляться в наших разгоряченных головах.

Я пристально смотрел в глаза Мадлен и повторял, как бы спрашивая самого себя:

— Любимая подруга, знакомая с детства...

— Друг, в сердце которого я могла бы читать, как в своем,— сказала Мадлен.

— Нежная, красивая, умная...

— Элегантный, щедрый, благородный...

— Богатая и знатная...

— Знатный и богатый...

— Но это ваши совершенства, Мадлен.

— Это ваши достоинства, Амори.

— О! — воскликнул я с бьющимся сердцем,— если бы такая женщина, как вы, полюбила меня!

— Бог мой! — сказала, бледнея, Мадлен. — Разве вы когда-нибудь думали обо мне!

— Мадлен!

— Амори!

— Я люблю вас, Мадлен!

— Амори, я люблю вас!

Небо и наши души просветлели при этом нежном восклицании, мы ясно прочли любовь в наших сердцах.

Я напрасно коснулся этих воспоминаний, Антуанетта, они приятны, но слишком терзают меня.

Ваше следующее письмо отправляйте в Кёльн. Я напишу вам оттуда.

Прощайте, сестра моя. Любите меня немного и жалейте.

Ваш брат Амори».

— Странно, — сказал Амори, запечатав письмо и мысленно перечитывая написанное, — среди всех знакомых женщин Антуанетта — теперь единственная в мире, которая отвечает моим прежним мечтам, если бы... если бы эти мечты не умерли вместе с Мадлен; Антуанетта — тоже подруга детства; нежная, красивая, умная, богатая и знатная.

— Правда, — добавил он меланхолично, — я не люблю Антуанетту, а она не любит меня.

XL I

Антуанетта — Амори

5 ноября.

«Я еще раз видела дядю, Амори, я провела с ним еще один день, похожий на первый, увидела те же признаки продолжающегося упадка сил, сказала и услышала почти те же слова. Я не могу рассказывать о нем ничего нового.

О себе тоже, Амори.

Вы просите, чтобы я писала о себе. Благодарю вас за вашу доброту. Боже мой, а что сказать! Мои мысли слышит и судит только Бог, мои дела слишком ничтожны и скучны, клянусь вам

Мои дни наполнены заботами по хозяйству, вышиванием и игрой на рояле.

Иногда визиты прежних друзей господина д'Авриньи прерывают монотонность этих занятий.

Но я слышу с удовольствием только два имени. Первое — имя господина де Менжи, потому что граф и его жена любят меня и относятся ко мне, как к дочери.

Другое, сознаюсь вам, Амори,— имя вашего друга Филиппа Оврэ.

Да, он единственный гость младше шестидесяти лет. Конечно, я принимаю его в присутствии миссис Браун. Чем он заслужил такую привилегию? Уж, конечно, не нудным, томным разговором, который убивает своей скукой.

Но он ваш друг, брат мой.

Впрочем, он много о вас не говорит, но я не упускаю случая побеседовать с человеком, который вас знает.

Он приходит, здоровается, садится, и, если у меня кто-нибудь есть, он хранит задумчивое молчание, довольствуясь тем, что смотрит с настойчивостью, начинающей стеснять.

Если я одна с миссис Браун, он смелеет, но, должна признать, его смелость не идет дальше повторения нескольких фраз, позволяющих мне вести разговор, и вы понимаете, Амори, мы говорим о Мадлен или о вас.

В конце концов почему я должна что-то скрывать от такого благородного и нежного сердца, как ваше? Душа нуждается в привязанности, как грудь в глотке воздуха, а вы — теплое воспоминание из моего прошлого и, пожалуй, единственная привязанность в будущем.

Должна сознаться вам, Амори, одиночество угнетает меня, и я наивно жалею вам на это, потому что я никогда не умела лукавить ни с другими, ни с собой; может быть, это плохо, но мне хочется отвлечься, выйти на улицу, прогуляться по солнечной дорожке, увидеть людей... жить наконец...

Мне холодно и немного страшно в этих просторных комнатах, и когда я оказываюсь наедине с мраморными бюстами и неподвижными портретами, появляется прежняя Антуанетта. Увы, я боюсь ее!

Присутствие молчаливого и созерцательного Филиппа дает мне то преимущество, что я подшучиваю и смеюсь над ним *про себя*, когда он здесь, и вместе с миссис Браун, когда он уходит... Я не могу его уважать: он слишком...

Ругайте, друг мой, ругайте меня сильнее за эти насмешливые замечания, какие я позволяю себе по отношению к человеку, к которому вы, может быть, испытываете привязанность...

Ругайте меня, Амори, потому что вы один можете, если захотите, исправить мои недостатки.

Но я хотела бы говорить не о нем, а о вас, Амори. Какое у вас настроение? О чем вы думаете? Что чувствуете?

Мое положение между вами и дядей очень печально. Я чувствую, что напугана и подавлена вашим двойным отчаянием..

Доверьтесь мне, Амори, не оставляйте меня наедине с собой. Имейте снисхождение к слабому, испуганному, плачущему существу.

Вы знаете, иногда я завидую Мадлен: она умерла, она счастлива на небе, а я похоронена заживо в одиночестве и забвении.

Антуанетта де Вальженсез».

XLII

Амори — Антуанетте

Кёльн, 10 декабря.

«Вы упрекаете меня, Антуанетта, в том, что я мало говорю о себе. Чтобы наказать вас, пишу вам самое эгоцентричное письмо на свете. Две-три страницы хочу посвятить моей персоне и, надеюсь, имею право уделить две-три строчки вашей.

Вам это понравится?

Я в Кёльне, скорее, напротив него — в Деце. Из моего окна (я живу в отеле «Бельвю») мне виден Рейн и город. Зрелище изумительное: солнце садится за старым городом и ясным холодным вечером создает пламенеющий фон, на котором вырисовываются темные массивные купола и черные шпили церковей.

Река с глухим рокотом течет внизу, по воде пробегают красные, багровые всполохи. Удивительная красота!

Целые часы я провожу в экстазе перед этой дивной картиной, обрамленной гигантскими башнями недостроенного (к счастью) собора.

Ибо когда каменщики, полные тщеславия, закончат творение архитекторов, вдохновленных верой, солнце не сможет больше посылать свои лучи через здание и не сможет превращать пропасть между двумя высокими башнями в пылающую заревом печь.

Я рассматриваю эти детали с интересом художника. Мне нравится этот город, старый и молодой, почтен-

ный и кокетливый одновременно, город думает и действует.

Ах, если бы Мадлен была здесь со мной и могла видеть солнце, опускавшееся за Кёльнский собор!

Мой банкир счел своим долгом вручить мне письмо-пропуск в Казино. Разумеется, я не бываю на вечерах, которые там даются, но днем, когда залы безлюдны, я охотно провожу там час или два за чтением газет.

Однако должен вам признаться, Антуанетта, что мне потребовалось большое усилие, чтобы подавить отвращение, вызванное первыми прочитанными газетами; в этих двенадцати колонках не было для меня ничего интересного: парижский свет продолжает смеяться и веселиться. Вся эта европейская гармония, на глади которой самое глубокое личное горе не вызывает ни малейшей ряби, внушает мне неприязнь, переходящую в гнев. В конце концов я сказал себе:

«Что такое для равнодушных людей смерть моей обожаемой Мадлен? Одной женщиной стало меньше на земле, одним ангелом больше на небе...»

Я, конечно, эгоист, если хочу, чтобы другие люди разделяли со мной мое горе. Разве я разделяю их печали?

И я снова взял с возмущением отброшенные газеты и прочитал их.

Знаете ли вы, что уже три месяца прошло со времени моего отъезда из Франции!.. Иногда я пугаюсь, думая, что дни текут в горе так же быстро, как и в радости.

Кажется, еще вчера Мадлен лежала на своей постели, я держал одну ее руку, отец другую, а вы, Антуанетта, пытались согреть ее уже остывшие ноги.

Только за границей замечаешь эту великую истину: лишь в Париже бьется настоящая жизнь, в остальном мире — только более или менее ситные ростки ее. Только в Париже мы видим движение ума и прогресс мысли. И тем не менее, Антуанетта, я бы еще долго оставался здесь, если бы рядом был кто-то, с кем я мог бы говорить о ней, например, вы. Мы бы любовались вместе этими прекрасными картинами природы, которые создают на моих глазах Рейн и солнце.

Ах, если бы я мог сжимать чью-то руку в моей, стоя в молчаливом восхищении перед окном... Если бы я мог найти чьи-то взволнованные теми же впечатлениями глаза, чью-то душу, чтобы поделиться!..

Но нет... моя судьба — одиноко жить и умереть!..

Вы спрашиваете, Антуанетта, что происходит со мной: к чему огорчать заботами ваше чуткое сердце, которое наивно сознается в том, что одиночество леденит его и что оно хотело бы биться в унисон с другим сердцем.

Пусть сбудется ваше желание, Антуанетта! Желаю вам найти родственную душу. Пусть Бог даст вам все радости любви и избавит вас от жизненных бурь. Меня, мужчину, эти бури сокрушили!..

Но вы еще не знаете, что такое любовь, Антуанетта! Любовь — это радость и горе, лед и пламень, эликсир жизни и яд! Она опьяняет и убивает! От балкона Джульетты до могилы — море улыбок и море слез.

Счастлив тот, кто умирает первым!

Когда Ромео находит свою любимую мертвой, что остается ему делать, как не последовать вслед за ней?

Я предоставил жизни эту работу.

Видите ли, Антуанетта, когда любишь, твое сердце бьется не в твоей груди, а в груди другого. Когда любишь, отрекаешься от себя, растворяешься в жизни другого, живешь этой жизнью. Когда любишь, витаешь в облаках до тех пор, пока смерть, унеся половину вашей души, не превратит рай в ад.

Единственное, что можно сделать, это надеяться на смерть, которая соединит после разлуки...

Смерть сестры не должна сокрушать так, как смерть возлюбленной или дочери.

У вас будут другие привязанности... Вы печальны, бедное дитя! Я понимаю зло, подтачивающее ваши силы: любовь вас волнует, активность вашего характера требует движения, величия, страсти! Вам хочется жизни, потому что вы находитесь только в ее преддверии, и таинственная книга судьбы пока закрыта для вашего невинного взгляда. Вы хотели бы использовать богатые возможности, данные вам Богом... Это правильно, Антуанетта.

Не стыдитесь же ваших желаний и вашего характера, Антуанетта, идите в мир, он открыт для вас; под покровительством ваших благородных и почтенных друзей постарайтесь найти в толпе сердце, достойное вас.

Я же, стоя у могилы Мадлен, буду по-братски наблюдать за вами.

Поспешу вам сказать; достойные сердца редки, Антуанетта, ошибка может быть роковой... Вся жизнь разыгры-

вается, как игра в кости: чем больше выбор, тем больше возможность ошибки. Это ужасно!

Мне выпала удача встретить на моем пути одну любимую, Мадлен. Я знал ее с детства. Поэтому я считаю себя вправе сказать, что опасно отдавать свою судьбу на волю случая, а свою душу незнакомцу!..

Будьте осторожны, Антуанетта... Хотел бы я быть в Париже, чтобы наставлять вас, как беспристрастный свидетель вашей жизни, как преданный брат.

Я был бы строг к вам, Антуанетта, и возможному избраннику пришлось бы иметь множество достоинств, чтобы заслужить мое одобрение.

Но послушайте...

Чего вам не хватает? У вас есть все: изящество, богатство, красота, знатность, природное очарование, тонкое воспитание. Вы сами — живое счастье, следует ли отдавать его кому-то, кто его не стоит и не понимает?

Имейте в виду, Антуанетта, даже здесь, вдали, я готов выслушать ваши признания, даже издали я постараюсь увидеть и предвидеть.

Всецело ваш душой и телом
Амори.

Р. С. Обратите внимание на этого Филиппа. Я знаю его, он способен вас полюбить. Он не только исключительно смешон, он может скомпрометировать вас. Он похож на машину, которая медленно разогревается, но разогревшись, может взорваться со страшным шумом.

Откровенно говоря, не эту прозу я хотел бы видеть рядом с вами, поэзией».

ДНЕВНИК ГОСПОДИНА Д'АВРИНЬИ

«Наконец-то Бог услышал мою мольбу. Я начинаю чувствовать в себе разрушительное действие болезни, которая через восемь или девять месяцев сведет меня в могилу.

Надеюсь, я не оскорбляю Бога тем, что позволю себе умереть от болезни, посланной им. Я только повинуюсь.

Да сбудется воля Бога на земле и на небе.

Мадлен, жди меня».

6 января.

«Как вы умеете говорить о любви, Амори, как вы ее чувствуете! Я много раз перечитала ваше письмо. Каждый раз, пробегая взглядом эти строки, я говорю себе:

— Как счастлива была женщина, жизнь которой осущала такая страсть, и печально, что этот редкий дар нежности и преданности, хранимый вами, отныне бесполезен!

Вы советуете мне выезжать, посещать свет, поискать там друга, чтобы заменить утерянные привязанности, но не разочаровываете ли вы меня заранее, Амори?

Встречу ли я среди тех, кто мог бы сказать мне слова любви, такого друга, какого встретила Мадлен? Этот друг принадлежит ей и после смерти. Разве можно найти в наше время такое рыцарское самоотречение, такую изысканность чувств? Честолюбивые политики и скучающие бездельники окружают меня.

Не произносите имена Ромео и Джульетты среди этой плотной и серой толпы, Амори. Ромео и Джульетта — это мечта поэта, а не реальность этой жизни.

Все мое достояние пойдет бедным, дорогой брат, а моя душа обратится к Богу. Вот моя судьба, Амори. Вот почему я смеюсь и шучу. Смех позволяет мне думать, насмешка мешает жаловаться.

Но эта тема слишком грустная, поговорим на другую. Другая тема — это господин Филипп Оврэ.

Вы угадали, Амори, Филипп Оврэ меня любит. Слава Богу, он не признавался мне в любви, он слишком сдержан и осторожен, чтобы осмелиться на такой поступок. Но откровенно говоря, это бросается в глаза, а когда я делаю такие открытия, я не могу молчать. Не осуждайте меня, Амори.

Вы считаете, что он может меня скомпрометировать?

Дорогой Амори, вы находитесь в двухстах лье отсюда и от правды.

Если бы вы могли видеть хоть секундочку этого беднягу, понять, как он жалок передо мной, вы бы поняли, что он скорее способен повредить своей репутации, чем моей. Если он осознает свою страсть, то, несомненно, он борется с ней.

Иногда что-то начинает терзать его, и он торопливо просит разрешения удалиться, как будто он боится, что

его обвинят в любви ко мне. Я склонна думать, что он опасается за чистоту своей души.

В остальном он скорее стеснен, чем стесняет, и когда он играет в вист с графом де Менжи, у него такое страдальческое выражение лица, что мне жаль его.

И так как это совсем не опасно, оставьте мне мою жертву, Амори, и я вам обещаю, что месяцев через шесть робкий Филипп осмелится пробормотать слова, похожие на признания.

Я даже не стала тревожить господина д'Авриньи описанием этих вздохов.

Мой дядя стал еще более мрачным и замкнутым.

И, боюсь, что он скоро последует за своей дочерью.

Но ведь он хочет этого, не так ли? В этом его счастье.

Все равно, я буду плакать, когда он будет счастлив...

Я должна вам сказать одну вещь, Амори: я убеждена, что дядя смертельно болен. Это только горе, или оно породило какую-то болезнь?

Я расспросила об этом молодого доктора, господина Гастона, вы его знаете, Амори. Он мне ответил, что большое потрясение, в котором человек замыкается, в определенном возрасте несет в себе зачатки разрушения всего организма. Он мне назвал две или три болезни, какие могут возникнуть из-за постоянного состояния печали, и спросил, нельзя ли ему хотя бы немного поговорить с господином д'Авриньи.

— Пяти минут будет достаточно, — сказал он мне, — чтобы установить симптомы болезни вашего дяди, если у недуга нет другой причины, кроме горя.

Первого числа, приехав в Виль-Давре, я попыталась решить эту задачу. Я сказала дяде, что доктор Гастон, один из его любимых учеников, которого он ввел в королевский дом, нуждается в консультации. Но он не дал себя обмануть.

— Да, — сказал он, — я знаю эту болезнь и я знаю больного. Но скажи доктору, дитя мое, что все лекарства бесполезны и болезнь смертельна.

Я заплакала, а он добавил:

— Утешься, Антуанетта, если ты интересуешься этим больным. Как бы ни развивалась болезнь, он проживет еще четыре или пять месяцев. Тем временем вернется Амори.

Боже мой! А если мой дядя умрет в ваше отсутствие, и я окажусь одна, совсем одна!

Вы желали иметь спутницу, Амори, чтобы вместе с ней восхищаться полями и городами? А разве не нужнее мне друг, который разделял бы со мной печали и слезы?

У меня есть такой друг, но огромное расстояние разделяет нас, а его горести разделяют нас еще больше.

Амори, что вы там делаете? Как вы можете приговаривать себя к одиночеству, которое тяготит вас так же, как меня? Что хорошего быть чужим для всего окружающего?

Амори, если вы вернетесь, мы сможем страдать вместе.

Возвращайтесь, Амори...

Ваша сестра Антуанетта».

Антуанетта — Амори

2 марта.

«Господин де Менжи сказал, что один из его племянников проезжал через Гейдельберг и узнал, что вы живете в этом городе.

Поэтому я пишу вам в Гейдельберг, Амори, и надеюсь, что это письмо будет счастливее предыдущих, и я получу на него ответ.

Боже милосердный, что происходит с вами! И почему вы прячетесь от тех, кто вас любит?

Знаете ли вы, что уже почти два месяца я не знаю, где вы живете и даже живы ли вы?

Клянусь, если бы я не была женщиной, я бы поехала вас искать, и, уверяю вас, Амори, я бы очень быстро вас нашла, как бы хорошо вы ни спрятались.

Я вам написала три письма, вы их получили? Получите ли вы это, четвертое? В каждом письме я вам писала о моей растущей тревоге.

Нет, если бы вы их получили, вы бы не нашли в себе мужества продолжать молчание. Вы бы увидели, как я страдаю от этого

По крайней мере вы живы, и я знаю, наконец, куда писать, и если вы не ответите, я пойму, что докучаю вам и перестану нарушать ваше одиночество.

Амори, я очень несчастна! Трое меня любили, но одна умерла, другой умирает, третий меня забыл.

Как вы с таким чутким, добрым, благородным сердцем не жалеете тех, кто страдает?

Если вы промедлите с возвращением, а дядя умрет до вашего приезда, вы найдете меня в монастыре.

Если и это письмо останется без ответа, оно будет последним.

Сжальтесь над вашей сестрой, Амори.

Антуанетта».

Амори — Антуанетте

10 марта.

«Вы говорите, Антуанетта, что написали несколько писем, в которых вы выражали ваше беспокойство и на которые я не ответил.

Я не получил эти письма.

Скажу вам правду, Антуанетта, я не хотел их получать.

Ваше предпоследнее письмо произвело на меня удручающее впечатление, я выехал из Кёльна, не сказав, куда еду, потому что сам не знал и не предупредил почту, чтобы мне пересылали письма. Антуанетта, я хотел бежать от всех, даже от вас...

Антуанетта, дело в том, что господин д'Авриньи умирает, а я не могу умереть. Этот человек во всем превосходит меня, как в горе, так и в преданности.

Мадлен ждет нас обоих, а тот, кто говорил, что любит сильнее, придет к ней последним.

Ах, почему господин д'Авриньи помешал мне убить себя, когда я хотел это сделать? Почему он вырвал пистолет из мой руки, сказав эту фальшивую сентенцию:

«Зачем убивать себя? Ведь мы умираем».

Конечно, мы умираем. Но сейчас умирает он. Или наши организмы слишком разные, или годы пришли ему на помощь? Может быть, природа подталкивает старика вперед, к смерти, а юношу тянет назад, от нее.

И я не могу умереть.

Именно ваше письмо осветило мое сердце ярким пугающим светом. Мало-помалу (я совсем не ощущал этого) природа вновь вступила в свои права, жизнь вновь стала властвовать надо мной.

Каждый день я вмешивался в события вокруг меня и не замечал этого. Однажды я оказался в чьей-то гостиной, и только траурная лента на шляпе отличала меня от других мужчин. Вернувшись к себе, я нашел ваше письмо, где вы писали, что доктор д'Авриньи все больше сла-

беет, все ниже клонится к земле. Я же, напротив, с каждым днем выше поднимаю голову, с каждым днем испытываю все больший интерес к окружающему.

Следовательно, есть два вида любви: чувство отца и страсть любовника. От первой умирают, от второй — нет.

В Кёльне я уже завел новые знакомства, я уже согласился принять участие в развлечениях.

Я решил все бросить, от всего бежать, оказаться наедине с собой, чтобы в тиши и одиночестве понять, какие изменения произошли во мне за шесть месяцев.

И я уехал в Гейдельберг. Я погрузился в свою душу, я проверил свою рану. В душе больше нет слез, а в ране — крови.

Неужели я излечусь, и наша человеческая природа так слаба, что нет для нас ничего вечного, даже горя?

И я никак не могу умереть.

Иногда я отправляюсь в горы или в эту очаровательную долину Некера. Мне хочется скрыться от шума, от радости и веселья университетской молодежи этого города. Я покидаю живую подвижную природу ради неподвижной.

Но и там, под кажущейся неподвижностью, я нахожу приметы приближающейся весны, движение соков, жизненную энергию; распускаются почки, зеленеет трава — все возрождается, я ищу смерть, но на каждом шагу я встречаю жизнь

Да, ту самую дерзкую жизнь, которая кипит в моих венах, бьется в моих висках, опьяняет и захватывает. Я полон презрения к моей трусости, полон ненависти к этой гнусной жажде жизни, я считал, что победил ее.

Иногда мне хочется поехать воевать в Африку. Теперь я даже не знаю, найду ли я в себе мужество броситься вниз со скалы.

В голове у меня все путается. Боюсь, что вы ничего не поймете, Антуанетта. Простите меня, ради Бога, за это бредовое письмо, за мое молчание и страдания, причиненные им. Простите меня, я тоже страдаю.

Помните ли вы совет, данный Гамлетом Офелии: *«Иди в монастырь»*?

Я готов повторить, как Гамлет: *«Иди в монастырь»*.

Да, да, иди в монастырь, бедная Антуанетта, потому что не существует нерушимой клятвы, истинного горя, вечной любви.

Ты встретишь человека, который полюбит тебя, и ты полюбишь его. Он поклянется, что твоя жизнь — это его

жизнь; ты умрешь, и он захочет умереть, а через полгода он обнаружит, стыдясь этого, что он полон жизни и здоровья.

«Иди в монастырь».

Я хочу видеть господина д'Авриньи до его кончины, я хочу броситься к его ногам и просить у него прощения.

На днях я выезжаю в Париж. Когда именно, не могу сказать, но до начала мая.

Наступают хорошие ясные дни, начинается сезон путешествий. Берега Рейна станут местом встречи светского общества, где я слишком известен, и мне не удастся избегать его. Чтобы не встречать парижский свет летом, следует укрыться в Париже.

Впрочем, Антуанетта, я должен буду искупить свою вину! В ваших письмах, которые меня очень волновали, было так много сестринского сочувствия и деликатного участия! Когда я читал их, мне казалось, что я вижу вас перед собой, очаровательную в грусти, кокетливую в наивности, улыбающуюся и плачущую одновременно.

Чтобы вы простили меня, я хочу доверить вам мою судьбу, жить, подчиняясь вашим указаниям, наконец, вручить вашей чуткости мое израненное сердце.

Амори».

ДНЕВНИК ГОСПОДИНА Д'АВРИНЬИ

«Доктор Гастон хотел повидаться со мной под предлогом консультации. Но я понимаю, что он хотел взглянуть на меня. Должно быть, он узнал от Антуанетты о моей болезни.

Я отказался.

Господи, я благодарю вас за смертельный подарок, который вы послали мне. Я храню его только для себя одного и вдали от чужих глаз.

Я долго сомневался, но теперь симптомы заметны и ощутимы настолько, что вот уже неделя, как я убежден, что меня поразило воспаление мозга, одна из тех редких болезней, какую может вызвать сильное и долгое нравственное страдание.

Ученым будет любопытно ознакомиться с исследованиями, которые я оставлю после себя. Врачам будет интересно проследить развитие болезни в человеческом организме во всех ее фазах, когда ничто не препятствует ее течению.

Я нахожусь в первом периоде: небольшие провалы в памяти, моменты странной экзальтации, острые, быстро проходящие боли в голове и, наконец, резкие неожиданные сокращения мышц, заставляющие упасть на стул в момент вставания или уронить протянутую зачем-то руку.

Через два или три месяца все будет кончено.

Как это долго, два или три месяца!

Прости, Господи, мою неблагодарность!»

XLIV

Первого мая Антуанетта, как обычно, приехала в Виль-Давре около одиннадцати часов утра. Она нашла господина д'Авриньи еще на шаг приблизившимся к могиле.

В течение последних двух месяцев она замечала в его рассудке странные провалы и как бы начало безумия.

Когда разум сосредоточивается на одном, он затуманивается, как и взгляд.

Единственная мысль, которая еще светила в его сознании, как блуждающий огонек, увлекала его к пропасти смерти. Господин д'Авриньи уже не замечал жизни.

Однако первого мая он сделал над собой усилие, как бы сознавая, что времени остается совсем мало, и с большим участием, чем всегда, стал расспрашивать Антуанетту об ее жизни и планах на будущее.

Антуанетта хотела избежать этого трудного для нее разговора, но он настаивал.

— Послушай, Антуанетта,— сказал он с безмятежной улыбкой,— оставь иллюзии о моем здоровье, я не заблуждаюсь на этот счет. Я чувствую, что ухожу, моя душа спешит больше, чем тело, и иногда покидает этот мир ради другого, реальность ради грез.

Дело обстоит именно так, и я рад этому, Антуанетта. Иногда рассудок отказывается подчиняться мне, а это признак скорой смерти. Поэтому, пока он совсем меня не покинул, я хочу заняться тобой, моя дорогая девочка. Я хочу, чтобы твоя мать с улыбкой встретила меня на небесах. К счастью, сегодня я чувствую просветление и постараюсь выслушать тебя, не отвлекаясь. Расскажи мне, кого ты обычно принимаешь, Антуанетта?

Антуанетта назвала старых друзей, которые постоян-

но посещали особняк на улице Ангулем. Наконец, прозвучало имя Филиппа Оврэ.

Господин д'Авриньи попытался вспомнить его.

— Этот Филипп Оврэ,—спросил он,—из друзей Амори?

— Да, дядя.

— Он элегантен?

— Что вы, совсем нет!

— Молод и богат, насколько я понимаю?

— Да.

— Знатен?

— Нет.

— Он тебя любит?

— Боюсь, что да.

— А ты его любишь?

— Совсем нет.

— Ты даешь четкие и ясные ответы,— заметил господин д'Авриньи.— Любишь ли ты кого-нибудь, Антуанетта?

— Никого, кроме вас,— со вздохом ответила девушка.

— Но этого мало, Антуанетта,— заговорил старик.— Через месяц или два меня не будет, и после моей смерти у тебя совсем никого не останется.

— О, дядя, вы ошибаетесь, я уверена.

— Нет, дитя мое, я слабею с каждым днем. Чтобы пойти поздороваться или попрощаться с Мадлен, я уже должен опираться на руку Жозефа, а он старше меня на пять лет. К счастью,— добавил он, оборачиваясь к окну,— это окно выходит на ее могилу. В крайнем случае я смогу умереть, глядя на нее.

При этих словах старик взглянул на уголок кладбища, где покоилась Мадлен, но вдруг он приподнялся в кресле с неожиданной для него силой и воскликнул:

— Там кто-то есть! Кто-то стоит у могилы Мадлен! Какой-то незнакомец...

Он снова упал в кресло:

— Нет, это не чужой, это он!

— Кто он? — вскрикнула Антуанетта, бросаясь к окну.

— Амори,— сказал старик.

— Амори,— повторила Антуанетта, опираясь о стену и чувствуя, что у нее подкашиваются ноги.

— Да, он вернулся и прежде всего он пришел к этой могиле. Так и должно быть, это справедливо.

И господин д'Авриньи вернулся в свое обычное состояние отрешенности.

Антуанетта тоже замерла, но совсем по другой причине: господин д'Авриньи не испытывал более никаких чувств, она же испытывала их слишком много.

Да, это был Амори. Он только что приехал и сразу приказал везти себя на кладбище. Сняв шляпу, он подошел к могиле, опустился на колени, помолчал, затем помолился, встал, пошел по дорожке, ведущей к калитке, и исчез.

Антуанетта поняла, что он сейчас будет здесь, и почувствовала, как силы покидают ее.

Действительно, через несколько минут она услышала на лестнице звук приближающихся шагов, дверь открылась, и вошел Амори. Хотя Антуанетта ждала его, она не смогла удержаться восклицания. Господин д'Авриньи вышел из оцепения и обернулся.

— Амори! — воскликнула Антуанетта.

— Ах, это вы, Амори? — спокойно сказал доктор, как будто они расстались только вчера, и протянул ему руку.

Амори подошел к старику и встал перед ним на колени.

— Благословите меня, отец, — сказал он.

Господин д'Авриньи молча положил обе руки на голову Амори. Амори замер, слезы катились по его лицу. Антуанетта тоже плакала. Только доктор оставался невозмутимым.

Наконец молодой человек встал, подошел к Антуанетте, поцеловал ей руку, и все какое-то время молча смотрели друг на друга.

Амори нашел, что господин д'Авриньи за эти восемь месяцев изменился больше, чем за восемь предшествующих лет. Его волосы стали белыми как снег, спина сгорбилась, взгляд помутился, лоб покрылся морщинами, голос стал дрожать. Он был тенью самого себя.

Но Антуанетта!

Каждый день, прибавлявший старику новую морщину, украшал девушку новой прелестной черточкой.

Восемь месяцев для двадцати лет значит так же много, как для шестидесяти.

Антуанетта была очаровательнее, чем когда-либо. Взгляд с удовольствием скользил по изящной и гибкой линии ее хорошо сложенной фигуры. Ее тонкие розовые ноздри трепетали, ее большие влажные черные глаза, казалось, были готовы к меланхолии и веселью, к нежности и лукавству.

Ее щеки имели свежесть и бархатистость персика, губы — яркость вишни. Руки были маденькие, белые, пухлые и нежные. Ее ноги, казалось, не стали больше тех, какие она имела в двенадцать лет.

Это была муза, фея, пери.

Амори смотрел на Антуанетту и не узнавал ее.

Раньше он слишком редко и мало обращал на нее внимание: Антуанетта была рядом с Мадлен

Со своей стороны Антуанетта считала, что он сильно изменился, и в лучшую сторону.

Горе иссушило его, но наложило на молодое лицо печать значительности, которая очень ему шла; одиночество не повредило ему, но дало ему привычку к размышлениям, которой не знала его бурная праздность, лоб его стал шире, а взгляд проникновеннее; долгие прогулки в горах принесли пользу его телу, новые мысли способствовали развитию его ума. Он побледнел, он казался серьезнее, проще, мужественнее.

Антуанетта смотрела на него из-под опущенных ресниц и чувствовала, как множество неясных мыслей мечутся у нее в голове.

Доктор заговорил первым:

— Я нахожу, что вы изменились к лучшему, Амори. Я думаю, вы скажете то же самое обо мне,— добавил он со странной интонацией.

— Да,— медленно ответил молодой человек,— и я вижу, что вы счастливы. Но что поделаешь? Мы рабы Божьи, и природа не подчиняется мне, как она послушна вам. А теперь,— мрачно продолжал он,— если позволит Бог, я останусь жить.

— Благодарю тебя, Господи! — прошептала Антуанетта со слезами на глазах.

— Вы будете жить, и это хорошо,— заговорил старик,— я всегда знал, что вы мужественны и откровенны. Я одобряю ваше решение. Должен сознаться, что я чувствую в себе какую-то ребяческую радость и мелкое тщеславие, которого я стыжусь, думая, что горе отца сильнее и убийственнее горя влюбленного; когда я размышляю об этом, мне начинает казаться, что умереть от печали лучше, чем постоянно жить с ней, жить одиноко, смиренно, оставаясь добрым к другим людям, помогая им в делах.

— Именно такая роль уготована мне в будущем,— сказал Амори,— именно такую жизнь собираюсь я вести.

Скажите, дядя, разве тот, кому приходится дольше ждать, не переносит больше страданий?

— Простите,— прервала их Антуанетта, подавленная этим двойным стоицизмом,— вы оба сильнее и выше многих, и вы можете позволить себе говорить об этом. Но обратите внимание на меня и на то, что я невольно слушаю вас. Не ведите этих странных разговоров, непонятных слабой и боязливой женщине. Прошу вас, оставьте Богу вопросы жизни и смерти и поговорим о вашем взвращении, Амори, о нашей радости видеть вас после столь долгого ожидания. Знаете. Я так счастлива, что вновь вижу вас! — воскликнула наивная девушка, не в силах сдержаться и взяв обе руки Амори в свои.

Разве могли мужчины устоять перед этой простой, очаровательной и непосредственной девушкой? Даже господин д'Авриньи недолго сопротивлялся дочерней нежности Антуанетты.

— Хорошо,— сказал он,— этот единственный день полностью принадлежит вам, дети мои... Делайте, что хотите. Впрочем, это один из наших последних дней.

В его голосе слышалась удивительная доброта.

Доктор расспросил Амори о его планах и намерениях, поправил с изысканной любезностью светского человека некоторые слишком категоричные мысли, с улыбкой выслушал юношеские заблуждения, трогательные иллюзии двадцатилетних. Он с удовольствием наблюдал силу и щедрость чувств этого характера.

Амори с энтузиазмом говорил о своем разочаровании, с горячностью — об угасших страстях: отныне он будет жить не для себя, а для других, он будет заниматься только филантропической деятельностью.

Проницательный доктор с серьезным видом покачивал головой, выслушивая эти мечты, и соглашался со всеми утопиями.

Что касается Антуанетты, она восхищенно слушала Амори: он такой благородный, щедрый, пылкий.

После обеда подошла очередь обсудить ее дела.

— Амори,— сказал господин д'Авриньи, когда вечером они оказались одни,— Амори, меня скоро не будет, и я веряю ее вам. В несчастье вы повзрослели; отстранившись от света, вы лучше поймете и людей, и их дела. Руководите Антуанеттой советами, наставляйте ее, будьте ей братом.

— Конечно,— порывисто заговорил Амори,— и очень преданным братом, уверяю вас. Да, мой дорогой опекун,

я с удовольствием принимаю обязанности молодого отца, которые вы мне поручаете, и откажусь от них только в день, когда смогу ее подвести к мужу, любимому и достойному ее.

Как только разговор перешел на эту тему, Антуанетта сразу замолчала и погрузилась. Она смущенно опустила глаза, но доктор подхватил:

— Как раз перед вашим приездом мы говорили об этом, Амори, я был бы рад, если бы перед кончиной я узнал, что она живет в любви и счастье в доме супруга, равного ей. Давайте посмотрим, Амори, нет ли кого-нибудь достойного среди ваших друзей.

Теперь замолчал Амори.

XLV

— Так что же? — спросил господин д'Авриньи.

— Это очень серьезный вопрос, — сказал Амори. — Надо хорошо поразмыслить. Действительно, большинство молодых аристократов — мои товарищи.

— Назовите нам некоторых, — сказал доктор.

Амори вопросительно посмотрел на Антуанетту, но она упорно не поднимала глаз.

— Ну что ж, — заговорил Амори, вынужденный отвечать опекуну, — во-первых, Артур де Ланси.

— Да, — быстро сказал доктор, — он молод, элегантен, умен, он из хорошей семьи, у него прекрасное состояние.

— К несчастью, он не подходит Антуанетте. Это ветреник, гуляка, который стремится, что чрезвычайно смешно в девятнадцатом веке, заслужить репутацию Дон Жуана и Ловеласа. Это замечательные качества для безумцев и вертопрахов, как он, но слабая гарантия для счастья женщины.

Антуанетта вздохнула и поблагодарила Амори взглядом.

— Поговорим о другом, — сказал старик.

— Я бы предпочел Гастона де Сомервье, — продолжал Амори.

— Это подходит, — сказал доктор, — он также богат и знатен, как Артур де Ланси, и я слышал, что он серьезный, скромный и сдержанный человек.

— Если бы пришлось перечислять и остальные его качества, — заметил Амори, — пришлось бы добавить, что это глупец, но глупец со светским лоском. Попытай-

тесь нарушить его величественное молчание, затронуть его наигранное достоинство и вы обнаружите, уверяю вас, ничтожную и посредственную личность.

— Но разве вы не представляли мне человека по имени Леонс де Герину? — спросил старик.

— Да, сударь, — сказал Амори, краснея.

— Мне показалось, что у этого молодого человека блестящее будущее. Он уже государственный советник, не так ли?

— Да, но он не богат.

— Увы, да! — сказал господин д'Авриньи. — Но Антуанетта богата за двоих.

— Кроме того, — продолжал Амори с некоторой досадой, — говорят, что его отец играл какую-то не очень почетную роль в революции.

— В любом случае, — заметил старик, — это не может быть его отец, а его дед. Даже если это и верно, в наше время потомки не отвечают за ошибки своих предков. Итак, Амори, представьте этого молодого человека Антуанетте, при графе де Менжи, разумеется, и если он ей понравится...

— Ах, прости, — воскликнул Амори, — несколько месяцев отсутствия стерли это из моей памяти! Я забыл, что Леонс поклялся жить и умереть холостяком. Он одержим мономанией, и самые молодые и очаровательные, самые аристократичные красавицы из квартала Сен-Жермен отступили перед его диким нравом.

— Ну что ж, — сказал доктор, — а если мы вернемся к Филиппу Оврэ?

— Я вам говорила, дядя... — прервала Антуанетта.

— Пусть говорит Амори, дитя мое, — сказал господин д'Авриньи.

— Мой дорогой опекун, — заговорил Амори с видимым раздражением, — не спрашивайте меня об этом Филиппе Оврэ, я больше не хочу его видеть. Антуанетта принимала его, несмотря на мои советы, она может принимать его и теперь, если ей нравится. Но я не могу простить ему недостойную забывчивость.

— Кого он забыл? — спросил господин д'Авриньи.

— Он забыл Мадлен, сударь.

— Мадлен! — вскричали господин д'Авриньи и Антуанетта.

— Да, я скажу в двух словах, судите сами: он любил Мадлен, он сам говорил мне это, он умолял меня просить у вас для него руки Мадлен. Это было в тот

самый день, когда вы согласились на наш брак. А сегодня он любит Антуанетту, как ранее любил Мадлен, как он, возможно, полюбит десяток других. Скажите, какое доверие можно питать к сердцу, меняющемуся так быстро и так основательно, забывая менее чем за год любовь, которую он называл вечной.

Услышав столь глубокое возмущение Амори, потрясенная Антуанетта склонила голову и замерла.

— Вы очень строги, Амори,— сказал господин д'Авриньи.

— Да, мне тоже так кажется,— робко заметила Антуанетта.

— Вы его защищаете, Антуанетта! — закричал Амори.

— Я защищаю нашу слабую человеческую природу,— заговорила девушка.— Амори, не все люди имеют вашу непреклонную душу и ваше незыблемое постоянство. Будьте снисходительны к слабостям, которых у вас нет.

— Это значит,— горько сказал Амори,— что Филипп снискал вашу милость... а Антуанетта...

— А Антуанетта права,— сказал господин д'Авриньи, пристально глядя на молодого человека и как бы желая читать в самой глубине его души.— Вы слишком быстро выносите приговор, Амори.

— Но мне кажется...— с пылом заговорил Амори.

— Да,— прервал его старик,— я знаю, что ваш возраст не склонен шадить и принимать слабости простых смертных. Мои белые волосы научили меня терпимости, и вы сами, возможно, когда-нибудь поймете, что самая негибкая воля с течением времени слабеет; в ужасной игре страстей самый сильный характер не может ручаться за себя, самый гордый ум не может сказать: «Я буду там завтра».

Не будем судить никого, чтобы не быть строго судимыми. Нас ведет судьба, а не наша воля.

— Следовательно,— воскликнул Амори,— вы предполагаете, что я тоже способен однажды предать память Мадлен?

Антуанетта побледнела и оперлась на стену.

— Я ничего не предполагаю,— сказал старик, качая головой,— я жил, я видел, я знаю. Вы берете на себя роль молодого отца Антуанетты, как вы сами сказали, постарайтесь быть добрым и милосердным

— И не сердитесь на меня,— добавила Антуанетта с едва уловимой горечью,— за то, что однажды я призна-

лась, что после Мадлен можно полюбить кого-то другого, не сердитесь на меня, я раскаиваюсь.

— Кто может сердиться на вас, ангел чуткости? — сказал Амори, от которого ускользнуло чувство горечи, вызвавшее эти слова, и который понял ее извинения буквально.

В этот момент, верный данным распоряжениям, Жозеф доложил, что экипаж для Антуанетты подан.

— Я еду с Антуанеттой? — спросил Амори у доктора.

— Нет, мой друг, — сказал господин д'Авриньи, — не смотря на вашу отцовскую роль, вы слишком молоды, и вам следует соблюдать в ваших отношениях с Антуанеттой самые жесткие правила, не из-за вас, разумеется, а ради общества.

— Но я приехал на почтовых лошадях и отпустил экипаж, — сказал Амори.

— Вторая коляска к вашим услугам, пусть это вас не беспокоит. Теперь вы не можете жить на улице Ангулем. Когда захотите посетить Антуанетту в Париже, я вас прошу наносить визиты в сопровождении одного из моих старых друзей. Де Менжи бывает у нее трижды в неделю в определенные часы. Он будет счастлив сопровождать вас к ней. Он это делает, как мне рассказывала Антуанетта, для Филиппа Оврэ.

— Значит, я теперь чужой?

— Нет Амори, для меня и для Антуанетты вы — мой сын. Но в глазах света вы — молодой человек двадцати пяти лет и только.

— Будет забавно постоянно встречать этого Оврэ, которого я терпеть не могу. А я поклялся не встречаться с ним!

— Пусть он приходит, Амори, — воскликнула Антуанетта. — Вы увидите, какой прием он встретит И, наверное, у него очень толстая кожа, если он будет продолжать свои визиты.

— Да? — сказал Амори.

— Вы сможете судить об этом сами.

— Когда?

— Уже завтра. Граф де Менжи и его супруга посвящают бедной затворнице три вечера в неделю: вторник, четверг и субботу. Завтра суббота, приходите завтра.

— Завтра... — прошептал Амори нерешительно.

— Обязательно приходите, — сказала Антуанетта, — мы так давно не виделись, нам есть о чем поговорить!

— Идите, Амори, идите, — сказал господин д'Авриньи.

— Тогда до завтра, Антуанетта,— сказал молодой человек.

— До завтра, брат,— сказала Антуанетта.

— До следующего месяца, дорогие дети,— сказал господин д'Авриньи, который с меланхоличной улыбкой слушал их спор.— Если в течение этого месяца я вам буду нужен по какой-нибудь важной причине, я разрешаю вам приехать ко мне.

Опираясь на руку Жозефа, он проводил их до экипажей и, обнимая их, сказал:

— Прощайте, друзья мои.

— Прощайте, отец,— ответили молодые люди.

— Амори,— крикнула Антуанетта, в то время как Жозеф закрывал дверцу.— Не забудьте: вторник, четверг и суббота.

Потом сказала, обращаясь к кучеру:

— Улица Ангулем.

— Улица Матюрен,— сказал Амори.

— А я пойду на могилу моей дочери,— сказал господин д'Авриньи, проводив глазами удаляющиеся экипажи.

И, опираясь на руку Жозефа, старик пошел по дороге к кладбищу. Чтобы отдать вечерний поклон дочери, как он делал это каждый день.

XLVI

На следующий день Амори приехал в особняк графа де Менжи, с которым, впрочем, они были знакомы, поскольку Амори много раз встречал его прежде в доме господина д'Авриньи.

Тогда их отношения были холодными и редкими. Юность тянется к юности, но старается отдалиться от старости.

Письмо Антуанетты графу опередило Амори. Она хотела предупредить своего старого друга о намерениях господина д'Авриньи, касающихся роли покровителя, какую он дал или скорее разрешил взять своему воспитаннику, и предупредить таким образом вопросы, сомнения или удивление, какие могли бы привести Амори в замешательство или ранить его.

Когда Амори приехал, граф уже ждал его и принял его, как человека, облеченного полным доверием господина д'Авриньи.

— Я восхищен,— сказал ему господин де Менжи,— что мой бедный старый друг дал мне в помощники вто-

рого опекуна Антуанетты, который, благодаря своей молодости, сумеет читать лучше меня в сердце двадцатилетней девушки, который сможет посвятить меня в планы моего друга.

— Увы! Сударь,— ответил Амори с грустной улыбкой,— моя молодость состарилась с того момента, когда я имел честь познакомиться с вами. Я так много смотрел в свое собственное сердце за эти шесть месяцев, что не уверен в моей способности читать в сердцах других.

— Да, я знаю, сударь,— сказал граф,— я знаю, какое несчастье вас постигло и как ужасен был удар. Ваша любовь к Мадлен была той страстью, которая заполняет всю жизнь. Но чем больше вы любили Мадлен, тем важнее долг по отношению к ее кузине, к ее сестре. Именно так, если я хорошо помню, ее называла Мадлен.

— Да, Мадлен очень любила нашу подопечную, хотя в последнее время эта дружба несколько остыла. Но господин д'Авриньи объяснял это болезненными отклонениями, последствиями высокой температуры.

— Ну что ж, поговорим серьезно, сударь. Наш дорогой доктор хочет выдать ее замуж, не правда ли?

— Я полагаю.

— А я в этом уверен. Не говорил ли он о некоем молодом человеке.

— Он говорил о многих, сударь.

— А о сыне одного из его друзей?

Амори понял, что он не может отступить.

— Вчера он произнес при мне имя Рауля де Менжи.

— Моего племянника? Я знал, что таково желание моего дорогого д'Авриньи. Вы, должно быть, знаете, что я предполагал женить Рауля на Мадлен.

— Да, сударь.

— Я не знал, что д'Авриньи уже дал право вам, и по первому слову, сказанному им об этом обязательстве, я отказался от моей просьбы. Должен признаться, теперь я попросил для Рауля руку Антуанетты, и мой бедный друг ответил, что он не будет препятствовать этому плану. Буду ли я иметь счастье, сударь, получить теперь и ваше согласие?

— Разумеется, сударь,— ответил Амори с некоторым волнением,— и если Антуанетта полюбит вашего племянника... Но, простите, мне казалось, что виконт — атташе в посольстве Санкт-Петербурга?

— Конечно, сударь, он второй секретарь, но он получил отпуск.

— И он скоро приедет? — спросил Амори, и сердце его сжалось.

— Он приехал вчера, и я буду иметь честь вам его представить. Вот и он.

В этот момент на пороге появился изысканно одетый высокий молодой человек с темными волосами, спокойным и холодным лицом. Он носил в петлице ленточки орденов Почетного Легиона, Полярной Звезды Швеции и Святой Анны России.

Амори одним взглядом оценил физические достоинства своего собрата в дипломатии.

Когда граф де Менжи назвал их имена, молодые люди холодно поклонились друг другу. В некоторых кругах холодность является свидетельством хороших манер, поэтому господин де Менжи не заметил отчужденности, которую его племянник и Амори инстинктивно продемонстрировали друг другу.

Тем не менее они обменялись несколькими банальными фразами. Амори хорошо знал посла, покровителя Менжи. Темой для разговора послужила французская дипломатическая миссия при русском дворе. Виконт рассыпался в похвалах царю.

Когда разговор уже начал замирать, лакей открыл дверь и доложил о Филиппе Оврэ.

Читатель помнит, что Филипп приходил к графу де Менжи по вторникам, четвергам и субботам, чтобы вместе с ним отправиться к Антуанетте. Эта его привычка была очень приятна старой графине де Менжи, которой он оказывал множество мелких услуг.

Амори был с Филиппом Оврэ не просто холоден, а почти груб.

При виде своего старого товарища, о чьем приезде он не знал, Филипп сначала потерял дар речи. Все-таки он подошел к Амори и, краснея и запинаясь, сказал ему несколько любезных слов по поводу его возвращения.

Но Амори ему ответил пренебрежительным кивком головы и, когда Филипп вежливо и заискивающе продолжил свои комплименты, он и вовсе отвернулся, оперся на камин, взял в руки экран и стал разглядывать его роспись.

Молодой виконт незаметно улыбнулся, глядя на Филиппа, оставшегося на прежнем месте со шляпой в руке и смотревшего вокруг испуганными глазами, словно ища жалостливую душу, способную прийти ему на помощь.

Вошла графиня де Менжи. Филипп почувствовал, что спасен, облегченно вздохнул и бросился к ней.

— Господа,— сказал граф,— мы не поместимся теперь в одной карете. Амори, вы приехали в своем экипаже?

— Конечно,— воскликнул Амори,— и я могу предложить место господину виконту.

— Я как раз собирался просить об этом,— сказал молодой де Менжи.

Как вы понимаете, Амори поспешил сделать это, опасаясь, как бы ему не предложили подвезти этого Филиппа Оврэ.

Итак, все устроилось, если не наилучшим образом, то и не самым худшим.

Господин де Менжи, графиня и Филипп сели в почтенную карету графа, а Рауль и Амори последовали за ними в легкой коляске.

Они приехали в маленький особняк на улице Ангулем, куда Амори не входил целых шесть месяцев. Слуги были прежние и встретили его радостными возгласами, и, опустошая свои карманы, Амори отвечал им грустной улыбкой.

XLVII

В прихожей граф де Менжи остановился:

— Господа,— сказал он,— я вас предупреждаю, что вы найдете у Антуанетты пять или шесть моих ровесников, которых она очаровала и которые, как и я, приняли приятное решение посвящать ей три вечера в неделю. Я также предупреждаю вас, господа, чтобы понравиться Антуанетте, молодые люди должны понравиться старикам.

— Теперь, господа, вы все знаете, моя речь закончена, войдемте.

Вы понимаете, что вечера, даваемые девушкой двадцати лет старикам семидесяти лет, были очень скромные и тихие: два стола для игры в карты, пяльца Антуанетты и миссис Браун в середине салона, кресла вокруг пялец для тех, кто предпочитает беседу висту или бостону — такова была обстановка этих простых собраний.

В девять часов пили чай, в одиннадцать все возвращались к себе.

Этими несколько однообразными занятиями Антуанетта добилась того, что ее шестидесятилетние друзья

говорили, что никогда они не проводили столь приятных вечеров даже тогда, когда их белые волосы были черными или белокуроыми. Это, конечно, большая победа, и чтобы одержать ее, Антуанетта должна была постоянно пребывать в ровном настроении, иметь очаровательную улыбку и мило шутить.

Когда Амори вошел в гостиную, он был потрясен: Антуанетта сидела на своем привычном месте, но раньше рядом с ней всегда была Мадлен.

Прошел ровно год с того времени, когда мы открыли перед нашими читателями первую страницу этого романа, когда Амори осторожно вошел в гостиную, и обе кухни, вздрогнув, громко вскрикнули.

Увы! На этот раз никто не вскрикнул, но Антуанетта, слушая доклады о приходящих гостях, покраснела и затрепетала при имени Амори.

Вы понимаете, что чувства молодых людей не ограничивались этими проявлениями.

Из гостиной, как вы помните, можно было выйти прямо в сад, этот целый мир воспоминаний для Амори.

Пока составлялись партии в вист и бостон, а любители беседы собирались вокруг Антуанетты и миссис Браун, Амори, чувствуя себя почти дома, выскользнул на крыльцо и спустился в сад.

Небо было ясное и сияло множеством звезд, воздух был теплый и душистый.

Чувствовалось, что весна расправляет крылья над землей. Природа разливала вокруг живительное и свежее дыхание, разносимое легким майским ветерком. Уже было несколько прекрасных дней и несколько теплых ночей. Цветы расцветали, лилии уже отцвели.

И странное дело! Амори не находил в этом саду мучительных чувств, какие он пришел искать.

Как в Гейдельберге, жизнь была везде и во всем.

Воспоминание о Мадлен, несомненно, жило в этом саду, но спокойное и утешившееся. Мадлен говорила с ним дуновением ветра, ласкала его ароматом цветов, удерживала его за фракеткой розового куста, с которого она столько раз срывала бутоны.

Но все это не было ни печальным, ни даже меланхоличным; напротив, эти перевоплощения девушки были радостными и, казалось, говорили Амори:

«Нет смерти, Амори, есть два существования и только; одно — на земле, другое — на небе, одна жизнь в этом мире, другая — в другом. Несчастен тот, кто еще

прикован к земле, блажен тот, кто уже поселился на небе».

Амори почувствовал себя околдованным. Ему было стыдно, что сад зачаровал его. Это был рай его детства, разделенный с Мадлен. Он посидел под липами, где впервые они сказали друг другу слова любви. Воспоминания об этой любви показались ему полными прелести, но лишенными какого-либо страдания. Тогда он сел в беседку из лилий, на эту роковую скамью, где он поцеловал Мадлен, и поцелуй оказался смертельным.

Он пытался вызвать в своей памяти самые мучительные подробности ее болезни, он бы многое отдал, чтобы найти те ручьи слез, которые текли из его глаз шесть месяцев назад, но он нашел там только нежную истому, он откинул голову к решетке беседки, закрыл глаза, сосредоточился, сжал свое сердце, чтобы исторгнуть слезы,— все было напрасно.

Казалось. Мадлен была рядом с ним; воздух, овевающий его лицо, был дыханием девушки, соцветия ракитника, ласкающие его лоб, были ее пушистыми волосами; иллюзия оказалась странной, неожиданной, живой, ему почудилось, что скамья, на которой он сидел, слегка прогнулась под весом другого тела, он тяжело дышал, его грудь поднималась и опускалась в обжигающем дыхании, иллюзия была полная.

Он прошептал несколько бессвязных слов и протянул руку.

Чья-то рука взяла ее.

Амори открыл глаза и испуганно вскрикнул: рядом с ним стояла женщина.

— Мадлен! — закричал он.

— Увы, нет, — ответил голос, — всего лишь Антуанетта.

— Антуанетта, Антуанетта! — воскликнул молодой человек, прижимая ее к сердцу и найдя, наконец, в большой радости те слезы, которые он напрасно искал в горе. — Вы видите, Антуанетта, я думал о Ней.

Это был крик удовлетворенного самолюбия: кто-то видел его слезы, и Амори плакал. Рядом был кто-то, кому он мог сказать, как он страдает. И он сказал это таким правдивым тоном, что и сам почти поверил.

— Я поняла, — сказала Антуанетта, — что вы здесь и вы в отчаянии, Амори. Я сказала, что мне нужен шелк, я прошла через маленький салон, я спустилась в сад и прибежала к вам. Вы сейчас вернетесь, не правда ли?

— Разумеется, — ответил Амори, — только позвольте дать высохнуть моим слезам. Благодарю за ваше дружеское участие, благодарю за сочувствие, сестра.

Девушка знала, что ее отсутствие не должно быть замечено, и убежала, похожая на легкую газель.

Амори следил за ее белым платьем, то появляющимся, то исчезающим за деревьями. Он видел, как она поднялась на крыльцо, быстрая и неуловимая, как тень, и дверь маленького салона закрылась.

XLVIII

Через десять минут Амори вошел в гостиную, и граф де Менжи, вздохнув, обратил внимание своей жены на покрасневшие глаза их юного друга.

В предыдущей главе, если помнит читатель, мы воздали должное всегда ровному настроению Антуанетты.

Но или похвала была преждевременной, или прибытие новых гостей нарушило ее спокойствие и безмятежность, о которых мы говорили, но они вскоре превратились в кокетство, непостоянство и капризность.

Во всяком случае, взяв на себя роль простого повествователя, мы отмечаем тот факт, что в течение одного месяца внимание, предупредительность и любезность Антуанетты обратились к трем разным объектам.

Амори, Рауль и Филипп имели каждый свой черед и были подобны византийским императорам, чья история делилась на периоды взлета, упадка и невзгод.

Амори, появившийся первым, царствовал с первого числа месяца по десятое, Рауль с одиннадцатого по двадцатое, Филипп с двадцать первого по тридцатое.

Расскажем подробно об этих странных поворотах судьбы и удивительных революциях: пусть более проницательные читатели и читательницы попробуют объяснить их; мы же попросту расскажем о происходящих событиях.

Амори имел полный успех первые четыре вечера. Рауль, очень воспитанный молодой человек, оставался неизменно вежлив и остроумен. Филипп же выглядел совершенно бесцветным рядом с этими блестящими кавалерами.

Антуанетта была очаровательна с первым, любезна со вторым, вежлива, но холодна с третьим.

Когда партии для игры были составлены, а любители поговорить устраивались на сиденьях, Амори всегда

занимал кресло рядом с Антуанеттой, и часто во время общего разговора они вели свою тихую задушевную беседу.

И это еще не все! Однажды Антуанетта случайно упомянула итальянскую книгу «Последние письма Джакомо Ортиса», которую она хотела бы почитать. Амори имел эту книгу и очень ею дорожил, однако на следующий день он приехал, чтобы передать книгу миссис Браун. Но так получилось, что, войдя в прихожую, он увидел там Антуанетту. Разумеется, пришлось обменяться несколькими словами.

Потом появился альбом, который следовало помочь украсить знаменитыми автографами. Затем Амори забрал у Фромана Мериса, умелого ювелира, этого Бенвенуто девятнадцатого века, браслет, который тот никак не мог закончить, и с триумфом принес его девушке.

Наконец, однажды вечером Амори вертел в руках железный ключик и машинально положил его в карман. И на следующий день был вынужден как можно раньше ехать возвращать его. Разве не мог ключ потребоваться Антуанетте?

И это, однако, еще не все.

Во время своего путешествия по Германии Амори не завел ни одного знакомства в тех местах, где он проезжал, и ему не представилось случая сесть на лошадь, вернее, сесть на хорошую лошадь. Амори же был одним из самых замечательных наездников Парижа, он любил верховую езду, как любят любое упражнение, в котором преуспевают.

И каждое утро Амори выезжал на своем верном Стурме. Так как он уже привык к этой дороге (Амори или Стурм — кто знает?), ему было достаточно отпустить поводья, и Стурм выбирал знакомый путь.

Антуанетта вставала раньше, чем бедная Мадлен.

Поэтому почти каждое утро Амори видел Антуанетту у того самого окна, из которого она наблюдала его отъезд с господином д'Авриньи. Амори обменивался с ней взглядом, улыбкой или приветственным жестом, потом Стурм, давно выучивший свой урок, шел шагом до конца улицы. Затем, не ожидая ни хлыста, ни шпор, он сам пускался в галоп, то же самое повторялось на обратном пути, Амори не трогал поводья. Стурм был необычайно умной лошастью!

Дело в том, что Амори после этой долгой зимы, проведенной в Германии, чувствовал, что его сердце оттаи-

вает и оживает, а сам он словно заново рождается на свет.

Амори не мог бы точно назвать причину своей радости, но он был счастлив, он начинал поднимать голову, так долго склонявшуюся от горя и отвращения. Он относился теперь к жизни со странной снисходительностью, а ко всем людям с безграничной доброжелательностью.

Но в последний день его опьянение рассеялось.

В этот вечер Амори был более внимателен и любезен с Антуанеттой, чем когда-либо. Их уединенные беседы возобновлялись чаще и продолжались дольше, чем обычно.

Граф де Менжи, казалось бы, поглощенный игрой, ничего не упускал из виду, и когда игра закончилась, он увлек Антуанетту в угол гостиной и тихо сказал, целуя её в лоб:

— Почему вы скрыли от нас, маленькая лицемерка, что безутешный Амори, с его повадками опекуна, влюблен в свою воспитанницу, и что под видом брата в нем прячется влюбленный? Черт побери! Он не настолько стар, чтобы его принимали за Бартоло, а я не настолько глуп, чтобы играть роль Жеронта... Ну хорошо, хорошо, вот вы и заволновались! Но он прав, если любит вас!

— Это неверно, господин граф, вы ошибаетесь,— ответила Антуанетта твердо, несмотря на бледность, внезапно покрывшую ее лицо,— это не может быть правдой, потому что я не люблю его.

Господин де Менжи жестом выразил удивление и сомнение, но к ним подходили, и он должен был удалиться, не сказав и не узнав больше ничего.

С этого дня для Амори начался период упадка, для Рауля — время триумфа.

Виконт де Менжи стал ближайшим другом и верхней соседом Антуанетты. Ему теперь были адресованы слова, улыбки и взгляды.

Амори удивился. На следующий день он принес романс, который Антуанетта у него просила на прошлой неделе. Его приняла миссис Браун. Он приходил и в другие дни под разными предлогами и в разное время, но каждый раз вместо очаровательной девушки он видел высохшее лицо гувернантки.

Более того: напрасно он проезжал утром перед особняком в обычное время. Окно, где раньше появлялась Антуанетта, оставалось закрытым, шторы опущены, что

указывало на желание помешать нескромному взгляду проникнуть в комнату.

Амори был в отчаянии.

Филипп же оставался по-прежнему немым, пассивным и бесцветным. Амори подошел к нему с менее холодным выражением лица, чем обычно, и бедный юноша с готовностью принял эти знаки участия. Разговаривая с Амори, он имел виноватый вид, словно в чем-то упрекал себя. Филипп слушал чрезвычайно внимательно и одобрял все, что Амори делал и говорил.

Амори не обращал внимания на эти любезности, его беспокоили упорные ухаживания и очевидный успех Рауля де Менжи.

Антуанетта занималась почти исключительно Раулем, одаривала его знаками внимания и была гораздо вежливее с Филиппом, помещая его на второе место около своей персоны.

Амори же мог определить себя только на третье место.

Степенный опекун нашел такое положение вещей совершенно нестерпимым и не смог сдержаться.

К концу пятого вечера своей пытки он воспользовался моментом, когда при отъезде гостей Антуанетта вышла распорядиться, и тихо, но горько сказал ей:

— Скажите, Антуанетта, вы больше не доверяете мне, вашему другу, вашему брату? Вы знаете намерения графа де Менжи относительно вашего брака с его племянником, вы согласны...

Антуанетта хотела что-то сказать.

— Ну и слава Богу! Я вас одобряю: виконт — чудесный молодой человек, элегантный, с великолепными манерами, он подходит вам во всех отношениях. Хотя мне кажется, он старше вас на двенадцать лет.

Но если вы, наконец, встретили мужчину, которого вы считаете достойным вашего сердца, зачем вы относитесь ко мне так отчужденно и прячетесь от меня? Я полностью согласен с вами, моя дорогая Антуанетта, и повторяю вам: вы не могли бы встретить мужа более знатного, богатого и умного, чем виконт де Менжи.

Антуанетта слушала Амори с глубоким изумлением, не находя слов, чтобы остановить его.

Однако, когда он замолчал, надо было что-то отвечать.

— Господин Рауль — мой муж? — пробормотала она.

— Да, конечно,— заговорил Амори,— не делайте удивленные глаза, ничего нет странного в том, что граф де Менжи рассказал вам, как и мне, о своем плане. И если планы находятся в полной гармонии с вашей склонностью...

— Но, Амори, клянусь вам...

— Зачем вы клянетесь и защищаетесь, если я нахожу, что вы правы и не могли бы сделать лучшего выбора?

Антуанетта хотела заговорить, но их прервали, потом она попрощалась с гостями, и Амори, вынужденный следовать за ними, не смог добавить ни слова.

XLIX

Весь следующий день Амори тщетно надеялся получить письмо: его хотят видеть и объясниться.

Он ждал напрасно, письма не было.

Но через день, в четверг, начался третий период: Антуанетта обращалась с Раулем крайне сдержанно. Амори, однако, не удостоился большего, чем раньше.

Но Филипп неожиданно оказался в центре благожелательности Антуанетты, в ослепительных лучах ее внимания, какие ранее поочередно освещали Амори и Рауля. Бедный молодой человек был ослеплен.

Было очень забавно наблюдать за Филиппом, выдвинутым почти против его воли на первый план интриги, в котором участвовали такие светские львы, как Амори де Леонвиль и Рауль де Менжи.

Бедный Филипп не только не оказался на высоте своего положения, но, очевидно, он хотел бы отказаться от него, он был испуган своим счастьем. Он испытывал какую-то неловкость, даже стыд, которые заставляли его уклоняться от милостивого внимания Антуанетты. Каждую минуту он словно просил прощения у своих соперников, делающих вид, что не замечают этого.

Но каждый из них мысленно задавал себе самые нелестные вопросы, касающиеся объекта этого странного каприза Антуанетты.

Как Антуанетта, такая гордая, такая благовоспитанная и... насмешливая, могла отличать человека, столь недостойного ее? Это было непонятно, невозможно, удивительно. Конечно же, они ошиблись, и этот каприз пройдет к следующему вечеру. Они с нетерпением ждали субботы.

В субботу повторилась программа четверга: внимание Антуанетты, замешательство Филиппа. Больше они не могли ошибаться: именно Оврэ был избранником. Бедный молодой человек не знал, что делать. Семь месяцев пренебрежения Антуанетты заставили его страдать меньше, чем эти два вечера благосклонности.

Читателю понятно, что, хотя на лице Филиппа читалось полное емирение, по мере того, как его звезда восходила, к Амори возвращались его прежняя холодность и высокомерный вид.

Вы поймете, что Амори имел некоторое право быть недовольным, когда узнаете, что уже трижды, проезжая перед особняком своей воспитанницы, суровый опекун заметил какого-то незнакомца, бродящего вокруг и постаравшегося скрыться, когда его заметили. Но не так быстро и ловко, чтобы Амори не уловил сходства между назойливым пешеходом и своим старым другом Филиппом.

Эти встречи повторялись каждый раз, когда Амори проезжал по улице, и довели его возмущение до предела. Неужели этот ничтожный Филипп, робость которого он знал, осмелился бы на подобное, если бы его не поощряли?

Антуанетта была неузнаваема: кокетничать с глупцом! Кончится это тем, что она скомпрометирует себя! Амори — ее опекун, друг, брат — не мог этого вынести. Он должен поговорить с ней серьезно и откровенно, как сделал бы господин д'Авриньи на его месте. А пока он проедет по улице десять раз вместо одного, чтобы удостовериться, что этот дерзкий был именно Филипп.

А в то время Рауль де Менжи тоже испытывал некоторое душевное беспокойство и тоже был погружен в размышления.

Сначала он удивился резким изменениям температуры женского барометра. Затем стал наблюдать за происходящим с тонкостью и внимательностью дипломата.

Поэтому, когда в конце мая дядя, видевший, как постепенно растет успех Рауля, и считавший его в зените славы, спросил, как идут его дела с Антуанеттой, виконт ответил:

— Мой дорогой дядя, полагаю, что вы совершенно напрасно заставили меня проделать восемьсот лье, чтобы я женился на женщине с улицы Ангулем. Во всяком случае, заявляю вам, что я легко откажусь от Изабеллы,

под балконом которой каждое утро прогуливается такой Леандр, как Филипп, и такой Линдор, как Амори.

— Рауль,— важно сказал граф,— некрасиво опираться на слухи.

— Но, дядя,— ответил Рауль,— на этот раз я не полагаюсь на данные посольской полиции, я верю тому, что я видел.

Но граф, вместо того чтобы выслушать племянника, сурово отчитал его. Он не хотел, чтобы даже тень подозрения падала на его милую подопечную.

Рауль не настаивал, он был очень корректен и замолчал с тем чувством почтения, какое питает любой хорошо воспитанный племянник к дяде, обладающему пятьюдесятью тысячами ливров дохода. Кроме того, он являлся его единственным наследником.

У Рауля де Менжи был друг, занимавший дом напротив известного нам особняка на улице Ангулем. Каждое утро Рауль приходил к другу поболтать и выкурить сигару. По причине своего душевного волнения и ежедневного времяпровождения за сигарой он видел все, что происходило на улице, поскольку окна были по-прежнему закрыты, а шторы опущены.

Хотя господин де Менжи сначала не придавал значения, вернее, не хотел придавать значения открытиям своего племянника, он был поражен ими и тотчас написал Амори, прося уделить ему время для разговора.

Это происходило тридцатого мая, в четверг.

Амори как раз собирался выходить и, получив письмо господина де Менжи, тотчас отправился к старику, которого он уважал и отеческую привязанность которого постоянно ощущал.

— Господин Амори,— сказал граф,— разрешите выразить вам мою признательность за то, что вы поспешили последовать моему приглашению. Я знаю, что мое послание застало вас у двери, но я должен вам сказать два слова, и я уверен, что вы их поймете без излишних объяснений.

Вы обещали господину д'Авриньи опекать его племянницу, быть ей советчиком, наставником, братом?

— Да, господин граф, я дал это обещание, и я его сдержу.

— Следовательно, вам дорога ее репутация?

— Больше, чем моя, господин граф.

— Так вот я должен вам сказать, что некий молодой человек,— господин де Менжи сделал ударение на по-

следних словах,— без сомнения, ослепленный своей страстью — и хотя надо многое прощать безумно влюбленным — он компрометирует Антуанетту своим частым появлением на улице, где она живет. Иногда неосторожность его доходит до того, что он, не отдавая себе отчета, останавливается под ее окнами.

— Я вам отвечу, господин граф,— сказал Амори, нахмутив брови,— что вы не сообщаете мне ничего нового. Я знал, что вы скажете именно это.

— Но,— продолжал господин де Менжи, который хотел дать понять одному из виновников всю серьезность положения,— неужели вы думали, что, кроме вас, никто этого не знает?

— Да, господин граф,— сказал Амори, все больше хмурясь,— я действительно думал, что только мне известно об этом легкомыслии. Кажется, я ошибся.

— Конечно, вы понимаете, мой дорогой господин де Леонвиль,— заговорил граф,— что честь Антуанетты вне подозрений, которые могло бы вызвать подобное поведение. Однако...

— Однако,— продолжил Амори,— вы считаете, господин граф, что эти выходки должны прекратиться как не совсем приличные? Таково и мое мнение.

— Именно с этой целью, признаюсь вам и прошу простить мою откровенность, я и пригласил вас, мой дорогой Амори.

— Сударь,— сказал Амори,— я даю вам слово чести, что, начиная с сегодняшнего дня, эта ситуация изменится.

— Мне достаточно вашего слова, мой дорогой Амори,— ответил господин де Менжи.— С этой минуты я закрываю глаза и уши.

— А я, сударь, благодарю вас за доверие, с которым вы поручаете мне пресечь попытки этого безумца и нахала.

— Как! Что вы этим хотите сказать?

— Господин граф,— сказал Амори очень значительно,— честь имею откланяться.

— Простите, мой юный друг, но мне кажется, что вы меня плохо поняли или даже совсем не поняли.

— Что вы, господин граф, я прекрасно все понял,— ответил Амори.

И, поклонившись еще раз, он вышел, не дав господину де Менжи добавить ни слова.

— Ах, это ничтожество! — вскричал Амори, вскакивая в свой экипаж. Он не сомневался, что выговор отно-

сится к Филиппу.— И так, я не ошибся, именно твою милость я видел перед домом на улице Ангулем. И ты компрометируешь Антуанетту! Черт побери, я давно жажду надрать тебе уши, и если такой человек, как господин де Менжи, дает мне совет, я с тем большим удовольствием это сделаю.

Так как он не давал никакого приказа, лакей, закрывая дверцу, спросил:

— Куда сударь изволит ехать?

— К господину Филиппу Оврэ,— ответил Амори тоном, в котором внимательный слушатель уловил бы угрожающие ноты.

L

Дорога была долгой, так как Филипп, не желая изменять своим старым привычкам, по-прежнему жил в Латинском квартале.

За это время плохое настроение Амори превратилось в гнев, и когда этот Орест оказался у дверей Пилада, не будет поэтическим преувеличением сие сказать, буря бушевала в его груди.

Амори сильно потянул за шнурок звонка, не обращая внимания на то, что ручку, кроличью лапку, на улице Сен-Никола-дю-Шардонре заменило копытце косули.

Улыбающаяся толстая служанка открыла дверь: в своем юношеском простодушии Филипп все еще пользовался услугами служанок, а не лакеев.

Он сидел в кабинете, облокотившись на стол, запустив руки в волосы, и изучал вопрос об общей стоимости.

Толстая служанка не посчитала нужным спросить имя Амори и на вопрос, дома ли Филипп, пошла вперед, открыла дверь и доложила о посетителе самым простым способом:

— Сударь, какой-то господин вас спрашивает.

Филипп поднял голову, вздохнул, и поэтому мы думаем, что в вопросе о собственности больше меланхолии, чем кажется, и удивленно вскрикнул, узнав Амори:

— Как, это ты! Дорогой Амори, я так рад видеть тебя!

Но Амори, неуязвимый для таких нежных проявлений, оставался холодным и строгим.

— Знаете ли вы, что привело меня, господин Филипп?

— Еще нет, но я собираюсь к тебе уже четвертый или пятый день и никак не могу решиться.

Амори пренебрежительно поджал уголки рта, и язвительная улыбка появилась на его губах.

— Да, конечно,— сказал он,— я понимаю ваши колебания.

— Ты понимаешь мои колебания...— прошептал бедный молодой человек, бледнея.— Но тогда ты знаешь...

— Я знаю, господин Филипп,— заговорил Амори резким и отрывистым тоном,— что господин д'Авриньи поручил мне заменить его рядом с его племянницей. Я знаю, что меня касается все, что может нанести ущерб репутации этой девушки. Я знаю, наконец, что несколько раз встретил вас под ее окнами, и другие также встречали вас там. Я знаю, что вы виноваты, по меньшей мере, в легкомыслии, и я приехал требовать у вас отчета о вашем поведении.

— Мой дорогой друг,— сказал Филипп, закрывая свой том с видом человека, должного в данный момент заниматься только одним делом,— именно об этих мелочах я и собирался поговорить с тобой все эти дни.

— Что! Поговорить о мелочах!— воскликнул возмущенный Амори.— Вы называете мелочами вопросы чести, репутации, будущего?

— Мой дорогой Амори, ты же понимаешь, «мелочи» — это просто оборот речи, я должен был бы сказать «о серьезных вещах», ибо настоящая любовь — это серьезно.

— Так, наконец-то произнесено нужное слово. Итак, вы сознаетесь в любви к Антуанетте?

Филипп принял самый сокрушенный вид, на какой был способен.

— Да, сознаюсь, дорогой друг,— сказал он.

Амори скрестил руки на груди и поднял негодующий взгляд к небу.

— У меня, разумеется, самые серьезные намерения,— продолжал Филипп.

— Вы любите Антуанетту!..

— Друг мой,— сказал Филипп,— я не знаю, известно ли тебе, что у меня умер дядя, и теперь я имею пятьдесят тысяч ливров дохода.

— Разве об этом идет речь!

— Извини, но я думаю, это не помешает.

— Конечно нет, но все усложняет то, что восемь ме-

сяцев назад вы любили Мадлен столь же сильной любовью, как сегодня Антуанетту.

— Увы, Амори! — воскликнул Филипп самым жалобным тоном. — Ты раскрываешь рану в моем сердце, ты рвешь мою измученную душу. Но дай мне десять минут, и вместо негодования ты почувствуешь ко мне жалость.

Амори кивнул в знак того, что он готов выслушать, но на губах его появилась недоверчивая улыбка, указывающая, что он не склонен верить услышанному.

— Если верны евангельские слова, что воздастся больше тем, кто любит больше, мне будет воздано многое, — сказал Филипп. — Как говорил наш великий Мольер, у меня очень влюбчивый характер. Поэтому я влюбляюсь часто и страстно.

И, кроме того, до настоящего времени я любил безответно, и это должно еще больше увеличить мои права на божеское снисхождение. Ты знаешь, что я уже любил Флоранс, я любил Мадлен. Для них это не составило никаких неудобств. Ты не говорил им об этом, и они никогда не узнали, что я любил их. Моя страсть к Мадлен была глубокой и почтительной.

Кажется, ты мне не веришь, Амори, потому что эта глубокая страсть не помешала мне направить мое чувство на третий предмет любви. Но ты не знаешь, в каких тревогах, среди каких мучений эта новая любовь родилась в моей душе.

Выслушай меня хорошенько, и пусть мои слова послужат тебе уроком, если ты окажешься в моем положении. Как и в случае с Мадлен, я не сразу понял эту любовь. Если бы кто-нибудь спросил меня об этом, я бы стал отрицать, если бы он доказал это, я бы испугался. Но почти каждый день я приходил к мадемуазель Антуанетте, я говорил о Мадлен, об ее грации, красоте. И при этом я не мог не заметить, что Антуанетта была так же изящна и красива, как ее кузина. Ответь мне теперь, Амори, возможно ли оставаться рядом с прелестью и очарованием и не влюбиться?

Амори, задумавшись, склонив голову и положив руку на сердце, ответил на вопрос лишь вздохом, более похожим на приглушенный стон. Филипп подождал несколько мгновений объяснения этому вздоху, но его не последовало, и он продолжил голосом, полным торжественности:

— А теперь я тебе расскажу, по каким признакам твой несчастный и слишком слабый друг узнал, наконец, что он любит.

Филипп испустил вздох, по сравнению с которым вздох Амори казался незначительным, и заговорил снова:

— Сначала против моей воли, неосознанно, ноги сами несли меня к улице Ангулем. Каждый раз, когда я выходил из дома, утром ли во Дворец юстиции, вечером ли в Комическую Оперу (ты знаешь, Амори, как любил я раньше этот воистину национальный жанр), после часа рассеянной ходьбы я оказывался перед домом д'Авриньи.

Я не надеялся увидеть ту, что царила в моем сердце, у меня не было определенной цели, никакой мысли, меня увлекала, подталкивала, вела неодолимая сила. Я должен был признать, Амори, что любовь была этой неодолимой силой.

Филипп остановился, чтобы понять, какое впечатление производят на Амори эти обороты речи, которыми он остался весьма доволен. Но Амори ограничился тем, что нахмурился еще больше и вздохнул еще глубже и громче, чем прежде.

Филипп не сомневался, что раздумье, в какое погрузился Амори, вызвано его красноречием.

— Второй симптом, который я обнаружил,— продолжал адвокат, пытаясь придать своей слащавой физиономии выражение, соответствующее произносимым им словам,— была ревность. Когда в начале месяца я увидел, что мадемуазель Антуанетта так мила с тобой, Амори, я почувствовал ненависть к тебе, другу моего детства. Но вскоре я сказал себе, что, верный памяти обожаемой возлюбленной, ты не полюбишь, даже если полюбят тебя.

Амори вздрогнул.

— О, подозрение оказалось мимолетным,— поспешил сказать Филипп,— и ты видишь, я сразу же отогнал его.

Но досада, ненависть, ярость овладели мной, когда я заметил, что этот сладкоречивый фат де Менжи получил такие привилегии у той, которая мне стала так дорога: он фамильярно опирался на спинку ее кресла, он понижал голос при беседе, он смеялся с ней. Он делал все то, на что, по моему представлению, ты один, друг ее детства, имел право

Ты не можешь себе представить, какая буря клокотала в моей груди, когда я заметил эти явные признаки доброго согласия, царящего между ними: только тогда, по этой буре, я понял, что это любовь. Но ты не слушаешь меня!

Напротив, Амори слушал очень внимательно. Каждое слово болезненным эхом отдавалось в его груди, жар волнами поднимался к лицу, кровь гулко стучала в висках.

Филипп продолжал, подавленный этим неодобрительным молчанием:

— Я не говорю, Амори, что это не было забвением прежних клятв, предательством памяти Мадлен. Но что ты хочешь? Не все могут быть такими героями постоянства и твердости, как ты.

Кроме того, тебя она любила, твоей женой она должна была стать, ты привык к сладкой мысли, что она будет всегда принадлежать тебе. У меня же был слабый проблеск надежды, и ты тотчас погасил его. Тем не менее я знаю, что виноват. Я оплакиваю свою вину, и если ты меня будешь осыпать самыми суровыми упреками, я не обижусь.

Но удели мне еще немного внимания, совсем немного, и ты увидишь, какие смягчающие обстоятельства могут быть у человека, который имел несчастье полюбить Антуанетту, после того, как он любил Мадлен.

— Я вас слушаю,— живо сказал Амори, придвигая свой стул.

LI

— *Во-первых*,— заговорил соперник Цицерона и господина Дюпена, польщенный впечатлением, которое, как ему казалось, он произвел наконец на своего друга,— *во-первых*, моя кажущаяся неверность Мадлен простительна, потому что моя новая страсть не обращена к незнакомке, но к ее подруге, кузине, сестре, а она как бы несет на себе отпечаток Мадлен в каждом жесте, в каждом слове. Любить ее сестру — это продолжать любить ее самое, любить Антуанетту — значит продолжать любить Мадлен.

— Пожалуй, это верно,— задумчиво сказал Амори, и лицо его просветлело помимо его воли.

— Вот видишь! — воскликнул восхищенный Филипп.— Ты сам признаешь справедливость моих слов.

Во-вторых, теперь ты согласишься, что любовь — самое свободное, самое неожиданное чувство в мире, самое независимое от нашей воли.

— Увы! это так! — прошептал Амори.

— Это не все,—вновь заговорил Филипп с неиссякаемым красноречием,—это не все. *В-третьих*, если моя молодость и способность любить воскресила во мне юную и пылкую страсть, неужели я должен пожертвовать естественным, Богом данным чувством ради предрассудков постоянства, которые бесчеловечны, и Бэкон поместил бы их в категорию *egreges foci*?

— Согласен,—пробормотал Амори.

— Следовательно, ты не порицаешь меня, мой дорогой,—торжествуяще заключил Филипп,—ты находишь простительным, что я полюбил мадемуазель Антуанетту?

— Какое мне дело в конце концов любишь ты или не любишь Антуанетту? — воскликнул Амори.

Губы Филиппа тронула легкая улыбка очаровательного самодовольства, и он сказал жеманно:

— Это, конечно, мое дело, мой дорогой Амори.

— Как! — вскричал Амори.—И после того, как ты скомпрометировал Антуанетту своим легкомысленным поведением, ты осмеливаешься сказать, что она имеет склонность к тебе?

— Я ничего не говорю, мой дорогой Амори, и если я компрометирую ее моими неосторожными действиями (я думаю, что ты намекаешь на мои прогулки по улице Ангулем), я ни в коей мере не компрометирую ее моими словами.

— Господин Филипп,—сказал Амори,—вы осмеливаетесь сказать при мне, что вас любят?

— Но мне кажется, что именно перед тобой, ее опекуном, я могу это сказать.

— Да, но вы не должны это говорить.

— А почему я не должен говорить, если это так и есть? — сказал, в свою очередь, Филипп, взволнованный этим разговором, чувствуя, что его кровь бурлит сильнее обычного.

— Вы не будете этого говорить... потому что не осмелитесь...

— Напротив, говорю тебе, что если бы это было правдой, я был бы горд, восхищен, счастлив, я сказал бы об этом всему миру, я кричал бы об этом на крышах. И черт побери! не знаю, почему я не могу об этом говорить, если это так?

— Как так?.. Вы осмеливаетесь сказать...

— Правду.

— Вы смеете говорить, что Антуанетта любит вас?

— Я смею сказать по крайней мере, что она благосклонно приняла мои искания и не далее, чем вчера...

— Итак, не далее, чем вчера? — нетерпеливо прервал его Амори.

— Она разрешила мне просить ее руки у господина д'Авриньи.

— Неправда! — воскликнул Амори.

— Как неправда? — изумился Филипп. — Ты понимаешь, что ты обвиняешь меня во лжи?

— Черт возьми, еще бы я не понимал!

— И ты делаешь это преднамеренно?

— Разумеется.

— И ты не возьмешь обратно это оскорбление, которое ты мне наносишь неизвестно почему, без всякого повода, без всякой причины?

— Воздержусь.

— Право, Амори, — сказал Филипп, возбуждаясь все больше, — я понимаю, что, несмотря на мои аргументы, я, может быть, и виноват, но между друзьями, людьми света, принято другое обращение. Если бы ты сказал подобное во Дворце, я бы не обиделся, но здесь, у меня, — это другое дело. Это оскорбление, и я не могу его стерпеть даже от тебя, и если ты настаиваешь на своем..

— Разумеется, — воскликнул Амори с еще большим пылом, — и я повторяю, что ты лжешь.

— Амори, — в отчаянии воскликнул Филипп, — предупреждаю тебя, что хоть я и адвокат, но я обладаю не только гражданским мужеством и буду биться с тобой на дуэли.

— Ну что ж, бейтесь! Разве вы не видите, что у вас прекрасное положение? Оскорбив вас, я тем самым дал вам право выбора оружия.

— Выбор оружия... — сказал Филипп. — У меня нет предпочтения, мне все равно, потому что я никогда не держал в руках ни шпагу, ни пистолет.

— Я принессу то и другое, — сказал Амори. — Ваши секунданты выберут. Вам останется назначить время.

— Семь часов, если хочешь.

— Место?

— Булонский лес.

— Аллея?

— Мюэт

— Договорились. По одному секунданту будет достаточно, я полагаю. Поскольку речь идет о клевете, кото-

рая может нанести ущерб репутации девушки, чем меньше будет посвященных, тем лучше.

— Как о клевете! Ты смеешь говорить, что я оклеветал Антуанетту?

— Я ничего не говорю, кроме того, что завтра в семь часов я буду в Булонском лесу, на аллее Мюэт, с секундантом и оружием. До завтра, господин Филипп.

— До завтра, господин Амори. Вернее, до вечера, потому что сегодня четверг, день приема мадемуазель Антуанетты, и я не понимаю, почему я должен лишать себя удовольствия видеть ее.

— До вечера у Антуанетты, и до нашей встречи завтра,— сказал Амори.

И он уехал, рассерженный и восторженный одновременно.

ЛП

Это был самый приятный и самый мучительный для Филиппа вечер из всех, проведенных здесь.

Антуанетта была очень мила с ним. Рауль не пришел, Амори сразу же сел за игру и проигрывал с необычайным ожесточением.

Таким образом, Филипп остался почти наедине с Антуанеттой, и она совсем не была этим рассержена...

Время от времени Амори бросал быстрый взгляд в сторону Антуанетты и Филиппа, видел, как они тихо беседуют и улыбаются друг другу, и каждый раз обещал себе не щадить завтра своего друга Филиппа.

А сам Филипп почти забыл о своей дуэли! Радость и угрызения совести душили его. Напрасно он раскаивался в своем счастье, его триумф бросался в глаза, и он был вынужден терпеливо нести эту ношу. Когда Антуанетта ему улыбалась, он говорил себе, что, может быть, завтра он дорого заплатит за эту улыбку. При каждом ее кокетливом взгляде он одновременно видел, как сверкает вдалеке, словно молния на горизонте, один из этих ужасных взглядов Амори, о которых мы упоминали.

Тем не менее, чувствуя себя изменником, он предавал память бедной покойницы. Но, наконец, воспоминания о Мадлен в прошлом, мысль о мщении Амори в будущем постепенно отступали, и он полностью отдался созерцанию своей победы.

Он вернулся к реальности только в момент отъезда, когда Антуанетта ласково протянула ему руку на проща-

ние. Он подумал, что, может быть, видит ее в последний раз, он растрогался и, целуя атласную кожу ее руки, не смог удержать несвязные патетические слова:

— Мадемуазель, вы так добры... столько радости... Ах, если судьба будет против меня, если я паду с вашим именем на устах, не согласитесь ли вы... с вашей стороны, мысль... улыбку... сожаление?..

— Что вы хотите этим сказать, господин Филипп? — спросила удивленная и испуганная Антуанетта.

Но Филипп ограничился последним взглядом и поклоном и вышел с трагическим видом, не желая ничего добавить и упрекая себя за то, что уже сказал слишком много.

Антуанетта, движимая одним из тех предчувствий, которые возникают у женщин, подошла к Амори, уже взявшему шляпу и собиравшемуся уходить.

— Завтра первое июня, — сказала она. — Вы не забыли, Амори, что завтра у нас свидание с господином д'Авриньи?

— Разумеется, нет, — сказал Амори.

— Мы там встретимся в десять часов, как обычно?

— Да, в десять, — рассеянно сказал Амори. — Если я не приеду к полудню, скажите господину д'Авриньи, чтобы он меня больше не ждал, и что я задержался в Париже по неотложным делам.

Эти простые слова были произнесены так холодно, что Антуанетта, бледная и дрожащая, не посмела расспрашивать Амори, но, повернувшись к господину де Менжи, попросила его остаться на несколько минут.

Она поведала ему об отрывочных фразах Филиппа, о недомолвках Амори и своих инстинктивных страхах.

Граф связал услышанное с утренней беседой с Амори и тоже почувствовал некоторые опасения. Но он ничем не показал их, чтобы не испугать Антуанетту еще больше, постарался улыбнуться и пообещал, что с утра займется этим важным делом и поговорит с безумцем.

На следующий день он рано выехал из дома и направился к Амори. Но тот выехал верхом, незаметно и тихо, в сопровождении своего английского груга, не сообщив, куда едет.

Господин де Менжи приказал как можно быстрее возвести его к Филиппу.

Консьерж, стоя на пороге, как раз рассказывал своему другу и охотно повторил господину де Менжи, что час назад господин Оврэ вышел в сопровождении своего по-

веренного. Но на этот раз важный господин нес не пачку бумаг с печатями, а пару шпаг и ящик с пистолетами.

Они позвали фиакр, и Оврэ бросился в экипаж, крикнув кучеру:

— В Булонский лес... аллея Мюэт.

ЛIII

Ровно в семь часов Филипп и его поверенный, которого он выбрал секундантом, уже приехали в своей колымаге на аллею Мюэт. Почти в это же время Амори слез с лошади, а его друг Альбер выпрыгнул из элегантного кабриолета.

Друг Филиппа имел некоторый опыт в подобных делах. Вот почему он привез свои шпаги и пистолеты, считая, что Филипп, как оскорбленная сторона, имеет право пользоваться собственным оружием.

Альбер не возражал, он получил указание от Амори уступать по всем пунктам, поэтому все было быстро урегулировано. Договорились, что будут сражаться на шпагах и воспользуются шпагами Филиппа, которые представляли собой обычное армейское оружие.

После этого Альбер достал портсигар, галантно предложил сигару поверенному, после его отказа закурил сам, спрятал портсигар в карман и подошел к Амори.

— Все! Мы договорились,— сказал он.— Вы бьетесь на шпагах. Будь снисходительнее к этому бедняге.

Амори поклонился, положил на землю шляпу, фрак, жилет и подтяжки. Филипп, подражая ему, сделал то же самое. Филиппу предложили на выбор две шпаги. Он взял одну так, как обычно брал трость. Вторую подали Амори, и он принял ее без аффектации, но с изящным поклоном.

Затем противники сблизилась, скрестив кончики шпаг в шести дюймах от острия, и секунданты отошли, один налево, другой — направо, сказав:

— Начинайте, господа.

Филипп не заставил себя ждать и атаковал с отважной неловкостью, но первым же движением Амори выбил шпагу из его рук, которая, кружась в воздухе, отлетела на десять шагов от сражающихся.

— Неужели это все, что вы умеете, Филипп? — спросил Амори, тогда как его противник вертел головой, пытаясь понять, куда девалась его шпага.

— Еще бы! Прошу прощения, но я вас предупреждал,— ответил Филипп.

— Тогда возьмем пистолеты,— сказал Амори,— шансы будут равные.

— Берем пистолеты,— сказал Филипп, готовый решительно на все.

— Итак,— сказал Альбер, чтобы сказать хоть что-нибудь,— вы настаиваете на этой дуэли, Амори?

— Спросите у Филиппа.

Альбер повторил вопрос, обращаясь к противнику.

— Как, настаиваю ли я? — сказал Филипп.— Конечно, я настаиваю. Меня оскорбили, и если Амори не извинится...

— В таком случае, истребляйте друг друга,— сказал Альбер.— Я сделал все, что мог, чтобы предотвратить пролитие крови, и мне не в чем будет себя упрекать.

Он сделал знак груму Амори подойти и подержать сигару, пока он будет заряжать пистолеты.

Все это время Амори прогуливался по аллее, срубая головки маргариток и лютиков кончиком шпаги.

— Кстати, Альбер,— сказал вдруг Амори, поворачиваясь к нему,— само собой разумеется, что господин Филипп, как потерпевший, стреляет первым.

— Прекрасно,— сказал Альбер, заканчивая начатую операцию, а Амори продолжал косить лютики и маргаритки.

Закончив все приготовления, стороны перешли к обсуждению условий: противники, находящиеся в сорока шагах один от другого, должны были медленно сближаться до расстояния в двадцать шагов.

Договорившись обо всем, секунданты тростями отметили точку остановки, поставили противников на нужном расстоянии, вручили каждому по пистолету, трижды хлопнули в ладони, и после третьего сигнала дуэлянты медленно двинулись вперед.

Они едва сделали четыре шага, как пистолет Филиппа выстрелил. Амори не шевельнулся, но Альбер уронил сигару и схватился за шляпу.

— Что такое? — спросил Филипп, обеспокоенный направлением, в котором полетела его пуля.

— Вот что, сударь,— сказал Альбер, просовывая палец в дыру на своей шляпе,— если бы вы играли в бильярд, это был бы прекрасный удар, но поскольку вы на дуэли, то это очень неловкий выстрел.

— В чем дело, черт побери? — закричал пораженный Амори, хохоча против своей воли.

— Дело в том, — ответил Альбер, — что теперь мне, а не тебе принадлежит право ответного выстрела. Оказывается, сударь стреляется со мной. Дай же мне твой пистолет, и покончим с этим.

Все присутствующие посмотрели на бедного Филиппа, который, молитвенно сложив руки, рассыпался перед Альбером в извинениях, совершенно искренних, но настолько комичных, что они не могли удержаться от смеха.

В этот момент какая-то карета выехала из боковой аллеи на аллею Мюэт. В человеке, который, высунувшись из нее, кричал изо всех сил: «Остановитесь, друзья, остановитесь!» — Амори и Филипп узнали их общего друга, старого графа де Менжи.

Амори отбросил пистолет и подошел к Альберу, а тот, в свою очередь, к Филиппу, продолжавшему держать в руке разряженный пистолет.

— Дайте его сюда, — сказал ему поверенный. — Дьявол! Ведь закон запрещает дуэли!

И он вырвал пистолет из рук Филиппа, который не переставал извиняться перед Альбером и не слушал, что ему говорят.

— Право, господа, из-за вас мне в моем возрасте приходится бегать, — сказал граф де Менжи, подходя к ним. — Слава Богу, я приехал вовремя, потому что я не слышал выстрелов.

— Ах, господин граф, — сказал Филипп, — я ничего не понимаю в оружии, я нажал на спусковой крючок раньше нужного времени и чуть не убил господина Альбера, в чем приношу ему самые искренние извинения.

— Как, разве вы стрелялись с ним? — удивился граф.

— Нет, с Амори, но пуля повернулась в дуле пистолета, и не знаю, уж как получилось, но, целясь в Амори, я чуть не убил этого господина.

— Господа, — сказал граф, решив, что пора перевести разговор в серьезное русло, соответствующее подобному делу. — Господа, прошу вас оставить меня с господином Амори и Филиппом.

Поверенный, поклонившись, и денди, закулив другую сигару, немного отошли, оставив графа с Амори и Филиппом.

— Итак, господа! Что означает эта дуэль? — сказал им граф. — Разве мы об этом договаривались, Амори?

Скажите же, ради Бога, из-за чего вы стреляетесь с господином Филиппом, вашим другом?

— Я стреляюсь с Филиппом потому, что он компрометирует Антуанетту.

— А вы, господин Филипп, какова ваша причина?

— Потому что Амори меня оскорбил.

— Я вас оскорбил, потому что вы бросаете тень на Антуанетту, и господин граф сам предупредил меня...

— Извините, господин Филипп,— сказал граф,— разрешите мне сказать пару слов Амори.

— Господин граф...

— И не уходите, я поговорю с вами потом.

Филипп поклонился и отошел на несколько шагов, оставив господина де Менжи и Амори вдвоем.

— Вы меня не поняли, Амори,— заговорил господин де Менжи.— Кроме Филиппа, был еще один человек, компрометирующий мадемуазель Антуанетту.

— Еще один человек? — вскричал Амори.

— Да, и это вы. Господин Филипп компрометировал ее своими пешими прогулками, а вы — конными.

— Что вы говорите? — воскликнул Амори.— Неужели кто-то мог подумать, что я имею претензии на Антуанетту?

— Представьте себе, сударь, что мой племянник считает вас единственным серьезным претендентом на руку мадемуазель де Вальженсез и отступает перед вами, а не перед господином Филиппом.

— Отступает передо мной, сударь! — изумленно заговорил Амори.— Передо мной! И кто-то мог подумать!..

— А что тут удивительного!

— И вы говорите, что он отступает передо мной?

— Да, если только вы не заявите официально, что не имеете никаких претензий на ее руку.

— Сударь,— сказал Амори, делая над собой заметное усилие,— я знаю, что мне делать, положитесь на меня. Я человек быстрых решений, и уже до вечера вы узнаете, что я достоин вашего доверия и следую вашему совету, который, как я понимаю, вы мне даете.

И Амори, поклонившись господину де Менжи, собрался уйти.

— Как, Амори, вы уходите, ничего не сказав Филиппу?

— Да, действительно, я должен извиниться перед ним.

— Подойдите, господин Оврэ,— сказал граф.

— Мой дорогой Филипп,— заговорил Амори,— теперь,

когда вы стреляли в меня или по крайней мере в мою сторону, я могу вам сказать, что от всего сердца сожалею о том, что обидел вас.

— Друг мой,— вскричал Филипп, пожимая руку Амори,— видит Бог, я не хотел тебя убивать, я попал в шляпу твоего секунданта и очень сожалею о своей оплошности.

— В добрый час,— сказал господин де Менжи,— мне очень нравится, когда вы так разговариваете друг с другом. Теперь пожмите друг другу руки, и пусть все хорошо кончится.

Молодые люди, улыбаясь, обменялись крепким рукопожатием.

— Сударь,— сказал Амори,— вы, кажется, хотели поговорить с Филиппом. Я ухожу и выполню то, что я решил.

Он поклонился и медленно удалился, как человек, чувствующий серьезность поступка, который он собирается совершить. Он коротко поблагодарил Альбера, вскочил на лошадь и ускакал.

— Теперь мы одни, господин Филипп,— сказал граф,— я могу вам признаться, что господин де Леонвиль был прав, упрекая вас в том, что ваши ухаживания компрометируют Антуанетту. Я не знаю, сумеет ли Антуанетта с ее красотой и богатством выйти замуж после этой истории.

— Сударь,— сказал Филипп,— я только что признал мою неправоту, и я могу это повторить. И я знаю, как исправить мою вину. Я человек медленных решений, но, если я принял решение, ничто не изменит его. Сударь, имею честь откланяться.

— Но что вы собираетесь делать, Филипп? — спросил господин де Менжи, опасаясь, что под важным видом Филиппа кроется новая глупость.

— Вы будете довольны мной, сударь. Вот все, что я могу вам сказать,— ответил Филипп.

И, низко поклонившись, он тоже ушел, оставив господина де Менжи в глубоком изумлении.

— Дорогой друг,— сказал Филипп своему секунданту,— мне очень нужен фиакр для длительной поездки. Поэтому прошу вас дойти пешком до станции Этуаль, где вы найдете омнибус.

— Послушайте, сударь,— сказал Альбер, который все еще держал в руке пистолет Амори,— неужели вы уедете, не позволив мне сделать ответный выстрел?

— Ах, действительно...— пробормотал Филипп,— я совсем забыл... Если бы измерили расстояние, где мы...

— Ни к чему,— ответил Альбер,— и так хорошо, только не двигайтесь.

Филипп встал как вкопанный, глядя на Альбера, целящегося в него.

— Что вы делаете? — в один голос закричали поверенный и господин де Менжи, бросаясь к Альберу.

Но не успели они сделать и четырех шагов, как прозвучал выстрел, и шляпа Филиппа покатилась по траве, простреленная в том самом месте, где Филипп сделал дыру на шляпе Альбера.

— Теперь, господин Филипп,— смеясь, сказал молодой человек,— вы можете идти по своим делам, мы квиты.

Филипп не заставил себя просить дважды, подобрал шляпу, сел в экипаж, тихо сказал кучеру несколько слов и уехал в направлении Булони.

Альбер подошел к поверенному и предложил ему сигару и место в своей коляске.

Адвокат согласился принять и первое, и второе. Вежливо поклонившись графу, взяв друг друга под руку, они направились к другому концу аллеи, где стоял кабриолет.

— Да простит меня Бог,— сказал господин де Менжи, тоже направляясь к карете,— но мне кажется, что все это поколение просто-напросто сумасшедшее.

LIV

Через час, то есть в половине одиннадцатого, Амори приехал в Виль-Давре к дому господина д'Авриньи. Он ехал очень быстро, боясь, что при меньшей скорости его решимость выполнить задуманное улетучится.

Экипаж Антуанетты тоже подъезжал к крыльцу.

Девушка, узнав Амори в человеке, протягивающем ей руку, не могла удержать радостного восклицания, и яркий румянец заменил бледность на ее щеках.

— Амори, это вы! Это вы! Но, Боже мой, как вы бледны! Вы не ранены?

— Нет, Антуанетта, успокойтесь,— сказал Амори,— ни я, ни Филипп...

Антуанетта не дала ему закончить.

— Но почему у вас такой мрачный и озабоченный вид?

— Я должен сделать господину д'Авриньи важное сообщение.

— Я тоже,— сказала Антуанетта, вздыхая.

Они молча поднялись по ступенькам крыльца вслед за Жозефом и вошли в комнату, где их ждал господин д'Авриньи. Когда они оказались перед ним, старик поцеловал Антуанетту в лоб и протянул руку Амори. Он показался им настолько изменившимся, исхудавшим и неузнаваемым, что они на мгновение остановились от удивления и обменялись взглядом, в котором читалось их тайное опасение. Но насколько они чувствовали себя взволнованными и расстроенными, настолько же господин д'Авриньи казался спокойным.

Они оставались жить и были грустны, он умирал и был весел.

— Вот и вы, дорогие дети,— сказал он племяннице и воспитаннику,— я вас ждал с большим нетерпением. Я счастлив видеть вас и с большим удовольствием посвящаю вам весь этот день. Я вас очень люблю, потому что вы оба молодые, красивые и добрые. Но что случилось? Ваши лица озабочены. Не потому ли, что ваш старый отец уходит?

— О, мы надеемся еще долго встречаться с вами! — воскликнул Амори, забыв, что он разговаривал с человеком, отличающимся от всех других людей. Затем он добавил:

— Я хочу поговорить с вами о серьезных вещах, и мне кажется, что Антуанетта тоже желает подобной беседы.

— Ну что ж, я к вашим услугам, друзья мои,— сказал господин д'Авриньи, и веселость на его лице сменилась заинтересованностью и вниманием.— Садитесь рядом со мной. Антуанетта, садись в это кресло, а ты, Амори, на этот стул. Дайте мне ваши руки, нам хорошо вместе, не правда ли? Погода сегодня прекрасная, небо чистое, а напротив мы видим могилу Мадлен.

Амори и Антуанетта посмотрели на эту могилу и, казалось, набирались решимости, глядя на нее. Однако оба молчали.

— Итак,— продолжал господин д'Авриньи,— каждый из вас хочет мне что-то сказать. Я к вашим услугам, я вас слушаю. Говорите первая, Антуанетта.

— Но...— пробормотала девушка в замешательстве.

— Я понимаю, Антуанетта,— сказал Амори, быстро вставая.— Прошу прощения, Антуанетта, я ухожу.

Антуанетта покраснела, потом побледнела, произнесла несколько извинений, но не старалась удержать его. Амори поклонился и вышел из комнаты, провожаемый растроганным взглядом старого доктора.

— Слушаю тебя, Антуанетта,— сказал господин д'Авриньи, переводя взгляд на девушку,— мы одни, что ты хочешь мне сказать?

— Дядя,— сказала Антуанетта дрожащим голосом, опустив глаза,— вы мне часто говорили, что ваше самое горячее желание — увидеть меня женой любящего человека, уважаемого мной. Я долго колебалась, долго ждала, но поняла, что бывают трудные положения, которые девушка не может разрешить одна.

Я сделала выбор, дядя, не честолюбивый, не блестящий. Но я уверена, что буду любима, и это сделает обязанности супруги легкими и утешительными. Вы хорошо знаете человека, на которого указал мне рассудок,— голос Антуанетты задрожал еще больше, и она посмотрела на могилу Мадлен, черная там новую силу.— Это господин Филипп Оврэ.

Доктор слушал Антуанетту, не перебивая и не подбадривая, его добрые отцовские глаза были устремлены на нее, и доброжелательная улыбка играла на губах, готовых заговорить.

— Господин Оврэ! Антуанетта,— сказал он, немного помолчав,— среди всех окружавших тебя молодых людей ты выбрала Филиппа Оврэ?

— Да, дядя,— прошептала девушка.

— Но, мне кажется, дитя мое,— заговорил господин д'Авриньи,— ты раз двадцать говорила, что претензии этого молодого человека беспочвенны, ты немного смеялась над бедным влюбленным, который зря терял время.

— Мое мнение изменилось, дядя. Эта постоянная надежная любовь, эта вечная преданность тронули меня... и повторяю вам...

И Антуанетта повторила, но гораздо тише и неувереннее, чем в первый раз:

— Я готова, дядя, стать его женой.

— Ну что ж, Антуанетта,— сказал господин д'Авриньи,— так ты приняла решение...

— Да, дядя,— сказала Антуанетта и зарыдала,— и приняла бесповоротно.

— Хорошо, дитя мое,— сказал господин д'Авриньи,— пройди в соседнюю комнату. Мне надо выслушать Амо-

ри, он тоже хочет что-то сказать мне. Я тебя позову, и мы еще поговорим.

И господин д'Авринья взял обеими руками эту юную прелестную головку, посмотрел на залитое слезами лицо и осторожно поцеловал в лоб.

LV

Когда она скрылась в смежной комнате, он громко позвал Амори.

Амори вошел.

— Входи, сын мой,— сказал господин д'Авринья, указывая ему на место, которое он ранее занимал рядом с ним.— Поведай и ты, что ты хочешь сказать.

— Сударь,— сказал Амори, стараясь говорить твердо, но голос оставался прерывистым и приглушенным,— я собираюсь в двух словах сказать не то, что привело меня к вам, потому что меня к вам приводит желание воспользоваться тем единственным днем в месяце, какой вы уделяете нам, но то, о чем я хотел...

— Говорите же,— сказал господин д'Авринья, услышав в голосе Амори то же волнение, что он только что заметил в интонациях Антуанетты.— Говори, я слушаю тебя всей душой.

— Сударь,— продолжал Амори, делая новое усилие, чтобы казаться невозмутимым,— вы хотели, чтобы я, несмотря на молодость, заменил вас рядом с Антуанеттой, став ее вторым опекуном.

— Да, поскольку я знал, что ты питаешь к ней братские дружеские чувства.

— Вы добавили также, что хорошо, если бы я искал среди моих друзей знатного и богатого человека, достойного Антуанетты.

— Правильно.

— Так вот, сударь,— продолжал Амори,— обдумав, какой человек подходит Антуанетте именем и состоянием, я приехал просить руку вашей племянницы для...

Амори остановился, задохнувшись.

— Для кого?— спросил господин д'Авринья, тогда как Амори укреплялся в своем решении, бросив долгий взгляд в сторону кладбища.

— Для виконта Рауля де Менжи,— сказал Амори.

— Предложение серьезное и заслуживает быть принятым во внимание,— сказал господин д'Авринья.

Затем, обернувшись, он крикнул:

— Антуанетта!

Антуанетта робко открыла дверь.

— Иди сюда, дитя мое,— сказал господин д'Авриньи, протягивая ей руку, а другой удерживая Амори на месте.— Входи и садись сюда. Теперь дай мне руку, как Амори дал свою.

Антуанетта повиновалась.

Господин д'Авриньи некоторое время нежно смотрел на них, молчаливых и трепещущих, потом поцеловал обоих в лоб.

— Вы благородные натуры, щедрые сердца, я восхищен тем, что происходит.

— Но что происходит? — спросила Антуанетта дрожащим голосом.

— А то, что Амори любит тебя, а ты любишь Амори. Оба удивленно вскрикнули и попытались встать.

— Дядя! — сказала Антуанетта.

— Судары! — сказал Амори.

— Дайте сказать отцу, старику, умирающему,— продолжал господин д'Авриньи с особенной торжественностью.— Не прерывайте меня. Мы снова втроем, как девять месяцев назад, когда Мадлен покинула нас, поэтому позвольте мне проследить историю ваших сердец за эти девять месяцев.

Я читал, что вы писали, Амори. Я слышал, что говорила ты, Антуанетта.

Я наблюдал за вами, я изучал вас в моем одиночестве. После бурной жизни, которую предопределил мне Бог, я разбираюсь не только в болезнях, от каких страдает тело, но и в страстях, от каких страдает душа. Вы любите друг друга, дети мои, повторяю вам, в этом ваше счастье, и я поздравляю вас. А если вы все еще сомневаетесь, я сейчас вам это докажу.

Амори и Антуанетта сидели, потерянные.

Господин д'Авриньи продолжал:

— Амори, у вас благородное сердце, честная и искренняя душа. После смерти моей дочери вы хотели убить себя, и когда уехали, вы действительно надеялись умереть.

В ваших первых письмах было глубокое отвращение к жизни, ваш взгляд был обращен вовнутрь и никогда к окружающему, но мало-помалу посторонние предметы стали вас интересовать. Дар восхищения, желание жизни, у которого столь крепкие корни в двадцатилетних юношах, начали возрождаться, расти в вашей душе. Вам

наскучило одиночество, вы мысленно обратились к будущему.

Ваша нежная природа неясно и неосознанно призывала любовь, а так как вы из тех, над кем воспоминания всемогущи, первое лицо, появившееся в ваших грезах, было лицо подруги, знакомой с детства.

Голос именно этой подруги доходил до места вашего добровольного изгнания, она писала ласковые и утешительные слова, и вы не удержались и, побежденный скукой, увлекаемый тайными надеждами, вы вернулись в Париж, в свет, с чем, как вы думали, вы навсегда порвали девять месяцев назад.

Вы были опьянены присутствием той, которая стала для вас целым миром. Ревность овладела вами, борьба с самим собой возбудила, и какое-то, возможно, незначительное событие пролило свет на ваши чувства в момент, когда вы меньше всего ожидали этого. Вы с испугом прочли в вашем сердце и, испугавшись вашей слабости, убедившись, что, продолжая бороться, вы падете в этой борьбе, вы приняли крайние меры, отчаянное решение, вы пришли просить у меня руки Антуанетты для виконта Рауля де Менжи.

— Мою руку для Рауля де Менжи! — вскричала Антуанетта.

— Да, для Рауля де Менжи, хотя вы знали, что она не любит его, с тайной надеждой, что, когда я предложу ей этот брак, она признается, что любит вас.

Антуанетта закрыла лицо руками и тихо застонала.

— Все так, не правда ли? — продолжал господин д'Авриньи. — Я хорошо произвел вскрытие вашего сердца и анализ ваших чувств? Да? Итак, гордитесь, Амори, это чувства любящего человека, это сердце честного дворянина.

— Ах, отец! — воскликнул Амори. — Напрасно мы стараемся что-то скрыть от вас, ничто от вас не ускользнет, и ваш взгляд, как взгляд Бога, проникает в самые глубины души.

— С тобой, Антуанетта, — снова заговорил господин д'Авриньи, поворачиваясь к девушке, — совсем другое дело. Ты любишь Амори с тех пор, как ты его знаешь.

Антуанетта вздрогнула и спрятала покрасневшее лицо на груди господина д'Авриньи.

— Не отрицай, дорогое дитя, — продолжал он. — Эта скрытая любовь всегда была слишком чистой и благород-

ной, чтобы ты краснела за нее. Твое бедное сердце много страдало!

Находясь постоянно в тени, ревнуя и сердясь на себя за эту ревность, ты испытывала муки и угрызения совести от самого святого в мире — от чистой любви.

Ах! Ты очень страдала и не имела ни свидетелей твоей боли, ни того, кому ты могла бы доверить свои слезы, ни того, кто поддержал бы тебя в минуту слабости и крикнул: «Мужайся!» Твое чувство велико и прекрасно!

Но один человек видел все и восхищался твоим стойким героическим молчанием. Это был твой старый дядя, который часто смотрел на тебя со слезами на глазах и вздыхал, открывая тебе свои объятия. И когда Бог призвал твою соперницу (Антуанетта сделала протестующее движение), твою сестру, ты снова считала преступлением любую надежду.

Но Амори страдал, ты с тревогой следила за его мучениями, ты не могла не утешать его всеми силами, ты стала сестрой милосердия его больной души. Потом ты снова увидела его, и твои муки стали еще более жестокими и горькими. Наконец, ты поняла, что он тоже любит тебя, и чтобы устоять в этом последнем испытании и не изменить жимере самоотречения и верности мертвым, ты решила пожертвовать своим будущим, отдать его первому встречному, ты выбрала Филиппа, чтобы бежать от Амори. Но, дитя мое, не делая счастливым одного, ты смертельно ранишь сердце другого, не считая своего собственного сердца, которое ты приносишь в жертву, вернее, ты это уже сделала давно.

Но, к счастью,— продолжал господин д'Авриньи, посмотрев на Амори и Антуанетту,— к счастью, я еще здесь, с вами, чтобы помочь вам понять друг друга и не дать вам стать жертвами взаимного обмана, чтобы спасти вас от двойной ошибки, чтобы сказать вам, счастливым: «Вы любите друг друга! Вы обожаете друг друга!»

Доктор замолчал на мгновение, посмотрел на Амори, сидящего справа, на Антуанетту, сидящую слева. Они были смущены и растеряны, они не решались посмотреть ни на него, ни друг на друга.

— Нет, ангелы мои, не раскаивайтесь в вашей любви, не оскорбляйте священную память той, чью могилу мы видим отсюда.

Там, откуда она сейчас видит нас, исчезают земные страсти и мелкая ревность, ее прощение полнее и чище, чем мое. Я должен сказать вам, Амори,— добавил доктор,

понижая голос,— я должен раскрыть вам душу человека, почитаемого вами,— как судья, я вас прощаю так легко из-за моего тщеславия и эгоизма скупца.

Да, меня тоже следует осуждать, потому что я говорю себе гордо, что теперь я один воссоединюсь с моей дочерью, чистой на земле, чистой на небе, что она будет только моей, что я любил ее сильнее.

Это плохо и несправедливо,— продолжал господин д'Авриньи, как бы обращаясь к самому себе и покачивая головой.— Отец стар, влюбленный молод. Я прожил долгую и трудную жизнь, и я пришел к концу моего пути.

Вы очень юные, вы находитесь в начале вашей жизни, у вас в будущем все то, что у меня уже было в прошлом, в вашем возрасте не умирают от любви, ею живут.

Итак, дети, не стыдитесь и не сожалейте, не боритесь против ваших интересов, не подавляйте ваши естественные порывы, не восставайте против Бога! Не проклинайте вашу молодость и силу вашей души. Вы достаточно боролись, страдали, искупали. Идите в будущее, к любви, к счастью. Придите в мои объятия, чтобы от имени Мадлен я мог вас поцеловать и благословить.

Молодые люди опустили на колени у ног старика, он положил руки на их склоненные головы, подняв к небу глаза и улыбаясь. А они, стоя на коленях, тихо и робко разговаривали:

— Вы действительно давно меня любили, Антуанетта?

— Значит, ваша любовь не была только мечтой, Амори?

— Посмотрите на мою радость!— воскликнул он.

— Посмотрите на мои слезы!— прошептала она.

В течение нескольких минут слышались только бесвязные слова, произносимые влюбленными, и благословения того, кто собирался умереть, тем, кто должен был жить.

— Пощадите немного мое сердце, дети мои,— сказал доктор.— Теперь я совсем счастлив, потому что оставляю вас счастливыми.

У нас мало времени, особенно у меня; я спешу больше вас.

Вы обвенчаетесь в этом месяце. Я не могу и не хочу покидать Виль-Давре, но я предоставляю господину де Менжи все полномочия, отдам необходимые распоряжения. Думайте только о своей любви.

Но через месяц, Амори, первого августа, вы приедете сюда с вашей женой и посвятите мне весь день, как вы сделали это сегодня...

Амори и Антуанетта покрывали поцелуями руки старика, но в этот момент в прихожей послышался сильный шум, открылась дверь, и старый Жозеф появился в дверях.

— Что там такое? — спросил господин д'Авриньи. — Кто нас беспокоит?

— Сударь, — ответил Жозеф, — какой-то молодой человек приехал в фиакре и очень хочет вас видеть. Он уверяет, что речь идет о счастье мадемуазель Антуанетты. Пьер и Жак едва смогли его удержать, когда он хотел нарушить запрет. А вот и он!

В этот момент Филипп Оврэ, красный и запыхавшийся, ворвался в комнату, поклонился господину д'Авриньи и Антуанетте и протянул руку Амори.

По знаку доктора Жозеф вышел.

— А, это ты, мой бедный Амори, — сказал Филипп, — я очень рад, что ты опередил меня. По крайней мере ты сможешь рассказать господину де Менжи, как Филипп Оврэ исправляет ошибки, которые он имел несчастье совершить.

Молодые люди переглянулись, а Филипп торжественно обратился к доктору:

— Сударь, я прошу у вас прощения за мой небрежный костюм и дырявую шляпу, но при обстоятельствах, что привели меня сюда, я должен был спешить. Сударь, я имею честь просить у вас руки вашей племянницы, мадемуазель Антуанетты де Вальженсез.

— А я, сударь, — ответил доктор, — имею честь пригласить вас на бракосочетание мадемуазель Антуанетты де Вальженсез с графом Амори де Леонвилем, которое состоится в последних числах этого месяца.

Филипп громко, отчаянно, душераздирающе вскрикнул и, не поклонившись, не попрощавшись, не произнеся ни слова, бросился вон из комнаты и, как безумный, вскочил в свой фиакр.

Незадачливый Филипп, как обычно, опоздал на полчаса.

ЭПИЛОГ

Первого августа Амори и Антуанетта, обосновавшиеся в маленьком особняке на улице Матюрен, увлеклись

веселой и милой беседой и забыли, что время идет. Накануне они обвенчались в церкви Сент-Круа-д'Антэн.

— Послушай, дорогой Амори,— сказала Антуанетта,— нужно ехать, скоро пробьет полдень, и дядя ждет нас.

— Он вас больше не ждет,— послышался голос старого Жозефа.— Господин д'Авриньи плохо чувствовал себя последние дни, но он категорически запретил сообщать вам из опасения опечалить вас. Он умер вчера в четыре часа дня.

Именно в это время Антуанетта и Амори получили брачное благословение.

Когда секретарь графа М... закончил чтение, наступило молчание.

— Так вот,— сказал наконец М...,— теперь вы знаете о любви, от которой умирают, и о любви, от которой не умирают.

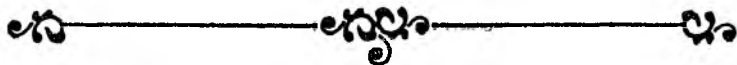
— Да, но если я вам скажу,— заговорил молодой человек,— что в следующий вторник я мог, если бы вы захотели, рассказать историю, в которой любовник умер, а отец остался жить?

— Это будет означать,— ответил граф, смеясь,— что истории могут многое доказать в литературе, но ничего не доказывают в морали.



Тысяча и один
призрак

роман



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Мой милый друг, вы часто говорили мне в те вечера, которые стали так редки, когда каждый говорил непридуманно, высказывал свои заветные мечты или фантазировал, или черпал что-то из воспоминаний прошлого, — вы часто говорили мне, что после Шехерезады и Подья я самый интересный рассказчик, которого вы слышали.

Сегодня вы пишете мне, что в ожидании длинного романа, какой я обыкновенно пишу и который охватывает целое столетие, вы хотели бы получить от меня рассказы, — два, четыре, шесть томов рассказов, этих бедных цветов из моего сада, которые вы хотели бы издать среди политических событий момента, между процессом Буржа и майскими выборами.

Увы, мой друг, мы живем в печальное время, и мои рассказы далеко не веселы. Позвольте мне только уйти из реального мира и искать вдохновения для моих рассказов в мире фантазии. Увы! Я очень опасаясь, что все те, кто умственнее других, у кого больше поэзии и мечтаний, все идут по моим стопам, то есть стремятся

к идеалу,— единственное прибежище, предоставленное нам Богом, чтобы уйти из действительности.

Вот передо мной раскрыты пятьдесят томов по истории Регентства, которую я заканчиваю, и я прошу, если вы будете упоминать о ней, не советуйте матерям давать эту книгу своим дочерям. Итак, вот чем я занят! В то время как я пишу вам, я пробегаю глазами страницу мемуаров маркиза д'Аржансона «*О разговорах в былое время и теперь*» и читаю там следующие слова: «Я уверен, что в то время, когда Отель де Рамбулье задавал тон обществу, умели лучше слушать и лучше рассуждать. Все старались воспитывать свой вкус и ум; я встречал еще стариков, владевших разговором при дворе, где я бывал. Они умели точно выражаться, слог их был энергичен и изящен; они употребляли антитезы и эпитеты, усиливавшие смысл; прибегали к глубокомыслию без педантизма и остроумию без злобы».

Сто лет прошло с тех пор, как маркиз д'Аржансон написал эти слова, которые я выписываю из его книги. В то время, когда он их писал, он был одних лет с нами, и мы, мой друг, можем сказать вместе с ним: мы знавали стариков, которые — увы! — были тем, чем мы не можем быть, людьми из хорошего общества.

Мы видели их, но сыновья наши их не увидят. Итак, хотя мы немного значим, но все же больше, чем наши сыновья.

Правда, с каждым днем мыдвигаемся к свободе, равенству и братству,— к тем трем великим словам, которые революция 93-го года выпустила в современное общество, как тигра, льва или медведя, одетых в шкуры ягнят; пустые, увы, слова, которые можно было читать в дыму июня на наших общественных памятниках, пробитых пулями.

Я подражаю другим; я следую за движением. Сохрани меня Боже проповедовать застой! Застой — смерть. Я иду, как те люди, о которых Данте говорит, что хотя ноги их идут вперед, но головы оборачиваются к пяткам.

Я настойчиво ищю — и особенно жалею, что приходится искать в прошлом,— это общество; оно исчезает, оно растворяется, как одно из тех привидений, о которых я собираюсь рассказать.

Я ищю общество, которое создает изящество, галантность; оно создавало жизнь, которой стоило жить (прошу извинения за это выражение, я не член Академии и

могу себе это позволить). Умерло ли это общество или мы убили его?

Помню, я был еще ребенком, когда мы с отцом побывали у мадам де Монтессон. То была важная дама, дама прошлого столетия. Она вышла замуж шестьдесят лет назад за герцога Орлеанского, деда короля Луи Филиппа. Тогда ей было восемьдесят лет. Она жила в богатом отеле на шоссе д'Антен. Наполеон выдавал ей пенсию в сто тысяч экю.

Знаете, почему давалась ей пенсия, занесенная в Красную книгу, преемником Людовика XVI? Нет? Прекрасно. Мадам де Монтессон получала пенсию в сто тысяч экю *за то, что сохранила в своем салоне традиции высшего общества времен Людовика XIV и Людовика XV.* Ровно половину этой суммы платит теперь Палата ее племяннику, чтобы он заставил Францию забыть то, что дядя его желал, чтобы она помнила.

Вы не поверите, мой милый друг, но вот это слово, которое я по неосторожности произнес: *«Палата»*, опять возвращает меня к мемуарам маркиза д'Аржансона.

Почему? Сейчас узнаете.

«Жалуются,— говорит он,— что в наше время во Франции не умеют вести беседу. Я знаю причину этого. Наши современники утратили способность слушать. Слушают вполуха или совсем не слушают. Я сделал такое наблюдение в лучшем обществе, в котором мне приходилось бывать».

Ну, мой милый друг, какое же лучшее общество можно посещать в наше время? Несомненно то, которое восемь миллионов избирателей сочли достойным представлять интересы, мнения, дух Франции. Это Палата, конечно

И что же? Войдите случайно в Палату, в какой вздумается день и час. Держу пари сто против одного, что вы увидите на трибуне лицо, которое говорит, а на скамьях от пятисот до шестисот лиц, которые не слушают, а постоянно прерывают.

То, что я говорю, настолько верно, что в конституции 1848 года имеется даже специальная статья, которая запрещает прерывать речи.

Сосчитайте также количество пощечин и ударов шпаги, нанесенных в Палате со времени ее открытия,—бесчисленное количество!

Ксбечно, все во имя свободы, равенства и братства.

Итак, мой милый друг, как я вам сказал, я сожалею о многом, не правда ли? Хотя я уже прожил почти полжизни, из того, что осталось в прошлом, я вместе с маркизом д'Аржансоном, жившим сто лет тому назад, жалею об исчезновении галантности.

Однако во времена маркиза д'Аржансона никому не приходило в голову называться *гражданином*. Подумайте, если бы сказать маркизу д'Аржансону, когда он писал, например, следующие слова:

«Вот до чего мы дожили во Франции: занавес опустили; представление кончилось; раздаются только свистки. Скоро исчезнут в обществе изящные рассказчики, искусство, живопись, дворцы, останутся везде и повсюду одни завистники».

Что, если бы тогда ему сказать, когда он писал эти слова, что мы дойдем до того, что будем, как я, например, завидовать его времени? Как бы удивился бедный маркиз д'Аржансон! И что же я делаю? Я живу среди мертвецов — отчасти с изгнанниками. Я стараюсь воскресить несуществующие уже общества, исчезнувших людей, от которых пахло амброй, а не сигарами, которые дрались на шпагах, а не на кулаках.

И вас должно удивить, мой друг, что, когда я начинаю беседовать, я говорю на том языке, на котором теперь не говорят. Вот почему вы находите меня занимательным рассказчиком. Вот почему мой голос, эхо прошлого, еще слушают в настоящее время, когда так мало и неохотно слушают.

В конце концов мы, подобно тем венецианцам, которых в восемнадцатом столетии законы против роскоши заставляли носить сукно и грубые ткани, любим рассматривать шелк, бархат и золотую парчу, в которые королевская власть рядила наших отцов

Ваш Александр Дюма



I

УЛИЦА ДИАНЫ В ФОНТЕНЭ

1 сентября 1831 года мой старинный приятель, начальник бюро королевских имуществ, пригласил меня в Фонтенэ для открытия с его сыном охоты.

В то время я очень любил охоту и как страстный охотник придавал большое значение тому, в какой местности каждый год ее начинать.

Обыкновенно мы отправлялись к одному фермеру, вернее, другу моего шурина; у него я впервые убил зайца и посвятил себя науке Немврода и Эльзеара Блэза. Ферма находилась между лесами Компьена и Вилье Коттере, в полумиле от прелестной деревушки Мориенварль и в миле от величественных развалин Пьерфона.

Две или три тысячи десятин земли, принадлежащие ферме, представляют собой обширную равнину, окруженную лесом; в середине расстилается красивая долина, и среди зеленых лугов и пышной листвы разнообразных деревьев виднеются дома, наполовину ею скрытые; от них поднимаются синеватые клубы дыма

Сначала дым стелется, а затем вертикально поднимается к небу и, достигнув верхних слоев воздуха, расходуется по направлению ветра наподобие верхушек пальм.

Дичь из обоих лесов спускается, как на нейтральную почву, на эту равнину и на два склона долины.

На равнине Бассдар водится всякая дичь: вдоль леса — козы и фазаны; зайцы — на площадках, кролики — в расселинах, куропатки — около фермы. Господин Моке (так звали нашего друга) нас ждал; мы охотились весь день и на другой день возвращались в Париж в два часа; четыре или пять охотников убивали до ста пятидесяти экземпляров дичи, и наш хозяин ни за что не хотел брать себе ни одного.

В этом году я изменил господину Моке, уступив просьбам моего старого сослуживца и соблазнившись пейзажем, присланным его сыном, выдающимся учеником римской школы. Пейзаж представлял собой равнину Фонтенэ, засеянную хлебом и заросшую люцерной, изобилующую зайцами и куропатками

Я никогда не был в Фонтенэ: никто так мало не знает окрестности Парижа, как я. Я не выезжал ближе пяти или шестисот миль от Парижа. Всякая перемена места представляла для меня интерес.

В Фонтенэ я уезжал в шесть часов вечера, высунув голову в окно, по своему обыкновению; я проехал застава Анфер, оставил слева улицу Том-Иссуар и поехал по Орлеанской дороге.

Известно, что Иссуар — знаменитый разбойник, который во времена Юлиана брал выкуп с путешественников, отправлявшихся в Лутецию. Его, кажется, повесили и похоронили в том месте, которое названо его именем.

Равнина около Малого Монружа имеет очень странный вид. Среди обработанных полей, среди грядок морковки и свеклы возвышаются каменоломни белого камня, а над ними зубчатое колесо. По окружности колеса находятся деревянные перекладины, и человек попеременно опирается на них ногой. Это — работа белки: рабочий, по-видимому, затрачивает немалые усилия, а в действительности не трогается с места; на вал колеса намотана веревка, и этим движением она разматывается и вытаскивает на поверхность камень, высеченный в каменоломне.

Крюк вытаскивает камень из каменоломни и перекачивает его на назначенное место. Канат спускается

вглубь и снова тащит камень и дает передышку этому современному Иксиону. Затем его предупреждают, что снова камень ждет его усилий, чтобы покинуть родную каменоломню, и вновь все повторяется.

До вечера человек проходит десять миль, не меняя места; если бы при каждом шаге, который он совершил по перекладине, он поднимался вверх, то через двадцать три года он достиг бы Луны.

В то время когда я проезжал по равнине, отделявшей Малый Монруж от Большого, особенно вечером, окрестный пейзаж с этими бесконечнымидвигающимися колесами на фоне багряного заката солнца казался фантастическим. Пейзаж напоминал гравюру Гойи, где люди в полумраке вырывают зубы у повешенных.

Эти каменоломни в пятьдесят и шестьдесят футов длины и в шесть или восемь высоты,— это будущий Париж, который выкапывают из земли. Каменоломни эти расширяются и увеличиваются день ото дня. Это как бы продолжение катакомб, из которых вырос старый Париж. Это — предместья подземного города; они все расширяются и увеличиваются в окружности. Когда вы идете по равнине Монруж, вы идете над пропастями. Местами образуется провал, миниатюрная долина, складка почвы — это плохая каменоломня под вами: треснул ее гипсовый потолок, который был над трещиной, вода протекла в пещеру, просочилась в почву, произошли подвижки почвы — оползни.

Если вы не осведомлены, что этот красивый зеленый пласт земли ни на чем не держится, и если вы станете на это место над провалом, то можете провалиться, как в Монтанвере между двумя ледяными горами.

Обитатели подземных галерей отличаются характером и физиономией и ведут особый образ жизни. Они живут в потемках, у них инстинкты ночных животных, они молчаливы и жестоки. Часто бывают несчастные случаи: то спица обломается, то веревка оборвется и задавят человека. На поверхности земли считают это несчастным случаем, но на тридцатифутовой глубине знают, что это преступление.

Во время восстания люди, о которых мы говорим, почти всегда принимают в нем участие.

У заставы Анфер говорят: «Вот идут каменотесы из Монружа!», и жители соседних улиц качают головой и запирают двери.

Вот на что я смотрел, вот что я видел в сентябрьские сумерки, в промежутке между днем и ночью. Очевидно, никто из моих спутников не видел того, что видел я. И во всем так: многие смотрят, да мало кто видит.

В Фонтенэ мы приехали в половине девятого. Нас ждал прекрасный ужин, а после ужина прогулка по саду.

Если Сорренто — царство апельсиновых деревьев, то Фонтенэ — царство роз. В каждом доме по стене вьются розы. Достигая известной высоты, розы распускаются гигантским веером, наполняя воздух благоуханиями, а когда поднимается ветер, сверху падает дождь розовых лепестков, как падал он в праздник, который устраивал сам Бог.

Дойдя до конца сада, можно было полюбоваться величественным пейзажем, если бы это было днем. Огоньки обозначали деревни Ссо, Банье, Шатильон и Монруж; вдаль тянулась красноватая линия, откуда исходил шум, напоминавший дыхание Левиафана, — то было дыхание Парижа.

Нас насильно отправили спать, словно детей, хотя мы с удовольствием дождались бы зари под звездным небом, вдыхая благоухания, доносимые ветром.

Охота началась в пять часов утра. Руководил ею сын хозяина; он сулил нам чудеса и, надо признаться, расхваливал обилие дичи в этой местности с необыкновенной настойчивостью.

В двенадцать часов мы увидели зайца и четырех куропаток. Мой товарищ справа промахнулся, стреляя в зайца, а товарищ слева промахнулся, стреляя в куропатку; из трех оставшихся я застрелил двух.

В Брассуаре к двенадцати часам я бы уже отправил на ферму четырех зайцев и штук двадцать куропаток.

Я люблю охоту и ненавижу прогулки по полям. Под предлогом, что желаю осмотреть поле люцерны, расположенное слева, я свернул.

Поле привлекло меня потому, что я сообразил: шагая по низкой дороге по направлению к Ссо, я скроюсь от охотников и дойду до Фонтенэ.

Я не ошибся. На колокольне пробило час, когда я добрался до первых домов деревни. Я шел вдоль стены, окружавшей, как мне казалось, превосходную виллу, как вдруг там, где улица Дианы пересекается с Большой, ко мне со стороны церкви направился человек странной наружности. Я остановился и, вероятно, руководствуясь инстинктом самосохранения, стал заряжать ружье.

Человек, бледный, с взъерошенными волосами, с глазами, вылезавшими из орбит, в неопрятной одежде, с окровавленными руками, прошел мимо, не замечая меня. Взор его был устремлен вдаль и тускл, хрипкое дыхание указывало на то, что он был охвачен ужасом.

На перекрестке он свернул с Большой улицы на улицу Дианы, буда выходила вилла, вдоль стены которой я шел уже семь или восемь минут. Дверь, на которую, я внезапно взглянул, была выкрашена в зеленый цвет, и на ней стоял номер «2». Рука человека протянулась к звонку раньше, чем он мог до него дотянуться; наконец он схватил звонок, сильно дернул его и сейчас же сел на ступеньки у двери. Он сидел неподвижно, опустив руки и склонив голову на грудь.

Я вернулся. Я понял: человек этот стал участником какой-то неизвестной и тяжелой драмы.

За ним и по обеим сторонам улицы стояли люди. Он производил на них такое же впечатление, как на меня, и они вышли из своих домов и смотрели на него с таким же удивлением, как и я.

На звонок вышла женщина лет сорока или сорока пяти.

— А, это вы, Жакмен,— сказала она.— Что вы здесь делаете?

— Господин мэр дома? — спросил глухим голосом человек, к которому она обращалась.

— Да.

— Ну, тетка Антуан, подите скажите ему, что я убил мою жену и явился сюда, чтобы меня арестовали.

Тетка Антуан вскрикнула, и те, кто расслышал страшное признание, вскрикнули вместе с нею.

Я сам отступил назад и, наткнувшись на ствол липы, оперся на него. Все, кто был поблизости, оставались неподвижны.

После своего рокового признания убийца как бы в изнеможении соскользнул со ступеньки на землю.

Тетка Антуан исчезла, оставив калитку открытой. Очевидно, она пошла передать поручение Жакмена своему хозяину.

Через пять минут появился тот, за кем она пошла.

Я и теперь вижу перед собой ту улицу.

Жакмен сполз на землю, как я уже сказал. Мэр Фонтенэ, которого позвала тетка Антуан, стоял около него, загораживая его своей высокой фигурой. У калитки топтались еще двое, о которых я еще буду говорить подро-

нее. Я опирался на ствол липы на Большой улице и смотрел на улицу Дианы. Налево находилась группа, состоявшая из мужчины, женщины и ребенка; последний плакал, и мать взяла его на руки. За этой группой из первого этажа высовывал голову булочник и, обращаясь к мальчику, стоявшему внизу, спрашивал его: тот, что пробежал, не Жакмен ли каменотес? Наконец на пороге появился кузнец, освещаемый сзади пламенем наковальни, на которой подмастерье продолжал раздувать мехи.

Вот что происходило на Большой улице.

На улице Дианы не было никого, кроме главной группы. Лишь в конце ее появились два жандарма, совершавшие обход по равнине в целях проверки прав на ношение оружия, и, не рассчитывая на предстоящее им дело, медленно приближались к нам.

Пробило час с четвертью.

II

ПЕРЕУЛОК СЕРЖАН

Свои первые слова мэр Ледрю произнес одновременно с последним ударом часов.

— Жакмен,— сказал он,— надеюсь, тетка Антуан сошла с ума: она передала мне по твоему поручению, что твоя жена умерла и что это ты ее убил!

— Это чистая правда, господин мэр,— отвечал Жакмен.— Меня следует отвести в тюрьму и скорее судить.

Произнеся эти слова, он попытался встать, опираясь о ступеньку, но после сделанного усилия упал: у него подкосились ноги.

— Полно! Ты с ума сошел! — сказал мэр.

— Посмотрите на мои руки,— отвечал тот, поднимая окровавленные руки со скрюченными, похожими на когти пальцами.

Действительно, левая рука его была красна до кисти, правая — до локтя. Кроме того, на правой руке струйка крови текла вдоль большого пальца: вероятно, жертва в борьбе укусила своего убийцу.

В это время подъехали два жандарма. Они остановились в десяти шагах от главного действующего лица этой сцены и смотрели на него с высоты, восседая на своих лошадях.

Мэр подал им знак. Они сошли с лошадей, бросили вожжи мальчику в полицейской шапке, по-видимому,

сыну кого-то из стоявших тут же. Затем подошли к Жакмену и подняли его под руки.

Он подчинился без сопротивления и с апатией человека, ум которого сосредоточен на одной мысли.

В это время явились полицейский комиссар и доктор.

— А! Пожалуйте сюда, господин Робер! А, пожалуйста сюда, господин Кузен! — сказал мэр.

Робер был доктор, Кузен — полицейский комиссар.

— Пожалуйте, я хотел уже послать за вами.

— Ну! В чем дело? — спросил доктор с самым веселым видом. — Кажется, убийство?

Жакмен ничего не отвечал.

— Ну что, Жакмен, — продолжал доктор, — правда, что вы убили вашу жену?

Жакмен молчал.

— Он по крайней мере сам сознался, — сказал мэр. — Однако, может быть, это галлюцинация, и он не совершил преступления.

— Жакмен, — сказал полицейский комиссар, — отвечайте. Правда, что вы убили свою жену?

То же молчание.

— Во всяком случае, мы увидим, — сказал доктор Робер. — Вы живете в переулке Сержан?

— Да, — ответили два жандарма.

— Я не пойду туда! Я не пойду туда, — закричал Жакмен, вырываясь из рук жандармов быстрым движением, как бы желая убежать, и убежал бы раньше, чем кто-либо вздумал его преследовать.

— Отчего вы не хотите туда идти? — спросил мэр.

— Зачем идти, я признаюсь во всем: я ее убил. Я убил ее большой шпагой с двумя лезвиями, которую взял в прошлом году в Артиллерийском музее. Мне нечего там делать, ведите меня в тюрьму!

Доктор и мэр переглянулись.

— Мой друг, — сказал полицейский комиссар, который, как и Ледрю, полагал, что Жакмен находится в состоянии временного помешательства, — вам необходимо пойти туда, чтобы направить правосудие в надлежащее русло.

— А зачем направлять правосудие? — отвечал Жакмен. — Вы найдете тело в погребке, а около тела, в мешке от гипса, голову, а меня отведите в тюрьму.

— Вы должны пойти, — настаивал полицейский комиссар.

— О, Боже мой! Боже мой! — воскликнул Жакмен в ужасе. — О, Боже мой! Боже мой! Если бы я знал...

— Ну, что бы ты сделал? — спросил полицейский комиссар.

— Я бы убил себя!

Ледрю покачал головой и, посмотрев на полицейского комиссара, хотел, казалось, сказать ему: тут что-то неладно.

— Друг мой, — сказал он убийце, — пожалуйста, объясни мне, в чем дело?

— Да, я скажу вам все, что вы хотите, господин Ледрю, спрашивайте.

— Как это случилось? Как это у тебя хватило духу совершить убийство, а теперь ты не можешь пойти взглянуть на свою жертву? Что-то случилось, о чем ты не сказал нам?

— О да, нечто ужасное!

— Ну, пожалуйста, расскажи.

— О нет, вы не поверите, вы скажете, что я сумасшедший.

— Полно! Скажи мне: что случилось?

— Я скажу, но только вам.

Жакмен подошел к Ледрю.

Два жандарма хотели удержать его, но мэр сделал знак, и они оставили арестованного в покое.

К тому же если бы он и пожелал скрыться, то это было уже невозможно: половина населения Фонтенэ заперла улицу Дианы и Большую.

Жакмен, как я уже сказал, приблизился к самому уху Ледрю.

— Поверите ли вы, — спросил он вполголоса, — поверите ли, чтобы голова, отделенная от туловища, могла говорить?

Ледрю испустил восклицание, похожее на крик ужаса, и заметно побледнел.

— Вы поверите, скажете? — повторил Жакмен.

Ледрю овладел собою.

— Да, — сказал он, — я верю.

— Да-да, она говорила...

— Кто?

— Голова... голова Жанны!

— Ты говоришь?..

— Я говорю, что ее глаза были открыты и она шевелила губами. Я говорю, что она смотрела на меня. Я говорю, что, глядя на меня, она сказала: «Негодяй...»

Произнося эти слова, которые он хотел сказать только Ледрю и которые прекрасно слышали все, Жакмен был ужасен.

— О, чудесно! — воскликнул смеясь доктор. — Она говорила! Отсеченная голова говорила! Ладно, ладно, ладно!

Жакмен повернулся к нему:

— Я же говорю вам!

— Ну, — сказал полицейский комиссар, — тем необходимо отправиться на место преступления. Жандармы, ведите арестованного!

Жакмен испустил крик и стал вырываться.

— Нет, нет, — кричал он, — можете изрубить меня на куски, а я туда не пойду.

— Пойдем, мой друг, — сказал Ледрю — Если правда, что вы совершили страшное преступление, в котором вы себя обвиняете, то это будет искуплением. К тому же, — прибавил он тихо, — сопротивление бесполезно: если вы не пойдете добровольно, вас поведут силою.

— Ну, в таком случае, — сказал Жакмен, — я пойду, но пообещайте мне лишь одно, господин Ледрю...

— Что именно?

— Что все время, пока мы будем в погребе, вы не покинете меня.

— Хорошо.

— Вы позволите держать вас за руку?

— Да.

— Ну хорошо, — сказал он, — идемте! — И, вынув из кармана клетчатый платок, он вытер покрытый потом лоб.

Все отправились в переулок Сержан.

Впереди шли полицейский комиссар и доктор, за ними Жакмен и два жандарма. Следом шагали Ледрю и два человека, появившиеся у двери одновременно с ним. Затем двигалось, как бурный и шумный поток, все население, в том числе и я.

Через минуту ходьбы мы вступили в переулок Сержан. То был маленький переулок, отходивший налево от Большой улицы; вел он к полуразвалившимся воротам с калиткой, едва державшейся на скобе.

По первому впечатлению все было тихо в доме; у ворот цвел розовый куст, а на каменной скамье грелась на солнце толстая рыжая кошка.

Завидев людей и заслышав шум, кошка испугалась, бросилась бежать и скрылась в отдушине погреба.

Подойдя к упомянутой калитке, Жакмен остановился. Жандармы хотели заставить его войти.

— Господин Ледрю,— сказал он, оборачиваясь,— господин Ледрю, вы обещали не покидать меня.

— Конечно! Я здесь,— ответил мэр.

— Вашу руку! Вашу руку! — И он зашатался.

Ледрю подошел, подал знак двум жандармам отпустить арестованного и протянул ему руку.

— Я ручаюсь за него,— сказал он.

В этот момент Ледрю был не мэром общины, карающим преступление, то был философ, исследующий область таинственного.

Только направлял его в этом странном исследовании убийца.

Первыми вошли доктор и полицейский комиссар, за ними Ледрю и Жакмен, затем два жандарма и некоторые привилегированные лица, в числе которых был и я благодаря моему знакомству с жандармами, для которых я уже не был чужим, потому что встретился с ними в долине и предъявил им разрешение на ношение оружия.

Перед остальными же, к крайнему их неудовольствию, дверь закрылась. Мы направились к двери маленького дома. Ничто не указывало на происшедшее здесь страшное событие, все было на месте: в алькове — постель, покрытая зеленой саржей; в изголовье — распятие из черного дерева, украшенное веткой вербы, засохшей с прошлой Пасхи, на камине — младенец Иисус из воска между двумя посеребренными подсвечниками в стиле Людовика XVI, на стене — четыре раскрашенные гравюры в рамках из черного дерева, на которых изображены четыре стороны света.

На столе стоял один прибор, на очаге кипел горшок с супом, била полчаса кукушка, открывая рот.

— Ну,— сказал развязным тоном доктор,— я пока ничего не вижу.

— Поверните в дверь направо,— прошептал глухо Жакмен.

Последовав указанию арестованного, все очутились в каком-то погребе. Огляделись — из отверстия в углу, откуда-то снизу, пробивался свет.

— Там, там,— прошептал Жакмен, вцепившись в руку Ледрю и указывая на отверстие.

— А-а,— шепнул доктор полицейскому комиссару со страшной улыбкой человека, на которого ничто не про-

изводит впечатления, потому что он ни во что не верит,— кажется, мадам Жакмен последовала заповеди Адама.

И он стал напевать:

Умру, меня похороните,
В погреб, где...

— Тише! — перебил Жакмен. Лицо его покрылось смертельной бледностью, волосы встали дыбом, лоб вспотел. — Не пойте здесь!

Пораженный его голосом, доктор замолчал. И сейчас же, спускаясь по первым ступенькам лестницы, спросил:

— Что это такое?

Он нагнулся и поднял шпагу с длинным, испачканным в крови клинком.

То была шпага, взятая, по словам Жакмена, в Артиллерийском музее 29 июля 1830 года.

Полицейский комиссар взял ее из рук доктора.

— Узнаете эту шпагу? — спросил он арестованного.

— Да, — ответил Жакмен. — Ну, ну, скорее, же.

Это была первая улика, на которую наткнулись.

Прошли в погреб в том же порядке, как я упомянул выше.

Доктор и полицейский комиссар шли впереди, за ними — Ледрю и Жакмен, потом еще двое лиц, за ними жандармы, потом привилегированные, среди которых находился и я.

Когда я сошел на седьмую ступеньку, мой взор погрузился в темноту погреба, которую постараюсь описать.

Первый предмет, приковавший наши взоры, был труп без головы, лежавший у бочки; кран бочки был наполовину открыт, и из него текла струйка вина и, образовав ручеек, подтекала под доски.

Труп был скрючен, как будто в момент агонии жертва пригнулась, а ноги ее не послушались. Платье с одной стороны приподнято было до подвязки. По-видимому, жертва застигнута была на коленях у бочки, когда она наполняла бутылку, которая выпала у нее из рук и валялась поблизости.

Верхняя часть туловища плавала в крови.

На мешке с гипсом, прислоненном к стене, как бюст на колонне, стояла, вернее, мы догадывались, что она там стояла, голова утопавшая в волосах; полоса крови окрашивала мешок сверху донизу.

Доктор и полицейский комиссар обошли труп и остановились перед лестницей.

Среди погребца стояли два приятеля Ледрю и несколько любопытных, которые поторопились проникнуть сюда.

Внизу, у лестницы, стоял Жакмен, которого не могли заставить двинуться дальше последней ступеньки. Возле Жакмена топтались два жандарма. Рядом стояло пять или шесть лиц, в числе которых находился и я.

Мрачная внутренность погребца была освещена дрожащим светом свечки, которая была поставлена на ту бочку, откуда текло вино, и напротив которой лежал труп жены Жакмена.

— Подайте стол и стул,— распорядился полицейский комиссар и принялся за составление протокола.

III

ПРОТОКОЛ

Затребованная мебель была доставлена полицейскому комиссару. Он укрепил стол, уселся перед ним, спросил свечку, которую принес ему доктор; перелезая через труп, вытащил из кармана чернильницу, перья, бумагу и начал составлять протокол.

Пока он заносил предварительные сведения, доктор с любопытством повернулся к голове, поставленной на мешок с гипсом, но комиссар его остановил.

— Не трогайте ничего,— сказал он,— законный порядок прежде всего.

— Верно,— сказал доктор и вернулся на свое место.

В течение нескольких минут царил тишина. Слышен был лишь скрип пера полицейского комиссара по плохой казенной бумаге. Написав несколько строк, он поднял голову и оглянулся.

— Кто будет нашими свидетелями? — спросил полицейский комиссар у мэра.

— Прежде всего эти два господина,— указал Ледрю на стоявших возле полицейского комиссара двух приятелей.

— Хорошо.

Мэр повернулся ко мне:

— Затем вот этот господин, если он не возражает, что его имя будет фигурировать в протоколе.

— Нисколько, сударь,— отвечал я.

— Итак, пожалуйста сюда,— сказал полицейский комиссар.

Я чувствовал отвращение, подходя к трупу. С того места, где я находился, некоторые подробности казались

менее отвратительными, они как бы скрывались в полумраке, и над ужасом витал покров чего-то романтического.

— Это необходимо? — спросил я.

— Что?

— Чтобы я сошел вниз?

— Нет. Оставайтесь там, если вам это удобнее.

Я кивнул, как бы говоря: я желаю остаться там, где нахожусь.

Полицейский комиссар повернулся к двум приятелям Ледрю, которые стояли около него.

— Ваше имя, отчество, возраст, звание, занятие и местожительство? — спросил он скороговоркою человека, привыкшего задавать подобные вопросы.

— Жак Людовик Аллиет, — ответил тот, к кому он обратился, — журналист, живу на улице Ансиен-Комеди, 20.

— Вы забыли указать ваш возраст, — напомнил полицейский комиссар.

— Надо сказать, сколько мне лет в действительности или сколько дают на вид?

— Укажите ваш возраст, черт возьми! Нельзя же иметь два возраста!

— Да ведь, господин комиссар, существовали Калиостро, граф Сен-Жермен, Вечный Жид, например...

— Вы хотите сказать, что вы Калиостро, граф Сен-Жермен или Вечный Жид? — сказал нахмурившись комиссар, полагая, что над ним смеются.

— Нет, но...

— Семьдесят пять лет, — уточнил Ледрю, — пишете: семьдесят пять лет, господин Кузен.

— Хорошо, — кивнул полицейский комиссар и записал.

— А вы, сударь? — обратился он ко второму приятелю Ледрю и повторил все те вопросы, которые предлагал первому господину.

— Пьер Жозеф Мулль, шестидесяти одного года, духовное лицо при церкви Сен-Сюльпис, место жительства — улица Сервандони, одиннадцать, — ответил мягким голосом тот, кого он спрашивал.

— А вы, сударь? — спросил он, обращаясь ко мне.

— Александр Дюма, драматический писатель, двадцати семи лет, живу в Париже, на Университетской улице, двадцать один, — ответил я.

Ледрю повернулся в мою сторону и приветливо кивнул мне; я ответил тем же.

— Хорошо,— сказал полицейский комиссар.— Так вот, выслушайте, милостивые государи, и сделайте ваши замечания, если таковые имеются.— И носовым монотонным голосом, свойственным чиновникам, он прочел:—

«Сегодня, 1 сентября 1831 года, в два часа пополудни, будучи уведомлены, что совершено преступление в общине Фонтенэ, убита Мария-Жанна Дюкузрэ ее мужем Пьером Жакменом, и что убийца отправился в квартиру господина Жан-Пьера Ледрю, мэра вышеименованной общины Фонтенэ, и заявил по собственному побуждению, что он совершил преступление, мы лично отправились в квартиру вышеупомянутого Жан-Пьера Ледрю, на улицу Дианы, 2. В эту квартиру мы прибыли в сопровождении господина Себастьяна Робера, доктора медицины, живущего в общине Фонтенэ, и нашли там уже арестованного жандармами упомянутого Пьера Жакмена, который повторил в нашем присутствии, что он убийца своей жены; затем мы принудили его последовать за нами в дом, где совершено преступление. Сначала он отказывался следовать за нами, но вскоре уступил настоянию господина мэра, и мы направились в переулок Сержан, где находится дом, в котором живет господин Пьер Жакмен. Придя в дом и заперев дверь, дабы помешать проникнуть толпе, мы вошли в первую комнату, где ничто не указывало на совершенное преступление. Затем по приглашению вышеупомянутого Жакмена из первой комнаты перешли во вторую, в углу которой обнаружили лестницу. Когда нам указали, что эта лестница ведет в погреб, где мы должны найти труп жертвы, мы начали спускаться, и на первых же ступенях доктор нашел шпагу с рукояткой в виде креста и с большим острым лезвием. Вышеупомянутый Жакмен показал, что он взял ее во время июльской революции в Артиллерийском музее и воспользовался ею для совершения преступления.

На полу погреба найдено тело жены Жакмена, опрокинутое на спину и плавающее в крови. Голова отделена от туловища и положена направо на мешок с гипсом, прислоненный к стене. Вышеупомянутый Жакмен признал, что этот труп и голова есть труп и голова его жены, в присутствии господина Жан-Пьера Ледрю, мэра общины Фонтенэ, господина Себастьяна Робера, доктора медицины, проживающего в Фонтенэ, господина Жана Луи Ал-

лиета, журналиста, семидесяти пяти лет, проживающего в Париже, по улице Ансиен-Комеди, 20, господина Пьера Жозефа Мулля, шестидесяти одного года, духовного лица при Сен-Сюльпис, проживающего в Париже, по улице Сервандони, 11, господина Александра Дюма, драматического писателя, двадцати семи лет, проживающего в Париже, по Университетской улице, 21. После этого мы приступили к допросу обвиняемого».

— Так ли изложено, милостивые государи? — спросил полицейский комиссар, обращаясь к нам с очевидным самодовольством.

— Вполне, милостивый государь, — ответили мы в один голос.

— Ну что же, будем допрашивать обвиняемого.

И он обратился к арестованному, который во все время чтения протокола тяжело дышал и находился в ужасном состоянии.

— Обвиняемый, — сказал он, — ваше имя, отчество, возраст, местожительство и занятие.

— Долго еще это продлится? — спросил арестованный, как бы в полном изнеможении.

— Отвечайте: ваше имя и отчество?

— Пьер Жакмен.

— Ваш возраст?

— Сорок один год.

— Ваше местожительство?

— Переулок Сержан.

— Ваше занятие?

— Каменотес.

— Признаете ли вы, что совершили преступление?

— Да.

— Объясните, по какой причине вы совершили преступление и при каких обстоятельствах?

— Объяснять причину, почему я совершил преступление, бессмысленно, — сказал Жакмен, — это тайна моя и той, которая там.

— Однако нет действия без причины.

— Причины, я говорю вам, вы не узнаете. Что же касается обстоятельств, то вы желаете их знать?

— Да.

— Ну, я расскажу вам о них. Когда работаешь под землей, как мы, впотьмах и когда у вас горе, вам в голову поневоле лезут дурные мысли.

— Ого, — прервал его полицейский комиссар, — вы

признаете преднамеренность совершенного преступления?

— Э, конечно, раз я признаюсь во всем. Разве этого мало?

— Вполне достаточно. Продолжайте.

— Мне пришла в голову дурная мысль — убить Жанну. Уже целый месяц смущала она меня, чувство мешало рассудку, наконец, одно слово товарища заставило меня решиться.

— Какое слово?

— О, это не ваше дело. Утром я сказал Жанне, что не пойду сегодня на работу: погуляю по-праздничному, поиграю в кегли с товарищами. «Приготовь обед к часу. Но... ладно... без разговоров. Слышишь, чтобы обед был готов к часу...» «Хорошо»,— сказала Жанна и отправилась за провизией.

Я же вместо того, чтобы пойти играть в кегли, взял шпагу, которая теперь у вас. Наточил я ее сам на точильном камне, спустился в погреб, спрятался за бочку и сказал себе: она сойдет в погреб за вином, вот тогда и увидим. Сколько времени я сидел скорчившись за бочкой, которая лежит вот тут, направо, не знаю; меня била лихорадка, сердце стучало, и в темноте передо мною носились красные круги. И я слышал голос, повторивший слово, то слово, которое вчера сказал мне товарищ.

— Но что же это, наконец, за слово? — настаивал полицейский комиссар.

— Бесплезно об этом спрашивать! Я уже сказал вам, что вы никогда его не узнаете...

Наконец я услышал шорох платья, шаги приближались. Вижу, мерцает свеча; вижу, спускается нижняя часть тела, верхняя, потом ее голова... Я хорошо ее видел... Она держала свечу в руке. «А, ладно»,— сказал я и шепотом повторил слово, которое мне сказал товарищ. В это время Жанна подходила. Честное слово! Она как будто предчувствовала, что готовится что-то дурное для нее. Она боялась. Она оглядывалась по сторонам, но я хорошо спрятался, я не шевелился. Она стала на колени перед бочкой, поднесла бутылку и повернула кран.

Тогда я приподнялся. Вы понимаете: она стояла на коленях. Шум вина, лившегося в бутылку, мешал ей слышать производимый мною шум. Да я и не шумел. Она стояла на коленях, как виноватая, как осужденная. Я поднял шпагу, и — не помню, испустила ли она крик,— голова покатилаь. В эту минуту я не хотел умирать, я хотел

спасти. Я намеревался вырыть яму и похоронить ее. Я бросился к голове, она катилась, и туловище также подскочило. У меня заготовлен был мешок гипса, чтобы скрыть следы крови. Я взял голову или, вернее, голова заставила меня себя взять. Смотрите! — Он показал на правой руке большой укус, обезобразивший большой палец.

— Как? Голова, которую вы взяли... Что вы, черт возьми, там городите?

— Я говорю, она меня укусила своими прекрасными зубами, как видите. Я говорю вам, она меня не отпускала. Я поставил ее на мешок с гипсом, я прислонил ее к стене левой рукой, стараясь вырвать правую, но через минуту зубы сами разжались. Я вытащил наконец руку, но мне показалось (может быть, это безумие), что голова жива. Глаза были широко раскрыты — я хорошо это видел: свеча стояла на бочке. А затем губы пошевелились и произнесли: *«Негодяй, я была невинна!»*

Не знаю, какое впечатление это произвело на других, но что касается меня, то у меня пот струился со лба.

— А уж это чересчур! — воскликнул доктор. — Глаза на тебя смотрели, губы говорили?

— Слушайте, господин доктор, так как вы врач, то ни во что не верите, это естественно, но я вам говорю, что голова, которую вы видите там... Слышите, я говорю вам, что она укусила меня и сказала: *«Негодяй, я была невинна!»* А доказательство того, что она мне это сказала, в том, что я хотел убежать, убив ее. Не правда ли, Жанна? И вместо того, чтобы спастись, я побежал к господину мэру и во всем сознался. Правда, господин мэр, ведь правда? Отвечайте!

— Да, Жакмен, — отвечал Ледрю тоном, в котором звучала доброта. — Да, правда.

— Осмотрите голову, доктор, — сказал полицейский комиссар.

— Когда я уйду, господин Робер, когда я уйду! — кричал Жакмен.

— Что же ты, дурак, боишься, что она опять заговорит с тобой? — спросил доктор, взяв свечу и подходя к мешку с гипсом.

— Господин Ледрю, ради Бога! — попросил Жакмен. — Скажите, чтобы онипустили меня, прошу вас, умоляю вас.

— Господа, — сказал мэр, жестом останавливая доктора, — вам уже не о чем спрашивать этого несчаст-

ного, так позвольте отвести его в тюрьму. Когда закон установил очную ставку, то предполагалось, что обвиняемый в состоянии таковую вынести.

— А протокол? — спросил полицейский комиссар.

— Он почти кончен.

— Надо, чтобы обвиняемый его подписал.

— Он его подпишет в тюрьме.

— Да, да! — воскликнул Жакмен. — В тюрьме я напишу все, что вам угодно.

— Хорошо, — согласился полицейский комиссар.

— Жандармы, уведите этого человека! — приказал Ледрю.

— О, благодарю вас, господин Ледрю, благодарю, — произнес Жакмен с выражением глубокой благодарности и, подхватив под руки жандармов, он со сверхъестественной силой потащил их вверх по лестнице.

Человек ушел, и драма ушла вместе с ним. В погребе остались ужасные предметы: труп без головы и голова без туловища.

Я нагнулся в свою очередь к Ледрю.

— Милостивый государь, — сказал я, — могу я уйти?

— Да, милостивый государь, но с условием.

— Каким?

— Вы придете ко мне подписать протокол.

— С удовольствием, милостивый государь, но когда?

— Приблизительно через час. Я покажу вам мой дом, когда-то он принадлежал Скаррону, вас это заинтересует.

— Через час, милостивый государь, я буду у вас.

Я поклонился, поднялся по лестнице и с последней ступеньки оглянулся.

Доктор со свечой в руке отстранял волосы от лица. Это была еще красивая женщина, насколько можно было заметить, так как глаза были закрыты, губы сжаты и уже посинели.

— Вот дурак Жакмен! — сказал доктор. — Уверяет, что отсеченная голова может говорить! Может быть, он все выдумал, чтобы его приняли за сумасшедшего. Недурно: будут смягчающие обстоятельства.

IV

ДОМ СКАРРОНА

Через час я был у Ледрю. Встретил я его во дворе.

— А, — сказал он, увидев меня, — вот и вы! Прекрас-

но, очень рад поговорить с вами. Я познакомлю вас со своими приятелями. Вы обедаете с нами, конечно?

— Но, сударь, вы меня извините...

— Не принимаю извинений. Вы попали ко мне в четверг, тем хуже для вас: четверг — мой день; все, кто является ко мне в четверг, принадлежат мне. После обеда вы можете остаться или уйти. Если бы не событие, случившееся только что, вы бы меня нашли за обедом, я всегда обедаю в два часа. Сегодня, как исключение, мы пообедаем в половине четвертого или в четыре. Пирр, которого вы видите,— указал Ледрю на прекрасного дворового пса,— воспользовался волнением тетушки Антуан и съел у нее баранью ногу, так что ей пришлось покупать у мясника другую. Я успею не только познакомить вас со своими приятелями, но и сообщить вам кое-какие сведения о них.

— Какие сведения?

— Да ведь относительно некоторых личностей, таких, например, как Севильский цирюльник, или Фигаро, необходимо дать кое-какие пояснения об их костюме и характере. Но мы с вами начнем с дома.

— Вы мне, кажется, сказали, сударь, что он принадлежал Скаррону?

— Да, здесь будущая супруга Людовика XIV раньше, чем развлекать человека, которого трудно было развлечь, ухаживала за бедным калекой, своим первым мужем. Вы увидите ее комнату.

— Комнату мадам Ментенон?

— Нет, мадам Скаррон. Не будем смешивать: комната мадам Ментенон находится в Версале или в Сен-Сире. Пойдемте.

Мы пошли по большой лестнице и вошли в коридор, выходящий во двор.

— Вот, — сказал мне Ледрю,— это вас касается, господин поэт. Вот самый высокий слог, каким говорили в тысяча шестьсот пятидесятом году.

— А-а! Карта Нежности!

— Дорога туда и обратно начерчена Скарроном, а заметки сделаны рукой его жены.

Действительно, в простенках помещались две карты. Они были начерчены пером на большом листе бумаги, наклеенном на картон.

— Видите,— продолжал Ледрю,— эту синюю змею? Это река Нежности; эти маленькие голубятни — это деревни: Ухаживания, Записочки, Тайна. Вот гостиница

Желания, долина Наслаждений, мост Вздохов, лес Ревности, населенный чудовищами, подобными Армиду. Наконец, среди озера, в котором берет начало река, дворец Полное Довольство: конец путешествию, цель всего пути.

— Черт возьми! Что я вижу — вулкан?

— Да, он иногда разрушает страну. Это вулкан страстей.

— Его нет на карте мадемуазель де Скюдери?

— Нет. Это изобретение мадам Скаррон.

— А другая?

— Это возвращение. Видите, река вышла из берегов: она наполнилась слезами тех, кто идет по берегу. Вот деревни Скуки, гостиница Сожалений, остров Раскаяния. Это очень остроумно.

— Вы позволите мне срисовать?

— Ах, пожалуйста. Теперь пойдете в комнату мадам Скаррон?

— Пожалуйста!

— Вот сюда.

Ледрю открыл дверь и пропустил меня вперед.

— Теперь это моя комната. Если не считать книг, которыми она завалена, все сохранилось в том же виде, как при знаменитой хозяйке: тот же альков, та же кровать, та же мебель; эти уборные принадлежали ей.

— А комната Скаррона?

— О, комната Скаррона находилась на другом конце коридора. Ее вы уже не увидите, туда нельзя войти: это секретная комната, комната Синей Бороды.

— Черт возьми!

— Да, у меня есть тайны, хотя я и мэр. Пойдемте, я покажу вам нечто другое.

Ледрю пошел вперед; мы спустились по лестнице и вошли в гостиную.

Как все в этом доме, гостиная носила особый отпечаток. Обои были такого цвета, что трудно было определить их прежний цвет; вдоль стены стоял двойной ряд кресел и ряд стульев со старинной обивкой; затем расставлены были карточные столы и маленькие столики; среди всего этого, как Левиафан среди рыб, возвышался гигантский письменный стол, занимавший треть гостиной; стол был завален всевозможными книгами, брошюрами, газетами, среди которых особое место занимала любимая газета Ледрю «Constitutionnel».

В гостиной никого, не было — гости гуляли в саду, который виден был из окон на всем его протяжении.

Ледрю подошел к столу, открыл громадный ящик, в котором хранилось множество маленьких пакетиков, наподобие пакетиков с семенами. Все предметы в ящике завернуты были в бумажки с ярлычками.

— Вот,— сказал он мне,— для вас, историка, нечто поинтереснее карты Нежности. Это коллекция мощей, но не святых, а королевских.

Лействительно, в каждой бумажке хранились кость, волосы, борода. Там были: коленная чашка Карла IX, большой палец Франсиска I, кусок черепа Людовика XIV, ребро Генриха II, позвонок Людовика XV, борода Генриха IV и волосы Людовика XIV.

Тут от каждого короля была кость, из всех костей можно было бы составить скелет французской монархии, которой давно уже не хватает главного остова. Кроме того, тут был зуб Абельяра и зуб Элоизы — два белых резца. Быть может, когда-то, когда их покрывали дрожящие губы, они встречались в поцелуе? Откуда эти кости?

Ледрю присутствовал, когда вырывали из могилы королей в Сен-Дени, и взял из каждой могилы то, что ему понравилось.

Ледрю предоставил мне время удовлетворить любопытство; затем, увидя, что я уже пересмотрел все ярлычки, сказал:

— Ну, довольно заниматься мертвыми, перейдем к живым.

Он подвел меня к одному из окон, откуда виден был весь сад.

— У вас чудный сад,— сказал я.

— Сад священника, с липами, георгинами, розовыми кустами, виноградником, шпалерными персиками и абрикосами. Вы все потом увидите, а теперь займемся теми, кто в нем гуляет.

— Скажите, пожалуйста, что это за господин Аллиет, который спросил, хотят ли знать его настоящий возраст или только тот, какой ему можно дать? Мне кажется, ему и можно дать семьдесят пять лет.

— Именно,— ответил Ледрю.— Я хотел с него начать. Вы читали Гофмана?

— Да. А что?

— Ну, так вот, это гофмановский тип. Он тратит свою жизнь на то, чтобы по картам и по числам отгадывать будущее; все, что он получает, он тратит на лотерею. Он

однажды выиграл на три билета подряд и с тех пор никогда не выигрывал. Он знал Калиостро и графа Сен-Жермена; он считает себя сродни им и знает, как и они, секрет долголетия. Его настоящий возраст, если вы его спросите, двести семьдесят пять лет: он жил раньше сто лет без болезней в царствование Генриха II и в царствование Людовика XIV; затем, обладая секретом, он хотя и умер на глазах смертных, но испытал три превращения, длившихся пятьдесят лет каждое. Теперь он начинает четвертое, и ему поэтому двадцать пять лет. Двести пятьдесят предыдущих лет остались у него лишь в памяти. Он громко заявляет, что будет жить до последнего суда. В пятнадцатом столетии Аллиет был бы сожжен, и конечно же, напрасно; теперь его жалеют, и это тоже напрасно. Аллиет — самый счастливый человек на свете: он интересуется только игрой и гаданием на картах, колдовством, египетскими науками да знаменитыми таинствами Изида. Он печатает по этим вопросам книжечки, которых никто не читает, а между тем издатель такой же маньяк, как и он, издает их под псевдонимом; у него шляпа всегда набита брошюрами. Вот, посмотрите, он держит ее под мышкой, поскольку боится, что кто-нибудь возьмет его драгоценные книжки. Посмотрите на человека, посмотрите на одежду, и вы увидите, какие природа дает сочетания, как именно эта шляпа подходит к голове, а человек к шляпе, как трико обтягивает формы, как выражаетесь вы, романтики.

И действительно, все так и было. Я смотрел на Аллиета. Он был одет в засаленное платье, изношенное, запыленное, все в пятнах; его шляпа с блестящими полями, как бы из лакированной кожи, как-то несоразмерно расширилась вверх; на нем были штаны из черного ратине, рыжие чулки и башмаки с закругленными носками, как у тех королей, в царствование которых он, по его словам, родился.

Он был толст, коренаст, с лицом сфинкса, с красными прожилками, с громадным беззубым ртом, с большой глоткой, с жидкими, длинными, рыжими волосами, развевавшимися в виде ореола вокруг головы.

— Он говорит с аббатом Муллем, — сказал я Ледрю. — Он сопровождал нас в нашей экспедиции сегодня утром. Мы еще поговорим об этой экспедиции, не правда ли?

— А почему? — спросил Ледрю, глядя на меня с любопытством.

— Потому что, извините, пожалуйста, мне показалось, вы допускали возможность, что эта голова могла говорить.

— Вы, однако, физиономист. Ну да, конечно, я верю этому, и мы об этом еще поговорим. Впрочем, если вы интересуетесь подобными историями, то здесь найдете с кем об этом поговорить. Перейдемте к аббату Муллю.

— Должно быть,— прервал я его,— это очень общительный человек. Меня поразила мягкость его голоса, с какою он отвечал на вопросы полицейского комиссара.

— Ну, и на этот раз вы хорошо определили. Мулль— мой друг уже в течение сорока лет, а ему теперь шестьдесят; посмотрите, он настолько чист и аккуратен, насколько Аллиет грязен и засален. Это светский человек, когда-то его принимали в Сен-Жерменском предместье. Это он венчал сыновей и дочерей пэров Франции; свадьбы эти давали ему возможность произносить маленькие проповеди, которые брачащиеся стороны печатали и старательно сохраняли в семье. Он чуть было не стал епископом в Клермоне. Знаете, почему не стал? Он был когда-то другом Казотта, и, как Казотт, он верит в существование высших и низших духов, добрых и злых гениев, собирает коллекцию книг, как и Аллиет. У него вы найдете все, что написано о призраках, о привидениях, духах, выходцах с того света.

Говорит он редко, и только с друзьями, о вещах не вполне ортодоксальных, но он убежден и очень сдержан; все, что происходит в свете, он приписывает вмешательству ада либо небесных сил.

Смотрите, он молча слушает все, что говорит ему Аллиет, он, кажется, рассматривает какой-то предмет, которого не видит его собеседник, и отвечает ему время от времени или движением губ, или кивком головы. Иногда он впадает в мрачную меланхолию, вздрагивает, поворачивает голову, ходит взад-вперед по гостиной. В этих случаях его лучше оставить в покое: будить его просто опасно; я говорю, будить, так как, по-моему, он тогда пребывает в состоянии сомнамбулизма. К тому же он сам просыпается, и вы увидите, какое это милое пробуждение.

— О, скажите, пожалуйста,— обратился я к Ледрю,— мне кажется, он вызвал одного из тех призраков, о которых вы только что говорили?

И я показал пальцем моему хозяину настоящий странствующий призрак, присоединившийся к двум собеседни-

кам. Он осторожно ступал по цветам и, мне казалось, шагал по ним, не измяв ни одного.

— Это также один из моих приятелей, кавалер Ленуар...

— Основатель музея Пети-Огюстен?

— Он самый. Он смертельно огорчен, что его музей разорен; его десять раз чуть не убили за этот музей в девяносто втором и девяносто четвертом годах. Во время реставрации музей закрыли и приказали возратить все памятники в те здания, в которых они раньше находились, и тем семьям, которые имели на них право.

К сожалению, большая часть памятников была уничтожена, большая часть семей вымерла, и самые интересные обломки нашей древней скульптуры и нашей истории были разбросаны, погибли. Вот так и исчезает все в нашей старой Франции: сначала останутся эти обломки, потом и от этих обломков ничего не останется. А кто же все это разрушает? Именно те, в интересах которых и следовало бы сохранять.

И Ледрю, несмотря на свой либерализм, вздохнул.

— И это все ваши приятели? — спросил я его.

— Может быть, еще придет доктор Робер. Я вам о нем не говорю, полагаю, вы уже составили себе о нем мнение. Это человек, проделывавший всю жизнь опыты над живыми людьми, будто над манекенами, забывая при этом, что у них есть душа, чтобы страдать, и нервы, чтобы чувствовать. Этот любящий пожить человек многих отправил на тот свет, но, к своему счастью, он не верит в выходцев с того света. Посредственный ум, мнящий себя остроумным, потому что всегда шумит, философ, потому что атеист; он один из тех людей, которого принимают, потому что он сам к вам приходит. Вам же не придет в голову идти к ним.

— О, сударь, мне знакомы такие люди!

— Должен был прийти еще один мой приятель. Он моложе Аллиета, аббата Мулля и кавалера Ленуара, но, как Аллиет, увлекается гаданием на картах, как Мулль, верит в духов и, как кавалер Ленуар, увлекается древностями; ходячая библиотека — каталог, переплетенный в кожу христианина. Вы, должно быть, его не знаете?

— Библиофил Жакоб?

— Именно.

— И он не придет?

— Он не пришел еще; он знает, что мы обыкновенно обедаем в два часа, а теперь четыре часа. Вряд ли он

явится. Он, верно, разыскивает какую-нибудь книжечку, напечатанную в Амстердаме в 1570 году, первое издание с тремя типографскими опечатками: на первом листе, на седьмом и на последнем.

В эту минуту дверь отворилась, и вошла тетка Антуан.

«Сударь, кушать подано»,— объявила она.

— Пойдемте, господа,— сказал Ледрю, открыв в свою очередь дверь в сад.— Кушать, пожалуйста, кушать!

А затем повернулся ко мне:

— Где-то в саду ходит, кроме гостей, о которых я вам все рассказал, еще один гость, которого вы не видели и с которым я вам не говорил. Этот гость не от мира сего, чтобы откликнуться на грубый зов, обращенный к моим приятелям, на который они сейчас же откликнулись. Ваша задача — отыскать нечто невещественное, прозрачное видение, как говорят немцы. Если найдете искомое, назовите себя, постарайтесь внушить, что иногда нелишне поесть, хотя бы для того, чтобы жить, предложите вашу руку и приведите к нам.

Я послушался Ледрю, догадываясь, что этот милый человек, которого я вполне оценил в эти несколько минут, готовит мне приятный сюрприз, и пошел в сад, оглядываясь по сторонам.

Мои поиски были непродолжительны. Вскоре я увидел то, что искал.

То была женщина. Она сидела под липами; я не видел ни лица ее, ни фигуры, потому что лицо ее обращено было в сторону поля и она была закутана в большую шаль.

Она была одета в черное.

Я подошел к ней — она не двигалась. Она будто не слышала шума моих шагов. Она напоминала мне статую, хотя все в ней казалось грациозным и полным достоинства.

Издали я видел, что это блондинка. Луч солнца, проникая через листву лип, сверкал в ее волосах, и они отливали золотом. Вблизи я заметил тонкость волос, которые могли соперничать с золотистыми нитями паутины, какие первые ветры осени поднимают и носят по воздуху; ее шея, может быть, немного длинная,— очаровательное преувеличение почти всегда подчеркивает красоту,— грациозно сгибалась, голову она подпирала правой рукой, локоть которой лежал на спинке стула; левая рука повисла, и в ней была белая роза, лепестки которой она перебирала. Гибкая шея, как у лебедя, согнутая, опущен-

ная рука — все было матовой белизны, как паросский мрамор, без жилок на поверхности, без пульса внутри; увядшая роза казалась более окрашенной и живой, чем рука, в которой она находилась. Я смотрел на эту женщину, и чем дольше это длилось, тем меньше она казалась мне живым существом. Я даже сомневался, сможет ли она обернуться ко мне, если я заговорю. Два или три раза я открывал было рот и закрывал его, не произнося ни слова. Наконец, решившись, я окликнул ее:

— Сударыня!

Она вздрогнула, обернулась, посмотрела с удивлением, как бы возвращаясь из мира мечты и воспоминаний. Ее черные глаза, устремленные на меня, в сочетании со светлыми волосами, которые я описал (брови и глаза у нее были тоже черные), придавали ей странный вид.

Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга.

Женщине этой было года тридцать два или тридцать три; она была чудной красоты, если бы щеки ее не были так худы и цвет лица не был так бледен; хотя она и теперь казалась мне красивой, с ее лицом, перламутровым, одного оттенка с рукой, без малейшей краски; ее глаза казались черными как смоль, а губы коралловыми.

— Сударыня,— повторил я,— господин Ледрю полагает, что, если я скажу, что я автор «Генриха III», «Христины» и «Антони», вы позволите мне отрекомендоваться вам, предложить руку и проводить вас в столовую.

— Извините, сударь,— сказала она,— вы только что подошли, не правда ли? Я чувствовала, что вы подходите, но не могла обернуться; со мною так бывает, иногда я не могу повернуться. Ваш голос нарушил очарование. Дайте руку, пойдете.

Она встала и взяла меня под руку, но я не чувствовал прикосновения ее руки, как будто тень шла рядом со мною.

Мы пришли в столовую, так и не сказав друг другу ни слова.

Два прибора были оставлены за столом: один для нее — направо от Ледрю, другой для меня — напротив нее.

V

ПОЩЕЧИНА ШАРЛОТТЕ КОРДЕ

Этот стол, как и все у Ледрю, был особенный. Большой стол имел форму подковы, придвинут был к окнам, выходящим в сад, и оставлял свободными три четверти

громадной залы. За столом можно было усадить без затруднений человек двадцать; обедали всегда за ним,— все равно, был ли у Ледрю один гость, было ли их два, четыре, десять, двадцать или он обедал один. В этот день нас обедало десять человек, и мы едва занимали треть стола.

Каждый четверг подавался один и тот же обед

Ледрю полагал, что за истекшую неделю его гости ели другие кушанья дома или в гостях, куда их приглашали, поэтому у него по четвергам всегда подавали суп, мясо, курицу с эстрагоном, баранью ногу, бобы и салат. Число куриц увеличивалось пропорционально количеству гостей.

Мало было гостей или много, Ледрю всегда усаживался на конце стола спиною к саду, лицом ко двору. Вот уже десять лет сидел он на этом месте в большом кресле с резьбою и в течение десяти лет получал из рук садовника Антуана, превращавшегося по четвергам из садовника в лакея, кроме простого вина несколько бутылок старого бургундского. Подносилось ему вино с благоговейной почтительностью; он откупоривал бутылку и угощал гостей с тем же почтительным, благоговейным чувством.

Восемнадцать лет назад кое во что еще верили; через десять лет не будут верить ни во что, даже в старое вино.

После обеда отправились в гостиную пить кофе.

Обед прошел, как проходит всякий обед: хвалили кухарку, расхваливали вино.

Молодая женщина ела только крошки хлеба, пила воду и не произнесла ни слова. Она напоминала мне ту обжору из *«Тысячи и одной ночи»*, которая садилась за стол с другими и ела несколько зернышек риса зубочисткой.

После обеда по установившемуся обычаю перешли в гостиную пить кофе. Мне, конечно, пришлось вести под руку молчаливую гостью. Она сама подошла ко мне, чтобы опереться о мою руку. Та же мягкость в движениях, та же грация в осанке — точнее, та же легкость в членах.

Я подвел ее к креслу, в которое она улеглась.

Во время нашего обеда два лица введены были в гостиную — доктор и полицейский комиссар. Последний явился, чтобы дать нам подписать протокол, который Жакмен уже подписал в тюрьме.

Маленькое пятно крови заметно было на бумаге, и я, подписывая, спросил

— Что это за пятно? Кровь мужа или жены?

— Это кровь из раны, которая обнаружилась на руке убийцы. Ее никак не могли остановить

— Знаете что, господин Ледрю,— сказал доктор,— эта скотина настаивает, что голова его жены говорила!

— Вы полагаете, что это невозможно, доктор?

— Черт возьми!

— Вы считаете неправдоподобным то, что она открывала глаза?

— Я считал это невозможным

— Вы не допускаете, что кровь, остановившись от слоя гипса, закупорившего все артерии и вены, могла вернуть на одно мгновение жизненный импульс и чувствительность этой голове?

— Я этого не допускаю

— А я,— сказал Ледрю,— верю в это

— И я также,— сказал Аллиет

— И я также,— сказал аббат Мулль

— И я также,— сказал кавалер Лёнуар

— И я также,— сказал я

Полицейский комиссар и бледная дама не сказали ничего, их это не интересовало

— А, вы все против меня. Вот если бы кто-либо из вас был врачом

— Но, доктор,— возразил Ледрю,— вы знаете, что я отчасти врач

— В таком случае,— сказал доктор,— вы должны знать, что там, где утрачена чувствительность, нет и страдания, а чувствительность прекращается при рассечении позвоночного столба

— А кто вам это сказал? — спросил Ледрю

— Рассудок, черт возьми!

— О, прекрасный ответ! Рассудок подсказал судьям, которые осудили Галлилея, что Солнце вращается вокруг Земли, а Земля неподвижна? Рассудок доводит до глупости, мой милый доктор. Вы делали опыты над отрезанными головами?

— Нет, никогда

— Читали вы диссертацию Соммеринга? Читали протокол доктора Сю? Читали заявление Эльхера?

— Нет

— Но вы верите Гийотену, что его машина — самый

лучший, самый верный и самый скорый и вместе с тем наименее болезненный способ лишения жизни?

— Да, я так думаю.

— Ну! Вы ошибаетесь, мой милый друг, вот и все.

— Например?

— Слушайте, доктор, вы ссылаетесь на науку, и я буду говорить вам о науке. Поверьте, все мы знаем по этому предмету столько, что можем принять участие в беседе.

Доктор сделал жест, выражающий сомнение.

— Ну, ладно, вы потом и сами это поймете.

Мы все подошли к Ледрю, и я, в свою очередь, стал жадно прислушиваться. Вопрос о казни посредством веревки, меча или яда меня всегда очень интересовал, как и вопросы милосердия.

Я самостоятельно занимался исследованиями страдающих, предшествующих смерти разного рода, сопутствующих им и следующих за ними.

— Хорошо, говорите,— сказал доктор недоверчивым тоном.

— Это легко доказать всякому, у кого есть хотя бы малейшие представления о жизненных функциях нашего тела,— продолжал Ледрю.— Чувствительность не уничтожается казнью, и мое предположение, доктор, опирается не на гипотезы, а на факты.

— Укажите-ка эти факты...

— Вот они. Во-первых, центр ощущений находится в мозгу, не правда ли?

— Вероятно.

— Проявления чувствительности могут ведь иметь место и при остановке кровообращения в мозгу, или при временном его ослаблении, или при частичном его нарушении.

— Возможно.

— Если же центр чувствительности находится в мозгу, то казненный должен осознавать себя до тех пор, пока мозг сохраняет свою жизненную силу.

— А какие доказательства?

— Да вот; Галлер в своих «Элементах физики», том четвертый, страница тридцать пятая, говорит: «Отсеченная голова открыла глаза и смотрела на меня сбоку, потому что я тронул пальцем спинной мозг».

— Но ведь Галлер мог ошибаться.

— Хорошо, допустим, что он ошибался. Другой пример: на странице двести двадцать шестой Вейкард в

«Философских искусствах» говорит: «Я видел, как шевелились губы человека, голова которого была отсечена».

— Хорошо-с, но шевелиться, чтобы говорить...

— Подождите, мы дойдем до этого. Вот, можете поискать у Соммеринга. Он говорит: «Некоторые доктора, мои коллеги, уверяли меня, что голова, отсеченная от туловища, скрежетала от боли зубами, и я убежден, что, если бы воздух циркулировал еще в органах речи, *голова бы заговорила*». Итак, доктор,— продолжал, бледнея Ледрю,— я иду дальше Соммеринга: голова мне говорила. Слышите — мне.

Мы все вздрогнули. Бледная дама приподнялась в своем кресле:

— Вам?

— Да, мне. Скажете, что я сумасшедший?

— Черт возьми! — воскликнул доктор. — Если вы уверяете, что вам самому...

— Говорю же вам, что это случилось со мной самим. Вы слишком вежливы, доктор, не правда ли, чтобы сказать мне во весь голос, что я сумасшедший, но вы скажете это про себя, а это ведь решительно все равно.

— Ну хорошо, продолжайте,— сказал доктор.

— Вам легко это говорить. А знаете ли вы, что то, о чем вы просите меня рассказать, я никому не рассказывал в течение тридцати семи лет с тех пор, как это со мной случилось; знаете ли вы, что я не ручаюсь за то, что не упаду в обморок, когда буду рассказывать вам, как это отсеченная голова заговорила, как устремилась на меня, умирая, последний взгляд?

Разговор становился все более и более интересным, а ситуация все более и более драматичной.

— Ну, Ледрю, соберитесь с мужеством,— сказал Аллиет,— расскажите нам об этом.

— Расскажите-ка нам об этом, мой друг,— попросил и аббат Мульь.

— Расскажите,— поддержал его кавалер Лемуар

— Сударь...— прошептала бледная дама.

Я молчал, но и в моих глазах светилось любопытство.

— Странно,— сказал Ледрю, не отвечая нам и как бы разговаривая сам с собою,— странно, как события влияют одно на другое! Вы знаете, кто я? — обернулся Ледрю ко мне.

— Я знаю, сударь,— отвечал я,— что вы очень образованный, умный человек, что вы задаете превосходные обеды и что вы мэр Фонтенэ.

Ледрю улыбнулся и кивком поблагодарил меня — Я говорю о моем происхождении, о моей жизни, — пояснил он.

— О вашем происхождении, сударь, мне ничего не известно, и вашей семьи я не знаю.

— Хорошо, слушайте, я все вам расскажу, и, быть может, сама собою передастся вам и та история, которую вы хотите знать и о которой я не решаюсь вам рассказать.

Если она расскажется — хорошо, вы ее выслушаете; если не расскажется — не просите меня больше ни о чем, значит, не хватило духу ее рассказать.

Все расположились так, чтобы удобнее было слушать. Гостиная, кстати, была вполне приспособлена для рассказов и легенд — большая и мрачная из-за тяжелых занавесей и наступивших сумерек; углы были уже совершенно погружены во мрак, между тем как через двери и окна еще пробивались остатки света.

В одном из этих углов сидела бледная дама. Ее черное платье терялось во мраке. Только голова, белокурая и неподвижная, светлела на подушке дивана

Ледрю начал.

«Я сын Комю, известного физика короля и королевы. Мой отец, которого из-за смешной клички причислили к фиглярам и шарлатанам, был ученый школы Вольта, Гальвани и Месмера. Он первый во Франции занимался туманностями и электричеством, устраивал математические и физические заседания при дворе.

Бедная Мария-Антуанетта, которую я, будучи ребенком, по приезде ее во Францию видел раз двадцать и которая часто брала меня на руки и целовала, была безумно расположена к нему. Во время приезда своего в тысяча семьсот семьдесят седьмом году Иосиф Второй сказал, что он не встречал никого интереснее Комю.

Отец мой тогда наряду с другими занятиями занимался также нашим воспитанием — моим и моего брата; он обучал нас естественным наукам, сообщал нам массу сведений из области физики, гальванизма, магнетизма, которые теперь стали всеобщим достоянием, но в то время составляли тайные привилегии немногих. Моего отца арестовали в девяносто третьем году за титул физика короля, однако мне удалось освободить его благодаря моим связям с монтаньярами

Тогда мой отец поселился в этом самом доме, в котором живу теперь я, и умер здесь в тысяча восемьсот седьмом году семидесяти шести лет от роду.

Теперь обратимся ко мне

Я говорил о моей связи с монтаньярами. Я был в дружбе с Жоржем Дантоном и Камилем Демуленом. Я знал Марата, но знал как врача, а не как приятеля. И все-таки я его знал. Вследствие этого знакомства, хотя и очень кратковременного, когда мадемуазель Шарлотту Корде вели на эшафот, я решил присутствовать при ее казни.

— Я только что хотел,— перебил его я,— поддерживать вас в вашем споре с доктором Робером о сохранении жизнедеятельности, приведя в качестве доказательства историю Шарлотты Корде.

— Мы дойдем до этого факта,— прервал Ледрю,— дайте мне рассказать. Я был очевидцем, и вы можете мне верить. В два часа пополудни я занял место у статуи Свободы. Было жарко, душно, небо предвещало грозу.

И в четыре часа она разразилась. Говорят, что именно в это время Шарлотта села в тележку.

Ее взяли из тюрьмы в тот момент, когда молодой художник рисовал ее портрет. Ревнивая смерть не захотела, чтобы что-либо сохранилось от молодой девушки, даже портрет.

На полотне сделан был набросок головы, и — странное дело! — в ту минуту, когда вошел палач, художник как раз набрасывал то место шеи, под которому должно было пройти лезвие гильотины.

Молния сверкала, шел дождь, гремел гром, но ничто не могло разогнать любопытную толпу. Набережная, мосты, площади были запружены народом — гул толпы почти покрывал гул неба. Женщины, которых называли энергичной кличкой «лакомка гильотины», преследовали ее проклятиями, и гул ругательств доносился до меня, словно гул водопада.

Толпа волновалась уже задолго до появления осужденных. Наконец, словно роковое судно, борющееся с волнами, появилась тележка, и я увидел осужденную, которую не знал и раньше никогда не видел.

То была красивая девушка двадцати семи лет, с чудными глазами, с правильной формы носом, с красиво очерченным ртом. Она стояла с поднятой головой, не потому, что хотела высокомерно оглядывать толпу, ее руки связаны были сзади, и она вынуждена была поднять голову. Дождь перестал, но так как она простояла под

дождем три четверти пути, то вода текла с нее и мокрое шерстяное платье обрисовывало ее очаровательную фигуру так, как будто она вышла из ванны. Красная рубашка, которую надел на нее палач, придавала ей странный вид и особо подчеркивала великолепие этой гордой, решительной головы. Когда она подъехала к площади, дождь перестал и луч солнца, прорвавшись между двух облаков, осветил ее волосы, создав словно бы ореол.

Клянусь вам, что хотя эта девушка была убийцей и совершила преступление, правда, во имя человечества, и хотя я ненавижу это убийство, я не мог бы тогда сказать, был ли то апофеоз или казнь. Она побледнела при виде эшафота; бледность особенно оттеняла красная рубашка, которая доходила до шеи; но она тотчас же овладела собою и кончила тем, что повернулась к эшафоту и посмотрела на него улыбаясь.

Тележка остановилась. Шарлотта соскочила не допустив, чтобы ей помогли сойти; потом она поднялась по ступеням эшафота, скользким после дождя. Она поднималась так скоро, как только это позволяла ей длина волочившейся рубашки и связанные руки. Она опять побледнела, почувствовав руку палача, который коснулся ее плеча, чтобы сдернуть косынку, закрывавшую шею, но сейчас же последняя улыбка скрыла ее бледность и она сама, не дав привязать себя к позорной перекладине, в торжественном и почти радостном порыве вложила голову в ужасное отверстие. Нож скользнул, голова отделилась от туловища, упала на платформу и подскочила. И вот тогда,— слушайте, доктор, слушайте и вы, поэт,— тогда один из помощников палача, по имени Легро, схватил голову за волосы и из низкого желания подольститься к толпе дал ей пощечину. И вот от этой пощечины голова покраснела. Я видел это сам — не щека, а голова покраснела, слышите вы? Не одна щека, по которой он ударил, а обе щеки покраснели одинаково — чувствительность жила в этой голове, она негодовала, что подверглась оскорблению, которое не входило в приговор.

Народ видел, как покраснела голова. Народ принял сторону мертвой против живого, казненной против ее палача. Тут же толпа потребовала мести за гнусный поступок, и тут же негодяй был передан жандармам, которые отвели его в тюрьму.

Подождите,—сказал Ледрю, заметив, что доктор хочет говорить,— подождите, это еще не все.

Мне хотелось выяснить, что руководило этим человеком и побудило его совершить гнусный поступок. Я узнал, где он содержится, попросил разрешения посетить его, получил это разрешение и отправился к нему в аббатство.

Приговором революционного суда негодяй присужден был к трем месяцам тюремного заключения. Он не мог понять, почему его осудили за такой обыденный поступок, какой он совершил.

Я спросил, что побудило его совершить этот поступок.

— «Что за вопрос! — сказал Легро. — Я приверженец Марата; я наказал ее — во имя закона, а затем я хотел наказать ее и за себя.

— Неужели же вы не поняли, — настаивал я, — что, проявив неуважение к смерти, вы совершили почти преступление?

— Ну вот еще! — возразил Легро, пристально глядя на меня. — Неужели вы думаете, что они умерли, потому что их гильотинировали?

— Конечно.

— Вот и видно, что вы не смотрите в корзину, когда они там все вместе; что вы не видите, как они ворочают глазами и скрежещут зубами в течение еще пяти минут после казни. Нам приходится каждые три месяца менять корзину — до такой степени они портят дно своими зубами. Это, видите ли, куча голов аристократов, которые не хотят умирать, и я не удивился бы, если бы в один прекрасный день какая-нибудь из этих голов вдруг закричала бы: «Да здравствует король!»

Я узнал тогда то, что хотел знать. Я вышел, преследуемый одною мыслью: действительно ли эти головы продолжали жить? И я решил убедиться в этом.

VI

СОЛАКЖ

Пока Ледрю рассказывал, настала ночь. Гости в салоне казались тенями, не только молчаливыми, но и неподвижными. Все боялись, что Ледрю прервется, ибо все понимали, что за этим страшным рассказом скрывается другой, еще более страшный.

Мы боялись дышать, не то что говорить. Только доктор открыл было рот, однако я схватил его за руку, чтобы помешать ему говорить, и он действительно промолчал.

Через несколько секунд Ледрю продолжал:

— Я вышел из аббатства и стал было пересекать площадь Таран, чтобы направиться на улицу Турнон, где я жил. Вдруг я услышал женский голос, звавший на помощь. То не были грабители: было едва ли десять часов вечера. Я подбежал на угол площади, где раздался крик, и при свете луны, вышедшей из облаков, увидел женщину, отбивавшуюся от патруля санкюдотов.

Женщина также увидела меня и, заметив по моему костюму, что я не совсем из народа, бросилась ко мне с криком:

«Да вот же Альберт, я его знаю. Он вам подтвердит, что я дочь тетки Ледье, прачки».

В эту минуту бедная женщина, бледная и дрожащая, схватила меня за руку и вцепилась в нее так, как хватается утопающий за обломок доски.

«Пусть ты, дочь, тетки Ледье, это твое дело, но у тебя нет пропуска, и ты должна пойти за нами на гауптвахту!»

Женщина стиснула мою руку. Я уловил в этом жесте ужас и просьбу. Я ее понял.

Она назвала меня первым пришедшим ей в голову именем, и мне пришлось последовать ее примеру.

— Как, это вы, моя бедная Соланж! — сказал я ей — Что с вами случилось?

— «А, вот видите, господа!» — воскликнула она.

— Мне кажется, ты могла бы сказать: граждане».

— Послушайте, господин сержант, не моя вина, что я так говорю, — ответила молодая девушка. — Моя мать работала у важных господ и приучила меня быть вежливой, и я усвоила эту, признаюсь, дурную привычку аристократов. Что же делать, господин сержант, если я не могу от нее отвыкнуть?»

В этом ответе звучала незаметная ирония, которую понял только я. Я задавал себе вопрос, кто могла быть эта женщина. Невозможно было разрешить эту загадку.

Одно было несомненно: она не была дочерью прачки.

— Что со мною случилось, гражданин Альберт? — ответила она. — Вот что случилось. Представьте себе, я пошла отнести белье. Хозяйки не было дома, и мне пришлось ее ждать, чтобы получить деньги. Черт побери! В теперешние времена каждому нужны деньги. Наступила ночь, а я, полагая вернуться засветло, не взяла пропуска и попала к этим господам. Извините, я хотела сказать, гражданам. Они спросили у меня пропуск, а я сказала,

у меня его нет. Они хотели отвести меня на гауптвахту — я начала кричать, и тогда как раз подошли вы, мой знакомый. Теперь я успокоилась. Я сказала себе: так как господин Альберт знает, что меня зовут Соланж, знает, что я дочь тетки Ледье, он поручится за меня, не правда ли, господин Альберт?

— Конечно, я ручаюсь за вас.

— Хорошо,— сказал начальник патруля.— А кто за вас поручится, господин франт?

— Дантон. С тебя этого довольно? Как вы думаете, он хороший патриот?

— А, если Дантон за тебя ручается, то против этого возразить нечего.

— Вот-вот. Сегодня день заседания в клубе Кордельеров, идем туда.

— Идем,— сказал сержант.— Граждане санкюлоты, вперед, марш!»

Клуб Кордельеров находился в старом монастыре кордельеров, на улице Обсерванс. Через минуту мы дошли туда. Подойдя к двери, я достал страницу из моего портфеля, написал карандашом несколько слов, передал сержанту и попросил его отнести записку Дантону; мы же остались под охраной капрала и патруля.

Сержант вошел в клуб и вернулся с Дантоном.

— Что это,— воскликнул он,— тебя арестовали, тебя? Тебя, моего друга и друга Камиля! Тебя — лучшего из существующих республиканцев! Позвольте, гражданин сержант,— прибавил он, обращаясь к начальнику санкюлотов,— я ручаюсь за него. Этого довольно?

— Ты ручаешься за него. А кто поручится за нее? — возразил упорный сержант.

— За нее? О ком говоришь ты?

— Об этой женщине, черт побери!

— За него, за нее, за всех, кто с ним, ты доволен?

— Да, я доволен,— сказал сержант,— особенно доволен тем, что повидал тебя.

— А, черт возьми! Это удовольствие я могу доставить тебе даром. Смотри на меня сколько хочешь, пока я с тобою.

— Благодарю. Отстаивай, как ты это делал до сих пор, интересы народа и будь уверен: народ тебе признателен.

— О да, конечно! Я на это рассчитываю! — сказал Дантон.

— Можешь ты пожать мне руку? — продолжал сержант.

— Отчего же нет? — И Дантон подал ему руку.

— Да здравствует Дантон! — закричал сержант.

— Да здравствует Дантон! — вторил ему патруль.

И патруль ушел под командой своего начальника. В десяти шагах он обернулся и, размахивая своей красной шапкой, прокричал еще раз:

«Да здравствует Дантон!»

И его люди повторили за ним этот возглас.

Я хотел поблагодарить Дантона, как вдруг его несколько раз окликнули по имени из помещения клуба.

«Дантон! Дантон! — кричали голоса. — На трибуну!»

— «Извини, мой милый, — сказал он мне, — ты слышишь? Жму твою руку и ухожу. Я подал сержанту правую руку, тебе подаю левую. Кто знает, у благородного патриота, быть может, чесотка.

И, повернувшись, сказал:

— Иду! — Он сказал это тем мощным голосом, который поднимал и успокаивал бурную толпу на улице. — Иду, подождите!»

Он ушел в помещение клуба, я остался у дверей наедине с незнакомкой.

— «Теперь, сударыня, — сказал я, — куда проводить вас? Я к вашим услугам.

— К тетке Ледье, — ответила она со смехом. — Вы ведь знаете, что она моя мать.

— Но где она живет, эта тетка Ледье?

— Улица Феру, двадцать четыре.

— Пойдемте к тетке Ледье на улицу Феру, двадцать четыре».

Мы пошли по улице Фоссе-Монсие-ле-Пренс до улицы Фоссе-Сен-Жермен, потом по улице Пети-Лион, потом через площадь Сен-Сюльпис на улицу Феру. Всю дорогу мы молчали. Только теперь при свете луны, которая взошла во всей своей красе, я мог хорошо рассмотреть свою спутницу.

То была прелестная особа, лет двадцати или двадцати двух, брюнетка с голубыми глазами, скорее умными, чем грустными; нос прямой и тонко очерчен; насмешливые губы, зубы как жемчуг; руки королевы, ножки ребенка — и все это даже в вульгарном костюме тетки Ледье носило аристократический отпечаток, что и вызвало сомнения храброго сержанта и его воинственного патруля.

Мы подошли к двери, остановились и некоторое время молча смотрели друг на друга.

— «Ну, что вы мне скажете, мой милый господин Альберт? — улыбнулась мне незнакомка.

— Хочу вам сказать, моя милая мадемуазель Соланж, что не стоило встречаться, чтобы так скоро расстаться.

— Прошу у вас тысячу извинений, но очень стоило. Если бы я вас не встретила, меня отвели бы на гауптвахту, там бы открыли, что я не дочь тетки Ледье, что я аристократка, и отрезали бы, вероятно, голову.

— Итак, вы сознаетесь, что вы аристократка?

— Я ни в чем не сознаюсь.

— Хорошо, скажите мне, по крайней мере, ваше имя.

— Соланж.

— Вы же знаете, я случайно назвал вас так, это не ваше настоящее имя.

— Ну что ж! Мне оно нравится, и я оставляю его за собою, для вас, по крайней мере.

— Зачем сохранять его для меня, если мы больше не увидимся?

— Я этого не говорю. Я говорю только, что если мы и увидимся, то вам совсем необязательно знать, как меня зовут. Я назвала вас Альбертом — так и называйтесь, а я останусь — Соланж.

— Хорошо, пусть будет так, но послушайте меня, Соланж.

— Слушаю, Альберт, — отвечала она.

— Вы аристократка, не правда ли?

— Если бы я в этом и не созналась, вы это и сами узнали бы, верно? Стало быть, мое признание теряет смысл.

— И вас преследуют потому, что вы аристократка?

— Что-то в этом роде.

— И вы скрываетесь от преследований?

— На улице Феру, двадцать четыре у тетки Ледье, муж которой был кучером у моего отца. Видите, у меня нет тайн от вас.

— А ваш отец?

— У меня нет тайн от вас, мой милый господин Альберт, пока дело касается меня, но тайны моего отца — не мои. Мой отец тоже скрывается, выжидая случая, чтобы эмигрировать. Вот все, что я могу вам сказать.

— А вы, что вы думаете делать?

— Уехать с моим отцом, если это будет возможно. Если это окажется невозможным, то он уедет один, а я потом присоединюсь к нему.

— И сегодня вечером, когда вас арестовали, вы возвращались со свидания с отцом?

— Да, я возвращалась оттуда.

— Слушайте, милая Соланж. .

— Я слушаю вас.

— Вы видели, что случилось сегодня вечером?

— Да, и это дало мне возможность убедиться в вашем положении.

— О, к сожалению, положение мое невелико. Однако же у меня есть друзья.

— Я познакомилась сегодня с одним из них.

— И вы знаете, что этот человек очень влиятелен в настоящее время.

— Вы можете воспользоваться этим влиянием и подействовать бегству моего отца?

— Нет, я сохранию его для вас.

— А для моего отца?

— Для вашего отца у меня найдется другое средство.

— У вас есть другое средство?! — воскликнула Соланж, схватив меня за руки и тревожно вглядываясь в меня

— Если я спасу вашего отца, сохраните ли вы добрую память обо мне?

— О, я буду вам признательна всю мою жизнь.

И она произнесла эти слова с восхитительным выражением, предполагающим будущую признательность.

Затем, посмотрев на меня умоляющим взором, спросила:

— И вы этим удовлетворитесь?

— Да,— ответил я.

— Итак, я не ошиблась, у вас благородное сердце. Благодарю вас от имени отца и от своего имени и, если бы даже вам не удалось ничего сделать для меня в будущем, буду признательна вам за прошлое.

— Когда мы увидимся, Соланж?

— А когда вам нужно увидеть меня?

— Завтра, надеюсь, я смогу сообщить вам кое-что приятное

— Хорошо! Увидимся завтра.

— Где?

— Здесь, если угодно.

— Здесь, на улице?

— Боже мой! Вы видите, что это самое безопасное место. Вот уже полчаса, как мы болтаем у этих дверей, и никто еще здесь не прошел.

— Отчего же мне не прийти к вам или почему вы не можете прийти ко мне?

— Оттого что если вы придете ко мне, то скомпрометируете тех добрых людей, которые дали мне убежище, а если я пойду к вам, я скомпрометирую вас

— Ну хорошо! Я возьму пропуск у одной моей родственницы и передам его вам.

— Да, чтобы гильотинировали вашу родственницу, если я буду случайно арестована.

— Вы правы, я принесу вам пропуск на имя Соланж.

— Чудесно! Вы увидите, скоро Соланж будет моим единственным, настоящим именем

— В котором часу?

— В тот самый час, когда мы встретились сегодня. В десять часов, если угодно

— Хорошо, в десять часов.

— А как мы встретимся?

— О, это нетрудно. В десять часов без пяти минут вы подойдете к двери, в десять часов я выйду.

— Итак, завтра в десять часов, милая Соланж?

— Завтра в десять часов, милый Альберт.

Я хотел поцеловать ее руку, она подставила лоб

На другой день вечером, в половине десятого, я был на ее улице. В три четверти десятого Соланж открыла дверь. Каждый из нас явился раньше назначенного времени. Я бросился к ней навстречу.

— Я вижу, у вас хорошие вести,— сказала она улыбаясь.

— Отличные! Во-первых, вот вам пропуск.

— Во-первых, о моем отце...— И она оттолкнула пропуск.

— Ваш отец спасен, если он того пожелает

— Если он пожелает, говорите вы? А что он должен для этого сделать?

— Нужно, чтобы он доверился мне.

— Это уже сделано.

— Вы его видели?

— Да.

— Вы опять подвергали себя риску?

— А что же делать? Это нужно, и Бог да хранит меня!

— Вы все сказали вашему отцу?

— Я сказала ему, что вчера вы спасли мне жизнь и завтра, быть может, спасете его жизнь

— Завтра, да, именно завтра, если он пожелает, я спасу ему жизнь

— Каким образом? Скажите. Ну, говорите. Какой бы чудной была наша встреча, если бы все это удалось сделать!

— Только...— сказал я нерешительно.

— Ну?

— Вам нельзя будет ехать с ним.

— Я же вам сказала, что мое решение на этот счет уже принято.

— К тому же я уверен, что немного погодя я смогу достать вам паспорт.

— Будем говорить о моем отце, а обо мне потом.

— Хорошо! Я вам сказал, что у меня есть друзья, не так ли?

— Да.

— Я видел одного из них.

— И что же?

— Вы знаете этого человека по имени, его имя — гарантия храбрости, лояльности и честности.

— И это имя?

— Марсо

— Господин Марсо?

— Да.

— Вы правы, если этот человек обещал, то он сдержит слово.

— Ну да, он обещал.

— Боже! Какое счастье! Ну скажите, что он обещал?

— Он обещал помочь нам.

— Каким образом?

— Очень простым. Клебер назначил его главнокомандующим западной армией. Он уезжает завтра вечером.

— Завтра вечером? Но мы не успеем ничего приготовить!

— Нам нечего готовить.

— Я не понимаю.

— Он возьмет вашего отца с собой.

— Моего отца?!

— Да, в качестве секретаря. Когда они приедут в Вандею, ваш отец даст честное слово, что не будет служить в войсках, противостоящих Франции, а ночью перейдет в Вандейский лагерь. Из Вандей он отправится в Бретань, а затем в Англию. Как только он устроится в Лондоне, он уведомит вас я доставлю вам паспорт, и вы отправитесь к нему в Лондон.

— Завтра! — воскликнула Соланж.— Завтра мой отец уедет!

— Нам нельзя терять времени.

— Но отец не знает об этом.

— Предупредите его.

— Сегодня вечером?

— Да, сегодня вечером.

— Но как это сделать теперь, в этот час?

— У вас пропуск, и вот вам моя рука.

— Действительно, мой пропуск!

Я вручил его ей. Она положила его за корсаж.

— Теперь вашу руку.

Я дал ей свою руку, и мы отправились.

Мы дошли до площади Таран, то есть до того места, где я встретил ее накануне.

— Подождите меня здесь,— сказала она.

Я поклонился и стал ждать.

Она исчезла за углом древнего отеля «Матиньон». Через четверть часа она вернулась.

— Пойдемте, отец хочет повидаться с вами и поблагодарить вас.

Она взяла меня под руку, и мы пошли на улицу Гильом, против отеля «Мортемар».

Подойдя к дому, она вынула из кармана ключ, открыла маленькую боковую дверь, провела меня во второй этаж и постучала условленным стуком.

Дверь открыл человек лет пятидесяти, одетый как рабочий-переплетчик.

— Сударь,— сказал он,— Провидение послало нам вас, и я смотрю на вас как на его посланца. Правда ли, что вы можете меня спасти, а главное, что вы хотите меня спасти?

Я все рассказал ему. Я сказал, что Марсо поручил мне привести его к нему в качестве секретаря и требует от него лишь обещания: не сражаться против Франции.

— Я охотно даю вам это обещание и повторяю его ему.

— Благодарю вас от его и моего имени.

— Но когда уезжает Марсо?

— Завтра.

— Отправиться к нему я должен сегодня ночью?

— Когда вам будет угодно. Он ждет вас.

Отец и дочь переглянулись.

— Полагаю, отец, что было бы благоразумнее отправиться к нему сегодня вечером,— сказала Соланж.

— Хорошо Но если меня остановят, у меня нет пропуска.

— Вот вам мой пропуск.

— А вы?

— О, меня знают.

— Где живет Марсо?

— По Университетской улице, сорок, у сестры своей, мадемуазель Дегравье-Марсо.

— Вы пойдете со мной?

— Я пойду за вами, чтобы, когда вы войдете в дом, отвести мадемуазель домой.

— А как узнает Марсо, что я именно то лицо, о котором вы говорили?

— Вы передадите ему эту трехцветную кокарду как знак признательности.

— А чем я могу отблагодарить моего спасителя?

— Вы предоставите мне спасение вашей дочери, как она верила мне ваше спасение.

— Идем!

Он надел шляпу и потушил огонь.

Мы спустились при свете луны, светившей в окна лестницы.

У двери он взял под руку дочь и по улице Сен-Пьер направился на Университетскую. Я шел сзади в десяти шагах

Мы дошли до дома номер сорок, никого не встретив. Я подошел к ним.

— Это хорошее предзнаменование,— сказал я.— Теперь хотите ли вы, чтобы я подождал или чтобы я пошел с вами?

— Нет, не компрометируйте себя больше; ждите мою дочь здесь.

Я поклонился.

— Еще раз благодарю вас и до свидания,— сказал он, держа меня за руку.— Нет слов, чтобы выразить вам те чувства признательности, которые я питаю к вам. Надеюсь, что Бог поможет мне когда-нибудь высказать вам всю мою признательность.

Он вошел. Соланж последовала за ним. Но прежде, чем войти, она также пожала мне руку.

Через десять минут дверь открылась.

— Ну что? — спросил я.

— Ну! — воскликнула она — Ваш друг достоин быть вашим другом Он так же деликатен, как и вы. Он понимает, что я буду счастлива, если смогу остаться с от-

цом до его отъезда. Его сестра устроит мне постель в своей комнате. Завтра, в три часа пополудни, мой отец будет вне всякой опасности, а вы, если желаете надежду получить благодарность от дочери, которая обязана вам спасением своего отца, приходите на улицу Феру, как сегодня, в десять часов вечера.

— О, конечно, я приду. Ваш отец ничего не поручил передать мне?

— Он просил передать вам ваш пропуск, поблагодарить вас, а меня прислать к нему как можно скорее.

— Это я устрою, когда вам будет угодно, Соланж,— ответил я с грустью.

— Надо будет еще узнать, куда я должна ехать к отцу,— сказала она.— О, вы еще нескоро отдедаетесь от меня.

Я взял ее руку и прижал к своему сердцу. Но она подставила мне, как и накануне, лоб.

— До завтра,— сказала она.

И, прикоснувшись губами к ее лбу, я прижал к сердцу не только ее руку, но и трепещущую грудь и ее бьющееся сердце.

Я шел домой, и на душе у меня было весело, как никогда. Происходило ли это от осознания доброго поступка, который я совершил, или я уже полюбил это очаровательное создание, не знаю.

Не знаю, спал я или бодрствовал; во мне как бы жила, вся гармония природы; ночь тянулась бесконечно, день был длинен; я хотел, чтобы время летело, и хотел задержать его, чтобы не потерять ни минуты из тех дней, какие мне оставалось прожить.

На другой день, в девять часов, я был на улице Феру. В половине десятого появилась Соланж.

Она подошла ко мне и обняла.

— Спасен! — сказала она — Мой отец спасен и вам я обязана его спасением! О, как я люблю вас!

Через две недели Соланж получила письмо, в котором сообщалось, что ее отец уже в Англии.

На другой день я принес ей паспорт.

Взяв паспорт, Соланж залилась слезами.

— Вы меня не любите! — сказала она.

— Я люблю вас больше жизни,— ответил я.— Я дал слово вашему отцу и должен сдержать его.

— Тогда,— сказала она,— я не сдержу своего слова. Если у тебя хватает духу отпустить меня, то я, Альберт, не в состоянии тебя покинуть.

Увы, она осталась.

Ледрю прервался, и воцарилось молчание, как и в первый раз. А впрочем, молчание более глубокое, чем в первый раз, так как все чувствовали, что рассказ подходит к концу, а Ледрю предупредил, что он, быть может, не сможет своего рассказа докончить, но он тотчас же продолжал:

— Три месяца прошло с того вечера, когда произошел описанный разговор об отъезде Соланж, и с этого вечера между нами не произнесено было ни одного слова о разлуке.

Соланж пожелала найти для себя квартиру на улице Таран, и я нанял квартиру на ее имя. Я не знал ее другого имени, а она звала меня не иначе как Альберт. Я поместил ее в качестве помощницы учительницы в женское учебное заведение, чтобы избавить ее от страха перед очень деятельной в то время революционной полицией.

Воскресенье и четверг мы проводили вместе в маленькой квартирке на улице Таран. Из окна спальни видна была площадь, на которой мы встретились впервые.

Каждый день мы получали письма: одно — на имя Соланж, другое — на имя Альберта.

Эти три месяца были самыми счастливыми в моей жизни.

Однако я не оставлял намерения, появившегося у меня во время разговора с помощником палача. Я попросил и получил разрешение производить исследования о продолжении жизнедеятельности после казни; эти исследования показали, что страдания ощущались и после казни и были ужасными.

— А я это-то и отрицаю! — воскликнул доктор.

— И вы, — возразил Ледрю, — отрицаете, что нож ударяет в самое чувствительное место нашего тела, так как там соединяются нервы? Отрицаете, что в шее находятся все нервы верхних конечностей; симпатический, блуждающий нерв, наконец, спинной мозг, который является источником нервов нижних конечностей? И будете отрицать, что перелом или повреждение позвоночного столба причиняет самые ужасные боли, какие только выпадают на долю человеческого существа?

— Пусть так,— сказал доктор,— но боль продолжается только несколько секунд.

— О, это я в свою очередь отрицаю! — убежденно воскликнул Ледрю.— Но даже если боль и длится всего несколько секунд, то в течение этих секунд голова слышит, видит, чувствует, сознает отделение от своего туловища, и кто станет утверждать, что краткость страдания не возмещается вполне страшною интенсивностью страдания? <Мы останавливаемся на таком предмете не для того, чтобы хладнокровно рассуждать об ужасе; нам кажется своевременным говорить об этом, когда обсуждается вопрос об уничтожении смертной казни.>

— Итак, по вашему мнению, декрет Учредительного Собрания, по которому виселицу заменили гильотиной, был филантропической ошибкой и лучше быть повешенным, чем обезглавленным.

— Без всякого сомнения. Многие повесившиеся и повешенные, но спасенные в последнюю минуту, сравнивали свои ощущения с апоплексическим ударом. Это похоже на сон без особой боли, без ощущения какого-либо мучения. На мгновение в глазах замелькает огненный цвет, затем он постепенно бледнеет, переходит в синеву, а потом все погружается во мрак, как при обмороке. Если человеку прижать пальцем мозг в том месте, где нет кусочка черепа, он не чувствует боли, он засыпает, и только! То же явление происходит от сильного прилива крови к мозгу. У повешенного кровь приливает к мозгу, потому что она течет к нему по позвоночным артериям, которые проходят по шейным позвонкам и не могут быть затронуты, а когда кровь стремится обратно, ей мешает течь веревка, стягивающая шею и вены.

— Хорошо,— сказал доктор,— но перейдем к опытам. Я хочу поскорее услышать о знаменитой голове, которая говорила.

Мне показалось, что из груди Ледрю вырвался вздох. На его лицо было невозможно смотреть.

— Да,— сказал он,— в самом деле, я отклонился от моего сюжета. Перейдем к исследованиям. К сожалению, у меня не было недостатка в объектах исследования. Казней производилось все больше: гильотинировали по тридцать, сорок человек в день, и на площади Революции проливался такой поток крови, что пришлось выкопать для ее стока яму глубиною три фута.

Яма прикрыта была досками. Ребенок лет десяти шел

по доскам, доски раздвинулись, ребенок упал в ужасную яму и — утонул.

Конечно, я не рассказывал Соланж, чем бывал занят в те дни, когда не виделся с ней. К тому же, должен признаться, я и сам вначале чувствовал несказанное отвращение к этим человеческим останкам. Я боялся прибавить им своими опытами страданий после казни. Но я убеждал себя, что исследования, которым я предавался, делаются для блага всего общества, и если мне удастся внушить мое убеждение собранию законодателей, то это поведет к отмене смертной казни.

По мере того как опыты давали тот или другой результат, я заносил их в особую тетрадь.

Через два месяца я произвел все исследования продолжения жизнедеятельности после казни, какие только можно было произвести. Далее я решил производить опыты, используя гальванизм и электричество.

Для меня устроили лабораторию в часовне на углу кладбища Кламар и предоставили мне все головы и трупы казненных: вы же знаете, что после того, как изгнали королей из дворцов, из церкви изгнали Бога.

У меня была электрическая машина и два или три инструмента, которые назывались *возбудителями*.

В пять часов появлялось похоронное шествие. Трупы бросали, как попало, на телегу, а головы складывали в мешок. Я брал наугад одну или две головы и один или два трупа — остальное сваливали в общую яму.

На другой день головы и трупы, подвергшиеся исследованиям, в проведении которых мне почти всегда помогал мой брат, отправляли туда же.

Несмотря на близкое соприкосновение со смертью, любовь моя к Соланж росла с каждым днем. Со своей стороны бедное дитя полюбило меня всей душой.

Очень часто я мечтал сделать ее своей женой, весьма часто мы говорили о будущем счастье, но для того, чтобы стать моей женой, Соланж должна была объявить свое имя, а значит, и имя своего отца, аристократа и эмигранта, что грозило смертью.

Отец несколько раз писал ей, просил ускорить отъезд. Она сообщила ему о нашей любви и попросила его согласия на наш брак. Согласие он дал, так что с этой стороны все обстояло благополучно.

Однако среди ужасных процессов один процесс, самый ужасный из всех, нас особенно опечалил. Это был процесс Марии-Антуанетты.

Начался он 4 октября и подвигался быстро: 14 октября Мария-Антуанетта предстала перед революционным трибуналом, шестнадцатого, в четыре часа утра, был объявлен приговор, и в тот же день, в одиннадцать часов, она взошла на эшафот.

Утром я получил письмо от Соланж. Она писала, что не в состоянии провести этот день без меня.

Я пришел в два часа в нашу маленькую квартирку на улице Таран и застал Соланж в слезах.

Я сам был глубоко опечален этой казнью. Королева была добра ко мне, и я навсегда сохранил благодарные воспоминания о ней.

О, я всегда буду помнить этот день! Это было в среду: в Париже царяла не только печаль, но и ужас.

Я чувствовал какую-то странную подавленность, меня как бы томило предчувствие большого несчастья! Я старался ободрить Соланж, которая плакала в моих объятиях, но у меня не хватало для нее слов утешения, так как и в моем сердце утешения не было.

Ночь мы провели вместе, но наша ночь была еще печальнее дня. Помню, что до двух часов в квартире над нами выла запертая там собака.

Утром мы навели справки. Оказалось, что ее хозяин ушел и унес с собой ключ. Его арестовали прямо на улице, отвели в революционный суд, в три часа вынесли приговор, а в четыре казнили.

Надо было расставаться. Уроки у Соланж начинались в девять часов утра, а пансион находился около Ботанического сада. Мне не хотелось отпускать ее, и ей не хотелось расставаться со мною, но отсутствие в течение двух дней могло вызвать расспросы, очень опасные в то время для Соланж.

Кликнув экипаж, я проводил ее до угла Фоссе-Сен-Бернард; я вышел из экипажа, она поехала дальше. Всю дорогу мы держали друг друга в объятиях, не произнося ни слова, и горечь наших слез смешивалась на губах со сладостью наших поцелуев.

Я вышел из экипажа; но вместо того, чтобы отправиться, куда мне было нужно, стоял на месте и смотрел вслед экипажу, уносившему ее. Через двадцать шагов экипаж остановился. Соланж высунулась из окна, как бы чувствуя, что я еще не ушел. Я подбежал к ней, вошел в экипаж, запер окна и еще раз сжал ее в объятиях. На башне Сен-Этьен-дю-Мон пробило девять. Я вытер ее слезы,

запечатлел тройной поцелуй на ее губах и, соскочив с экипажа, удалился почти бегом.

Мне показалось, что Соланж звала меня; но могли обратить внимание на ее слезы, ее волнение, и я проявил роковое мужество и не обернулся.

Я вернулся к себе в отчаянии. Я провел день в писанин писем Соланж; вечером я отправил ей целый том писем.

Только я опустил в почтовый ящик письмо к ней, как получил письмо от нее. Ее очень бранили; ее забросали вопросами, угрожали лишить отпуска — а первый отпуск был намечен на следующее воскресенье. И Соланж клялась, что в любом случае, даже если ей придется поссориться с начальницей пансиона, она увидится со мною в этот день.

Я клялся ей в том же. Мне казалось, что если я не увижу ее целую неделю, — а это случится, если ее лишат отпуска, — то сойду с ума.

Сама Соланж проявляла сильное беспокойство. Ей показалось, что письмо от отца, которое она получила по возвращении в пансион, было предварительно распечатано.

Ночь я провел ужасно, но еще более ужасным выдался следующий день, хотя письмо от Соланж я, по обыкновению, получил. Так как это был день моих исследований, то я к трем часам отправился к брату, чтобы взять его с собою в Клармар.

Брата дома не оказалось, и я пошел один.

Погода была ужасная. Печальная природа разразилась дождем, — тем бурным, холодным потоком дождя, который предвещает зиму. В продолжение всей дороги я слышал, как глашатаи выкрикивали хриплыми голосами обширный список осужденных в тот день: тут были мужчины, женщины, дети. Кровавая жатва была обильна — следовательно, недостатка в объектах исследования у меня быть не могло. Световой день в то время был уже короток, и когда в четыре часа я пришел в Клармар, уже совсем стемнело. Сам вид кладбища, множество свежих могил, редкие, похожие на скелеты, деревья, трещавшие от ветра, — все казалось мрачным и отвратительным. Все, что не было вскопано, заросло травой, чертополохом, крапивой. Но земли, покрытой травой, с каждым днем становилось все меньше.

Среди всей этой вскопанной почвы зияла яма сегодняшнего дня и ждала свою добычу. Предвидели большое

количество осужденных, и яма была больше, чем обычно.

Я машинально подошел к ней. На дне стояла вода. Бедные, холодные, обнаженные трупы,— их бросят в эту воду, холодную, как и они!

Подойдя к яме, я поскользнулся и чуть было не свалился туда — волосы у меня встали дыбом. Промокший и дрожащий, я направился в свою лабораторию.

Это была, как я уже сказал, старая часовня. Я искал глазами,— почему, не знаю,— не осталось ли на стене или там, где был алтарь, следов культа. Ни на стене, ни на месте алтаря ничего не было. Там, где находилась когда-то дарохранительница, то есть Бог и жизнь, теперь царствовала смерть.

Я зажег свечу и поставил ее на стол для опытов, весь заставленный инструментами странной формы, которые изобретены были мною. Я сел и предался размышлениям о бедной королеве, которую я видел столь красивой, столь счастливой, столь любимой, а накануне, когда ее везли в тележке на эшафот, толпа сопровождала ее проклятиями. Теперь же, в этот час, после того, как голову ее отделили от туловища, она покоилась в гробу для бедных,— она, спавшая среди золоченой роскоши Тюильри, Версаля и Сен-Клу.

Пока меня обуревали эти мрачные размышления, дождь усилился, задул свирепый ветер. К завываниям ветра присоединились мрачные раскаты грома, только гром этот грохотал не в облаках, а над землей — то был грохот кровавой телеги, приехавшей с площади Революции и въезжавшей в Клармар.

Дверь маленькой часовни открылась, и два человека, с которых струилась вода, внесли мешок. Один из них был Легро, которого я посетил в тюрьме, другой — могильщик.

«Вот, господин Ледрю,— сказал помощник палача,— к вашим услугам. Вам нечего торопиться сегодня вечером; мы оставляем у вас всю свиту до завтра. Они не схватят насморка, проведя ночь на свежем воздухе».

И эти два служителя смерти с отвратительным смехом положили мешок в угол, возле прежнего алтаря.

Затем они ушли, не заперев дверь, которая стала хлопать; от ворвавшегося ветра пламя свечи заколебалось; свеча горела тускло, отекая около черного фитиля.

Я слышал, как они отвязали лошадей, заперли кладбище и уехали, бросив телегу, полную трупов.

Мне страшно хотелось уйти с ними, но что-то меня удержало; я остался, хотя и дрожал. Я не боялся, но вой стихии, шум дождя, треск ломавшихся деревьев, порывы ветра, задувавшие мою свечу, — все это наводило на меня ужас, и мелкая дрожь пробегала по всему телу, начиная от корней волос.

Вдруг мне показалось, что я услышал тихий, умоляющий голос, мне показалось, что голос этот произносил мое имя — Альберт.

Я вздрогнул. Альберт — только одно лицо на свете называло меня так.

Я испуганно оглядел часовню; хотя она была мала, но свеча моя недостаточно освещала ее стены. Я увидел в углу престола мешок; окровавленный холст и выпуклость указывали на его зловещее содержимое.

В ту минуту, когда глаза мои остановились на мешке, тот же голос, но еще более слабый и жалостливый, повторил мое имя: «Альберт!»

Я вздрогнул и вскочил от ужаса: этот голос раздавался изнутри мешка.

Я стал ощупывать себя, дабы выяснить, во сне я или наяву; затем, сразу как бы окаменев, я с протянутыми руками пошел к мешку и погрузил в него руку.

Мне показалось, что руки моей коснулись еще теплые губы.

Я дошел до такого состояния, когда самый ужас придает нам храбрость. Взяв эту голову и подойдя к креслу, я упал в него и положил голову на стол.

И вдруг я испустил отчаянный крик — голова, губы которой казались еще теплыми, глаза которой были наполовину закрыты, эта голова принадлежала Соланж!

Мне казалось, что я сошел с ума.

Я прокричал трижды:

«Соланж! Соланж! Соланж!»

При третьем крике глаза открылись и взглянули на меня; из них выкатились две слезы, и глаза, сверкнув влажным блеском, словно отсветом отлетающей души, закрылись, чтобы больше уже никогда не открываться.

Я вскочил в бешенстве и негодовании и, охваченный безумием, хотел бежать, но зацепился полою одежды за стол; стол упал и увлек за собою свечу, которая погасла. Голова покатилась, а я устремился в отчаянии за нею. И вот, когда я лежал на земле, мне показалось, что голова эта приблизилась к моей, губы ее прикоснулись к мо-

им; холодная дрожь пронизала мое тело, я испустил стон и потерял сознание.

На другой день, в шесть часов утра, могильщики нашли меня таким же холодным, как та панель, на которой я лежал.

Соланж, узнанная по письму ее отца, была арестована в тот же день, в тот же день ее приговорили к смерти, и в тот же день она была казнена.

Эта голова, которая говорила, эти глаза, которые смотрели на меня, эти губы, которые целовали мои губы,— то были губы, глаза, голова Соланж».

— Вы знаете, Лемуар,— заключил Ледрю, обращаясь к кавалеру,— что я тогда едва не умер.

Кавалер Лемуар, к которому обратился Ледрю, согласно кивнул.

VIII

КОШКА И СКЕЛЕТ

Рассказ Ледрю произвел ужасное впечатление; никто из нас, даже доктор, не решился нарушить молчание.

Бледная дама, приподнявшись было на минуту на своей кушетке, опять упала на подушки, и одно лишь дыхание обнаруживало, что она жива. Полицейский комиссар молчал, так как не находил в этом материала для протокола. Я же старался запомнить все подробности трагедии, чтобы воспроизвести их, если когда-либо вздумается воспользоваться ими для рассказа. Что касается Аллиета и аббата Мулля, то описанное приключение слишком отвечало их взглядам, а потому они и не пытались что-либо опровергать.

Напротив, аббат Мулля первый прервал молчание и, резюмируя до некоторой степени общее мнение, сказал:

— Я верю всему, что вы рассказали нам, мой милый Ледрю, но как вы объясните этот факт, как выражаются, на материальном языке?

— Я не объясняю его,— ответил Ледрю,— я его только рассказываю, вот и все.

— И все-таки как вы это объясняете? — настаивал доктор.— Потому что, какова бы ни была продолжительность жизнедеятельности, вы же не допускаете,

что отсеченная голова через два часа могла говорить, смотреть, действовать?

— Если бы я мог это объяснить, мой милый доктор,— сказал Ледрю,— то не заболел бы после этого события страшной болезнью.

— А вы, доктор,— заинтересовался Ленуар,— как это объясняете себе? Вы не допускаете, конечно, что господин Ледрю рассказал нам вымышленную историю; его болезнь также материальный факт.

— Вот еще! Ничего тут удивительного нет. Это не больше чем галлюцинация! Господину Ледрю казалось, что он видит; господину Ледрю казалось, что он слышит. Для него то равносильно тому, что он действительно видел и действительно слышал. Органы, которые передают перцепцию чувства центру ощущений, то есть мозгу, могут расстроиться вследствие влияющих на них условий. Когда эти органы расстроены, они неправильно передают перцепцию: кажется, что слышат,— и слышат; кажется, что видят,— и видят.

Холод, дождь, мрак расстроили органы чувств господина Ледрю, вот и все. Сумасшедший также видит и слышит то, что ему кажется, что он видит и слышит. Галлюцинация— это мгновенное умопомешательство; о ней остается воспоминание уже тогда, когда она исчезла.

— А если галлюцинация не исчезает? — спросил аббат Мульль.

— Ну! Тогда болезнь становится неизлечимой и от нее умирают.

— Вам приходилось, доктор, лечить такие болезни?

— Нет, но я знаю некоторых врачей, которые лечили такие болезни, например английского доктора, сопровождавшего Вальтера Скотта во Францию.

— И он вам рассказал?..

— Кое-что в том же роде, что рассказал нам наш хозяин, и, быть может, даже еще более необыкновенное происшествие.

— И вы объясняете это с материалистической точки зрения? — спросил аббат Мульль.

— Конечно.

— А вы можете припомнить тот факт, о котором вам рассказал английский доктор?

— Без сомнения.

— Доктор, расскажите, расскажите!

— Рассказать?

— Ну, конечно! — закричали все.

— Хорошо.

Доктора, сопровождавшего Вальтера Скотта во Францию, помнится, звали Симпсоном. Это был один из самых выдающихся членов Эдинбургского факультета, поддерживавший связи с наиболее известными людьми в Эдинбурге.

В числе этих лиц был судья уголовного суда, имени которого он мне не назвал. Во всей этой истории он счел нужным сохранить в тайне одно лишь это имя.

Этот судья, которого он лечил, на вид совершенно здоровый, таял день ото дня: он стал добычей мрачной меланхолии. Семья несколько раз обращалась с расспросами к доктору, тот со своей стороны расспрашивал своего друга, который отделялся общими фразами, усиливавшими его тревогу, так как ясно было, что тут скрывается тайна, которой больной не хочет выдать.

Наконец, однажды доктор Симпсон так настойчиво стал просить своего друга сознаться в своей болезни, что тот, взяв его за руку, с печальной улыбкой сказал:

— «Ну, хорошо, я действительно болен, и болезнь моя, дорогой доктор, тем более неизлечима, что она коренится всецело в моем воображении.

— Как! В вашем воображении?

— Да, я схожу с ума.

— Вы сходите с ума? Но в чем дело, объясните, пожалуйста. Глаза у вас ясные, голос спокойный (он взял его руку), пульс прекрасный.

— И это-то ухудшает мое положение, милый доктор, то есть то, что я вижу его и обсуждаю его.

— Но в чем же состоит ваше сумасшествие?

— Заприте, доктор, дверь, чтобы нам не помешали, и я вам все расскажу.

Доктор запер дверь, вернулся и сел подле своего приятеля.

— Помните,— спросил судья,— последний уголовный процесс, по которому я должен был произнести приговор?

— Да, над шотландским разбойником, которого вы приговорили к повешению и который был повешен.

— Именно этот. И вот в тот момент, когда я произносил приговор, глаза его сверкнули и он погрозил мне кулаком. Я не обратил на это внимания... Такие угрозы часто практикуются среди осужденных. Но на другой

день после казни палач явился ко мне и, извинившись за посещение, заявил, что он счел долгом довести до моего сведения следующее: умирая, разбойник произносил против меня заклятия и говорил, что на другой день, в шесть часов, в час его казни, я услышу о нем.

Я полагал, что мне устроят что-либо его товарищи, что они попытаются отомстить с помощью оружия, и я в шесть часов заперся у себя в кабинете, выложив пару пистолетов на мой письменный стол.

Наконец каминные часы пробили шесть раз. Весь день я думал о предостережении палача. Но вот прозвучал последний удар бронзовых часов, а я не услышал ничего, кроме неизвестно откуда взявшегося мурлыканья. Я обернулся и увидел большую черную кошку с огненными глазами. Невозможно было объяснить, как она вошла сюда: все двери и окна были заперты. Очевидно, ее заперли в комнате днем.

Я позвонил — слуга явился, но он не мог войти, так как я заперся изнутри. Пришлось пойти к двери и отпереть ее. Я стал говорить ему о черной кошке с огненными глазами, но мы напрасно искали ее всюду — она исчезла.

Больше я об этом не думал. Прошел вечер, ночь, наступил новый день, и вот опять пробило шесть часов. Сейчас же я услышал шорох за собою и увидел ту же кошку.

На этот раз она прыгнула мне на колени.

Я не питаю никаких антипатий к кошкам, но все-таки эта фамильярность произвела на меня неприятное впечатление. Я согнал ее с колен. Но едва она оказалась на земле, как сейчас же снова прыгнула ко мне. Я оттолкнул ее — никакого эффекта, как и в первый раз. Тогда я встал и прошелся по комнате, а кошка шла за мною шаг в шаг; раздраженный этой навязчивостью, я позвонил, как накануне. Слуга вошел — кошка проскользнула под кровать и там исчезла, мы искали ее напрасно.

Я вышел вечером. Побывал у двух или трех друзей, а когда вернулся домой, стал тихонько подниматься по лестнице, чтобы не натолкнуться на что-либо: ведь у меня не было свечи. Дойдя до последней ступеньки, я услышал голос слуги, говорившего с горничной моей жены.

Услышав свое имя, я прислушался к тому, что он говорил. Он рассказал о том, что произошло накануне и в тот день, а потом прибавил:

«— Вероятно, наш господин сходит с ума. Никакой черной кошки с огненными глазами не было в комнате — это так же верно, как то, что ее нет и у меня».

Слова эти меня испугали. Одно из двух: или кошка была реальностью, или это было обманчивое видение; если это реальность, то я нахожусь под давлением сверхъестественного; если это ложное, если я вижу то, что не существует, как говорит мой слуга, то я схожу с ума.

Вы можете угадать, мой милый друг, с каким нетерпением, смешанным со страхом, я ждал на другой день шести часов. Под предлогом уборки я удержал слугу, и, когда пробило шесть часов, он был в моем кабинете. С последним ударом часов я услышал шорох и увидел мою кошку. Она села рядом со мною.

Сначала я сидел молча, рассчитывая, что слуга увидит кошку и первый о ней заговорит. Но он ходил взад-вперед по комнате и, по-видимому, ничего не видел.

Я воспользовался тем моментом, когда он находился в таком положении, что для исполнения моего приказа должен был почти наступить на кошку.

— Поставьте звонок на мой стол, Джон,— сказал я.

Чтобы взять звонок, который стоял на камине, Джону неминуемо пришлось бы наступить на кошку.

Он пошел, но в тот момент, когда занес ногу над кошкой, та прыгнула мне на колени.

Джон не видел ее или по крайней мере так казалось.

Признаюсь, что холодный пот выступил у меня на лбу, и услышанные мною накануне слова: «Вероятно, наш господин сходит с ума!» — пришли мне на память во всем их ужасном значении.

— Джон,— сказал я,— вы ничего не видите у меня на коленях?

Джон посмотрел на меня. Потом с видом человека, принявшего определенное решение, сказал:

— Да, сударь, я вижу кошку.

Я вздохнул, взял кошку и сказал ему:

— В таком случае возьмите ее и выбросите, пожалуйста.

Он протянул руки — я подал ему животное, затем он по моему знаку вышел.

В течение десяти минут я с некоторым беспокойством оглядывался кругом, но, не замечая ничего подозрительного, решил посмотреть, что же Джон сделал с кошкой

Я вышел из комнаты, чтобы расспросить об этом, и, переступив порог гостиной, услышал хохот из уборной моей жены. Я подошел тихонько на цыпочках и услышал голос Джона:

— «Милая моя, господин не сходит, а уже сошел с ума. Его сумасшествие состоит в том, что он видит черную кошку с огненными глазами,— говорил он горничной.— Сегодня вечером он спросил меня, вижу ли я кошку у него на коленях.

— А ты что ответил? — полюбопытствовала горничная.

— Черт побери! Я ответил, что вижу ее,— сказал Джон.— Я не хотел противоречить бедняге, и вот угадай, что он сделал?

— Как же я могу угадать?

— Ну вот! Он взял воображаемую кошку с колен, положил мне ее на руки, сказал: «Унеси, унеси!»— и я ловко унес кошку. Он остался доволен.

— Но раз ты унес кошку, значит, она была?

— Какая там кошка! Кошка существовала только в его воображении. Но зачем говорить ему правду? Он бы меня выгнал. Ну, нет! Мне здесь хорошо, я остаюсь. Он мне платит двадцать пять фунтов, чтобы я видел кошку, и я ее вижу. Пусть даст тридцать фунтов, и я увижу двух!»

У меня не хватило мужества слушать дальше. Я вздохнул и вошел в мою комнату. Она была пуста.

На другой день, в шесть часов, кошка, по обыкновению, оказалась около меня и исчезла только на завтра.

— Что же вам сказать, мой друг,— продолжал больной.— В течение месяца видение появлялось каждый вечер, и я привык к нему. Но на тридцатый день после казни, когда часы пробили шесть раз, кошка не явилась.

Я посчитал было, что избавился от нее, и от радости не спал. Весь день я волновался в ожидании рокового часа, а с пяти до шести глаз не сводил с часовой стрелки. Наконец стрелка дошла до двенадцати — раздался один удар, два, три, четыре, пять, шесть...

На шестом ударе дверь отворилась,— сказал несчастный,— и вошел курьер в ливрее, как будто он находился на службе у лорда-лейтенанта Шотландии.

Первая мысль, пришедшая мне в голову, была, что лорд-лейтенант прислал мне письмо, и я протянул руку к незнакомцу. Но он не обратил никакого внимания на мой жест и стал за моим зеркалом.

Мне не надо было оборачиваться, чтобы видеть его: против меня было зеркало.

Я встал и прошелся; он шел позади, в нескольких шагах от меня. Я подошел к столу и позвонил. Вошел слуга, он не видел курьера, как, впрочем, и кошки.

Я отослал его, остался со странным визитером наедине и смог внимательнее рассмотреть его. Он был в придворном платье, со шпагой, жилет с шитьем, волосы в сетке, шляпа под мышкой.

В десять часов я лег спать; он, в свою очередь, чтобы лучше провести ночь, уселся в кресло напротив моей кровати. Я отвернулся к стене, но уснуть не смог. Курьер также не спал.

Наконец первые лучи солнца начали пробиваться в комнату через щели жалюзи. Я повернулся, чтобы в последний раз взглянуть на своего визитера,— кресло было пусто. Как оказалось, я освободился от него до вечера.

Вечером было назначено собрание у главного церковного комиссара. Под предлогом, что мне необходимо приготовить выходной костюм, в шесть часов без пяти минут я позвал слугу и попросил его запереть дверь на засов. Он исполнил мою просьбу.

При последнем, шестом, ударе часов я устремил взор на дверь — она открылась, курьер вошел.

Я сейчас же направился к двери — она была заперта; засовы не были выдвинуты из скобки. Я обернулся: курьер стоял за моим креслом, а Джон ходил взад-вперед по комнате, ничего не замечая.

Я оделся.

И тогда произошло нечто странное: с необычайной предупредительностью мой новый служащий помогал Джону во всем, а тот опять ничего не замечал.

Так, например, Джон держал мое платье за воротник, а привидение держало его за полы; Джон подавал штаны за пояс, а привидение поддерживало их внизу. Никогда у меня не было более услужливого слуги.

Наступил час отъезда. И тогда, вместо того чтобы следовать за мною, курьер пошел вперед, проскользнул в дверь моей комнаты, спустился по лестнице, стал со шляпою под мышкой за Джоном, который отворял дверцу кареты, и, когда Джон ее запер и сел на запятки, он сел на козлы с кучером, и тот подвинулся направо, чтобы дать ему место.

Карета остановилась у дверей главного церковного комиссара

Джон открыл дверцу, но призрак уже был на своем посту — за ним Едва я вышел, призрак протиснулся вперед среди толпы слуг, теснившихся у главного входа, и оглянулся, иду ли я за ним.

Тогда мне захотелось проделать над кучером тот же опыт, который я проделал над Джоном.

— Патрик, — спросил я его, — что это за человек сидел около вас?

— Какой человек, ваша милость? — спросил кучер

— Тот, что сидел на ваших козлах?

Патрик вытаращил глаза, оглядываясь вокруг себя.

— Ну хорошо, — сказал я, — я ошибся

Курьер остановился на лестнице и поджидал меня. Как только он увидел, что я опять двинулся, он также двинулся и пошел впереди меня, как бы для того, чтобы доложить обо мне в приемной зале, а затем, когда я вышел, он занял в передней подобающее место.

Никто не видел его, это привидение, как не видели его ни Джон, ни Патрик Вот когда мой страх перешел в ужас: я понял, что действительно схожу с ума.

С этого вечера стали замечать перемену во мне Все спрашивали, чем я озабочен, — в числе других и вы.

Я опять нашел мое привидение в передней. Как и при моем приезде, так и теперь, при отъезде, он бросился вперед, сел на козлы, вернулся домой, прошел за мною в мою комнату, сел в кресло, в котором сидел накануне

Тогда я захотел убедиться, есть ли что-либо осязаемое в этом привидении Я сделал большое усилие над собой и, пятясь задом, сел в кресло Я ничего не почувствовал, но увидел в зеркале, что привидение стоит за мною

Как и накануне, я лег в час Как только я оказался в постели, я увидел в моем кресле привидение

Наутро оно исчезло. И так продолжалось месяц.

По истечении месяца оно вдруг изменило своим привычкам и перестало являться

Однако на этот раз я уже не верил, как в первый раз, в окончательное его исчезновение, а ждал страшного превращения и, вместо того чтобы наслаждаться уединением, с трепетом думал о следующем дне

На другой день, едва часы пробили шесть раз, я услышал легкий шелест у моей кровати и в том месте, где занавеси скрещивались, в проходе у стены увидел скелет.

На этот раз — вы поймете, мой друг, почему я так говорю, — я увидел оживший символ смерти

Скелет стоял неподвижно и глядел на меня страшными впадинами глазниц

Я встал, несколько раз обошел комнату — голова скелета следила за всеми моими движениями ни на минуту не сводила с меня глаз, хотя туловище оставалось неподвижным

В эту ночь я не решился лечь спать Я не спал, а скорее, сидел с закрытыми глазами в кресле, где обычно сидело привидение, об отсутствии которого я теперь горько сожалел

Днем скелет исчез

Я велел Джону переставить кровать и опустить занавеси, а сам стал ждать

Едва часы пробили шесть раз, я услышал шелест — занавеси заколебались; затем я увидел костлявые руки, раздвигающие занавеси, и скелет занял место, на котором он стоял накануне

На этот раз у меня хватило мужества лечь спать

Голова, которая, как и накануне, следила за моими движениями, склонилась надо мною, глаза, которые накануне ни на минуту не теряли меня из виду, устремили взгляд на меня

Можете себе представить, какую ночь я провел! А таких ночей, мой дорогой доктор, было уже не менее двадцати»

— Теперь вы знаете, что со мною Что же, вы возьметесь меня лечить?

— По крайней мере попытаюсь, — ответил доктор

— Каким образом, позвольте узнать?

— Я уверен, что привидение существует только в вашем воображении

— Что мне за дело, существует оно или нет, раз я его вижу

— Вы хотите, чтобы и я его увидел, да?

— Конечно, хочу

— Когда же?

— Как можно скорее Завтра

— Хорошо, завтра Итак, мужайтесь!

Больной печально улыбнулся

На другой день, в семь часов утра, доктор вошел в комнату своего друга

— Ну как? — спросил он — Как скелет?

— Скелет исчез, — ответил тот слабым голосом

— Ну и прекрасно! Мы устроим так, чтобы он не являлся сегодня вечером.

— Устройте.

— Вы говорите, скелет появляется одновременно с шестым ударом часов?

— Непременно.

— Прежде всего остановим часы.— И доктор остановил маятник.

— Что вы хотите сделать?

— Я хочу лишить вас возможности определять время.

— Хорошо.

— Теперь опустим шторы и закроем занавеси

— А это зачем?

— Все с той же целью, чтобы вы не могли контролировать ход времени.

— Хорошо

Шторы были опущены, занавеси закрыты. Зажгли свечи.

— Пусть завтрак и обед для нас будут всегда готовы Джон,— сказал доктор,— мы не хотим есть в определенные часы. Подадите, когда я вас позову.

— Слышите, Джон? — сказал больной

— Да, сударь.

— Затем дайте нам карты, шашки, домино и уходите. Джон принес все требуемое и ушел.

Доктор принялся, как мог, развлекать больного, болтал, играл с ним, а когда проголодался — позвонил.

Джон, который знал, зачем звонили, принес завтрак

После завтрака начали партию, которая прервана была новым звонком доктора.

Джон принес обед.

Они ели, пили, выпили кофе и опять стали играть. Так, вдвоем провели они день, который тянулся необычайно долго. Доктор приблизительно определил время и решил, что роковой час уже миновал.

— Итак,— сказал он вставая,— победа!

— Как — победа? — спросил больной.

— Теперь по крайней мере восемь или девять часов, а скелет не явился

— Посмотрите на ваши часы, доктор, они единственные в доме. Если час миновал, тогда и я, пожалуй, закричу: победа!

Доктор посмотрел на часы и промолчал.

— Вы ошиблись, не правда ли, доктор? — сказал больной — Ровно шесть часов.

— Да, и что же?

— И что же? Вот входит скелет — И больной с глубоким вздохом откинулся назад.

Доктор посмотрел во все стороны.

— Но где вы его видите? — спросил он.

— На его обычном месте, в проходе, между занавесями.

Доктор встал, подошел к кровати и занял то место, которое должен был занимать скелет

— А теперь вы все еще его видите?

— Я не вижу нижней части туловища, вы закрываете его вашим телом, но я вижу череп

— Где?

— Над вашим правым плечом. У вас как бы две головы — живая и мертвая.

Несмотря на все свое неверие, доктор вздрогнул. Он обернулся, но ничего не увидел

— Мой друг, — сказал он с грустью больному, — если вам надо сделать распоряжение по части завещания, сделайте его.

И он вышел.

Девять дней спустя Джон, войдя в комнату своего хозяина, нашел его мертвым.

Прошло ровно три месяца со времени казни разбойника.

IX

КОРОЛЕВСКАЯ УСЫПАЛЬНИЦА В СЕН-ДЕНИ

— Ну и что же это все доказывает, доктор? — спросил Ледрю.

— Это доказывает, что органы, передающие мозгу впечатление, которые они воспринимают, вследствие определенных причин расстраиваются и являются, таким образом, как бы плохим зеркалом для мозга. И тогда мы видим предметы и слышим звуки, которых не существует. Вот и все.

— Однако, — сказал кавалер Лемуар с робостью доверчивого ученого, — случается же, что некоторые предметы оставляют след, что некоторые предсказания сбываются. Как вы объясните, доктор, тот факт, что удары, нанесенные привидением, оставляли синяки на том, кто им подвергался? Как вы объясните, что привидение мог-

ло на десять, двадцать, тридцать лет вперед предсказать будущее? То, что не существует, может ли наносить ущерб тому, что существует, или предсказывать то, что должно случиться?

— А,— сказал доктор,— вы имеете в виду видение шведского короля.

— Нет, я хочу сказать о том привидении, которое я сам видел

— Вы?

— Да, я

— Где же?

— В Сен-Дени

— Когда это было?

— В тысяча семьсот девяносто четвертом году, во время профанации гробниц

— Да-да, послушайте-ка, доктор

— Что? Что вы видели? Расскажите!

— Извольте. В тысяча семьсот девяносто третьем году я назначен был директором музея французских памятников и в качестве такового присутствовал при раскопках могил в аббатстве Сен-Дени, переименованном просвещенными патриотами в Франсиаду. По прошествии сорока лет я могу рассказать вам странные вещи, которыми ознаменовалась эта профанация.

Ненависть, которую удалось внушить народу к королю Людовику XVI и которая не утихла и после казни 21 января, теперь перенесена была на королей его династии: хотели преследовать монархию до самых ее истоков, монархов вплоть до их могил, решили рассеять по ветру прах шестидесяти королей.

Может быть, хотели убедиться, сохранились ли великие сокровища, зарытые в некоторых из этих гробниц, столь неприкосновенных, как говорили

Народ устремился в Сен-Дени.

Шестого и восьмого августа он уничтожил пятьдесят одну гробницу — историю двенадцати веков.

Тогда правительство решило воспользоваться этим, обыскать все гробницы и завладеть наследием монархии, которой нанесен был удар в лице ее последнего представителя, Людовика XVI.

Затем намеревались уничтожить даже имена, память, кости королей. Речь шла о том, чтобы вычеркнуть из истории четырнадцать веков монархии.

Несчастные безумцы не понимают, что иногда люди могут изменить будущее, но никогда не могут изменить

прошедшего На кладбище приготовлена была обширная общая могила по образцу могил для бедных. В эту яму, выложенную известью, должны были бросить, как на живодерне, кости тех, кто сделал из Франции первую в мире нацию, кости монархов от Дагобера до Людовика XV.

Таким способом дано было удовлетворение народу; особенное же удовольствие доставлено было законодателям, адвокатам, завистливым журналистам, хищным птицам революции, глаза которых не выносят никакого блеска, как глаза ночных птиц не выносят света. Гордость тех, кто не может ничего создать, сводится к разрушению

Меня назначили инспектором раскопок Таким образом я получил возможность спасти много драгоценных вещей, и я принял назначение

В субботу 12 октября, когда на процессе разбиралось дело королевы, я открыл склеп Бурбонов со стороны подземных часовен и извлек гроб Генриха IV, убитого 14 мая 1610 года в возрасте пятидесяти семи лет.

Что касается статуи его на Новом мосту, шедевра Жана де Болонь и его ученика, то ее перечеканили в грубые су.

Тело Генриха прекрасно сохранилось; прекрасно сохранились и черты лица; он был таким, каким рисовали его любовь народа и кисть Рубенса Когда его вынули первым из могилы в хорошо сохранившемся саване, волнение царило необычайное и под сводами церкви чуть не раздался популярный когда-то во Франции возглас: «Да здравствует Генрих IV!»

Когда я увидел эти знаки почтения, можно сказать, даже любви, я велел прислонить тело к одной из колонн клироса, чтобы каждый мог подойти и посмотреть на него.

Он был одет, как и при жизни, в черный бархатный камзол с фрезами и белыми манжетами, в бархатные штаны, такие же, как камзол, шелковые чулки того же цвета и бархатные башмаки

Его красивые, с проседью волосы лежали еще ореолом вокруг головы, седая борода доходила до груди.

Тогда же и потянулась бесконечная процессия, как к мощам святого: женщины дотрагивались до рук доброго короля, многие целовали край его мантии, некоторые ставили детей на колени и тихо шептали:

— Ах, если бы он жил, народ бы не бедствовал!

Они могли бы прибавить и не был бы так дик, ибо
инкогнито народа — его несчастье

Процессия эта продолжалась в субботу 12 октября,
в воскресенье 13-го и в понедельник 14-го

В понедельник, после обеда рабочих, то есть с трех
часов пополудни, раскопки возобновились

Первый труп, извлеченный на свет после Генриха IV,
был труп его сына, Людовика XIII. Он хорошо сохранил-
ся, и хотя черты лица расплылись, его можно было уз-
нать по усам

Затем следовал Людовик XIV. Его опознали по круп-
ным чертам лица, типичного лица Бурбонов; только он
был черен, как чернила

Затем последовали трупы Марии Медичи, второй же-
ны Генриха IV; Анны Австрийской, жены Людовика XIII;
Марии Терезии, жены Людовика XIV, и великого до-
фина

Все эти тела разложились, а дофин от гниения прев-
ратился в жидкое месиво

Во вторник, 15 октября, выкапывание трупов продол-
жалось

Труп Генриха IV оставался все время у колонны, бес-
страстно присутствуя при этом грандиозном святотатст-
ве над его предшественниками и потомками

В среду, 16 октября, как раз в тот момент, когда Ма-
рия-Антуанетта была обезглавлена на площади Револю-
ции, то есть в одиннадцать часов утра, из склепа Бурбо-
нов вытаскивали очередной гроб — короля Людовика XV

По обычаю, установившемуся во Франции с древнос-
ти, он покоем при входе в склеп, ожидая там того, кто
должен был присоединиться к нему. Его взяли, унесли
и открыли на кладбище у могилы

Сначала тело, вынутое из свинцового гроба, хорошо
обернутое в холст и повязки, казалось целым и хорошо
сохранившимся, но, когда его вынули, оно предстало
сильно разложившимся и издавало такое зловоние, что
все разбежались и пришлось сжечь несколько фунтов ку-
рительного порошка, чтобы очистить воздух

Тотчас же бросили в яму все, что осталось от героя
Парка Оленей, от любовника мадам де Шатору, мадам
де Помпадур, мадам де Бари, и эти отвратительные
останки, высыпанные на известковое дно, покрыли и
сверху известью

Я остался последним чтобы при мне сожгли порошок
и засыпали яму известью. Вдруг услышал сильный шум

в церкви; я быстро туда вошел и увидел рабочего, который усиленно отбивался от своих товарищей, в то время как женщины грозили ему кулаками

Оказалось, несчастный, бросив свой печальный труд, отправился на еще более печальное зрелище — на казнь Марии-Антуанетты. Опьяненный собственными криками и криками других, видом проливавшейся крови, он вернулся в Сен-Дени и, подойдя к Генриху IV, опиравшемуся на колонну и окруженному любопытными, скажу, даже поклонниками, обратился к нему с такими словами:

«По какому праву ты остаешься здесь, когда королей обезглавливают на площади Революции?» — И в ту же минуту, схватив левой рукой труп за бороду, он оторвал ее, а правой дал пощечину мертвому королю.

С сухим треском, подобным треску брошенного мешка с костями, труп упал на землю.

Со всех сторон поднялся страшный крик. Можно было еще осмелиться нанести такое оскорбление какому-нибудь другому королю, но оскорбить Генриха IV, друга народа, значило оскорбить сам народ.

Рабочий, который совершил это святотатство, подвергался очень серьезной опасности, и я поспешил к нему на помощь.

Как только он увидел, что может найти во мне поддержку, он обратился ко мне за покровительством. Но, отказывая ему в этом покровительстве, я все же хотел указать, что он совершил подлый поступок.

«Дети мои,— сказал я рабочим,— бросьте этого несчастного. Тот, кого он оскорбил, занимает там, на небе, слишком высокое положение, чтобы не просить у Бога наказания для него».

Затем, отобрав у несчастного бороду, которую он все еще держал в левой руке, я выгнал его из церкви и объявил ему, что он больше не принадлежит к той партии рабочих, которые работали у меня. Возгласы и угрозы товарищей преследовали его до самой улицы.

Опасаясь дальнейших оскорблений королевского трупа, я велел отнести его в общую могилу, но и там Генриху IV были оказаны знаки почтения. Его не бросили, как других королей, в кучу, а тихонько спустили и заботливо устроили в углу, а затем с благоговением покрыли слоем земли, а не известью.

День кончился, и рабочие ушли; остался один сторож. Это был славный малый, которого я поставил из опасения, чтобы ночью не проникли в церковь для новых

изуверств или для новых краж; сторож этот спал днем и сторожил с семи вечера до семи часов утра.

Ночь он проводил на ногах, стоя или прохаживаясь, чтобы согреться, иногда присаживался к костру, разветленному у одной из самых близких к двери колонн.

В церкви на всем лежал отпечаток смерти, а следы разрушения придавали еще более мрачный колорит. Могилы были открыты, и плиты прислонены к стенам; разбитые статуи валялись на полу; там и сям стояли раскрытые гробы без мертвецов, которые думали встать из них лишь в день страшного суда. Все это давало пищу для размышлений, для сильного ума, слабый же ум наполняло ужасом.

К счастью, сторож вовсе не отличался умом. Он был простой человек и смотрел на все эти обломки так же, как смотрел бы на лес во время рубки или на скошенный луг, и только отсчитывал удары, прислушиваясь к монотонному бою башенных часов, сохранившихся в неприкосновенности в разрушенной церкви.

В тот момент, когда пробило полночь и когда воздух от последнего удара еще дрожал в глубине мрачной церкви, он услышал крики со стороны кладбища. То были крики о помощи.

Когда первый момент изумления прошел, сторож взял лом и пошел к двери, соединявшей церковь с кладбищем, но когда он открыл дверь и определил, что крики исходят из могилы королей, то не решился идти дальше, запер дверь и побежал в гостиницу, где я жил, будить меня.

Я не хотел сначала верить, что крики о помощи исходят из королевской могилы; но так как я жил против церкви, то сторож открыл окно, и среди тишины, нарушаемой лишь завыванием зимнего ветра, я действительно услышал протяжные жалобные стоны. Я поднялся и отправился со сторожем в церковь. Когда мы пришли туда и заперли за собою дверь, то услышали жалобные стоны более отчетливо.

Определить, откуда исходят эти жалобные стоны, оказалось нетрудно, потому что сторож плохо закрыл за собою дверь в сторону кладбища и она опять открылась. Итак, эти стоны шли действительно с кладбища.

Мы зажгли два факела и направились к двери, но, пока мы подходили к ней, сквозняк их задул. Я понял, что тут с нашими факелами будет трудно пройти, зато на кладбище нам уже не придется сражаться с ветром. Кроме факелов, я велел зажечь еще и фонарь. Факелы

наши потухли, но фонарь горел. А когда мы, очутившись на кладбище, зажгли факелы, ветер пощадил и их.

По мере того как мы продвигались, стоны замирали, а в ту минуту, когда мы подошли к краю могилы, совсем замерли.

Мы встряхнули наши факелы и осветили огромную яму — среди костей, на слое извести и земли, которыми их засыпали, барахталось что-то безобразное. Это что-то походило на человека.

— Что с вами и что вам надо? — спросил я у этой тени.

— Увы! — прошептала тень. — Я тот несчастный рабочий, который дал пощечину Генриху IV.

— Но как ты сюда попал? — спросил я.

— Вытащите меня сначала, господин Лемуар, потому что я умираю, а затем все узнаете.

С того момента, когда сторож мертвецов убедился, что имеет дело с живым, овладевший им было ужас исчез; он уже приготовил лестницу, валявшуюся на траве кладбища, и ждал моего приказа.

Я велел спустить лестницу в яму и предложил рабочему вылезти. Он дотащился до лестницы, но когда хотел взобраться на ступеньки, то обнаружил, что у него сломаны руки и нога.

Мы бросили ему веревку с глухой петлей — он завязал веревку под мышками. Другой конец веревки остался у меня; сторож спустился на несколько ступенек, и благодаря двойной опоре нам удалось вызволить живого из общества мертвецов.

Едва мы вытащили его из ямы, как он потерял сознание. Мы поднесли его к костру, положили на солому, и я послал сторожа за хирургом.

Раньше, чем пострадавший пришел в себя, сторож явился с доктором. Пострадавший же открыл глаза только во время операции. Когда перевязка окончилась, я поблагодарил хирурга, и так как мне хотелось узнать, по какой странной случайности рабочий очутился в королевской могиле, то я отослал сторожа. Тот с радостью отправился спать после тревожных этой ночи, а я остался наедине с рабочим. Я присел на камень подле соломы, на которой он лежал. Дрожащее пламя костра слабо освещало ту часть церкви, в которой мы находились, а все остальное погружено было в глубокий мрак, тем более что наша сторона была ярко освещена

Я начал расспрашивать пострадавшего, и вот что он мне рассказал. Когда я прогнал его, он не особенно огорчился. У него были деньги в кармане, и он знал, что до поры до времени не будет ни в чем нуждаться. И он отправился в кабак

Там он стал распивать бутылочку, но при третьем стакане вошел хозяин.

— Ты уже кончил? — спросил он.

— А что?

— Я слышал, что ты дал пощечину Генриху IV.

— Да, это я! — дерзко сказал рабочий — Что из того?

— Что из того? А то, что я не хочу поить у себя такого мерзкого негодяя, как ты. Не хочу, чтобы он накликал проклятие на мой дом.

— На твой дом? Твой дом — дом для всех; и раз я плачú, я у себя.

— Да, но ты не заплатишь!

— Это почему?

— Потому что я не возьму твоих денег! А так как ты не заплатишь, то ты уже не у себя, а у меня. А если ты у меня, то я имею право вышвырнуть тебя за дверь.

— Да, если ты сильнее меня.

— Если я не сильнее тебя, я позову своих молодцов.

— Позови — тогда посмотрим!

Кабатчик позвал. Прибежали молодцы с палками в руках, и рабочему пришлось уйти, хотя он не прочь был протестовать.

Он бродил некоторое время по городу, а в час обеда зашел в трактир, где обычно обедали рабочие. Он съел суп, когда вошли рабочие, закончившие дневную работу. Увидев его, они остановились у двери, позвали хозяина и объявили ему, что, если этот человек останется у него обедать, они все от первого до последнего уйдут.

Трактирщик спросил, что сделал этот человек, чем заслужил такое всеобщее осуждение.

Ему рассказали, что это тот самый человек, который дал пощечину Генриху IV.

— Если так, то убирайся отсюда! — сказал трактирщик, подойдя к рабочему. — И пусть все, что ты съел станет для тебя отравой!

Спротивление было бесполезно, и проклятый рабочий, пригрозив своим товарищам, ушел. Они его не тронули, но не из-за того, что боялись его угроз, а из-за чувства отвращения к нему. Со злобой в душе он про-

бродил часть вечера по улицам Сен-Дени, проклиная всех и вся и богохульствуя. В десять часов он отправился на свою квартиру

Против обыкновения двери дома оказались заперты. Он постучался. У окна появился привратник. Так как ночь была темная, он не мог узнать стучавшего

— Кто ты? — спросил он.

Рабочий назвал себя.

— А! — сказал привратник — Это ты дал пощечину Генриху IV? Подожди!

— Что такое? Чего мне ждать? — нетерпеливо вопрошал рабочий

В это время к его ногам полетел узел

— Что это такое? — опять спросил он

— Твое имущество.

— Как мое имущество?

— Да, иди спать куда хочешь. Я не желаю, чтобы мой дом обрушился мне на голову

Взбешенный рабочий схватил камень и швырнул им в дверь.

— Подожди же, — сказал привратник, — я разбужу твоих товарищей, и мы тогда посмотрим

Рабочий понял, что и тут он хорошего не дожидается. Он ушел и, увидев в ста шагах открытую дверь, вошел под навес

Под навесом лежала солома; он лег на нее и заснул. Без четверти двенадцать ему показалось, что кто-то тронул его за плечо. Он проснулся и увидел женщину в белом, которая делала ему знак следовать за ней.

Он принял ее за одну из тех несчастных, которые всегда готовы предложить убежище и себя в придачу тем, у кого есть чем заплатить, а так как уплатить за кров и наслаждение у него было чем и он предпочитал провести ночь в кровати, чем валяться на соломе, то он встал и пошел за женщиной. Некоторое время женщина держалась домов по левой стороне Большой улицы, затем перешла через улицу, повернула в переулок направо, продолжая делать знаки рабочему следовать за ней

Привыкший к таким ночным похождениям и хорошо знавший переулки, в которых, по обыкновению, живут женщины этого сорта, рабочий беспрекословно вошел за ней в переулок

Переулок упирался в поле. Рабочий подумал, что женщина живет в уединенном доме, и по-прежнему следовал за ней. Через сто шагов они перебрались через

пролом в стене. Вдруг он поднял глаза и увидел перед собою старое аббатство Сен-Дени, исполинскую колокольню и окна церкви, слабо освещенные пламенем костра, возле которого бодрствовал сторож.

Он поискал глазами женщину, но она исчезла. Он был на кладбище.

Он хотел вернуться через тот же пролом. Но ему показалось, что там сидит мрачное и угрожающее привидение — Генрих IV.

Привидение сделало шаг вперед — рабочий попятился. На четвертом или пятом шаге он оступился и упал навзничь в яму. И тогда ему показалось, что его окружили все короли, предшественники и потомки Генриха IV; ему казалось, что они подняли над ним кто свои скипетры, кто жезлы правосудия, восклицая: «Горе святотатцу!» И по мере прикосновения этих жезлов правосудия и скипетров, тяжелых как свинец и горячих как огонь, он чувствовал, как хрустели и ломались его кости.

В это-то время пробило полночь, и сторож услышал стоны.

Я сделал все, что мог, чтобы успокоить несчастного, но он сошел с ума и после трехдневного бреда умер с криком: «Пощадите!»

— Извините, — сказал доктор, — я совсем не понимаю, к чему вы клоните. Происшествие с вашим рабочим показывает, что, переполненный всем случившимся с ним в течение дня, он бродил ночью — отчасти в состоянии бодрствования, отчасти в состоянии сомнамбулизма. Во время своих блужданий он зашел на кладбище, вместо того, чтобы смотреть себе под ноги, смотрел вверх, вследствие чего упал в яму и при падении сломал себе руку и ногу. Вы ведь говорили о каком-то предсказании, которое исполнилось, а я во всем этом не вижу ни малейшего предсказания.

— Подождите, доктор, — прервал его кавалер. — История, которую я рассказал и которая, вы в этом совершенно правы, не более чем факт, ведет прямо к тому предсказанию, о котором я упомянул и которое составляло тайну

Это предсказание таково: 20 января 1794 года после уничтожения гробницы Франциска I открыли гроб графини Фландрской, дочери Филиппа Длинного. То были последние гробницы, которые предстояло осмотреть, — все остальные склепы были опустошены, все гробы открыты, все кости выброшены в яму

Последняя гробница была неизвестно чья. Вероятнее всего, кардинала Ретца, которого, по преданию, похоронили в Сен-Дени.

Закрыли все склепы или почти все — склеп Валуа, склеп Каролингов. Оставалось закрыть на следующий день лишь склеп Бурбонов.

Сторож проводил последнюю ночь в этой церкви, где уже нечего было больше сторожить; он получил разрешение спать и воспользовался этим разрешением.

В полночь его разбудили звуки органа и церковное пение. Он протер глаза, повернул голову к клиросу, то есть туда, откуда слышалось пение, и с удивлением увидел, что места на клиросе заняты монахами Сен-Дени; он увидел, что архиепископ служил у алтаря; он увидел, что катафалк освещен горящими свечами, а на катафалке лежит покров из золотой парчи, который по традиции возлагают только на тела королей.

Когда он окончательно пришел в себя, обедня кончилась и началась панихида.

Скипетр, корона и жезл правосудия, положенные на красную бархатную подушку, переданы были герольдам, а те передали их трем принцам.

Скоро подошли, скорее бесшумно скользя, чем шагая, придворные. Они приняли тело и отнесли его в склеп Бурбонов, который один был открыт, между тем как все другие уже закрыли.

Потом спустился герольдмейстер и позвал других герольдов для исполнения своих обязанностей. Герольдмейстер и герольды составляли группу из пяти лиц.

Из склепа герольдмейстер позвал первого герольда, и тот спустился, неся шпоры; потом спустился второй, неся латные рукавицы; за ним спустился третий, неся щит; затем спустился четвертый, неся гербовый шлем; и наконец, спустился пятый, неся кольчугу.

Затем он позвал знаменосца, который нес знамя, капитанов швейцарцев, стрелков гвардии, двести придворных; великого конюшего, который нес королевскую саблю; первого камергера, несшего знамя Франции; главного церемониймейстера, перед которым прошли все церемониймейстеры двора и бросили свои белые жезлы в склеп, кланяясь трем принцам, тем, что несли корону, скипетр и жезл правосудия, по мере того, как они проходили; наконец, три принца в свою очередь отнесли скипетр, жезл правосудия и корону.

Тогда герольдмейстер воскликнул громким голосом три раза: «Король умер, да здравствует король! Король умер, да здравствует король! Король умер, да здравствует король!»

Герольд, оставшийся на клиросе, три раза повторил этот возглас.

Наконец, главный церемониймейстер сломал свой жезл в знак того, что королевский дом прервался и придворные короля должны сами о себе заботиться.

Вслед за тем затрубили трубы и заиграл орган.

Трубы играли все слабее, орган звучал все тише, свет свечей бледнел, фигуры присутствовавших бледнели, и при последнем тоне органа и последнем звуке труб все исчезло.

На другой день сторож, обливаясь слезами, рассказал о королевских похоронах, на которых он, бедняга, один присутствовал, и предсказал, что разоренные гробницы будут поставлены на место и что, несмотря на декреты Конвента и на работу гильотины, Франция доживет до новой монархии, а в Сен-Дени будут новые короли.

За это предсказание бедняга попал в тюрьму и едва не угодил на эшафот. А тридцать лет спустя, 20 сентября 1824 года, стоя за той же колонной, где он видел привидение, он говорил мне, дергая за полу платья:

«Ну что, господин Лемуар? Я ведь говорил вам, что наши бедные короли вернутся когда-нибудь в Сен-Дени, и я не ошибся».

Действительно, в тот день хоронили Людовика XVIII с тем же церемониалом, какой сторож видел тридцать лет тому назад. Как вы это объясните, доктор?

Х

АРТИФАЛЬ

Доктор молчал: то ли его убедили, то ли, что более вероятно, считал нецелесообразным отрицать авторитет такого лица, как кавалер Лемуар.

Молчание доктора дало возможность другим гостям принять участие в споре. Первым устремился на арену аббат Мулль.

— Все это утверждает меня в моей системе,— сказал он.

— А какова ваша система? — спросил доктор, очень довольный, что может вступить в спор с менее сильным спорщиком, чем Ледрю или кавалер Лемуар.

— Мы живем в двух невидимых мирах, населенных: один — адскими духами; другой — небесными. В момент нашего рождения два гения, добрый и злой, занимают свое место около нас и сопровождают в продолжение всей нашей жизни: один вдохновляет нас на добро, другой — на зло, а в день смерти нами овладевает тот, кто берет верх. Таким образом, наше тело попадает во власть демона или ангела; у бедной Соланж одержал победу добрый гений, он-то и прощался с вами, Ледрю, при посредстве немых уст молодой мученицы; у разбойника, осужденного шотландским судьей, победителем остался демон, он-то и являлся судьбе то в образе кошки, то в платье курьера, а то под видом скелета; и, наконец, в последнем случае ангел монархии, мстя за святотатство и за профанацию гробниц, подобно Христу, явившемуся униженным, показал бедному сторожу гробниц будущую реставрацию королевской власти и представил эту церемонию с такой помпой, как будто фантастическая церемония происходила в присутствии всей будущей знати двора Людовика XVIII.

— Но, господин аббат,— сказал доктор,— вся ваша система основывается в конце концов на убеждении.

— Конечно.

— Но, чтобы быть достоверным, убеждение должно опираться на факт.

— Мое убеждение и основывается на факте.

— На факте, рассказанном вам кем-либо из тех, к кому вы питаете полное доверие?

— На факте, случившемся со мною самим.

— Ах, аббат! Пожалуйста, расскажите нам об этом факте.

— Охотно. Я родился в той части наследия древних королей, которая теперь называется департаментом Эн, а когда-то называлась Иль-де-Франс. Мой отец и моя мать жили в маленькой деревушке Флери, расположенной среди лесов Вилье Коттерэ. До моего рождения у родителей моих было пятеро детей: три мальчика и две девочки, и все они умерли. Вследствие этого моя мать, когда была беременна мною, дала обет водить меня в белом до семи лет, а отец обещал сходить на богомолье к Божьей Матери в Лиесс (Notre-Dame de Liesse).

Эти два обета не составляют редкости в провинции, и между ними было прямое соответствие: белый цвет — цвет Девы, а Божья Матерь в Лиессе и есть Дева Мария.

К несчастью, отец мой умер во время беременности матери. Будучи женщиной религиозной, мать решила все-таки исполнить двойной обет во всей его строгости: как только я родился, меня с ног до головы одели в белое, а мать, как только она встала, отправилась пешком согласно обету на богомолье.

Божья Матерь в Лиессе находилась от деревушки Флери всего в пятнадцати или шестнадцати милях; с тремя остановками мать моя добралась по назначению. Там она говела и получила из рук священника серебряный образок, который надела мне на шею.

Благодаря этому двойному обету я избежал всех злослучений юности, а когда вошел в возраст, то вследствие ли полученного мною религиозного воспитания или благодаря влиянию образа почувствовал призвание к духовному поприщу. Окончив семинарию в Суасоне, я вышел оттуда священником и в 1780 году отправлен был викарием в Этамп.

Случайно меня назначили в ту из четырех церквей д'Этамп, которая находилась под покровительством Божьей Матери. Эта церковь представляет собой великолепный памятник, доставшийся средним векам от римской эпохи. Заложена Робертом Сильным, она закончена была только в двенадцатом столетии; и теперь еще сохранились чудные витражи, которые после недавней перестройки удивительно гармонируют с живописью и позолотой ее колонн и капителей.

Еще ребенком я любил эти прекрасные сооружения из гранита, который извлекали из недр Франции, этой старшей дочери Рима, с десятого до шестнадцатого столетия, чтобы покрыть ее целым лесом церквей. Сооружение этих церквей приостановилось, когда вера в сердцах умерла от яда Лютера и Кальвина.

Ребенком я играл в развалинах церкви Святого Иоанна в Суасоне; я любовался фантастической резьбой, казавшейся мне окаменевшими цветами, и когда я увидел церковь Божьей Матери в Этампе, то был счастлив, что случай, а скорее, Провидение привело меня в такую обитель. Самыми счастливыми минутами были для меня те, которые я проводил в церкви.

Я не хочу сказать, что меня там удерживало только религиозное чувство, нет, то было состояние, какое испытывает птица, когда ее выпустили из тесной клетки на свободу. Мой простор был протяженностью от портала до хоров; моя свобода состояла в мечтах, которым

я предавался в продолжение двух часов, стоя на коленях на гробнице или облокотившись о колонну. О чем я мечтал? Отнюдь не о богословских тонкостях; я размышлял о вечной борьбе между добром и злом,— о борьбе, которая терзает человека с момента грехопадения. Мне грезились прекрасные ангелы с белыми крыльями и отвратительные демоны с красными лицами, которые сверкали в солнечных лучах на витражах: одни — небесным огнем, другие — пламенем ада; наконец, церковь Божьей Матери была моим настоящим жилищем, где я мечтал, думал, молился. Предоставленный же мне маленький приходский домик был для меня лишь временным пристанищем, где я ел, спал, и только.

Довольно часто я уходил из церкви Божьей Матери в полночь или в час ночи. Все знали об этом. Если меня не было в приходском доме — значит, я находился в церкви Божьей Матери. Там меня искали и там меня находили.

Все происходившее в мире меня мало волновало: я скрывался в своем святилище — царстве религии и поэзии.

Однако во внешнем мире происходило нечто такое, что волновало всех: простых и знатных, духовных и светских. В окрестностях Этампа объявился грабитель — преемник или, вернее, соперник Картуша и Пулалле, в дерзости не уступавший своим предшественникам.

Этого разбойника, который грабил всех, а особенно церкви, звали Артифаль. Меня необычайно интересовали похождения этого разбойника, так как его жена, жившая в нижней части города Этампа, постоянно приходила ко мне исповедоваться. Эта достойная уважения женщина, которая испытывала угрызения совести за преступления своего мужа и считала себя ответственной за него перед Богом, проводила жизнь в молитвах и на исповеди, стараясь своим благочестием искупить безбожие своего мужа.

Что касается его самого, то я должен сказать, что он не боялся ни черта ни дьявола, считал общество плохо устроенным, а себя призванным его исправить. Он полагал, что благодаря ему установится равномерное распределение богатства, и смотрел на себя лишь как на предтечу секты, которая появится в будущем и станет проповедовать то, что он проводит в жизнь, а именно — общность имущества.

Двадцать раз его ловили и отправляли в тюрьму, и почти всегда на вторую или третью ночь камера оказывалась пустой, а так как объяснить успех его побегов было трудно, то стали поговаривать, что он нашел траву, которая перепиливает кандалы.

Таким образом, этого человека окружала некая загадочность. Я вспоминал о нем каждый раз, когда ко мне являлась его жена и исповедовалась в переживаемых ужасах, прося моих советов.

Вы догадываетесь, что я советовал ей употребить все свое влияние на мужа, чтобы вернуть его на путь добродетели. Но влияние бедной женщины было очень слабо. У нее оставалось одно лишь вечное прибежище для молитв и испрашивания помилования у Господа.

Приближались праздники Пасхи 1783 года. Был канун со страстного четверга на страстную пятницу. В течение четверга я выслушал много исповедей и к восьми часам вечера так устал, что заснул в исповедальне.

Пономарь видел, что я заснул, но, зная мои привычки и зная, что у меня всегда с собой ключ от церковной двери, не разбудил меня.

Я спал и слышал во сне как бы двойной шум: бой часов, пробивших двенадцать раз, и звук шагов по плитам.

Я открыл глаза и хотел выйти из исповедальни, как вдруг увидел в свете луны, падавшем через цветные стекла одного из окон, проходящего мимо человека. Так как человек этот ступал осторожно, осматриваясь на каждом шагу, то я понял, что это не служитель, не церковный сторож, не певчий и не кто-либо из причетников, а чужой, явившийся сюда с дурным намерением.

Ночной посетитель направился к клиросу. Подойдя, он остановился, и через минуту я услышал сухой треск огнива о кремень; я видел, как блеснула искра, кусок трута загорелся, а затем от огнива зажжена была свечка на алтаре.

Тогда при свете свечки я увидел человека среднего роста с двумя пистолетами и кинжалом за поясом, с насмешливым, но не страшным лицом; он пристально осмотрел все пространство, освещенное пламенем свечи, и, по-видимому, вполне удовлетворился этим осмотром.

Вслед за тем он вынул из кармана не связку ключей, но связку отмычек, называемых россиньоль по имени знаменитого Россиньоля, который хвастался, что имеет ключ ко всем замкам. С помощью одного из инструментов он открыл дарохранильницу, вынул оттуда даро-

носицу, великолепную чашу чеканного серебра времен Генриха II, массивный потир, подарок городу королевы Марии-Антуанетты, и два позолоченных сосуда.

Опустошив дарохранильницу, он старательно ее запер и стал на колени, чтобы открыть в алтаре нижнюю часть.

В нижней части престола хранилась восковая Богородица в золотой короне с бриллиантами, в белом платье, расшитом дорогими камнями.

Через пять минут рака, в которой легко было разбить стеклянные стенки, была открыта подобранным ключом, как раньше дарохранильница. Он уже собирался присоединить платье и корону к потиру и сосудам, когда я, желая помешать дерзкой краже, вышел из исповедальни и направился к алтарю.

Шум отворенной мною двери заставил вора обернуться. Он подался в мою сторону и старался всмотреться во мрак церкви, но увидел меня только тогда, когда я вступил в круг, освещенный дрожащим пламенем свечи.

Увидя человека, вор оперся об алтарь, вытащил пистолет из-за пояса и направил его на меня. Заметив мою черную длинную одежду, он понял, что я безобидный священник и что вся моя защита в вере, а все мое оружие — в слове.

Не обращая внимания на угрожавший мне пистолет, я дошел до ступеней алтаря. Я чувствовал, что если он и выстрелит, то или пистолет даст осечку, или пуля пролетит мимо. Я положил руку на образок и чувствовал, что меня хранит святая любовь Богородицы.

Казалось, спокойствие бедного священника растрогало разбойника.

— Что вам угодно? — спросил он голосом, которому старался придать уверенность.

— Вы Артифаль? — уточнил я.

— Черт возьми, — ответил он, — а кто же другой посмел бы проникнуть в церковь один, как это сделал я?

— Бедный, ожесточившийся грешник, — сказал я, — ты гордишься своим преступлением. Неужели ты не понимаешь, что в игре, какую ты затеял, ты губишь не только свое тело, но и свою душу?

— Ну, — сказал он, — тело свое я спасал уже столько раз, что, надеюсь, и еще раз его спасу. Что касается души...

— Так что же душа твоя?

— О душе моей позаботится моя жена. Она святая за двоих и спасет мою душу вместе со своей.

— Вы правы, мой друг, ваша жена — святая, и она, конечно, умерла бы от горя, если бы узнала, какое преступление вы намерены были совершить.

— О, вы полагаете, что она умрет от горя, моя бедная жена?

— Я в этом уверен.

— Вот как? Тогда я останусь вдовцом! — захохотал разбойник и протянул руки к священным сосудам.

Но я поднялся к алтарю и схватил его за руку:

— Нет, вдовцом вы не останетесь, так как не совершите этого святотатства.

— А кто же мне помешает?

— Я!

— Силой?

— Нет, убеждением. Господь послал своих священников на землю не для того, чтобы они пускали в ход силу. Сила — дело людское, земное, а слово, убеждение черпает свою мощь выше, на небесах. Притом, сын мой, я хлопочу не о церкви, так как для нее можно купить другие сосуды, а о вас, так как вы не сможете искупить свой грех. Друг мой, вы этого святотатства не совершите

— Вот еще! Вы что же, думаете, что я это делаю впервые, милый человек?

— Нет, я знаю, что это уже десятое, быть может, двадцатое святотатство, но что с того? До сих пор ваши глаза были закрыты, сегодня вечером они откроются, вот и все. Не приходилось ли вам слышать о человеке, которого звали Павлом? Он стерег одежды тех, кто напал на святого Стефана. И что же? У этого человека глаза были словно закрыты пеленой — он сам об этом говорил. Но в один прекрасный день пелена эта спала с его глаз и он прозрел. Это был святой Павел, да-да, тот самый святой Павел!..

— Скажите, господин аббат, а святой Павел не был повешен?

— Да, был,

— Так как же ему помогло то, что он прозрел?

— Он убедился в том, что иногда спасение в казни. Теперь святой Павел почитаем на земле и наслаждается вечным блаженством на небе.

— А сколько святому Павлу было лет, когда он прозрел?

- Тридцать пять.
- Я уже перешел за этот возраст, мне сорок лет.
- Никогда не поздно раскаяться. Иисус на кресте сказал разбойнику: одно слово молитвы, и ты спасешься.
- Ладно! Ты заботишься, стало быть, о своем серебре? — сказал разбойник, глядя на меня.
- Нет, я забочусь о твоей душе, я хочу ее спасти.
- Мою душу! Ты хочешь, чтобы я поверил этому? Ты насмехаешься надо мною!
- Если хочешь, я докажу, что забочусь о твоей душе! — сказал я.
- Да, доставь мне удовольствие, докажи.
- Во сколько ты оцениваешь кражу, которую собираешься совершить?
- Ого-го! — сказал разбойник, с удовольствием поглядывая на сосуды, потир, дароносицу и платье Богородицы. — В тысячу экую.
- В тысячу экую?
- Я знаю, что все это стоит вдвое дороже, но придется потерять по крайней мере две трети: эти черти жида такие воры.
- Пойдем ко мне.
- К тебе?
- Да, ко мне, в дом священника. У меня есть тысяча франков, и я отдам тебе их наличными.
- А остальные две тысячи?
- Другие две тысячи? Даю тебе честное слово священника, что поеду на свою родину, продам четыре десятины земли за две тысячи франков — у моей матери есть небольшое хозяйство — и отдам их тебе.
- Да ладно, ты назначишь мне свидание и устроишь западню?
- Ты сам не веришь в то, что говоришь, — сказал я, протягивая ему руку.
- Да, это правда, не верю, — произнес он мрачно. — А мать твоя богата?
- Моя мать бедна.
- Она, значит, разорится?
- Если я скажу ей, что ценою ее разорения я спасу душу, она благословит меня. К тому же, если у нее ничего не останется, она придет жить ко мне, а у меня хватит места на двоих.
- Я принимаю твое предложение, — сказал он, — идем к тебе.
- Хорошо, только подожди!

— Что такое?

— Спрячь в дарохранильницу все вещи, которые ты оттуда вынул, и запири ее на ключ,— это принесет тебе счастье.

Разбойник нахмурился с видом человека, которого одолевает религиозное чувство помимо его воли; он поставил священные сосуды в дарохранильницу и старательно ее запер.

— Пойдем,— сказал он.

— Перекрестись раньше,— возразил я.

Он насмешливо захохотал, но смех его быстро стих. Он перекрестился.

— Теперь иди за мною,— сказал я.

Мы вышли через маленькую дверь и через пять минут были у меня.

В пути, как бы короток он ни был, разбойник казался очень озабоченным, он осматривался, опасаясь какой-либо засады.

Войдя ко мне, он остановился у двери.

— Ну, где же тысяча франков? — спросил он.

— Подожди,— ответил я.

Я зажег свечу от потухавшего в камине огня, открыл шкаф и вытащил оттуда мешок:

— Вот они.— И я отдал ему мешок.

— А когда я получу остальные две тысячи?

— Я попрошу сроку шесть недель.

— Хорошо, на шесть недель я согласен.

— Кому их отдать?

Разбойник некоторое время думал.

— Моей жене,— сказал он.

— Хорошо!

— Но она не должна знать, откуда и как я добыл эти деньги.

— Этого не будет знать ни она, ни кто-либо другой! Но и ты в свою очередь никогда не предпримешь ничего против церкви Божьей Матери в Этампе или против какой-либо другой церкви, находящейся под покровительством Святой Девы?

— Никогда.

— Честное слово?

— Честное слово Артифалья!

— Иди, брат мой, и не грехи больше.

Я поклонился ему и сделал знак, что он может уйти.

Он как будто минуту колебался, потом, осторожно открыв дверь, ушел.

Я опустился на колени и стал молиться за этого человека. Не успел я окончить молитву, как в дверь постучали.

— Войдите,— сказал я не оборачиваясь.

Кто-то вошел и, видя, что я молюсь, остановился около меня.

Когда я окончил молитву и обернулся, то увидел Артифалю, неподвижно стоявшего у дверей с мешком под мышкой.

— Вот,— сказал он мне,— я принес тебе обратно твою тысячу франков.

— Мою тысячу франков?

— Да, я отказываюсь также и от остальных двух тысяч.

— А все же данное тобою обещание остается в силе?

— Конечно.

— Стало быть, ты раскаиваешься?

— Не знаю, раскаиваюсь я или нет, но я не хочу брать твои деньги, вот и все.— И он положил мешок на буфет.

Затем он постоял в раздумье, как бы намереваясь спросить меня о чем-то.

— Что вы хотите? — опередил я его.— Говорите, мой друг. То, что вы сделали, хорошо, не стыдитесь поступить еще лучше.

— Ты глубоко веришь в Божью Матерь?

— Глубоко.

— И ты веришь, что при ее заступничестве человек, как бы он ни был виновен, может спастись в час смерти? Так вот взамен твоих трех тысяч франков дай мне какую-нибудь реликвию, четки или что-нибудь другое, чтобы я мог поцеловать их в час смерти.

Я снял образок и золотую цепочку, которые моя мать надела мне на шею в день моего рождения и с которыми я с тех пор никогда не расставался, и отдал их разбойнику.

Разбойник приложился губами к образку и убежал.

Целый год я ничего не слышал об Артифале. Он, без сомнения, покинул Этамп и орудовал в другом месте.

В это время я получил письмо от моего коллеги, священника из Флери: моя добрая мать была очень больна и звала меня к себе. Я взял отпуск и поехал к ней.

Два месяца хорошего ухода и молитв восстановили здоровье моей матери. Пришла пора расставаться. В веселом расположении духа я вернулся в Этамп.

Я приехал в пятницу вечером. Весь город был в волнении: знаменитый разбойник Артифаль попался около Орлеана, его судили в суде этого города, осудили и отправили в Этамп, чтобы повесить здесь, так как все его злодеяния совершены были главным образом в округе Этампа.

Казнь совершена была в то же утро.

Вот что я узнал на улице, но, войдя в свой дом, я узнал еще другое: женщина из нижней части города приходила накануне утром, то есть как только Артифаль привезли в Этамп на казнь, и раз десять осведомлялась, не приехал ли я.

Настойчивость эта меня не удивила. Я сообщил о своем приезде заранее, и меня ждали с минуты на минуту.

В нижней части города я знал только одну бедную женщину — ту, которая только что стала вдовой. Я решил отправиться к ней раньше даже, чем отряс прах с моих ног.

От дома священника до нижней части города было довольно близко. И хотя уже пробило десять часов вечера, я полагал, что женщину, которая с таким нетерпением желала меня видеть, мой визит не обеспокоит.

Итак, я спустился в нижнюю часть города и попросил указать мне ее дом.

Так как все знали ее как святую, никто не осуждал ее за преступления мужа, никто не позорил ее за его позор.

Я подошел к двери. Ставня была открыта, и через стекло рамы я увидел бедную женщину, стоявшую у постели на коленях, — она молилась. По движению ее плеч можно было заметить, что, молясь, она рыдала.

Я постучал. Она встала и поспешно открыла дверь.

— А, господин аббат! — воскликнула она. — Я угадала, что это вы. Когда постучали в дверь, я поняла, что это вы. Увы! Увы! Вы приехали слишком поздно: мой муж умер без исповеди.

— Умер ли он с дурными чувствами?

— Нет, напротив. Я убеждена, что в глубине души он был христианином, но он не желал другого священника, кроме вас, он хотел исповедаться только вам и заявил, что исповедоваться он будет если не перед вами, то только перед Божьей Матерью.

— Он вам это сказал?

— Да, и, говоря это, он целовал образок Богородицы, висевший у него на шее на золотой цепочке, и очень просил, чтобы образок этот с него не снимали, уверяя, что если его похоронят с образком, то злой дух не овладеет его телом.

— Это все, что он сказал?

— Нет. Расставаясь со мною, чтобы взойти на эшафот, он сказал, что вы приедете сегодня вечером и что по приезде вы сейчас же придете ко мне. Вот почему я и ждала вас.

— Он вам это сказал? — спросил я с удивлением.

— Да, и еще он поручил мне передать вам последнюю его просьбу.

— Мне?

— Да, вам. Он сказал, что, в каком бы часу вы ни приехали, я должна просить.. Боже мой! Я не осмелюсь высказать это вам, это было бы слишком мучительно для вас!..

— Говорите, добрая женщина, говорите.

— Хорошо! Он просил, чтобы вы пошли на место казни и там прочли над его телом за его душу пять раз *Отче наш* и *Богородицу*. Он сказал, что вы не откажете мне в этом, господин аббат.

— И он прав, я сейчас же пойду туда.

— О, как вы добры!

Она взяла мои руки и хотела их поцеловать. Я воспротивился и высвободил руки:

— Полно, добрая женщина, мужайтесь!

— Бог посылает мне мужество, и я не ропшу.

— Ничего больше он не просил?

— Нет.

— Хорошо. Если исполнения этого желания достаточно, чтобы душа его обрела покой, то она найдет это успокоение.

Я вышел.

Было около половины одиннадцатого. Стоял конец апреля, воздух был еще свеж. Однако небо было прекрасно, особенно оно радовало глаз художника: луна выплывала из-за темных туч, которые придавали величественный вид всей картине.

Я обошел вокруг старых стен города и в одиннадцать часов подошел к Парижским воротам. Только эти ворота в Этамп и были открыты

Я направился на эспланаду, которая, как теперь, возвышалась над всем городом. Сегодня от прежней

виселицы остались лишь три обломка каменных подставок, на которых стояли три столба, соединенные двумя перекладинами, составлявшими виселицу.

Чтобы пройти на эту площадь, которая расположена налево от дороги, если вы идете из Этампа в Париж, и направо, когда вы идете из Парижа в Этамп,— надо было обогнуть башню Гиннет, охранявшую город. Эту башню вы должны знать, кавалер Лемуар. Когда-то ее хотел взорвать Людовик XV, но ему это не удалось. Разрушили только ее верхушку, и теперь башня походила на огромный черный глаз без зрачка. Днем здесь хозяйничали вороны, ночью — совы и филины.

Я шел под их крики и стоны к площади по узкой неровной дороге, проложенной в скале среди кустарников.

Не скажу, чтобы я испытывал страх: человек, верующий в Бога, полагающийся на его волю, не должен ничего бояться, но я был взволнован.

Слышен был только однообразный стук мельницы в нижней части города, крики сов и филинов да свист ветра в кустарниках. Луна скрылась за темную тучу и окаймляла края облаков беловатой бахромой.

Сердце мое сильно стучало. Мне казалось, что я увижу не то, что должен увидеть, а нечто неожиданное.

Поднявшись до определенной высоты, я начал различать верхушку виселицы, состоявшей из трех столбов и двойной дубовой перекладины, о которой я уже упоминал. К дубовой перекладине крепились железные крестовины, на которых вешают казненных. Я разглядел тело несчастного Артифаля, которое ветер раскачивал в пространстве, и казалось, что это двигается чья-то тень.

И вдруг я остановился. Теперь я ясно видел виселицу от верхушки до основания и какую-то бесформенную массу, передвигавшуюся, подобно животному, на четырех лапах.

Я остановился и спрятался за скалу. Животное это было больше собаки и массивнее волка. Вдруг оно поднялось на задние лапы, и я обнаружил, что это, по выражению Платона, двуногое животное без перьев, то есть человек.

Что могло заставить человека прийти под виселицу в такой час? Пришел ли он с религиозным чувством, молиться, или с нечестивым намерением совершить какое-либо святотатство?

Во всяком случае, я решил держаться в стороне и ждать.

В эту минуту луна вышла из-за облаков и осветила виселицу. И тогда я ясно разглядел человека и все, что он делал.

Человек этот, подняв лестницу, лежавшую на земле, приставил ее к одному из столбов, ближайшему к повешенному. Затем он влез по этой лестнице. Он составлял странную группу с повешенным — живой и мертвец как бы соединились в объятии.

И вдруг раздался ужасный крик. Два тела закачались; потом одно из тел сорвалось с виселицы, а другое осталось висеть, размахивая руками и ногами.

Я не мог понять, что совершилось под позорным сооружением. Было ли то деяние человека или демона, но происходило нечто необычное: душа повешенного взывала о помощи, умоляла о спасении.

Я бросился туда.

Повешенный, на мой взгляд, усиленно шевелился, а внизу, под ним, неподвижно лежало тело, сорвавшееся с виселицы.

Я бросился прежде всего к живому. Быстро взобравшись по ступеням лестницы, я ножом обрезал веревку; повешенный упал наземь, и я соскочил с лестницы.

Повешенный катался в ужасных конвульсиях, другой труп лежал неподвижно.

Я понял, что веревка все еще душит бедного негодяя, и с большим трудом распустил давившую его петлю. Во время этой операции я волей-неволей должен был смотреть в лицо этому человеку и с удивлением узнал в нем палача. Глаза вылезли у него из орбит, лицо посинело, челюсть была почти сворочена, а из груди его вырывалось дыхание, похожее на хрип.

Однако же понемногу воздух проникал в его легкие и вместе с воздухом восстанавливались жизненные функции.

Я прислонил его к большому камню. Через некоторое время он пришел в чувство, повернул шею, кашлянул и посмотрел на меня.

Его удивление было не меньше моего.

— О, господин аббат,— сказал он,— это вы?

— Да, это я.

— А что вы тут делаете? — спросил он..

— А вы зачем тут?

Он почти пришел в себя. Еще раз огляделся, но на этот раз глаза его остановились на трупе.

— А,— сказал он, стараясь встать,— пойдете, ради Бога, пойдете отсюда, господин аббат!

— Уходите, мой милый, если вам угодно, я же пришел сюда по обязанности.

— Сюда?

— Сюда.

— Какая же это обязанность?

— Несчастный, повешенный вами сегодня, пожелал, чтобы я прочел у подножия виселицы пять раз *Отче наш* и *Богородицу* во спасение его души.

— Во спасение его души? О, господин аббат, вам трудно спасти эту душу. Это сам Сатана.

— Почему сам Сатана?

— Конечно, вы не видели разве, что он со мною сделал?

— Что же он с вами сделал?

— Он меня повесил, черт побери!

— Он вас повесил? Но я считал, напротив, что это вы ему оказали такую печальную услугу.

— Ну да, конечно! Я уверен был, что хорошо его повесил. А оказалось, что ошибся! Но как это он не воспользовался моментом, пока я висел, и не спасся?

Я подошел к трупу и приподнял его. Он был застывший и холодный.

— Да потому, что он мертв,— сказал я.

— Мертв,— повторил палач.— Мертв! А, черт, это еще хуже. В таком случае надо спасаться, господин аббат, надо спасаться!

И он встал.

— Нет,— передумал он,— лучше я останусь, а то он еще, чего доброго, погонится за мной. А вы святой, и вы меня защитите.

— Друг мой,— сказал я палачу, пристально глядя на него,— тут что-то неладно. Вы только что спрашивали меня, зачем я пришел сюда в этот час. В свою очередь я вас спрашиваю: зачем пришли вы сюда?

— Ах, господин аббат, все равно придется рассказать вам об этом на исповеди или как-то иначе. Ладно! Я и так вам скажу. Но слушайте...

Он попятился назад.

— Что такое?

— А тот там не шевелится?

— Нет, успокойтесь, несчастный совершенно мертв.

— О, совершенно мертв, совершенно мертв.. Ну, все

равно! Я все же скажу вам, зачем пришел, и если я солгу, он уличит меня, вот и все.

— Говорите...

— Надо сказать, что этот нечестивец слышать не хотел об исповеди. Он лишь время от времени спрашивал: «Приехал ли аббат Мулль?» А ему отвечали: «Нет еще». Он вздыхал, ему предлагали другого священника, а он отвечал: «Нет! Я хочу только аббата Мулля, и никого другого».

У подножия башни Гинетт он остановился:

— Посмотрите-ка, не видно ли аббата Мулля?

— Нет,— ответил я, и мы пошли дальше.

У лестницы он опять остановился:

— Аббата Мулля не видно?

— Нет же, вам сказали.

Нет хуже и надоедливее человека, который повторяет все время одно и то же.

— Тогда идем! — сказал он.

Я надел ему веревку на шею, поставил его на лестницу и сказал: «Полезай». Он полез без промедления, но, поднявшись на две трети лестницы, сказал:

— Послушайте, я должен посмотреть, наверное ли не приехал аббат Мулль.

— Смотрите,— ответил я,— это не запрещено...

Тогда он посмотрел в последний раз в толпу, но, не увидев вас, вздохнул. Я думал, что он уже покончил со всем и что остается толку толкнуть его, однако он заметил мое движение и сказал:

— Постой!

— Что еще?

— Я хочу поцеловать образок Божьей Матери, который висит у меня на шее.

— А это очень хорошо: конечно, целуй.— И я поднес образок к его губам.— Что еще?

— Я хочу, чтобы меня похоронили с этим образком.

— Гм, гм,— сказал я,— мне кажется, что все пожитки повешенного принадлежат палачу.

— Это меня не касается. Я хочу, чтобы меня похоронили с этим образком.

— «Я хочу!» «Я хочу!» Еще что вздумаете?

— Я хочу...

Терпение мое лопнуло. Он был совершенно готов: веревка — на шее, другой конец ее — на крючке.

— Убирайся к черту,— сказал я и толкнул его.

— Божья Матерь, сжался.

— Ей-богу, это все, что он успел сказать. Веревка задушила его сразу. В ту же минуту, как это всегда делается, я схватил веревку, сел ему на плечи — и все было кончено. Он не может сетовать на меня: я не заставил его страдать .

— Но все это не объясняет, почему ты явился сюда сегодня

— О, это-то труднее всего рассказать.

— Ну, хорошо, я сам тебе скажу: ты пришел, чтобы снять с него образок.

— Ну да! Черт меня попутал, и я сказал себе: ладно, если ты так хочешь. И вот, когда ночь настала, я отправился из дому. Я тут поблизости оставил лестницу и знал, где ее найти. Я прошелся, вернулся окольной дорогой и, когда увидел, что на равнине уже никого нет и что никакого шума не слышно, поставил лестницу, влез по ней, притянул к себе повешенного, снял цепочку и...

— И что?

— Ей-богу, хотите — верьте, хотите — нет. Как только я снял с шеи образок, повешенный схватил меня, вынул свою голову из петли, просунул на ее место мою и толкнул меня, как я раньше толкнул его. Вот в чем дело.

— Не может быть! Вы ошибаетесь.

— Разве вы не застали меня уже повешенным? Да или нет?

— Да.

— Уверяю вас, я не сам себя повесил. Вот все, что я могу вам сказать.

Некоторое время я размышлял.

— А где образок? — спросил я.

— Ищите его на земле, сн где-нибудь поблизости. Когда я почувствовал, что повешен, то выпустил его из рук

Я встал и поискал глазами на земле. Луна светила мне, как бы помогая в моих поисках.

Я поднял образок, подошел к трупку бедного Артифала и надел его ему опять на шею.

Когда образок коснулся его груди, по всему его телу пробежала дрожь, а из груди послышался стон.

Палач отскочил назад.

Этот стон открыл мне глаза. Я вспомнил строки Священного Писания о том, что во время изгнания злых бесов последние, исходя из тела одержимых, издавали стоны

Палач дрожал как лист.

- Идите сюда, друг мой, и не бойтесь ничего.
Он осторожно подошел.
- Что вам угодно? — спросил он.
- Надо вернуть этот труп на место.
- Ни за что! Вы хотите, чтобы он еще раз меня повесил?
- Не бойтесь, мой друг, я за все ручаюсь.
- Но, господин аббат! Господин аббат!
- Идите, говорю я вам.
- Он сделал еще шаг вперед.
- Гм,— прошептал он,— я боюсь.
- И вы ошибаетесь, мой друг. Пока на теле повешенного образок, вам нечего бояться.
- Почему?
- Потому что демон уже не имеет власти над ним. Этот образок охранял его, а когда вы его сняли, им овладел бес зла. Раньше его отгонял добрый ангел, теперь же он вселился в него, и вы видели шутки этого беса.
- В таком случае как объяснить стон, который мы только что слышали?
- Это застонал бес, когда почувствовал, что добыча ускользает от него.
- Так,— сказал палач,— это действительно возможно!
- Так оно и есть.
- Ну, так я повешу его опять на крюк.
- Повесьте. Правосудие должно свершиться, приговор должен быть исполнен.
- Бедняга еще колебался.
- Ничего не бойтесь,— сказал я ему,— я за все отвечаю.
- Дело не в этом,— ответил палач.— Не теряйте меня из виду и по первому зову спешите ко мне на помощь.
- Будьте спокойны.
- Он подошел к трупу, поднял его тихонько за плечи и потащил к лестнице, приговаривая:
- Не бойся, Артифаль, я не возьму образок. Вы не теряете нас из виду, господин аббат, не правда ли?
- Нет, мой друг, будьте спокойны.
- Я не возьму у тебя образок,— продолжал мирным голосом палач,— не беспокойся. Как ты хотел, так тебя с ним и похоронят. Ведь он не шевелится, господин аббат?

— Вы же видите.

— Тебя с ним похоронят. А пока что я верну тебя на твое место, согласно пожеланию господина аббата, а не по своей воле, понимаешь?..

— Да-да,— невольно улыбнулся я,— только поторапливайтесь!

— Слава Богу, все кончено,— сказал он, выпуская тело, которое прикрепил на крюк, и соскочил на землю.

Тело закачалось в пространстве, безжизненное, неподвижное.

Я опустился на колени и приступил к молитвам, о которых меня просил Артифаль.

— Господин аббат,— сказал палач, становясь рядом со мной на колени,— вы не согласитесь произносить молитвы громко и медленно, так, чтобы я мог повторять их за вами?

— Как, несчастный, неужели ты их забыл?

— Мне кажется, что я никогда их не знал.

Я прочитал пять раз *Отче Наш* и пять раз *Богородицу*, и палач повторял их за мною.

Покончив с молитвами, я встал.

— Артифаль,— сказал я тихо казненному,— я все сделал для спасения твоей души и передаю тебя под покровительство Божьей Матери

— Аминь! — произнес мой товарищ.

В эту минуту водопад серебристого света обрушился на нас—это луна вышла из-за туч, попутно осветив труп. Колокол церкви Божьей Матери пробил полночь.

— Пойдем,— сказал я палачу,— больше нам здесь нечего делать.

— Господин аббат,— попросил бедняга,— не будете ли так добры оказать мне последнюю милость?

— Какую?

— Проводите меня домой. Пока дверь не захлопнется за мною и не отделит меня от этого разбойника, я не буду спокоен.

— Идем, мой друг.

Мы ушли с площади, причем мой попутчик через каждые десять шагов оборачивался, чтобы убедиться, висит ли повешенный на своем месте.

Повешенный не шевелился.

Мы направились в город. Я проводил своего спутника, подождал, пока он зажег в доме огонь, а затем запер за мною дверь и через дверь же простился со мною и поблагодарил. Я вернулся домой успокоенный.

На другой день, когда я проснулся, мне сказали, что в столовой меня ждет жена разбойника.

Лицо ее было спокойное, почти счастливое.

— Господин аббат,— произнесла она,— я пришла благодарить вас. Вчера, когда пробило полночь в церкви Божьей Матери, ко мне явился мой муж и сказал: «Завтра утром отправляйся к аббату Муллю и скажи ему, что милостью его и Божьей Матери я спасен».

XI

ВОЛОСЯНОЙ БРАСЛЕТ

— Мой милый аббат,— сказал Аллиет,— я вас очень уважаю и питаю глубокое почтение к Казотту. Я вполне допускаю влияние вашего злого гения, но вы забываете нечто, чему я сам служу примером,— что смерть не убивает жизни, ведь она не более чем превращение человеческого тела; смерть убивает память, вот и все. Если бы память не умирала, каждый помнил бы все переселения своей души от сотворения мира до наших дней. Философский камень не что иное, как эта тайна; эту тайну открыл Пифагор, и ее же заново открыли граф Сен-Жермен и Калиостро; этой тайной в свою очередь обладаю я; мое тело может умереть; я положительно помню, что оно умирало уже четыре или пять раз, и даже если я говорю, что мое тело умрет, я ошибаюсь. Существуют некоторые тела, которые не умирают, и я одно из таких тел.

— Господин Аллиет,— сказал доктор,— можете ли вы заранее дать мне позволение?

— Какое?

— Вскрыть вашу могилу через месяц после вашей смерти?

— Через месяц, через два месяца, через год, через десять лет,— когда вам угодно, доктор. Только примите меры предосторожности... так как, причиняя вред моему трупу, вы можете повредить другому телу, в которое вселится моя душа.

— Итак, вы верите в эту нелепость?

— Мне заплатили, чтобы я верил: я видел.

— Что вы видели? Вы видели живым одного из таких мертвецов?

— Да.

— Ну, господин Аллиет, так как все уже рассказывали свою историю, то и вы свою расскажите. Хотелось бы, чтобы она оказалась одной из самых правдоподобных.

— Правдоподобна история или нет, а я расскажу всю правду. Я ехал из Страсбурга на воды Луешь. Вы помните, доктор, дорогу туда?

— Нет, но это не важно, продолжайте.

— Итак, я ехал из Страсбурга на воды Луешь и, конечно, проезжал через Базель, где должен был выйти из общественного экипажа и взять извозчика.

Остановившись в отеле «Корона», который мне рекомендовали, я разыскал экипаж и извозчика и попросил хозяина узнать, не едет ли кто по той же дороге. В утвердительном случае я поручил ему предложить такой особе совместную поездку, так как от этого поездка стала бы более приятной и стоила бы дешевле.

Вечером он вернулся с благоприятным результатом: жена базельского негоцианта, потеряв трехмесячного ребенка, которого сама кормила, заболела, и ей предписали лечиться на водах Луешь. То был первый ребенок у молодой четы, поженившейся год тому назад.

Хозяин рассказал, что молодую женщину с трудом уговорили расстаться с мужем. Она непременно хотела или остаться в Базеле, или ехать в Луешь вместе с мужем, но состояние ее здоровья делало для нее необходимым пребывание на водах, а состояние торговли мужа требовало его присутствия в Базеле. Она наконец решилась и должна была на другой день утром выехать со мной. Ее сопровождала горничная.

Католический священник, исполнявший должность священника в одной окрестной деревушке, был нашим попутчиком и занимал четвертое место в экипаже.

На другой день, в восемь часов утра, экипаж подъехал за нами к отелю; священник сидел уже там. Я занял свое место, и мы отправились за дамой и ее горничной.

Сидя внутри экипажа, мы стали свидетелями прощания двух супругов: оно началось у них в квартире, продолжалось в магазине и закончилось только на улице. У жены было, несомненно, какое-то предчувствие, так как она никак не могла утешиться. Можно было подумать, что она отправляется в кругосветное путешествие, а не за пятьдесят миль

Муж казался спокойнее ее, хотя и он все-таки выглядел более взволнованным, чем следовало бы.

Наконец мы тронулись.

Конечно, мы — я и священник — уступили лучшие места путешественнице и ее горничной, то есть мы сидели на передних местах, а они внутри экипажа.

Мы поехали по дороге на Солер и в первый же день ночевали в Мудингвиле. Наша спутница весь день выглядела сильно огорченной и озабоченной. Заметив вечером обратный экипаж, она хотела вернуться в Базель. Горничная, однако, уговорила ее продолжать путешествие.

На другое утро мы тронулись в путь в девять часов. День был короток, и мы не рассчитывали проехать дальше Солера. К вечеру, когда показался город, большая наша забеспокоилась.

— Ах,— сказала она,— остановитесь, за нами едут. Я высунулся из экипажа.

— Вы ошибаетесь, сударыня,— ответил я,— на дороге никого нет.

— Странно,— настаивала она,— я слышу галоп лошади.

— Я подумал, что меня подвело зрение, и еще больше высунулся из экипажа.

— Никого нет, сударыня,— сказал я ей.

Она сама посмотрела и увидела, что на дороге никого нет.

— Значит, я ошиблась,— подтвердила она, откидываясь в глубь экипажа, и закрыла глаза, как будто желая сосредоточиться.

На другой день мы выехали в пять утра. Путь нам предстоял неблизкий. Наш извозчик добрался до Берна, где нас ждал ночлег, в тот же час, что и накануне, то есть около пяти часов. Спутница наша как бы очнулась ото сна и протянула руку к кучеру.

— Стойте! — попросила она.— На этот раз я уверена, что за нами едут.

— Сударыня, вы ошибаетесь,— ответил кучер.— Я вижу только трех крестьян, которые перешли через дорогу и идут тихонько.

— О! Но я слышу галоп лошади.

Слова эти были сказаны с такой убежденностью, что я невольно оглянулся назад. Как и вчера, на дороге решительно никого не было.

— Это невозможно, сударыня,— возразил я,— я не вижу всадника.

— Как это вы не видите всадника, когда я вижу тень человека и лошади?

Я посмотрел по направлению ее руки и действительно увидел тень лошади и всадника. Но тщетно искал я тех, чьи тени виднелись. Я указал на это странное явление священнику, и тот перекрестился. Мало-помалу тень стала бледнеть и наконец исчезла.

Мы въехали в Берн.

Все эти предчувствия казались бедной женщине роковыми. Она все твердила, что хочет вернуться, однако продолжала свой путь.

Вследствие нравственной тревоги или вследствие прогрессирующей болезни здоровье ее настолько ухудшилось, что отсюда ей пришлось продолжать путь на носилках; этим способом она проследовала через Кандер-Таль, а оттуда на Гемми. По прибытии в Луешь она заболела рожистым воспалением и больше месяца оставалась глуха и слепа.

К тому же предчувствия ее не обманули: едва она отъехала двадцать миль, как муж ее заболел воспалением мозга. Болезнь так быстро развивалась, что, сознавая опасность своего положения, он в тот же день отправил верхового предупредить жену и просить ее вернуться. Но между Лауфеном и Брейнтейнбахом лошадь пала, всадник свалился, ушибся головой о камень и остался в гостинице, откуда мог лишь известить пославшего его о случившемся с ним несчастье.

Тогда отправили другого нарочного, но несомненно над ними тяготел какой-то рок: в конце Кандер-Талья он оставил лошадь и взял проводника, чтобы взойти на возвышенность Швальбах, которая отделяет Оберланд от Вале; на полпути с горы Аттелс сошла лавина и унесла его в пропасть; проводник спасся чудом.

Между тем болезнь быстро прогрессировала. По рекомендации врача больному обрили голову, так как он носил длинные волосы, а надо было класть на голову лед. С этой минуты умирающий не питал уже больше никакой надежды и в момент некоторого облегчения написал жене:

«Дорогая Берта!

Я умираю, но не хочу расстаться с тобой совсем. Сделай себе браслет из волос, которые мне обрезали и ко-

горы я спрятал для тебя. Носи всегда этот браслет и, благодаря этому, как мне кажется, мы всегда будем вместе.

Твой Фридрих».

Он отдал письмо третьему нарочному и велел отправиться в дорогу тотчас же после его смерти.

В тот же вечер он умер. Через час после его смерти нарочный уехал и, будучи счастливее своих предшественников, к концу пятого дня добрался в Луешь.

Но он застал жену умершего глухой и слепой. Только через месяц благодаря лечению водами ее глухота и слепота стали проходить. По истечении еще одного месяца решились сообщить ей роковую весть, к которой разные видения подготовили ее. Еще месяц потребовался ей, чтобы окончательно поправиться, и, наконец, через три месяца отсутствия она вернулась в Базель.

Поскольку и я закончил курс лечения водами, после чего ревматизм немного отпустил, то я просил позволения поехать вместе с ней. Она с признательностью согласилась на это, так как у нее появилась возможность говорить со мной о муже, которого я хотя и мельком видел в день отъезда, но все же видел.

Мы покинули Луешь и на пятый день вечером вернулись в Базель.

Что может быть печальнее и тяжелее возвращения бедной вдовы домой? Так как молодые супруги были одни на свете, то, когда муж умер, магазин заперли, торговля остановилась, как останавливаются часы, когда выходит из строя маятник. Послали за врачом, который лечил больного; разысканы были разные лица, присутствовавшие при последних минутах умершего, и благодаря им восстановили моменты, уже почти забытые этими равнодушными людьми.

Она попросила волосы, завещанные ей мужем.

Врач вспомнил, что он действительно велел остричь больному волосы; парикмахер вспомнил, что он действительно остриг его, вот и все. Волосы же куда-то запрятали, забросили — словом, потеряли. Женщина была в отчаянии: она не могла исполнить единственное желание умершего — сделать себе браслет из его волос и постоянно носить.

Прошло несколько ночей, очень печальных ночей, в течение которых вдова бродила по дому, как тень. Едва она ложилась спать, вернее, едва она начинала дремать,

как правая рука у нее немела и, когда онемение доходило до сердца, она просыпалась.

Это онемение начиналось от кисти, то есть от того места, где она должна была носить волосяной браслет и где она чувствовала давление от очень узкого железного браслета; а от кисти онемение, как мы уже сказали, распространялось до сердца. Очевидно, таким способом умерший высказывал сожаление о том, что его последняя воля не была исполнена.

Вдова восприняла эти сожаления с того света. Она решила вскрыть могилу и, если голова мужа острижена не догола, собрать волосы и выполнить его последнее желание.

Никому не сказав ни слова о своем плане, она послала за могильщиком. Но могильщик, хоронивший ее мужа, умер. Новый могильщик всего две недели назад вступил в должность и не знал, где могила ее мужа.

Тогда, надеясь на откровение, она, имевшая основания верить в чудеса после двойного видения лошади и всадника и давления браслета, отправилась на кладбище одна, села на могилу, покрытую свежей зеленой травой, и стала ждать какого-нибудь нового знака, по которому она могла бы приняться за свои розыски.

На стене кладбища нарисована была пляска мертвецов. Вдова вперила взор в Смерть и упорно фиксировала эту насмешливую и страшную фигуру. И вдруг ей показалось, что Смерть подняла свою костлявую руку и концом костлявого пальца указала на одну из могил.

Вдова направилась прямо к этой могиле, а когда она подошла к ней, ей показалось, что Смерть опустила руку на прежнее место. Вдова отметила могилу, пошла за могильщиком, привела его к указанному месту и сказала:

— Копайте, это здесь!

Я присутствовал при этом. Мне хотелось проследить это таинственное происшествие до конца.

Могильщик принялся копать. Добравшись до гроба, он снял крышку. Сначала он было заколебался, но вдова сказала уверенным голосом:

— Снимите, это гроб моего мужа.

Он повиновался, так как эта женщина умела внушить другим ту уверенность, какую сама испытывала.

И тогда совершилось чудо, которое я видел собственными глазами. Труп действительно оказался трупом ее мужа, он сохранил, если не считать бледности, всю свою

прижизненную внешность, а остриженные волосы со дня смерти так отросли, что вылезали во все щели гроба.

Бедная женщина нагнулась к мертвому мужу, который казался спящим; она поцеловала его в лоб, отрезала прядь длинных волос, столь чудесным образом выросших на голове мертвеца. Тогда же она заказала себе из них браслет, и с этого дня онемение, которое она ощущала по ночам, прошло. Только всякий раз, когда вдове грозило несчастье, ее предупреждало об этом тихое давление, дружеское пожатие браслета».

— Ну! Вы полагаете, что этот мертвец действительно умер? И труп в самом деле был трупом? Я этого не думаю.

— Но,—спросила бледная дама таким странным голосом, что все вздрогнули, тем более что вокруг царила темнота,— вы не слышали, не выходил ли этот труп из могилы? Не видел ли его кто-либо, не чувствовал его прикосновения?

— Нет,—ответил Аллиет,— я уехал оттуда.

— А-а! — воодушевился доктор.— Напрасно, господин Аллиет, вы так уступчивы. Вот мадам Грегориסקа уже готова превратить вашего добродушного купца из Базеля в польского, валахского или венгерского вампира. Разве во время вашего пребывания в Карпатах,— продолжал смеясь доктор,— вы не встречали там, случайно, вампиров?

— Слушайте,—сказала бледная дама со странной торжественностью,— раз все здесь уже рассказывали свои истории, то и я расскажу свою. Доктор, на сей раз вы не скажете, что эта история не правдивая, ибо это моя история. И вы наконец узнаете, почему я так бледна.

В эту минуту лунный луч пробился через занавеси и осветил призрачным синеватым светом кушетку, на которой она лежала; она казалось черной мраморной статуей на могиле.

Никто не откликнулся на ее предложение, но молчание, царившее в гостиной, показывало, что все с тревогой ждут ее рассказа.

XII

КАРПАТСКИЕ ГОРЫ

«Я — полька, родилась в Сандомире, в стране, где легенды свято передаются из поколения в поколение, а в

семейные предания верят даже больше, чем в Евангелие. Здесь нет замка, в котором не было бы своего привидения, нет хижины, в которой не было бы своего домашнего духа. Богатые и бедные, обитающие в замке и в хижине, верят в дружескую стихию и враждебную стихию. Иногда эти две стихии вступают между собою в противоборство, и тогда в коридорах раздается такой таинственный шум, в старых башнях такой страшный вой, стены так дрожат, что крестьяне и дворяне убегают из хижин и замков в церковь к святому кресту и святым мощам — единственному прибежищу против мучающих их злых духов. Но и там сталкиваются две стихии, еще более страшные, еще более озлобленные и неумолимые, — тирания и свобода.

В 1825 году между Россией и Польшей разгорелась борьба не на жизнь, а на смерть, когда истощаются не только силы народа, но и силы отдельной семьи.

Мой отец и два моих брата восстали против нового царя и присоединились к восстанию под знаменем польской независимости, постоянно подавляемой и всегда вновь возрождающейся.

Однажды я узнала, что убит мой младший брат; на другой день мне сообщили, что смертельно ранен мой старший брат; наконец, после целого дня пальбы из пушек, к которой я с ужасом прислушивалась и которая раздавалась все ближе и ближе, явился мой отец с сотней всадников, — это все, что осталось от той армии повстанцев, которыми он командовал. Он заперся в нашем замке с намерением погибнуть под его развалинами.

Отец мой был необычайно храбрым, но боялся за меня. И в самом деле, для отца речь шла о смерти, так как он не дался бы живым в руки врагов; меня же ожидало рабство, бесчестье и позор.

Из сотни оставшихся людей отец выбрал десять, призвал управляющего, отдал ему все наше золото и драгоценности и, вспомнив, что во время второго раздела Польши моя мать, будучи еще почти ребенком, нашла убежище в неприступном монастыре Сагастру в Карпатских горах, приказал проводить меня в этот монастырь, не сомневаясь в том, что если там оказали гостеприимство матери, то окажут его и дочери.

Хотя отец сильно любил меня, прощание со мной не было продолжительным: русские должны были, по всей вероятности, появиться возле замка завтра, и нельзя было терять времени.

Я поспешно оделась так, как одевалась обыкновенно, когда сопровождала братьев на охоту. Для меня оседлали самую надежную лошадь, отец выдал нам свои собственные пистолеты тульской работы, обнял меня и распорядился отправляться в путь.

В течение ночи и следующего дня мы преодолели двадцать миль, следуя по берегам одной из тех рек без названия, которые впадают в Вислу. Теперь мы были в безопасности.

Когда рассвело, в первых лучах солнца мы увидели заснеженные вершины Карпатских гор. К концу следующего дня добрались до их подножия. На третий день утром мы вошли в одно из ущелий.

Наши Карпатские горы совершенно не похожи на ваши горы. Тут перед вами предстает во всем своем величии природа своеобразная и грандиозная. Грозные вершины теряются в облаках, покрытые снегом; громадные сосновые леса отражаются в зеркальной поверхности озер, похожих на моря; эти озера никогда не бороздила лодка, их хрустальную поверхность никогда не мутила сеть рыбака; редко-редко раздается там голос человека, слышится песнь, которой вторят крики диких животных; песня и крики будят удивленное, одинокое эхо.

Целые мили здесь можно ехать под мрачными лесными сводами; на каждом шагу тишина может прерваться чудными звуками, повергающими вас в изумление и восторг. Там вас везде подстерегает опасность, тысячи различных опасностей, но вам некогда испытывать страх, настолько величественна эта опасность. То вы встречаете образовавшиеся от тающего льда водопады, низвергающиеся со скалы на скалу и заливающие узкую, проложенную диким зверем и преследовавшим его охотником тропинку, по которой вы шли; то подгнившие от старости деревья падают со страшным треском, похожим на грохот землетрясения; то, наконец, поднимается ураган, надвигаются тучи, и молния сверкает и прорезывает их, как огненный змей.

Затем после остроконечных вершин, после бескрайних девственных лесов перед вами открываются до самого горизонта холмы, издали напоминающие волнующееся море. Не ужас овладевает тогда вами, а тоска, вы впадаете в глубокую меланхолию, которую ничто не может рассеять: куда бы вы ни кинули свой взор, всюду однообразный вид. Вы двадцать раз поднимаетесь и спускаетесь по одинаковым холмам, тщетно разыскивая

протопанную тропу, вы чувствуете себя затерянным, одиноким среди величественной природы, и ваша меланхолия переходит в отчаяние. В самом деле, ваше продвижение вперед становится бесцельным, вам кажется, что оно никуда вас довести не может; вы не встречаете ни деревни, ни замка, ни хижины — никакого следа человеческого жилья. Иногда только, чтобы усугубить мрачный пейзаж, попадается образовавшееся в глубине ущелья маленькое озерцо, без тростника и кустов, которое, как Мертвое море, преграждает вам путь своими зелеными водами, а над ними носятся птицы, улетающие при вашем приближении с пронзительными, душераздирающими криками. Вот вы сворачиваете и поднимаетесь по холму, спускаетесь в другую долину, поднимаетесь еще на один холм, и это продолжается до тех пор, пока вы не преодолеете целую цепь холмов, постоянно понижающихся.

Но вы поворачиваете на юг, и цепь кончается, пейзаж снова становится величественным, вы видите другую цепь очень высоких гор, более живописных и более разнообразных по очертаниям. Тут опять все покрыто лесом, все перерезано ручьями; тут тень и вода, и пейзаж оживляется. Слышен колокол монастыря; по склону гор тянется обоз. Наконец, в последних лучах солнца вы различаете деревеньку, чьи домики жмутся один к другому, словно стая встревоженных белых птиц. С появлением признаков цивилизации возвращается опасность, причем более реальная, чем в описанных прежде горах. Приходится бояться не медведей и волков, а шайки молдавских разбойников.

Однако мы продвигались. Пропутешествовав десять дней без приключений, мы наконец увидели вершину горы Пион, возвышающуюся над всеми соседними; на ее южном склоне и находится монастырь Сагастру, в который я направлялась. Прошло еще три дня, и мы наконец добрались до него.

Стоял конец июля. День выдался жаркий, и, когда начало вечереть, мы с громадным наслаждением вдыхали горную прохладу. Мы проехали развалины башни Нианцо, спустились на равнину, которую давно видели из ущелья. Мы могли уже отсюда следить за течением Бистрицы, по берегам которой пестрели красные и белые цветы. Мы ехали над пропастью, на дне которой текла река, которая здесь была просто потоком. Наши лошади двигались парами из-за узкой тропы. Впереди ехал наш

проводник, склонившись к самому крупу лошади. Он пел монотонную славянскую песню, к словам которой я прислушивалась с особенным интересом.

Певец был несомненно поэтом. То была настоящая песнь горца, исполненная печали и мрачной простоты.

Вот слова этой песни:

На болоте Ставила безмолвье царит —
Там злого разбойника тело лежит.
Скрывая от кроткой Марии,
Он грабил, он жег, разрушал;
Он честных сынов Илирии
В пустынных горах убивал.

Его сердце пронзил злой свинец ураганом,
И острым изранена грудь ятаганом.
Три дня протекло Над землей
Три раза уж солнце всходило.
И труп под печальной сосной
Три раза оно осветило.

И о, чудо! — четвертая ночь лишь прошла,
Из ран вдруг горячая кровь потекла.
Уж очи его голубые
Не взглянут на радостный мир,
Но ожили мысли в нем злые..
Бежим! Тот разбойник вампир!

Горе тем, кто к болоту Ставила попал.
От трупа бежит даже жадный шакал,
И коршун зловеющий летит
К горе с обнаженной вершиной
И вечно безмолвье царит
Над мрачной и дикой трясиной.

Вдруг раздался ружейный выстрел, просвистела пуля. Песнь оборвалась, и проводник, сраженный наповал, скатился в пропасть. Лошадь же его остановилась, вздрагивая, и стала вытягивать свою умную морду в сторону пропасти, в которой исчез ее хозяин.

В то же время прозвучал сильный крик, и с горного склона скатились и окружили нас человек тридцать разбойников.

Сопровождавшие меня старые солдаты, хотя и застигнутые врасплох, но привыкшие к внезапным перестрелкам, не испугались и ответили выстрелами. Понимая невыгодность нашей позиции, я, дабы показать пример остальным, схватила пистолет, вскричала: «Вперед!» — и пришпорила лошадь, которая понеслась по направлению к равнине.

Но мы имели дело с горцами, перепрыгивавшими со скалы на скалу, как настоящие демоны преисподней; они стреляли, перепрыгивая и сохраняя занятую ими на склоне позицию.

К тому же они предвидели наш маневр. Там, где дорога становилась шире, на выступе горы нас поджидал молодой человек во главе десятка всадников; заметив нас, они пустили лошадей галопом и встретили нас с фронта; те же, кто нас преследовали, бросились с горного склона, перерезали нам отступление и окружили нас со всех сторон.

Положение было опасное. Однако же, привыкшая с детства к сценам войны, я следила за всеми и не упускала из виду ни одной подробности.

Все эти люди, одетые в овечьи шкуры, носили громадные круглые шляпы, украшенные живыми цветами, какие носят венгерцы. У всех у них были длинные турецкие ружья, которыми они после каждого выстрела размахивали, испуская при этом воинственные крики, за поясом — кривая сабля и пара пистолетов.

Их предводителем был молодой человек, едва достигший двадцати двух лет, бледный, с миндалевидными черными глазами, длинными вьющимися волосами, ниспадавшими на плечи, одетый в молдавский костюм, отделанный мехом и стянутый у талии кушаком с золотыми и шелковыми полосами. В его руке сверкала кривая сабля, а из-за пояса торчали четыре пистолета. Во время схватки он испускал хриплые и невнятные звуки, не похожие на какой-либо человеческий язык, очевидно, отдавая приказания, так как люди, повинувшись его крикам, бросались ничком на землю, чтобы избежать выстрелов наших солдат, поднимались, чтобы стрелять в свою очередь, убивали тех, кто еще стоял, добивали раненых и превратили схватку в бойню.

Мои защитники падали на моих глазах один за другим. Четверо еще держались; они сплотились вокруг меня и не просили пощады, так как знали, что не получат ее, и думали только об одном — продать свою жизнь как можно дороже.

Тогда молодой предводитель испустил крик более выразительный, чем прежние, и направил свою саблю на нас. Вероятно, он дал приказание расстрелять последнюю группу, потому что длинные ружья сразу опустились.

Я поняла, что настал наш последний час, подняла глаза и руки к небу с последней мольбой и ждала смерти.

В эту минуту я увидела молодого человека, который не спустился, а скорее бросился с горы, перепрыгивая со скалы на скалу; он остановился на высоком камне, который господствовал над всей этой местностью, и стоял на нем, как статуя на пьедестале; он протянул руку к полю битвы и произнес одно лишь слово:

— Довольно!

При первых же звуках этого голоса глаза всех устремились вверх, и казалось, что все повинуются новому повелителю. Только один разбойник положил ружье на плечо и выстрелил.

Один из наших людей испустил стон — пуля пронзила его левую руку. Он повернулся, чтобы броситься на того, который его ранил, но, прежде чем лошадь его сделала четыре шага, блеснул огонь, и мятежный разбойник рухнул с простреленной головой.

От всего пережитого, что оказалось выше моих сил, я упала в обморок. Когда я пришла в себя, то обнаружила, что лежу на траве, а голова моя покоится на коленях мужчины; я видела только его белую руку, всю в кольцах, обнявшую меня за талию, а передо мною стоял, скрестив руки, с саблей под мышкой, молодой молдавский предводитель, который командовал нападавшими на нас разбойниками.

— Костаки,— сказал властным голосом по-французски тот, кто поддерживал меня,— вы сейчас же уведете ваших людей, а мне предоставите заботу об этой молодой женщине.

— Брат мой, брат мой,— говорил тот, к кому относились эти слова и кто едва себя сдерживал,— берегитесь, не выводите меня из терпения: я предоставляю вам замок, вы же предоставьте мне лес. В замке хозяин вы, здесь же всецело властвую я. Здесь достаточно одного моего слова, чтобы заставить вас повиноваться.

— Костаки, я старший. И я говорю вам, что я властен всюду: и в лесу, и в замке. О, в моих жилах, как и в ваших, течет кровь Бранкованов, королевская кровь, которая привыкла властвовать. Я повелеваю!

— Вы, Грегориска, командуйте вашими слугами, а моими солдатами повелевать буду я.

— Ваши солдаты — разбойники, Костаки... Разбойники, которых я велю повесить на зубцах наших башен, если они не подчинятся мне сию минуту.

— Ну, попробуйте-ка им приказать.

Тот, кто меня поддерживал, высвободил свое колено и бережно положил мою голову на камень. Я с беспокойством следила за ним; то был тот самый молодой человек, который как бы упал с неба во время схватки. Я видела его мельком, так как лишилась чувств в то время, когда он говорил.

Теперь же я смогла рассмотреть его как следует. Молодому человеку было года двадцать четыре, он был высокий, с голубыми глазами, в которых сквозили решимость и удивительная твердость. Его длинные белокурые волосы, признак славянской расы, рассыпались по плечам, как волосы архангела Михаила, обрамляя щеки; на губах его блуждала презрительная улыбка, обнажая ряд жемчужных зубов; взгляд его сочетал зоркость орла и блеск молнии. Он был одет в кафтан из черного бархата, на голове — шапочка с орлиным пером, похожая на шапочку Рафаэля; на нем были панталоны в обтяжку и расшитые сапоги. На поясе, стягивавшем тонкую талию, висел у него охотничий нож, на плече — двуствольная винтовка, в меткости которой уже мог убедиться один из разбойников.

Он протянул руку, и эта протянутая рука как бы дала повеление брату. Он произнес несколько слов помолдавски, и слова эти произвели, по-видимому, глубокое впечатление на разбойников.

Тогда на том же языке заговорил в свою очередь предводитель шайки, и я уловила в его словах угрозы и проклятия.

Но на всю эту длинную и пылкую речь старший брат ответил лишь одним словом.

Разбойники поклонились. Он сделал им знак, и все они выстроились позади нас.

— Ну хорошо, пусть так, Грегориска,— сказал Костаки опять по-французски.— Эта женщина не пойдет в пещеру, но она все же будет принадлежать мне. Я нахожу ее красивой, я ее завоевал, и я ее желаю.— Проговорив все это, он бросился ко мне и заключил в объятия.

— Женщина эта будет отведена в замок и передана моей матери. Здесь я ее не оставлю,— возразил мой покровитель.

— Подайте мою лошадь! — скомандовал Костаки помолдавски.

Десять разбойников бросились исполнять приказание

и привели своему предводителю лошадь, которую он требовал.

Грегориска огляделся по сторонам, схватил лошадь под уздцы и вскочил на нее, не касаясь стремян.

Костаки вскочил в седло так же легко, как и брат его, хотя он держал меня на руках, и помчался галопом. Лошадь Грегориски неслась рядом и терлась головой о голову и бока лошади Костаки. Любопытно было видеть этих двух всадников, скакавших бок о бок, мрачных, молчаливых, не терявших друг друга из виду ни на одну минуту и не показывавших, что они смотрят друг на друга, склонившись к своим лошадям, отчаянный бег которых увлекал их через леса, скалы и пропасти.

Голова моя была запрокинута, и я видела, как красивые глаза Грегориски упорно смотрят на меня. Заметив это, Костаки приподнял мою голову, и я видела только его мрачный взгляд, которым он пожирал меня. Я опустила веки, но это было напрасно: даже сквозь веки я видела пронзительный взгляд, проникавший в мою душу. Тогда овладела мною странная галлюцинация: мне показалось, что я Ленора из баллады Бюргера, что меня уносят привидения — лошадь и всадник, и когда я почувствовала, что мы остановились, то с ужасом открыла глаза, так как была уверена, что увижу поломанные кресты и открытые могилы.

То, что я увидела, было отнюдь не весело,— это был внутренний двор молдавского замка четырнадцатого столетия.

ХIII

ЗАМОК БРАНКОВАН

Костаки спустил меня с рук на землю и почти тотчас соскочил сам, но, как бы ни были быстры его движения, Грегориска все-таки его опередил.

В замке, как и сказал Грегориска, хозяином был он. Слуги выбежали, увидя прибывших двух молодых людей и привезенную ими чужую женщину, но хотя их услужливость простиралась и на Костаки, и на Грегориску, заметно было однако, что больший почет и уважение они оказывают последнему. Подошли две женщины. Грегориска отдал им приказание на молдавском языке, а мне сделал знак рукою, чтобы я следовала за ними.

Во взгляде, которым он сопровождал этот знак, было столько уважения, что я не колебалась ни секунды. Пять минут спустя я была в большой комнате, которая даже невзыскательному человеку показалась бы не особенно уютной, но которая, очевидно, была в замке лучшей.

Это была большая квадратная комната, в которой стоял диван, обтянутый зеленой тканью, пять или шесть больших дубовых кресел, большой сундук и в углу кресло с балдахином, напоминающим великолепное сиденье в церкви.

Ни на окнах, ни на кровати не было и следа занавесей. В комнату входили по лестнице, в нишах которой стояли во весь рост (больше обыкновенного) три статуи Бранкованов.

Через некоторое время в эту комнату принесли вещи, между которыми были и мои чемоданы. Женщины предложили мне свои услуги. Я привела в порядок свой туалет и осталась в своей длинной амазонке, так как костюм этот как-то больше подходил к костюмам моих хозяев.

Едва успела я привести себя в порядок, как в дверь тихо постучали.

— Войдите,— сказала я, конечно, по-французски, ибо для нас, поляков, французский почти родной.

Грегориска вошел.

— Сударыня, я счастлив, что вы говорите по-французски.

— И я, сударь,— ответила я,— счастлива, что говорю на этом языке. Благодаря этой случайности я смогла оценить ваше великодушное ко мне отношение. На этом языке вы защищали меня от посягательств вашего брата, и на этом языке я выражаю вам мою искреннюю признательность.

— Благодарю вас, сударыня. Это естественно, что я принял участие в женщине, оказавшейся в столь затруднительном положении. Я охотился в горах, когда услышал частые выстрелы, раздававшиеся неподалеку. Я понял, что там происходит вооруженное нападение, и пошел на огонь, как говорят по-военному. Слава Богу, я подоспел вовремя. Но позвольте мне узнать, сударыня, по какому случаю такая знатная женщина, как вы, очутилась в наших горах?

— Я, сударь, полька,— объяснила я.— Мои два брата только что убиты на войне с Россией. Мой отец, которого я оставила за приготовлениями к защите нашего замка от врага, без сомнения, теперь уже присоединился к ним,

я же по приказанию отца убежала с места битвы и должна была искать убежища в монастыре Сагастру, в котором моя мать в молодости при таких же обстоятельствах нашла надежное пристанище.

— Вы — враг русских, тем лучше, — сказал молодой человек. — Это поможет вам здесь, в замке, а нам понадобятся все наши силы в той борьбе, которая предстоит. Теперь, когда я знаю, кто вы, узнайте и вы, сударыня, кто мы. Имя Бранкован вам, должно быть, неизвестно?

Я поклонилась.

— Моя мать — последняя княгиня, носящая это имя; она последняя в роду этого знаменитого предводителя, убитого Кантемирами, этими презренными придворными Петра I. В первом браке мать моя состояла с моим отцом Сербаном Вайвади, также князем, но из менее знатного рода. Отец мой получил воспитание в Вене, где имел возможность оценить преимущества цивилизации. Поэтому позднее он решил сделать из меня европейца. Мы отправились во Францию, в Италию, Испанию и Германию.

Моя мать (знаю, сыну не следовало бы рассказывать то, что я расскажу вам, но ради вашего спасения необходимо, чтобы вы нас хорошо знали, так что, надеюсь, вы поймете причины этого разоблачения) во время первого путешествия моего отца, когда я был еще ребенком, вступила в преступную связь с предводителем повстанцев — так в этой стране называют людей, напавших на вас, — сказал улыбаясь Грегориска, — моя мать, говоря я, вступила в то время в преступную связь с графом Джиордаки Копроли, полугреком, полумолдаванином, обо всем написала отцу и попросила развода. В качестве причины развода она выставила то, что она, потомок Бранкованов, не желает оставаться женою человека, который с каждым днем становился все более чужд своей стране. Увы, моему отцу не пришлось давать согласия на это требование, которое вам может показаться странным, между тем как у нас развод самое естественное и самое обычное дело. Отец мой в это время умер от аневризма, которым он страдал давно, так что это письмо получил я.

Мне ничего не осталось, как искренне пожелать счастья моей матери. Я написал письмо с моими пожеланиями и уведомил ее, что она вдова.

В этом же письме я испрашивал позволения продолжать мое путешествие, и такое позволение было мною получено. Я намерен был поселиться во Франции или в Германии, потому что не хотел встречаться с человеком, который ненавидел меня и кого не мог любить я, то есть с мужем моей матери.

Неожиданно я узнал, что граф Джордаки Копроли убит, и поспешил вернуться. Я любил свою мать, сочувствовал ее одиночеству, понимал, как нуждалась она в том, чтобы при ней в такую минуту находились люди, которые могли быть ей дороги. Хотя она и не питала ко мне нежных чувств, но я был ее сын.

И вот в одно прекрасное утро я вернулся в замок наших предков. Я встретил здесь молодого человека; я посчитал его чужим, но потом узнал, что он мой брат.

То был Костаки, внебрачный сын моей матери, усыновленный позднее Копроли. Костаки — неукротимый человек, как вы уже успели убедиться, для которого закон — его страсти, для которого на свете нет ничего святого, кроме матери, который подчиняется мне, как тигр подчиняется руке укротителя: с вечным ревом и со смутной надеждой пожрать меня в один прекрасный день. Внутри замка, в жилище Бранкованов и Вайвади, я еще повелитель; но за оградой, в горах, он просто безумствует и хочет, чтобы все склонялись под его железной волей. Почему он уступил сегодня, почему сдались его люди — не знаю: по старой привычке, наверное. Но я не рискнул бы еще раз испытывать судьбу. Оставайтесь здесь, не выходите из этой комнаты, из этого двора, не выходите за стены замка, и тогда я ручаюсь за вашу безопасность; если же вы сделаете хоть один шаг за ограду замка, тогда я ни за что не ручаюсь, но готов умереть, защищая вас.

— Не могла бы я согласно желанию моего отца продолжать мой путь в монастырь Сагастру?

— Пожалуйста, прикажите, и я буду вас сопровождать, но по дороге я буду убит, а вы... вы не доедете.

— Что же мне делать?

— Оставаться здесь и ждать развития событий, чтобы воспользоваться случаем. Предположите, что вы попали в вертеп разбойников и что только одно мужество может вас спасти, что только ваше хладнокровие может вас выручить. Хотя моя мать отдает предпочтение Костаки, сыну любви, она добра и великодушна. К тому же она урожденная Бранкован, настоящая княгиня. Вы

се увидите, она защитит вас от грубых притязаний Костаки. Отдайте себя под ее покровительство; вы красивы — она вас полюбит. — Он посмотрел на меня с неизъяснимым выражением: — Да и кто может, увидев вас, не полюбить? Пойдемте теперь в столовую, она ждет нас там. Не выказывайте ни смущения, ни недоверия, говорите по-польски, никто здесь не знает этого языка. Я буду переводить матери ваши слова. Не беспокойтесь, я скажу лишь то, что нужно будет сказать. Но не проговоритесь ни единым словом о том, что я вам открыл, никто не должен знать, что мы понимаем друг друга. Вы еще не знаете, что даже самые правдивые из нас прибегают к хитрости и обману. Пойдемте.

Я последовала за ним по лестнице, освещенной смоляными факелами, которые были вставлены в прикрепленные к стене железные подставки. Эта необычная плюминация была устроена, по-видимому, в мою честь.

Мы вошли в столовую. Как только Грегориска произнес по-молдавски *«иностранка»* — слово, которое я уже понимала, женщина высокого роста подошла к нам.

Это была княгиня Бранкован. Ее седые волосы были уложены вокруг головы. На ней надета была соболья шапочка с плюмажем в знак ее княжеского происхождения. На ней была туника из парчи, корсаж, усыпанный драгоценными камнями, и длинное платье из турецкой материи, отделанное также собольим мехом. Она держала в руках янтарные четки, которые быстро перебирала пальцами.

Рядом с ней стоял Костаки в роскошном мадьярском костюме, в котором он выглядел еще более странно. На нем было зеленое бархатное платье с длинными рукавами, ниспадавшими до колен, красные кашемировые панталоны и расшитые золотом сафьяновые туфли; голова была непокрыта. Длинные иссиня-черные волосы падали на обнаженную шею, контрастируя с узкой белой шелковой рубахи.

Он неловко поклонился мне и произнес по-молдавски несколько слов, которых я не поняла.

— Вы можете говорить по-французски, брат мой, — сказал Грегориска, — дама полька и понимает этот язык.

Тогда Костаки произнес несколько слов по-французски, которые я так же мало поняла, как и те, которые он произнес по-молдавски, но мать, протянув мне с важностью руку, прервала его. Очевидно, она хотела дать понять сыновьям, что принять меня должна она.

Она произнесла по-молдавски приветственную речь, которую я легко поняла благодаря ее выразительной мимике. Она указала мне на стол, предложила место возле себя, указала на весь дом, как бы поясняя, что все здесь к моим услугам; а затем, усевшись с благосклонной важностью, она перекрестилась и начала читать молитву.

Тогда каждый занял место, назначенное ему по этикету. Грегориска сел около меня. Я была иностранка и потому почла за благо уступить Костаки почетное место около его матери Смеранды — так звали княгиню.

Грегориска также переоделся. На нем была мадьярская туника, как и на брате; только его туника была из бархата цвета граната, а панталоны из синего кашемира. Шею его украшал великолепный орден — то был Нишам султана Махмуда.

За тем же столом, что и мы, ужинали и друзья дома, и прислуга.

Ужин прошел скучно; Костаки не проронил со мною ни слова, хотя его брат был внимателен ко мне и все время говорил со мной по-французски. Что касается матери, то она предлагала мне яства с тем торжественным видом, который ни на минуту ее не покидал. Грегориска сказал правду: она была настоящей княгиней.

После ужина он подошел к матери, объяснил ей по-молдавски, как необходим мне отдых после волнений такого дня. Смеранда кивнула в знак согласия, протянула мне руку, поцеловала в лоб, как будто я была ее дочь, и пожелала провести спокойную ночь в ее замке.

Грегориска был прав: я страстно жаждала остаться одной. Я поблагодарила княгиню, которая проводила меня до дверей, где ждали те две женщины, которые раньше провожали меня в мою комнату.

Я в свою очередь поклонилась ей и обоим ее сыновьям и вошла в комнату, которую покинула час тому назад.

Диван превратился в кровать — вот и вся происшедшая там перемена. Я поблагодарила женщин, сделала им знак, что разденусь сама, и они тотчас же вышли с выражением почтения. По-видимому, им было приказано повиноваться мне во всем.

Я осталась одна в громадной комнате. Свеча освещала только те ее части, по которым я проходила. Не будучи в состоянии освещать всю комнату, свет свечи преграждал каким-то странным образом путь свету лунно-

му, проникавшему через мое окно, на котором не было занавесей.

Кроме двери, в которую я вошла с лестницы, в комнате были еще две двери; на них были два громадных засова, которыми двери запирались изнутри, и это меня успокаивало.

Я подошла к двери, в какую вошла; эта дверь, как и другие, запиралась на засов.

Я открыла окно — оно выходило на пропасть.

И тогда я поняла, что Грегориска намеренно выбрал для меня эту комнату.

Вернувшись к дивану, я увидела на столе у изголовья маленькую сложенную записку.

Я открыла ее и прочла по-польски:

«Спите спокойно, вам нечего бояться, пока вы находитесь внутри замка.

Грегориска».

Я последовала его совету. Усталость взяла верх, и я, позабыв про свои огорчения, быстро уснула.

XIV

ДВА БРАТА

С этого момента я поселилась в замке, и с этого же момента начинается та драма, о которой я вам расскажу.

Оба брата влюбились в меня, каждый сообразно со своим характером. Костаки на другой же день объязил мне, что он любит меня, что я должна принадлежать ему и никому другому, что он скорее убьет меня, чем уступит кому бы то ни было.

Грегориска ничего не говорил, но окружил меня заботой и вниманием. Все, что дало ему блестящее воспитание, все воспоминания о юности, проведенной при лучших дворах Европы, — все пущено было в ход, чтобы понравиться мне. Увы! Ему не надо было затрачивать на это особенно много усилий: при первом же звуке его голоса я почувствовала, как дорог мне этот голос; при первом же взгляде его глаз я почувствовала, что взгляд этот проник в мое сердце.

В течение трех месяцев Костаки сто раз повторял, что любит меня, а я его ненавидела; в течение этих же месяцев Грегориска не обмолвился о любви ни словом,

а я чувствовала, что, если он потребует, я буду принадлежать ему.

Костаки прекратил на время свои набег и никуда не уезжал из замка. Он назначил вместо себя какого-то лейтенанта, который время от времени являлся за приказами и исчезал.

Смеранда также выказывала мне страстную дружбу, и это меня пугало. Она, видимо, покровительствовала Костаки и ревновала меня больше, чем он. Но так как она не понимала ни по-польски, ни по-французски, а я не знала молдавского, то много говорить в пользу своего сына она не могла. Однако она выучила по-французски три слова и повторяла их каждый раз, когда целовала меня в лоб:

— Костаки любит Ядвигу.

В довершение всех моих несчастий однажды я узнала страшную весть. Четверо, оставшиеся в живых после схватки, получили свободу и отправились в Польшу, дав слово, что один из них вернется раньше чем через три месяца и доставит известия о моем отце.

И вот однажды утром один из них действительно явился. От него я узнала, что наш замок был взят и разрушен, а отец убит во время его обороны.

Отныне я осталась одна на свете.

Костаки усилил свои притязания, а Смеранда — свою нежность, но я на этот раз воспользовалась удобным предложением — трауром по отцу. Костаки настаивал, убеждал, что, чем более я одинока, тем более нуждаюсь в покровительстве; мать его тоже усилила свою настойчивость, — она, может быть, была даже более настойчива, чем он.

Грегориска говорил мне, что молдаване владеют собою настолько, что порой трудно узнать их чувства. Он сам служил живым примером такой сдержанности.

Невозможно было верить в чью-либо любовь сильнее, чем верила в его любовь я, однако, если бы меня спросили, на чем основана моя уверенность, я не могла бы этого объяснить: никто в замке не видел, чтобы его рука коснулась моей, чтобы его взоры искали моих. Одна лишь ревность могла заставить Костаки видеть в нем соперника, как одна моя любовь могла чувствовать его любовь.

И все-таки я должна сознаться, что эта сдержанность Грегориски меня беспокоила. Я верила, конечно, но этого было недостаточно, мне нужны были доказательства его

любви. И вот однажды вечером я вошла в свою комнату и услышала легкий стук в одну из дверей, которая, как я уже сказала, запиралась изнутри.

По тому, как стучали, я догадалась, что это зов друга. Я подошла и спросила, кто там.

— Грегориска,— ответил голос, и по звуку этого голоса мне стало ясно, что опасаться нечего и что я не ошиблась.

— Что вам нужно? — спросила я дрожащим голосом.

— Если вы доверяете мне,— отозвался Грегориска,— если вы считаете меня честным человеком, исполните мою просьбу.

— Какую просьбу?

— Погасите свечу, как будто вы уже легли спать, а через полчаса откройте мне вашу дверь.

— Приходите через полчаса,— был мой краткий ответ.

Я погасила свечу и стала ждать. Сердце мое сильно стучало, так как я понимала, что случилось что-то важное.

Прошло полчаса. Кто-то еще тише, чем в первый раз, постучал в дверь. Я уже раньше вытащила засов, оставалось только открыть дверь.

Грегориска вошел, и, хотя он ничего не сказал, я заперла за ним дверь и задвинула засов.

Некоторое время он молчал и стоял неподвижно, сделав и мне знак молчать. Затем, когда убедился, что никакая опасность нам не угрожает, он повел меня на середину громадной комнаты и, почувствовав по дрожи моей, что мне трудно стоять на ногах, принес стул.

Я села, вернее, упала на стул.

— О, Боже мой,— сказала ему я,— что же такое случилось и почему вы принимаете такие предосторожности?

— Потому что моя жизнь, впрочем, это не важно, потому что, может быть, и ваша жизнь зависят от нашего разговора.

Совсем перепугавшись, я схватила его за руку — он поднес мою руку к своим губам, взглядом как бы испрашивая прощения за такую смелость. Я опустила глаза в знак согласия.

— Я люблю вас,— сказал он своим певучим голосом.— Любите ли вы меня?

— Да,— ответила я.

— Согласились бы вы стать моей женой?

— Да.

Он провел рукой по лбу с выражением глубокого счастья:

— В таком случае вы не откажетесь следовать за мною?

— Я последую за вами повсюду!

— Вы понимаете, что мы будем счастливы, только когда убежим отсюда.

— О, да! — вскричала я. — Бежим!

— Тише, — сказал он, вздрогнув, — тише!

— Вы правы. — И я, вся дрожа, прижалась к нему.

— Вот почему я так долго не объяснялся вам в любви. Я хотел устроить прежде всего так, чтобы, когда я получу заверения в вашей любви, ничто не мешало нашему браку. Я богат, Ядвига, я колоссально богат, но богатство мое, как у всех молдавских господарей, заключается в землях, стадах, крепостных. И вот я продал монастырю Ганго на миллион земель, деревень, скота. Монахи дали мне на триста тысяч франков драгоценных камней, на сто тысяч франков золота, а на остальное векселя на Вену. Довольно ли для вас миллиона?

Я пожала его руку.

— Мне достаточно и вашей любви, Грегориска!

— Хорошо, слушайте. Завтра я отправлюсь в монастырь Ганго, чтобы покончить с настоятелем все дела. У него заготовлены для меня лошади. Лошади эти будут нас ждать с девяти часов, спрятанные в ста шагах от замка. После ужина вы уйдете в свою комнату, как сегодня, потушите свечу и, как сегодня, я войду к вам. Но завтра я уже выйду отсюда не один, вы последуете за мною, мы дойдем до ворот, выходящих в поле, найдем там своих лошадей, сядем на них, и послезавтра позади нас уже будет тридцать миль.

— Как жаль, что сегодня не послезавтра!

— Дорогая Ядвига!

Грегориска прижал меня к своему сердцу, и наши губы слились в поцелуе.

О, он сказал правду! Я открыла дверь моей комнаты честному человеку. Но он отлично понял, что если я не принадлежала ему телом, то принадлежала душой.

Ни на минуту не сомкнула я глаз в эту ночь.

Я видела себя убегающей с Грегориской; я чувствовала его объятия, как когда-то объятия Костаки. Но какая разница! На этот раз страшная, мрачная, похоронная поездка сменилась нежным, восхитительным объятием, ко-

торому быстрая езда придавала особенное наслаждение, а, впрочем, быстрая езда сама по себе наслаждение. Настал день.

Я спустилась в столовую. Мне показалось, что Костаки поклонился мне с более мрачным видом, чем обыкновенно. В его улыбке сквозила уже не ирония, а угроза.

Что же касается Смеранды, то она показалась мне такой же, как всегда.

Во время завтрака Грегориска распорядился подать лошадей. Костаки, по-видимому, не обратил внимания на это распоряжение.

В одиннадцать часов Грегориска отвесил нам поклон, сказал, что вернется только к вечеру, и попросил мать не ждать его к обеду; затем он обратился ко мне и попросил извинить его.

Глаза брата следили за ним, пока он не вышел из комнаты, и тогда я подметила во взгляде Костаки столько ненависти, что вздрогнула.

Можете себе представить, в каком страхе провела я этот день. Я никому не обмолвилась о наших планах; едва ли я даже в своих молитвах осмелилась признаться в них Богу, а между тем мне казалось, что планы наши уже известны всем, мне казалось, что каждый устремленный на меня взгляд может прочесть их в моем сердце.

Обед обернулся для меня пыткой. Костаки, мрачный и угрюмый, говорил мало, ограничившись двумя-тремя словами на молдавском языке в адрес матери, и каждый звук его голоса заставлял меня вздрагивать.

Когда я встала, чтобы отправиться в свою комнату, Смеранда, по обыкновению, обняла меня и, обнимая, произнесла ту фразу, которой я уже целую неделю не слышала от нее:

— Костаки любит Ядвигу!

Фраза эта преследовала меня, как угроза; даже когда я очутилась в своей комнате, мне казалось, что роковой голос продолжал нашептывать на ухо: «Костаки любит Ядвигу!» Вспоминались и слова Грегориски, что любовь Костаки для меня равносильна смерти.

В семь часов вечера, когда стало темнеть, я увидела, что Костаки прошел через двор. Он обернулся, чтобы посмотреть в мою сторону, но я быстро отпрянула назад, чтобы он не мог меня видеть.

Меня охватило беспокойство, так как, насколько я могла видеть из окна, он направился на конюшню. Я по-

спешно отперла свою дверь и бросилась в соседнюю комнату, откуда могла видеть все, что он делал.

Он вывел свою любимую лошадь, оседлал ее собственными руками с тщательностью человека, придающего значение любой мелочи. Он был в том же костюме, в каком я увидела его в первый раз. Но только из оружия на нем была одна сабля.

Оседлав лошадь, он еще раз взглянул на окно моей комнаты. Не видя меня, он вскочил в седло, сам открыл ворота, через которые должен был вернуться его брат, и поехал галопом по направлению к монастырю Ганго.

Сердце мое страшно сжалось, предчувствие говорило мне: он отправился навстречу своему брату.

Я оставалась у окна, пока различала дорогу, которая в четверти мили от замка делала поворот и терялась в лесу. Но ночь с каждой минутой становилась непроглядней, и дорога исчезла из вида совсем.

Наконец тревога моя, дойдя до крайней степени, придала мне силы, и так как очевидно было, что вести об обоих братьях я могла получить только в зале, то я спустилась вниз.

Прежде всего я взглянула на Смеранду. По спокойному выражению ее лица было видно, что она не испытывала никаких предчувствий.

Она отдавала обычные приказания относительно ужина, и приборы обоих братьев стояли на своих обычных местах.

Я не могла обратиться к кому-либо с расспросами. К тому же кого бы я могла спросить? Кроме Костаки и Грегориски, никто в замке не говорил на тех двух языках, на которых говорила я.

При малейшем шуме я вздрагивала.

Обычно садились ужинать в девять часов.

Я спустилась в половине девятого. Я не спускала глаз с минутной стрелки, ход которой был почти виден на большом циферблате часов.

Стрелка прошла расстояние в четверть.

Пробило четверть Раздался мрачный и печальный звон, и стрелка снова тихо задвигалась, и я опять видела, как стрелка с точностью и медленностью компаса проходила расстояние.

Без нескольких минут девять мне показалось, что я услышала топот лошадей на дворе. Смеранда также его услышала и повернула голову к окну, но ночь была слишком темна, чтобы что-нибудь разглядеть.

О, если бы она взглянула на меня в эту минуту, то могла бы отгадать, что происходит в моем сердце!

Слышна была рысь одной только лошади; и это представлялось мне вполне естественным, ведь вернуться мог лишь один всадник. Но кто именно?

Шаги раздались в передней. Шаги эти были медленные, они как бы давили мне на сердце.

Дверь открылась, и на пороге появилась чья-то тень. Сердце мое перестало биться.

Тень приблизилась, и по мере того, как она вступала в круг света, дыхание мое возобновилось.

Я узнала Грегориску.

Он был бледен как смерть. По его виду можно было догадаться, что случилось что-то ужасное.

— Это ты, Костаки? — спросила Смеранда.

— Нет, мать, — сухо ответил Грегориска.

— А, это вы, — сказала она. — И вы заставляете ждать вашу мать?

— Мать, — сказал Грегориска, взглянув на часы, — сейчас только девять.

И действительно, в эту минуту часы пробили девять раз.

— Это правда, — сказала Смеранда. — Но где же ваш брат?

Я невольно подумала, что это тот самый вопрос, который Господь Бог задал Каину.

Грегориска ничего не ответил.

— Никто не видел Костаки? — спросила Смеранда слуг.

— В семь часов, — сказал дворецкий, — князь был на конюшне, сам оседлал свою лошадь и отправился по дороге в Ганго.

В эту минуту глаза мои встретились с глазами Грегориски. Не знаю, было ли так в действительности или то была галлюцинация, но мне показалось, что у него на лбу выступила капля крови.

Я медленно поднесла палец к своему лбу, давая тем самым ему понять, где у него, как мне казалось, нятно.

Грегориска понял меня. Он вынул платок и вытерся.

— Да, да, — прошептала Смеранда, — он, вероятно, встретил медведя или волка и увлекся преследованием. Вот почему дитя заставляет ждать мать. Скажите, Грегориска, где вы его оставили?

— Матушка, — ответил Грегориска твердым, но взволнованным голосом, — мы с братом выехали не вместе

— Хорошо,— сказала Смеранда.— Пусть подадут ужин, садитесь за стол. Да закройте ворота: тот, кто вне дома, пусть там и ночует.

Два первых приказания исполнены были в точности. Смеранда заняла свое место. Грегориска сел по правую ее руку, а я по левую.

Затем слуги вышли, чтобы исполнить третье приказание, то есть закрыть ворота замка.

В эту минуту во дворе послышался шум. Испуганный слуга вошел в залу и сказал:

— Княгиня, лошадь князя Костаки прискакала одна и в крови.

— О,— прошептала вставая Смеранда, бледная и грозная,— таким же образом однажды вечером прискакала лошадь его отца.

Я посмотрела на Грегориску — он был не просто бледен, он походил на мертвеца.

Действительно, лошадь князя Копроли прискакала во двор замка вся покрытая кровью, а час спустя слуги нашли и принесли его израненное тело.

Смеранда взяла факел из рук одного из слуг, подошла к двери, открыла ее и вышла во двор.

Трое или четверо слуг едва сдерживали испуганную лошадь и общими усилиями успокаивали ее.

Смеранда подошла к животному, осмотрела кровь, запачкавшую седло, нашла рану на его лбу:

— Костаки дрался лицом к лицу с одним врагом. Ищите, дети, его тело, а потом поищем убийцу.

Так как лошадь прискакала из ворот Ганго, все слуги бросились через эти ворота, и факелы их замелькали в поле и исчезли в лесу, подобно светлячкам, мерцающим в хороший летний вечер.

Смеранда, словно уверенная в том, что поиски не будут продолжительны, оставалась у ворот. Из глаз этой удрученной матери не скатилась ни одна слеза, хотя очевидно было, что она в великом отчаянии.

Грегориска стоял за ней, а я около Грегориски

Выходя из залы, он хотел было предложить мне свою руку, но не посмел.

По прошествии четверти часа на дороге замелькал один факел, затем два, а потом и множество факелов. Только на этот раз они сосредоточились у общего центра. Тотчас стало ясно, что этим общим центром были носилки и человек, лежащий на них.

Траурный кортеж двигался медленно, шаг за шагом приближаясь к воротам замка. Через десять минут он был уже у ворот. Увидя мать, встречавшую мертвого сына, те, кто нес его, инстинктивно сняли шапки и молча вошли во двор.

Смеранда пошла за ними, а мы последовали за Смерандой. Тело положили в зал.

Тогда Смеранда торжественно-величественным жестом отстранила всех и, приблизившись к трупу, встала перед ним на колени, отбросила волосы, закрывавшие его лицо, долго всматривалась в него сухими глазами, а затем, расстегнув молдавскую одежду, расстегнула окровавленную рубашку.

Рана оказалась с правой стороны груди: она могла быть нанесена лишь прямым обоюдоострым лезвием.

Я вспомнила, что в тот день видела за поясом у Грегориски длинный охотничий нож, служивший штыком для его винтовки. Я поискала глазами у его пояса это оружие, но оно исчезло.

Смеранда потребовала воды, смочила свой платок в этой воде и обмыла рану. Свежая чистая кровь окрасила ее края.

Зрелище, представшее моим глазам, было ужасное и вместе с тем величественное. Эта громадная комната, освещенная смоляными факелами, эти дикие лица, эти глаза, сверкающие жестокостью, эти странные одежды, эта мать, высчитывавшая при виде еще теплой крови, когда смерть похитила у нее любимого сына, эта глубокая тишина, нарушаемая лишь рыданиями разбойников, предводителем которых был Костаки,— все это, повторяю, было ужасно и величественно.

Наконец Смеранда прикоснулась губами ко лбу своего сына, встала, отбросила растрепавшиеся седые волосы и позвала:

— Грегориска!

Грегориска вздрогнул, и, очнувшись от оцепенения, откликнулся:

— Что, моя мать?

— Подойдите, мой сын, и выслушайте, что я скажу.

Грегориска вздрогнул, но повиновался

По мере того как он приближался к телу, кровь становилась все более алой и все обильнее сочилась из раны. К счастью, Смеранда не смотрела в его сторону, потому что, если бы она видела эту кровь, выдающую убийцу, ей уже нечего было бы его разыскивать.

— Грегориска,— сказала она,— я знаю, что Костаки и ты не любили друг друга. Ты по отцу Вайвади, а он по отцу Копроли, но по матери вы оба из рода Бранкован. Я знаю, что ты человек, воспитанный в городах Запада, а он дитя восточных гор; но в конце концов вы вышли из одной утробы, и вы оба братья. И вот, Грегориска, я хочу знать, неужели же мы схороним сына моего возле его отца, не давши клятвы? Я хочу знать, смогу ли я, женщина, тихо оплакивать его, положившись на вас, на мужчину, что вы воздадите должное убийце?

— Назовите мне, сударыня, убийцу моего брата и приказывайте. Клянусь вам, что раньше чем через час он умрет.

— Поклянитесь же, Грегориска, поклянитесь под страхом моего проклятия, слышите, мой сын? Поклянитесь, что убийца умрет, что вы не оставите камня на камне от его дома, что его мать, его дети, его братья, его жена или его невеста — все они погибнут от вашей руки. Поклянитесь и, произнося клятву, призывайте на себя небесный гнев, если нарушите эту священную клятву.

Если вы не исполните этого обета, пусть вас постигнет нищета, пусть отрекутся от вас друзья, пусть проклянет вас ваша мать!

Грегориска простер руку над трупом:

— Клянусь, убийца умрет!

Когда произнесена была эта странная жлтва, истинный смысл которой, может быть, был понятен только мне и мертвецу, я увидела или мне показалось, что я вижу, страшное чудо. Глаза трупа открылись и уставились на меня пристальнее, чем когда-либо при жизни, и я почувствовала, что взгляд этот пронизывает меня насквозь и жжет, будто раскаленное железо.

Это было уже свыше моих сил, и я лишилась чувств.

XV

МОНАСТЫРЬ ГАНГО .

Очнулась я в своей комнате. Я лежала на кровати; одна из двух женщин бодрствовала около меня.

Я спросила, где Смеранда, и мне ответили, что она у тела своего сына. Я спросила, где Грегориска, и мне ответили, что он в монастыре Ганго.

О побеге уже не было речи. Разве Костаки не умер?

О браке тоже не могло быть речи. Разве я могла выйти замуж за братоубийцу?

Три дня и три ночи прошли таким образом среди страшных грез. Бодрствовала ли я, спала ли, меня никогда не оставлял взгляд этих жгучих глаз на мертвом лице. Это было страшное видение.

На третий день должны были состояться похороны Костаки.

В этот день, утром, мне принесли от Смеранды полный вдовый костюм. Я оделась и спустилась вниз.

Дом казался совершенно пустым — все были в часовне. Я отправилась туда же. Когда я переступила через порог, Смеранда, с которой я не виделась три дня, двинулась мне навстречу.

Она казалась окаменевшей от горя. Медленным движением, движением статуи она ледяными губами прикоснулась к моему лбу и замогильным голосом произнесла свои обычные слова: «Костаки любит вас».

Вы не можете себе представить, какое впечатление произвели на меня эти слова. Это уверение в любви настоящей, а не прошедшей, это «любит вас» вместо «любил вас», эта замогильная любовь ко мне, живой,— все это произвело на меня потрясающее впечатление. В то же время мною овладело странное чувство, как будто я была действительно женой того, кто умер, а не невестой того, кто был жив. Этот гроб привлекал меня к себе, привлекал мучительно, как змея привлекает очарованную ею птицу. Я поискала глазами Грегориску.

Он стоял бледный возле колонны; его глаза были устремлены ввысь, к небу. Не знаю, видел ли он меня.

Монахи монастыря Ганго окружали тело, пели псалмы греческого обряда, иногда благозвучные, иногда монотонные. Я также хотела молиться, но молитва замирала на моих устах; я была так расстроена, что мне казалось, будто я присутствую на каком-то шабаше демонов, а не на собрании священников.

Когда подняли тело, я хотела идти за ним, но силы меня оставили. Я почувствовала, как ноги подкосились, и оперлась о дверь.

Тогда Смеранда подошла ко мне и знаком подозвала к себе Грегориску. Грегориска повиновался и подошел. Смеранда обратилась ко мне на молдавском языке.

— Моя мать приказывает мне повторить вам слово в слово то, что она скажет,— пояснил Грегориска.

Смеранда опять заговорила. Когда она кончила, Грегориска сказал:

— Вот что говорит моя мать: «Вы оплакиваете моего сына, Ядвига, вы его любили, не правда ли? Я благодарю вас за ваши слезы и за вашу любовь, отныне вы моя дочь, как если бы Костаки был вашим супругом; отныне у вас есть родина, мать, семья. Прольем слезы над умершим и станем достойными того, кого нет в живых. Прощайте, идите к себе. Я провожу моего сына до его последнего жилища, а по возвращении запрусь с моим горем наедине, и вы не увидите меня раньше, чем оно не будет мною побеждено. Не беспокойтесь, я убью свое горе, ибо я не хочу, чтобы оно убило меня».

Лишь вздохом я могла ответить на эти слова Смеранды, переведенные мне Грегориской.

Я вернулась в мою комнату. Похоронная процессия удалилась.

Я видела, как она скрылась за поворотом дороги. Монастырь Ганго находился в полумиле от замка по прямой, но разные препятствия заставляли петлять, и путь до него занял два часа времени.

Стоял ноябрь. Дни были холодные и короткие. К пяти часам вечера уже совершенно темнело.

Часов в семь я опять увидела факелы — это возвращался похоронный corteж. Труп покоился в склепе предков. Все было кончено.

Я уже говорила вам о том странном состоянии, которое овладело мною со времени рокового события, погрузившего нас всех в траур, и особенно с тех пор, когда я увидела, как открылись и напряженно уставились на меня глаза, закрытые смертью. В этот вечер я была подавлена волнениями пережитого дня и находилась в еще более грустном настроении. Я слышала, как били разные часы в замке и мною все сильнее овладевала печаль, по мере того, как приближался тот момент, когда умер Костаки.

Когда пробило три четверти девятого, мною овладело странное волнение. Невыразимый ужас насквозь пронизал меня, сковал все мое тело; затем меня начал одолевать сон — он притупил все мои чувства; дыхание затруднилось, глаза мои заволочла пелена. Я протянула руки, попятилась назад и упала на кровать.

И в то же время чувства мои не настолько притупились, чтобы я не могла расслышать шагов, приближавшихся к моей двери, затем мне показалось, что дверь от-

крылась... Больше я уже ничего не видела и не слышала. Почувствовала только сильную боль на шее. А затем я погрузилась в глубокий сон.

В полночь я проснулась. Лампа еще горела; я хотела подняться, но была так слаба, что пришлось два раза приподниматься. Однако я пересилила слабость, и так как, проснувшись, почувствовала все ту же боль на шее, которую испытывала во сне, то дотащилась, держась за стену, до зеркала и осмотрела себя.

На шее остался след, похожий на булавочный укол. Я подумала, что какое-нибудь насекомое укусило меня во время сна, и так как чувствовала себя утомленной, то легла и уснула.

На другой день я проснулась в обычное время. Открыла глаза и хотела было встать, но испытывала такую слабость, какую испытывала только один раз в жизни, когда мне пустили кровь.

Я подошла к зеркалу и была поражена бледностью своего лица. Весь день я провела в печали. И в своем поведении я заметила нечто странное: у меня появилась потребность оставаться там, где я сидела; всякое перемещение стало для меня утомительно.

Наступила ночь. Мне принесли лампу. Мои женщины, насколько я поняла по их жестам, предлагали остаться со мною. Я поблагодарила их, и они ушли.

В тот же час, как и накануне, я почувствовала те же симптомы. Хотела было встать и позвать на помощь, но не могла дойти до дверей. Я смутно слышала, как пробило три четверти девятого. Раздались шаги, открылась дверь, но я уже ничего не видела и ничего не слышала — как и накануне, я упала навзничь на кровать.

Потом, как и накануне, я ощутила острую боль на шее в том же месте.

Проснулась я опять же в полночь и почувствовала себя еще более слабой, чем накануне.

На другой день ужасное состояние не проходило.

Я решила спуститься к Смеранде, невзирая на свою слабость, когда одна из моих женщин вошла в мою комнату и назвала имя Грегориски.

Грегориска шел за ней следом. Я хотела встать, чтобы встретить его, но упала в кресло. Он вскрикнул, увидя меня, и хотел броситься ко мне, но у меня хватило силы протянуть ему руку.

— Зачем вы пришли? — спросила я.

— Увы,— проговорил он,— я пришел проститься с вами и сказать вам, что покидаю этот мир, который стал невыносим для меня без вашей любви и без общения с вами. Я пришел сказать вам, что удаляюсь в монастырь Ганго.

— Вы лишились моего общества, Грегориска,— ответила я,— но не моей любви. Увы, я продолжаю любить вас, и мое великое горе в том и заключается, что отныне любовь эта является преступлением.

— В таком случае я могу надеяться, что вы будете молиться за меня, Ядвига?

— Конечно. Только недолго придется мне молиться за вас,— прибавила я с улыбкой.

— Что с вами в самом деле? Отчего вы так бледны?

— Я... Да сжалится надо мной Господь и возьмет меня к себе!

Грегориска подошел, взял меня за руку, которую у меня не хватило сил отнять, и, пристально глядя на меня, сказал:

— Эта бледность, Ядвига, неестественна. Чем она вызвана?

— Если я скажу, Грегориска, вы сочтете меня сумасшедшей.

— Нет, нет, скажите, Ядвига, умоляю вас. Мы находимся в стране, не похожей ни на какую другую страну, в семье, не похожей ни на какую другую семью. Скажите, все скажите, умоляю вас.

Я все ему рассказала: о странной галлюцинации, овладевавшей мною в час смерти Костаки, о том ужасе, о том оценении, о том ледяном холоде, о той слабости, от которой я падала на кровать, о тех шагах, которые, казалось, я слышала, о той двери, которая, мне казалось, открывалась, наконец, о той острой боли, которой сопутствовали бледность и беспрестанно возрастающая слабость.

Я думала, что Грегориска примет мой рассказ за начало сумасшествия, и заканчивала его с некоторым боязливым замешательством, но видела, что он, напротив, следил за этим рассказом с глубоким вниманием.

Когда я кончила, он на минуту задумался.

— Итак,— спросил он,— вы засыпаете каждый вечер без четверти девять?

— Да, несмотря на все усилия мои преодолеть сон.

— Вам кажется, что ваша дверь открывается?

— Да, хотя я запираю ее на засов.

— Вы чувствуете острую боль на шее?

— Да, хотя ранка почти незаметна.

— Не позволите ли вы мне посмотреть?

Я запрокинула голову, и он осмотрел мою шею.

— Ядвига,— сказал он через некоторое время,— доверяете ли вы мне?

— И вы еще спрашиваете! — воскликнула я.

— Верите ли вы моему слову?

— Как святому Евангелию.

— Хорошо, Ядвига, даю вам клятву, что вы не проживете и недели, если не согласитесь, и сегодня же, сделать то, что я вам скажу...

— А если я соглашусь?

— Если вы на это согласитесь, то, может быть, будете спасены.

— Может быть?

Он молчал.

— Что бы ни случилось, Грегориска,— ответила я,— я сделаю все, что вы прикажете мне сделать.

— Хорошо! Слушайте же,— сказал он,— а главное, не пугайтесь. В вашей стране, как и в Венгрии, как и в Румынии, существует предание.

Я вздрогнула, так как вспомнила это предание.

— А-а,— обрадовался он,— вы знаете, что я хочу сказать.

— Да,— ответила я,— я видела в Польше людей, страдавших от этого ужасного недуга.

— Вы говорите о вампирах, не правда ли?

— Да, в детстве я видела, как на кладбище деревни моего отца выкопали сорок трупов. Все эти люди умерли в течение двух недель, и никто не мог определить причину их смерти. Семнадцать из них носили все признаки вампиризма, то есть трупы их были свежи, и они походили на живых людей; другие же стали их жертвами.

— А как же освободили от них народ?

— Им вбили в сердце кол и затем их сожгли.

— Да, так обычно и поступают, но для вас этого недостаточно. Чтобы освободить вас от привидения, я должен знать, что это за привидение, и я с Божьей помощью это узнаю. Да, и если нужно будет, я буду бороться один на один с этим привидением, кто бы им ни был.

— О, Грегориска! — воскликнула я в ужасе.

— Я сказал «кто бы им ни был» и повторяю это. Но для того чтобы я мог успешно выполнить мое страшное

намерение, вы должны согласиться на все, чего я от вас требую.

— Говорите.

— Будьте готовы к семи часам. Отправляйтесь в часовню, пойдите туда одна. Вам придется, Ядвига, преодолеть свою слабость. Так нужно. Там нас обвенчают. Согласитесь, дорогая, чтобы я мог защищать вас, я должен иметь это право перед Богом и людьми. Оттуда мы вернемся сюда и тогда увидим, что делать дальше.

— О, Грегориска,— воскликнула я,— если это он, то он убьет вас!

— Не бойтесь ничего, моя дорогая Ядвига. Только согласитесь.

— Вы хорошо знаете, Грегориска, что я сделаю все, чего вы пожелаете.

— В таком случае до вечера!

— Хорошо, делайте все, что вы находите нужным, а я буду помогать вам по мере моих сил.

Он вышел. Через четверть часа я увидела всадника, мчавшегося по дороге в монастырь,— это был он!

Как только я потеряла его из виду, то упала на колени и стала молиться так, как уже больше не молятся в вашей стране, утратившей веру. Я ждала семи часов и возносила к Богу и святым мои молитвы. С колен я поднялась лишь тогда, когда пробило семь раз.

Я была слаба, как умирающая, бледна, как мертвец. Набросив на голову большую черную вуаль, держась за стенку, я спустилась по лестнице и отправилась в часовню, не встретив никого по дороге.

Грегориска ждал меня с отцом Василием, настоятелем монастыря Ганго. За поясом у него был святой меч, реликвия одного из крестоносцев, участвовавшего во взятии Константинополя Виллардуином и Балдуином Фландрским.

— Ядвига,— сказал он, положив руку на меч,— при помощи Бога я разрушу чары, угрожающие вашей жизни. Итак, подойдите смело. Вот святой отец, который, выслушав мою исповедь, примет наши клятвы.

Начался обряд; быть может, никогда он не был так прост и вместе с тем так торжествен. Никто не помогал монаху; он сам возложил венцы на наши головы. Оба в трауре, мы обошли аналой со свечой в руке. Затем монах прибавил:

— Теперь идите, дети мои, и пусть даст вам Господь силу и мужество бороться с врагом рода человеческого.

Вы вооружены невинностью и правдой, и вы победите беса. Идите, и да будет над вами мое благословение!

Мы приложились к священным книгам и вышли из часовни.

Тогда я впервые оперлась на руку Грегориски, и мне показалось, что при прикосновении к этой храброй руке, при приближении к этому благородному сердцу жизнь вернулась ко мне. Я уверена была в победе, раз со мною Грегориска.

Когда мы вернулись в мою комнату, пробило половина девятого.

— Ядвига,— сказал мне тогда Грегориска,— нам нельзя терять ни минуты. Хочешь ли ты заснуть, как всегда, чтобы все произошло во сне? Или ты хочешь остаться одетой и видеть все?

— С тобой я ничего не боюсь. Я хочу бодрствовать и видеть все своими глазами.

Грегориска вынул из-под одежды освященную ветку вербы, влажную еще от святой воды, и подал ее мне.

— Возьми эту вербу,— сказал он,— ложись на свою постель, твори молитвы Богородице и жди без страха. Бог с нами! Постарайся не уронить ветку: с нею ты сможешь повелевать и самим адом. Не зови меня, не кричи. Молись, надейся и жди.

Я легла на кровать, скрестила руки на груди и положила на грудь освященную вербу.

Грегориска спрятался под балдахином, о котором я упоминала и который находился в углу моей комнаты.

Я считала минуты, и Грегориска, должно быть, тоже считал их.

Пробило без четверти девять.

Еще звучал звон часов, как я почувствовала знакомое оцепенение, знакомый ужас, знакомый ледяной холод, но поднесла освященную вербу к губам, и это ощущение исчезло.

Тогда я ясно услышала шум размеренных шагов на лестнице — шаги приближались к моей двери.

Затем дверь медленно, неслышно открылась, как бы сверхъестественной силой, и тогда...

У рассказчицы сдавило горло, она задышалась.

— И тогда,— продолжала она с усилием,— я увидела Костаки, такого же бледного, какой он лежал на носилках; с рассыпавшихся по плечам черных волос его капала кровь. Он был в обычном своем костюме, только ворот расстегнут, и виднелась кровавая рана.

Все было мертво, все принадлежало трупу — тело, одежда, походка... И только одни глаза, эти страшные глаза, блестели, как живые.

Странно, что при виде трупа страх мой не усилился, напротив, я почувствовала, что мужество мое возрастает. Без сомнения, Бог послал мне это мужество, чтобы я могла обдумать свое положение и защищать себя от ада. Как только привидение сделало первый шаг к кровати, я смело встретила его свинцовый взгляд и протянула к нему ветку вербы.

Привидение попробовало двинуться дальше, но сила более могущественная, чем его сила, удержала его на месте. Оно остановилось.

— О,— прошептало привидение,— она не спит, она все знает.

Привидение говорило по-молдавски, однако же я поняла его, как будто слова были произнесены на понятном мне языке.

Не сводя глаз с привидения, я увидела, не поворачивая головы, что Грегориска, подобно карающему ангелу, с саблей в руке вышел из-под балдахина. Он перекрестился и медленно подошел, протягивая шпагу, к привидению; привидение при виде брата в свою очередь вытащило саблю и дико захохотало, но едва его сабля коснулась священного лезвия, как рука привидения беспомощно опустилась.

Костаки испустил стон, полный отчаяния и злобы.

— Что тебе нужно? — спросил он своего брата.

— Именем Господа Бога нашего,— сказал Грегориска,— я заклинаю тебя, отвечай!

— Спрашивай,— молвило привидение, скрежеща зубами.

— Это я тебя поджидал?

— Нет.

— Я на тебя нападаю?

— Нет.

— Я тебя убил?

— Нет.

— Ты сам наткнулся на мой меч! Я пред Богом и людьми невиновен в преступном братоубийстве; стало быть, ты исполняешь не божественную, а адскую волю, стало быть, ты вышел из могилы не как святой, а как проклятое привидение, и ты вернешься в свою могилу.

— С нею вместе, да! — воскликнул Костаки и сделал невероятное усилие, чтобы овладеть мною.

— Ты уйдешь один! — воскликнул в свою очередь Грегориска. — Эта женщина принадлежит мне.

И, произнося эти слова, он кончиком меча притронулся к незажившей ране.

Костаки испустил крик, как будто его коснулся меч огненный, и, поднеся левую руку к груди, попятился назад.

В это самое время Грегориска двинулся одновременно с ним и сделал шаг вперед, устремив взор на мертвеца и упирая меч в грудь брата. Грегориска шел медленно, торжественно — так, должно быть, шествовали Дон-Жуан и Командор. Под напором священного меча, подчиняясь непоколебимой воле Божьего борца, привидение отступало назад, а Грегориска теснил его, не произнося ни слова. Оба задыхались и были мертвенно-бледны; живой толкал перед собой мертвого, выгонял его из того замка, который был прежде его жилищем, и гнал его в могилу, в его будущее жилище.

Клянусь вам, это было ужасное зрелище.

А между тем под влиянием сверхъестественной, неизвестной силы я, не отдавая себе отчета, встала и пошла за ними.

Мы спустились с лестницы, освещаемой в темноте одними сверкавшими зрачками Костаки, прошли галерею и двор. Тем же мерным шагом мы дошли до ворот: привидение пятилось назад, Грегориска протягивал руку вперед, я шла за ними.

Это фантастическое шествие длилось не менее часа. Надо было вернуть мертвеца в могилу; но вместо того, чтобы идти по дороге, Костаки и Грегориска двигались по прямой, не заботясь о препятствиях: почва выравнивалась под них ногами, потоки высыхали, деревья отклонялись в сторону, скалы отступали. То же чудо, которое совершалось для них, совершалось и для меня, но мне казалось, что небо подернуто черным крепом, луна и звезды исчезли, только огненные глаза вампира сверкали во мраке ночи.

Так мы дошли до монастыря Ганго, пробрались через кустарники, составлявшие ограду кладбища. Как только мы вошли под его сень, я увидела в темноте могилу Костаки, находившуюся около могилы его отца. Я не знала, где расположена его могила, а между тем теперь узнала ее.

В эту ночь я все знала.

Перед открытой могилой Грегориска остановился.

— Костаки,— сказал он,— еще не все погибло для тебя, и голос неба говорит мне, что ты будешь прощен, если раскаешься. Обещаешь ли ты уйти в свою могилу? Обещаешь ли ты больше не выходить оттуда? Обещаешь ли служить Богу, как ты теперь служишь аду?

— Нет! — ответил Костаки.

— Ты раскаиваешься? — спросил Грегориска.

— Нет!

— В последний раз спрашиваю тебя, Костаки!

— Нет!

— Ну, хорошо же! Зови на помощь Сатану, а я призываю Бога, и посмотрим, за кем останется победа.

Два возгласа раздалась одновременно, мечи скрестились, и засверкали искры. Борьба длилась одну минуту, которая показалась мне целой вечностью. Костаки упал. Я видела, как поднят был страшный меч, как вонзился он в тело и пригвоздил его к свежевскопанной земле.

В воздухе раздался восторженный, какой-то нечеловеческий крик. Я подбежала. Грегориска стоял, но шатался.

Я бросилась к нему и подхватила его.

— Вы ранены? — спросила я с тревогой.

— Нет,— сказал он,— но в таком поединке, дорогая Ядвига, убивает не рана, а борьба. Я боролся со смертью, и я принадлежу теперь смерти.

— Друг мой! — воскликнула я.— Уйди отсюда поскорее, и жизнь, быть может, еще вернется!

— Нет,— возразил он,— вот моя могила. Но не будем гадать времени: возьми немного земли, пропитанной его кровью, и приложи к нанесенной им ране. Это — единственное средство предохранить себя в будущем от его ужасной любви.

Я повиновалась, дрожа. Я нагнулась и взяла окровавленную землю; нагибаясь я видела пригвожденный к земле труп: освященный меч пронзил его сердце, и черная кровь обильно сочилась из раны, как будто мертвец умер только теперь.

Я размяла комочек окровавленной земли и приложила ужасный талисман к своей ране.

— Теперь, моя обожаемая Ядвига,— сказал Грегориска слабым голосом,— выслушай мои последние наставления. Уезжай из этой страны как можно скорее. Одно лишь расстояние обезопасит твою жизнь. Отец Василий выслушал сегодня мою последнюю волю и выполнит ее. Ядвига, один поцелуй — первый и последний.

Я умираю, Ядвига.— И, произнеся эти слова, Грегориска упал возле своего брата.

При других обстоятельствах, оказавшись на кладбище, у открытой могилы, между двумя трупами, лежащими один подле другого, я сошла бы с ума, но, как я уже сказала, Бог придал мне силы, соответствующие обстоятельствам, когда мне пришлось быть не только свидетельницей, но и действующим лицом.

Когда я оглянулась в поисках помощи, то увидела, как открылись ворота монастыря, как монахи с отцом Василием во главе, выстроившись попарно с зажженными факелами, приближались с пением зауспокойных молитв.

Отец Василий только что вернулся в монастырь; он предвидел, что должно было случиться, и во главе всей братии явился на кладбище.

Он нашел меня живой среди двух мертвецов.

У Костаки лицо было искажено последней конвульсией. У Грегориски, напротив, лицо было спокойное, почти улыбающееся. По желанию Грегориски его похоронили возле брата. Христианин оберегал проклятого.

Смеранда, узнав о новом несчастье и той роли, которую я при этом сыграла, захотела повидаться со мной; она приехала ко мне в монастырь Ганго и узнала от меня все, что случилось в ту страшную ночь.

Я рассказала ей все подробности фантастического происшествия, но она выслушала меня, как слушал когда-то Грегориска, без удивления и без испуга.

— Ядвига,— произнесла она после некоторого молчания,— как ни странно, все, что вы рассказали, истинная правда. Род Бранкованов проклят в третьем и четвертом колене за то, что один из Бранкованов убил священника. Пришел конец проклятию, ибо хотя вы и жена, но вы девственница, а у меня нет детей. Если мой сын завещал вам миллион, берите его. После моей смерти я выделю часть моего состояния на благочестивые дела, а остальное будет завещано вам. Послушайтесь совета вашего супруга, возвращайтесь как можно скорее в страну, где Бог не допускает таких страшных чудес. Мне никто не нужен, чтобы оплакать моих сыновей. Прощайте, не беспокойтесь больше обо мне. Моя судьба принадлежит только мне и Богу.

И, поцеловав меня, по обыкновению, в лоб, она уехала и заперлась в замке Бранкован.

Неделю спустя я уехала во Францию. Как надеялся Грегориска, так и случилось: страшное привидение больше не посещало меня по ночам. Здоровье мое восстановилось, и от ужасного происшествия осталась лишь один лишь след — смертельная бледность, которая сохраняется до самой смерти у всех, кому пришлось испытать поцелуй вампира».


Дама умолкла. Пробило полночь, и я могу сказать, что даже самые храбрые из нас вздрогнули при звуке боя часов.


Пора было уходить. Мы попрощались с Ледрю.

Этот прекрасный человек умер год спустя.

Впервые после этой смерти я получаю возможность воздать должное настоящему гражданину, скромному ученому и честному человеку. И спешу это сделать.

Никогда больше я не был в Фонтенэ. Воспоминания о проведенном там дне оставили глубокий след в моей жизни. Странные рассказы, выслушанные мной в тот вечер, настолько врезались мне в память, что я, рассчитывая, что рассказы эти возбудят и в других такой же сильный интерес, какой испытал я сам, собрал разные предания и рассказы в странах, в которых я перебивал в течение восемнадцати лет: в Швейцарии, Германии, Италии, Испании, Сицилии, Греции и Англии, и составил этот сборник, который выпускаю теперь для моих читателей под заглавием *«Тысяча и один призрак»*.





Содержание

ПОЛІНА. Роман. Перевод А. Л. .вой	6
АМОРИ. Роман. Перевод Л. Дерябиной и Н. Долгиной . . .	124
ТЫСЯЧА И ОДИН ПРИЗРАК. Роман. Перевод С. Чудновского	358

Дюма А.

Д 96 Полина. Амори. Тысяча и один призрак. Романы: Перев. с фр. /Сост. и общ. ред. Ю. П. Уварова, Оф. Ю. К. Бажанова.— М.: Пресса, 1993.— 496 с. ISBN 5—253 — 00760—1

Серия «XIX век в романах Александра Дюма» открывается сборником избранных произведений французского писателя, ранее не известных нашему читателю.

Романы «Полина» и «Амори», объединенные темой любви, имели огромный успех у современников. С редкой психологической достоверностью автором выписаны отношения и чувства героев.

«Тысяча и один призрак» — произведение, основанное на детективных историях с элементами мистики и ужасов.

Д $\frac{4703010100 - 2941}{080 (02) - 93}$ 2941—93

84.4 Фр.

Литературно-художественное издание

ДЮМА Александр

ПОЛИНА

АМОРИ

ТЫСЯЧА И ОДИН ПРИЗРАК

Романы

Редактор Г. Ф. Фролова

Оформление художника Ю. К. Бажанова

Художественный редактор Р. А. Клочков

Технический редактор К. И. Заботина

ИБ 2941

Сдано в набор 11 03 93 Подписано к печати 06 05 93.
Формат 84×108^{1/32}. Гарнитура «Литературная» Печать высокая.
Усл печ л 26,04 Усл. кр-отт 26,04 Уч.-изд. л 27,99.
тираж 50 000 экз Заказ № 219 Цена договорная

Набрано и сматрицировано в типографии издательства
«Пресса» 125865 ГСП, Москва, А-137, ул «Правды», 24.